

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 1 | 2016





Борис Степанов | Яблочный Спас | 2014



Борис Степанов | Восточный натюрморт | 2014

ДЕНЬ и НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 1 | 2016

В номере

.....

ДиН юБИЛЕЙ

Генрих Кранц

3 Возвращение на материк

Владимир Алейников

5 В сердцевине огня

Марина Саввиных

9 Целебная сила

Андрей Леонтьев

10 Без наркоза

ДиН диАЛОГ

Юрий Беликов, Зоран Костич

13 Когда народ становится пропащим

ДиН ЛИТ

*Дни и ночи Литературного
института имени А. М. Горького*

Олеся Николаева

20 Августин

Дмитрий Иващенко

33 Русская вертикаль

ДиН ПРОЗА

Олег Хлебников

34 Отцы и дядьки

Рон Палин

70 Аллохтон

Александр Матвейчев

96 Воспет

ДиН ДЕБЮТ

Рафаэль Ярошевский

55 Мы паводком дышим...

Дмитрий Косяков

105 Что случилось?

ДиН ПАМЯТЬ

Александр Осмоловский

56 Спасибо, Небо!

ДиН ПУБЛИЦИСТИКА

Аделя Броднева

58 Кто Вы, доктор Крутовский?

Евгений Беркович

67 Женский бунт на улице Роз

ДиН СТИХИ

Станислав Феньков

66 Моя Россия

Анатолий Третьяков

138 И снова утро

Анатолий Вершинский

140 Всё живое...

Михаил Синельников

144 За снежной пеленой

Евгений Степанов

146 Эти люди

Инга Карабинская

148 Свет крошечный

Николай Ерёмин

150 Иголка в снегу

Мартин Мелодьев
189 На конечной станции

Эдуард Учаров
191 Звонарь

Николай Вдовин
193 Проповедник сомнения

Наталья Никулина
200 Найти флейту

ДиН ПАРОДИЯ

Евгений Минин
137 Муза гонит пургу
155 Не страшней, чем у Кафки
168 Настойки из стихов
214 Стихотебри

ДиН РЕВЮ

Виталий Молчанов
145 Фрески
Сергей Арутюнов
157 Апостасис
Алёна Бабанская
219 Письма из Лукоморья

Станислав Минаков
224 Снить

ДиН МЕМУАРЫ

Евсей Цейтлин
152 Хранитель судеб

ДиН ЭССЕ

Иса Айтукаев
156 Окно

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА

Марат Валеев
158 Из дальних странствий
Дзерасса Биазарти
169 Хурхор
Елена Литинская
177 Что мне делать с тобой, Джейк?

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ

Владимир Яранцев
196 На почве гармонии и любви
Владимир Шанин
201 «В мою судьбу вошла беда»

Александр Карпенко
207 «Я выбираю ost»

Сергей Хомутов
209 Рождение гармонии

ДиН ПОЛЕМИКА

Павел Полуян
215 Коммунистическая трагедия

ДиН ДЕТАМ

Карен Арутюнянц
220 Орешек

ДиН ДЕТИ

225 Синяя тетрадь

232 ДиН АВТОРЫ

Генрих Кранц

Возвращение на материк

Владимир Алейников. Собрание сочинений в 8-ми томах. — М.: Рипол-классик, 2015.

Иногда издатели, словно в предчувствии конца света или пытаясь обрести твёрдую почву под ногами, осыпают окружающих весьма неожиданными подарками. В этом смысле выход в свет восьмитомного собрания сочинений Владимира Алейникова — известного русского поэта, прозаика, художника, творца «леонардовского» замеса — можно сравнить разве что с громом среди ясного неба. И не потому, что сочинения этого удивительного художника не заслуживают такого внимания, а прежде всего потому, что его творчество, как дождь, ветер или звёзды, давно и прочно присутствует в круге чтения тех, кто любит настоящую поэзию (или, говоря шире, вообще литературу). Поэтому многие будут удивлены, узнав, что такого внушительного, любовно отредактированного и отлично сделанного собрания у Алейникова никогда не было. С другой стороны, с запоздалой горечью сознаёшь, как же мы преступно небрежны, как скупы на внимание к тем, кто со временем (а скорее, уже и сегодня) составляют славу русской словесности. Так что, по большому счёту, издатель поступил мудро, хотя бы отчасти компенсировав годы забвения и невнимания к творчеству этого автора. Хорошо и то, что в собрание вошли стихи и проза разных лет, потому что Алейникова надо читать не по кусочкам, не выборочно, а сплошным массивом, непрерывно, потому что его творчество — не электричка выходного дня, состоящая из нескольких цветных вагончиков с праздным людом, а товарный поезд, груженный рудой, углём и золотом большого смысла.

Писать о творчестве Владимира Алейникова сложно, потому что постоянно сбиваешься на дифирамбы. Ведь для большинства современников его творческая и житейская судьба трудна для понимания, практически непостижима. Ведь у Алейникова смолоду было всё, чтобы в одночасье стать баловнем судьбы (или хотя бы её временным любимцем). Ведь это он вместе с Леонидом Губановым был инициатором легендарного поэтического общества 1960-х годов СМОГ, из которого вышли несколько значительных поэтов (кстати, в сети есть прекрасная фотография молодых «смогистов»: Кублановского, Алейникова, Губанова и Пахомова, — в ней настолько удачно проступают

человеческие характеры, что можно только ахнуть: посмотрите, не пожалеете!).

Так что Алейников дебютировал мощно и выразительно ещё в те далёкие годы, обратив на себя внимание маститых советских литераторов, которые вряд ли отказали бы ему в помощи, если бы он этого захотел. А учитывая учёбу в МГУ, поэт имел всё необходимое для того, чтобы зацепиться за столицу и пополнить бессчётное число «профессиональных» поэтов с относительно благополучной судьбой. Но Алейников, со своим звериным чутьём на всё ложное и преходящее, решительно отказался от кренделей столичного виршеплётства ради горького и скудного хлеба настоящего творчества.

Наверное, легче назвать то, чем он не занимался, чем то, кем ему довелось быть: редактором и дворником, переводчиком и сторожем, работать в школе и в экспедициях, — перечень этих профессий бесконечен. Он попеременно жил в разных городах: то в родном Кривом Роге, то в Москве, семь долгих лет и вовсе странствовал по стране, не имея где преклонить голову. И в этом не было ни позы, ни пафоса: поэт сознательно выстраивал свою судьбу, упорно отказываясь от мирских соблазнов. В этой связи Алейникова часто сравнивают с американскими битниками, которые тоже искали себя в самых неожиданных местах. Хотя я бы предпочёл иную метафору: Алейников не битник, он, скорее, волжский бурлак, только баржу своего дара он предпочитает тянуть в одиночку, чтобы только не дать превратить её в прогулочную яхту или легкомысленный катерок.

Но самое главное, что все эти годы, невзирая на полное отсутствие быта, денег и перспектив, поэт настойчиво и упорно работал, веря в своё призвание. Это был настоящий боксёрский поединок не на жизнь, а на смерть, почти как у Мартина Идена: жизнь была Алейникова зло и жестоко (и это не метафора: в одном из своих интервью он говорил, что перенёс семь сотрясений мозга), но на все удары он отвечал мудрым и проникновенным словом (не напоминает ли вам всё это хорошо известный сюжет?).

Вот как он говорит об этом в одном из стихотворений:

Вросши в почву и вырвавшись к небу,
 Среди разрухи, спалившей нутро,
 Никому я не пел на потребу—
 Хлеб чужбинный ли, бес ли в ребро.
 Никогда не терял я дыхания,
 Даже в гибельной яви былой,—
 Поруганье?—о нет!—полыханье
 Веры, выжившей там, под золой.

Удивительно, но все эти годы—а ведь в девяностые годы казалось, что корабль русской литературы прочно сел на мель,—Алейников не только оставался верен своему слову, он творил так, словно зная, что начавшаяся метель если не исчезнет бесследно, то явно не помешает тому, у кого припасён заячий тулупчик, согревающий дух. Он двигался вперёд и дальше своей дорогой, не изменяя традиции, брезгуя новомодными поэтическими тенденциями и отмечая прожитые годы новыми стихами и прозой. Так что Алейников в некотором роде столбовой «творянин» (от слова «творить»). И это тоже не литературная метафора: поэт был одним из немногих, двигавшихся по столбовой дороге русской литературной традиции с присущей ей философской глубиной, лаконичностью и неизменной строгостью формы. При этом, как хорошо видно из восьмитомника, в котором первые три книги представлены поэзией, его литературная манера со временем хоть и становилась всё более стилистически выверенной и даже изысканной, однако нервы и жилы, из которых она сплетена, оставались прежними. Поэт, как рыбак, осознавший свою силу, менял не сеть, а размеры её ячеек: с каждым годом он всё чаще отказывался от бытовых мелочей, лишних подробностей, предпочитая зачерпывать своим

неводом живые образы, трепещущие серебром и подлинной глубиной.

Проза Алейникова, о которой мне уже довелось писать ранее, трудноотделима от его стихов. И это неудивительно, ведь она вытекает из того же сосуда, в котором настаиваются стихи, хотя её строй, богатство аллитераций, внутренний ритм, мелодичность и психологическая точность порой уводят от первоисточника так далеко, что в ней можно обнаружить и ироничный гоголевский прищур, и соллогубовский речитатив, и стук каблучков Стивена Дедала, и шорох катаевских волн. Вот взятое наугад из новеллы «Сентябрь»:

«Осень себе самой не устаёт служить. Над городской стеной, в башне воздуха плотной, гнёзда ласточек—ниже, чем пригретые солнцем окна передвижные. С запада глянет слепо нынешняя молва—и музыкальный ящик с кручёными панычами не установят вам. Может быть, мне придётся из этикеток, марок, винных наклеек, спичек выстроить город новый—с лодками из фольги, листьями в жёлтой пене, свечками в целлофане, пригоршнями сердоликов, шахматною резьбой».

Феномен Алейникова ещё и том, что поэт и читатель в его творчестве как бы поменялись местами. Пока читатель, словно Одиссей, увлечённый сладкоголосыми сиренами модных течений, метался от Сциллы к Харибде, внимал пробудившимся циклопам, ошибочно принимая их одноглазость за новую точку зрения, поэт, как Лаэрт—отец Одиссея, оставался на давно открытом материке, продолжая возделывать его сухую и каменистую почву, превращая её в цветущий сад. Так что это читатель возвращается из дальних странствий на материк, на котором поэт берёт и лелеял великое чудо жизни и творчества.

Владимир Алейников

В сердцевине огня



Выбраны с усердием
В небе запоздалом,
Словно милосердием,
Людом по вокзалам
Выброшенной хартии
Стёртые приметы —
Игранные партии
Флейты и кларнета.

Смотрит испытуемый,
Слово постигая,
Слышит неминуемый
Лад, изнемогая,
Смотрит здравомыслящий
Весело и сонно:
Что за ясновидящий
В логове вагона?

Чья интерпретация
Старого Завета,
Мелодекламация,
Песня, что не спета?
Что за интуиция,
Цепкое мерцанье?
Может, ауспиция
Миросозерцанье?

Где мокропогодица
Рядом колобродит,
Разное, как водится,
Ищут и находят —
Миропонимание,
Времяпровождение,
Местопребывание,
Новое рождение.

Где мохообразные
Выросли растения,
Что-то несуразное
Двигается за тенью,
Что-то непривычное —
Вроде бы за гранью
Чувство безграничное
И самосгоранье.



Это песен густые узлы,
Это замыслов стебли тугие,
Это вставшее из летаргии,
Сохранившее запах золы.

Уплывут по теченью венки,
Расплетённые эхом знакомым, —
И останешься с чем-то искомым,
Хоть у страха глаза велики.

Но пока что скажи: повезло!
Не шути с толковищем кошмарным —
Лучше выйди к наплывам фонарным,
Загадай ненароком число.

Потому-то опять подождёт
Налетевшая с севера стужа —
Не тужи по ушедшему, друже,
Не забудь — впереди поворот.

Что же дружбы? — осталось вздохнуть —
Но без них не бывать нам счастливей —
И сужу о тебе справедливей,
Да и ты обо мне не забудь.

В непреложный уверовав путь,
Стану петь, как один я умею, —
И досужие слухи развею,
И живу, не смущаясь ничуть.

Но куда же мне душу девать
И куда мне уйти от печали,
О которой слова не молчали
И которую поздно скрывать?

И чего мне от спутников ждать,
Если речь от рожденья крылата
И намного сильнее, чем когда-то,
Где готовилась только страдать?

● ● ●
А чуда ни за что не рассказать—
За дружеской неспешною беседой
На сплав немногословности не сетуй
С тем, что узлом впотьмах не завязать,
Не выразить, как взгляды ни близки
И сколь ни далеки шаги в пространстве,—
И всякий раз, и в трезвости, и в пьянстве,
Кусаясь недомолвок локотки.

Коль чуду не стоять бы на своём,
Иную обрели бы мы дорогу,
Ведущую к забвенью понемногу,—
И мы его и видим, и поём,
И чувствуем, и чувствуем везде,
Где есть надежда так, а не иначе
Уйти к нему тропой самоотдачи,
В мирской не задержавшись чехарде.

Когда подобно рвению оно
И вместе с тем похоже на смирение—
Намёков и примёт столпотворенье
Горенью без раздумий отдано
Для жертвенного света и тепла,
Для внутреннего строгого отбора,
Где истины крупичками не скоро
Сверкнул на солнце пепел и зола.

● ● ●
Перед маем есть такие дни,
Где бегут столетия, как дети,
Чтоб совсем не прятаться в тени,
А ещё вздохнуть на белом свете.

Как же их тогда благодарить?
Волшебством любви разделённой
Или тем, что нечем укорить
Этой жизни в музыке зелёной?

Не затем она опалена,
Чтоб зрачки под веками не прятать,
Не затем и родина дана,
Чтоб о ней не думать и не плакать.

Вот и свищем с хорами пичуг,
Непоседы в ясном постоянстве,
Где собраться вроде недосуг,
Подобреть, посетовать в пространстве.

А весна понятливей стократ
Разукрасит занавеси окон,
Чтобы шёл—и, обнятому рад,
Разобрался в щебете высоком.

Может, там простят и приютят,
Где земли притягивает лоно,
Где соткали пурпурный закат
Мастерские Тира и Сидона.

● ● ●
На мгновенье они погаснут,
Эти окна,—и вспыхнет вдруг
Всё, что снова тебя издразнит
Всем понятием странным—Юг.

Вот и думай, что лет немало
Ты провёл в этой странной тьме,
Что тебе одному внимала
За фонариком на корме.

Вот и вспомни избыток пыла,
Приподняв над водой весло,—
Истомило и разом сплыло
Всё, что веяло и вело.

Было зябко—и это знал ты,
Если горькую пил давно,
Вырывался и ты из гвалта,
Если сердце с мечтой—одно.

Было тяжко—но что случилось,
Если прошлое не виню,
Где приманок душа дичилась
И гадания по огню?

Ах, некстати всё это, право,
Да, видать, ему Бог судья!—
Вот и повести грустной главы
Вместе с клеймами жития.

● ● ●
Этот вечер—он был со мной,
Согревался огнём немалым,
Не казался совсем усталым
И шатался в глуши степной,
Где границ откровенных нет,
Где опущены снов ресницы,
Если странно белы страницы
Да нездешний не гаснет свет.

В зазеркалье оконных рам
Что-то важное, знать, пропало,
Что вначале к тропе припало
И кивало потом из драм,
К запредельным вело мостам
То, чего неизменно мало,
Что судьбу поперёк ломало
И давало простор мечтам.

Тяжелели глаза у слив,
Обрастала душа корою—
А, бывало, ходил в героях,
По возможности справедлив,—
А теперь мне и дом что скит,
И скитаться уже не стану—
Да и тени едва ль достану
Напоённых рекой раки.

● ● ●
Врата небес—не музыка иллюзий:
В хорале горнем сердце разорвав,
Единожды прозревший рвался к Музе,
Лишь тень крыла её поцеловав.

Но многожды прозревший в озаренье
Так часто с ней беседовал порой,
Что в замысле созревшее смирение
Оказывалось вовсе не игрой.

Как долог миг наития и веры!
Как пристально внимание высот,
Когда, уже не зная полумеры,
Напев тебя и спросит, и спасёт!

Утешь меня и попросту попробуй,
Глаза открыв, подняться наповал,
Где властвовал Зевесом над Европой
И обмороч паренья навевал.

Явись ко мне, минувшее, в грядущем,
Продли ещё угаданные дни,
Где бедствовать предсказано живущим,—
Но смилуйся и руку протяни.

Сиротство превосходства—не случайность,
И нечего с неузнанным шутить,
Когда глядит, как явь, необычайность,
Чтоб намертво вниманье обратить.

О песня, песня—длительная глосса!—
И, осознавший птицею себя,
Галактион к земле любимой нёсся,
О всём земном по-ангельски скорбя.

● ● ●
На что же мог ты уповать?
На то, что небо станет ясным,
А мир, как прежде, безопасным,—
И всё же нечего кивать
Кому-то в шуме дождевом,
В ненастном выщербленном гуле,
В ущербной мгле,—не потому ли
И вам в беспамятстве, кривом,
Как уходящая луна,
И вам в пути своём—неймётся,
И сердце сразу же сожмётся,
Распад познавшее сполна,—
И не отнекиваться вам
От смуты нынешней придётся,
А в том, что где-нибудь найдётся
Вниманье к этим вот словам,
Признаться, может быть, сейчас,
Пока опомниться не поздно,—
Уже и время смотрит грозно
В пещерном сумраке на вас.

● ● ●
Новое слово, сияние странное,
Чаянье скрытное, веянье тёмное,
Граянье смутное, пенье туманное,
Сходство подспудное, чувство бездомное.

Что за виденье и что за гадание
Там, за мостом, за тоскою осеннею?
Нет ни забвения, ни оправдания—
Всё для страдания и во спасение.

Что за сиротство под веками прячется?
Что за родство прозреваем печальное
С тем, что в листах календарных не значится,
С этой мольбою, с волшбой изначальной?

Невыразимое!—вновь оно связано
Верую кровною, властью случайною
С этой порою, где всё уже сказано,
Чтоб отозваться любовью и тайною.

● ● ●
Как в годы нашествий, шуршат
Листовою сухою
Деревья—и всё ж не спешат
К хандре, к непокою,
К зиме, что прийти навсегда
Хотела бы снова,
И даже незнамо куда,
Порукою—слово.

Так что же останется здесь?
Журчание струек
Сквозь жар, обезвоженный весь,
Да ворох чешуек
В пыли, у подножья холма,
Да взгляды хозяек,
Да ветер, сводящий с ума,
Да возгласы чаек?

И что же грядёт впереди—
Безлюдье, глухое
К тому, что теснится в груди,
Что есть под рукою,
Что смотрит из каждого дня,
Томясь на безрыбье,
Входя в сердцевину огня
Гремучею сыпью?

И всё же не надо вздыхать
О том, что пропало,—
Ему не впервой полыхать,
Звучать как попало,
Вставать, наклонясь тяжело,
Быть сердцу по нраву,—
Оно никуда не ушло,
Как звёздная слава.



А дело, стало быть, к зиме,
Когда хандра заплатана,
Зане качается во тьме,
Похищена и спрятана,
Не то растянута нить,
Не то стезя привычная,
Покуда надо сохранить
Извечное да личное.

Лимонно-жёлтый полукруг
Сиянья абажурного
Ещё расширится ли вдрут
До берега лазурного?
Чем ночь осенняя темней,
Тем голос наш протяжнее —
И можно выдумки теней
Приваживать отважнее.

Комки несбывшихся надежд
Ещё набухнут влагою,
Пока деревья без одежд
Не выбегут ватагою —
И, может, именно вчера
Выплёскивалось истоно
Рыданье позднего костра
В преддверье снега чистого.

Стремление граней неземных
Разрушить средостения,
Изгибов рвение речных
И зренья обретение
Уже понятны — и сожжён
Какой-то мост непрошенный —
И свет, что чем-то раздражён,
Застынет, огорошенный.

Желтея в пятнах и мазках,
Пора ночная хмурится —
И трудно, благо он в кусках,
Кому-то балагурится, —
За дверью вздрогнет целый мир,
Которому поверили,
И если странен он и сир,
Тепла-то мы не меряли.

Двоится, может быть, в глазах
Виденье неотрывное —
И я, наверное, в слезах,
Всё проще, всё наивнее, —
И осень всё-таки со мной
Совсем не церемонится —
И вот, воспрянув под луной,
Уже навстречу клонится.



Ближе к полуночи ветер шумит
Тёмной листвою сплошною,
Сердце тревожит и душу томит —
Что это нынче со мною?

Всё это — память, и с нею срослась
Речь мироздания сквозная,
В кровь просочилась и ввысь унеслась,
Ждать ли ответа, не зная.



Флоксы заполнили сад.
Это — исход карнавала.
Что ж, оглянусь наугад —
Юности как не бывало.

Молодость, пряча лицо,
Сразу за юностью скрылась.
Полночь. Пустое крыльцо.
Нет, ничего не забылось!

Прошное встало впотьмах,
Словно толпа у причала.
Окна погасли в домах.
Помни, что это — начало.

Всё, с чем расстаться пришлось,
Всё, что в душе отзывалось,
К горлу опять поднялось —
Значит, вовек не терялось.

Роз лепестки и шипы,
Свет на мосту и в аллее,
Шорох сухой скорлупы —
Нет, ни о чём не жалею!

Ветрено. Гомон в порту.
Флаги над мачтами вьются.
Вот перешли за черту —
Нет, никому не вернуться!

Кончено. Поднятый трап.
Берег отринутый. Пена.
Дождика в море накрап.
Знали бы этому цену!

Пасмурно. Холод проймёт —
Муки предвестие новой.
Только на веках — налёт,
Фосфорный, ртутно-лиловый.

Марина Саввиных

Целебная сила

О стихах Андрея Леонтьева

Споры о существовании и сущности поэзии, о её глубинах и вершинах, о простоте и сложности — стары как мир, но до сих пор актуальны. «Каждый может хорошо творить лишь то, на что подвигла его Муза», — устами своего героя изрёк когда-то Платон. А литературовед Наталья Пращерук совсем недавно поделилась в социальной сети: «Сегодня филолог-третьекурсник Слава сказал: „Поэзия — это не образность, это когда Бога становится больше...“» Дерзко! Но, пожалуй, в этом что-то есть...

Поэт если и не «умножает Бога» на земле, то, по крайней мере, своим бескорыстным трудом подтверждает Его присутствие. Поэзия и есть теодицея? Но тогда чуждое лукавства, открытое и ясное слово утешения и доброты, слово поэта, даже полное печали, — целительно. Это такое снадобье, за которое уже в древности люди кормили и оберегали странствующего певца, ибо он приносил им Бога — в том обличье и звучании, которые глаз и ухо человеческие способны принять, не сгорая дотла.

Поэт Андрей Леонтьев — как раз один из таких редких в наше время тружеников слова, которым, видимо, свыше дано снабжать одичавшего порой от безысходности и тоски современника универсальными болеутолятелями. Возможно, потому, что самому Андрею претерпевать и одолевать душевную и физическую боль — совсем не в новинку. Но не в этом дело! Я всегда считала, что художественная форма тем совершеннее и чище, чем выше градус её внутренней обработки. «Чисты мои слова — я их в себе сожгла».

Стихи Андрея Леонтьева отмечены печатью «самосожжения». Они идут из такой исповедальной глубины, что, кажется, и формы-то в них уже не осталось — чистая лирика, чистая душа... Кое-кто считает это недостатком, но мне за этой кажущейся простотой видна огромная творческая работа, тем более что путь, пройденный Андреем Леонтьевым за последние десять лет, я могла наблюдать с достаточно близкого расстояния.

Да и сам поэт чувствует масштаб своего пути и этой работы:

Отгрохотали бури междометий,
И сжался в точку многоточий ряд.
Слова, что прежде бегали, как дети,
Теперь в строю по-взрослому стоят.

Дух странничества, бесконечного поиска человека (ещё от античной традиции — «днём с огнём»), из которого произрастает эта поэзия, обязательно заражает читателя ответным стремлением, ибо, кажется, нет нынче в искусстве ничего более востребованного, чем жертвенная искренность, напряжённая совестливость и каждую секунду готовая к отдаче человеческая доброта. Собственно, так задан портрет лирического героя этих стихов. Тоска по идеалу («Реинкарнация») находит выход в смиренном приятии и оправдании жизни как таковой — ближних и дальних людей, конкретных, узнаваемых, равно и грешных, и ни в чём не виноватых.

...Знай отсчитывай годы десятками.
Всё быстрее повозку мы гоним.
Обрастая в пути недостатками,
Неприметную совесть хороним.



Облака плывут далече —
Расхотелось небу плакать.
Просыпайся, человеке, —
Новый день. Весна, однако...

При этом речь Леонтьева до такой степени лишена всякой нарочитости, пафоса, настолько полна самоиронии и тонкой (кажется, чисто русской) стыдливости, что трудно представить её в формате «громкой читки» — здесь интонация дружеской беседы, исповеди, выстраданного признания, которое возможно только шёпотом, с глазу на глаз.

Такое исповедальное пространство и создаёт поэт — для себя и друга-читателя. И видит Бог — им хорошо вдвоём.

Андрей Леонтьев

Без наркоза

Операция

А. Голикову

Бестеневую включили лампу.
Наркоза нету...
В сухую глотку залить сто грамм бы!
Эй, доктор, где ты?
Но тот не слышит, заносит сонно
Блестящий скальпель,
И стол краснеет от раскалённых
Кровавых капель...
А этот, в белом, глядит с прищуром:
А ну как струшу?
Не плоть мне режет рассветом хмурым—
Живую душу.
...И свет погаснет, я молча встану,
Уйду небрежно,
Слегка шатаюсь, как будто спьяну,—
Уже не прежний.
И боль исчезнет в душе зашитой...
Я сплуну смачно:
Свой долг исполнил хирург небритый
Вполне удачно...

Судьбина

*По края наполню флягу
В ноль десятую ведра
И засяду, и не лягу
Аж до самого утра.
<...>*

*Вот такая, брат, судьбина
У поэта на Руси.*

С. Кузнецихин

В одиночку пить приучен,
Но, увы, не тот настрой.
Всё ж насколько было круче—
В тесной кухоньке с тобой.

Пили, чокаясь, «казёнку»,
И слюной бы сам Господь
Изошёл, когда ты тонко
Ледяную рыбью плоть

На столе строгал на закусь.
И под байки на ура
Мы судьбин поэтов ракурс
Обсуждали до утра.



Счастливец тот, кто, шелуху провеяв,
Во дни потерь, что часты и горьки,
Зерно любви отыщет—и поверит,
Всей нелюбви вселенской вопреки...



Пусть грязное снежное крошево,
Колючий пусть ветер—
Надейся всегда на хорошее
И думай о лете.
Пусть снегом душа припорошена
И сердце ледышкой—
Надейся всегда на хорошее,
Не сдайся, малышка.
Согрею дыханием трепетным
Всё то, что застыло,
И что-то из облачка слепят нам
Небесные силы—
Забавное что-то и нежное,
Как детский рисунок...
Пусть грязное крошево снежное
Зима нам подсунет,
И ветер пусть гостем непрошеным
Скребётся под дверью—
Оно где-то рядом, хорошее,
Ты только поверь мне...

Весна

Где-то радостно и звонок
Рассудачились синицы;
Лужа, радужною плёнкой
Глядя в небо, веселится.
В рот засунув палец грязный,
Хитро щурится ребёнок.
И, какой-то несуразный,
К небу тянется спросонок
Пожилой корявый тополь
У разбитой вдрызг дороги...
Голубь крошку хлеба слопал,
Нагло сунувшись под ноги.
Облака плывут далече—
Расхотелось небу плакать.
Просыпайся, человеке,—
Новый день. Весна, однако...

К чертям

Я проситься буду в пекло адово...

Инна Лиснянская

Я проситься буду в пекло адово
В скорбный час, когда «сыграю в ящик».
Надо бы давно чертей порадовать—
Бросят пусть меня в котёл кипящий.

По кругам проволокут пусть Дантовым
Равнодушно—дело-то привычное.
И не спросят: «Что ж такого сам-то ты
Натворил по жизни неприличного?»

Раз не спросят—значит, не отвечу я,
Как хотел хорошим быть и правильным,
А ещё—как душу искалечили
Да во что-то злое переплавили...

Я проситься буду в пекло адово,—
Эй, подбавьте жару, черти-братцы!
Одарите высшею наградою—
Дайте мне с собою рассчитаться...



Отгрохотали бури междометий,
И сжался в точку многоточий ряд.
Слова, что прежде бегали, как дети,
Теперь в строю по-взрослому стоят.

В котле стихов переварились строчки,
Перевалило солнце за зенит.
...И только в сердце, в самом уголке,
Струна печали тоненько звенит...



Я, наверное, лунатик—
Я гуляю по ночам...
Раздаю улыбки—нате!—
Кошкам, пьяным и бичам.

Осень листья рассыпает
По асфальту мостовых,
И луна, почти слепая,
С неба щурится на них.

Я иду по этим листьям...
Ночь... но светится лицо:
Жёлто-красным путь мне выстав,
Ты пришла в конце концов—

Осень! Добрая подруга
Одинокости моей!
С каждым годом, с каждым кругом
Ты мне ближе и родней.

Дождь на улице, иль ветер,
Или грязный мокрый снег—
Я лицом всё так же светел,
Я—счастливый человек!

Собачья жизнь

Исповедь бродячего пса

Пронеслась и погасла комета...
Солнца луч затерялся меж сосен...
Отцвело безмятежное лето,
Наступает на горло мне осень...

Потихоньку, хвосты поджимая,
Псы бродячие ищут приюта.
Долго ждать им, беднягам, до мая,
И совсем не дожидаться кому-то...

Я—один из таких же гонимых,
Тех, что жаждут случайной подачки.
Но проносят желанное мимо,
За душой—ни еды, ни заначки.

И, глотая слезу за слезою,
Еле слышно скуля в безнадёге,
Я бегу беспросветным изгоем
По чужой и враждебной дороге.

Уж не греет облезлая шкура
Неуютной осеннюю ночью,
И дичает собачья натура,
На глазах превращаясь в волчью.

И, сбиваясь в голодные стаи,
За предательство мстим мы миру,
Липким страхом сердца терзая
Тем, кто в тёплых живёт квартирах.

Берегитесь же, сытые твари!
Безысходность рождает злобу.
Мы в промозглом ночном кошмаре
С ваших страхов снимаем пробу.

Упиваясь минутной властью,—
О, как сладостен миг расплаты!—
Мы кромсаем и рвём на части
То, что было святым когда-то...

...А наутро—по прежнему кругу:
Будет день, но не будет пищи,
И тоска по хозяину-другу
Вновь в душе уголок подыщет.

В сновиденьях своих собачьих
Сторожим мы жилища снова,
С детворою играем в мяч
И за палкой бежать готовы...

Но как только накроет вечер
Одеялом колючим город,
Снова страхом мы человеческим
Утоляем звериный голод,

Обнажаем клыки в оскале,
К голове прижимаем уши...

...И летят в неизвестные дали,
Пропадают собачьи души.

● ● ●
 Не прогнать, не рассеять тоску по наивным годам,
 Где себя обретал через чтение «правильных» книжек,
 Где, воспитан в безбожье, ты строил свой внутренний храм
 И, не зная молитв, тем не менее к Богу был ближе...

Ныне всё на виду, и, церковей мириады отстроив,
 Толпы слуг всенародных в них шествуют, как на парад.
 Ныне время других — чёрно-белых жестоких героев.
 Полутени не в моде: для века они — неформат.

Пробиваясь локтями, стремятся вперёд, к алтарям, —
 Нажит в битвах за место под солнцем рефлекс этот чёткий, —
 И вздымаются ввысь, куполами златыми горя,
 В виде взятки Ему — их зелёные тыщи и сотки.

Нет, никак не рассеять тоску по наивным годам,
 Где, воспитан в безбожье, ты строил свой внутренний храм...

Старая липа

Я однажды смогу — и приеду туда, где вырослел.
 И пройду по двору осторожно и неторопливо,
 Где когда-то мальцом вытворял уйму чёртову дел,
 Где стоит до сих пор погрузневшая старая липа.

Прислонившись к родному стволу, помолчу постою,
 И, погладив рукой осторожно шершавую кору,
 Я почувствую вдруг — ненавязчивым, лёгким укором —
 Перед временем искренним тем виноватость свою:

Что уехал давно и отъезду бездумно был рад,
 Что на долгие годы забыл к этой липе дорогу...
 Вообще, в жизни многое я совершал невпопад,
 Но приходит пора — и стремишься к родному порогу

Всем своим существом, и неслышно кричишь от тоски,
 Как деревья кричат, у которых отрублены корни...
 И далёкое детство стучится в седые виски
 Бесконечным набатом: не дай позабыть себе, помни!

И глубокою ночью проснусь вдруг в холодном поту —
 Заколотится бешено сердце, до стоны, до хрипа.
 Закурю сигарету — и просто поверю в мечту:
 Я однажды приеду к тебе, моя старая липа...

Жестокий век

*О мой век полезно-бесполезный —
 Золотой, серебряный, железный,
 Медный... О, небесный и земной!
 Посмотри, что сделал ты со мной...*

Н. Ерёмин

Что ж ты, век, с поэтом сделал ныне —
 С дум людских властителем былым?
 Были — кто брюнетом, кто блондином,
 Стали же — кто лысым, кто седым.

Юрий Беликов, Зоран Костиц

Когда народ становится пропащим

Мы вместе «жюрили» конкурс молодых поэтов, который проходил в Пермском институте культуры. Зоран удивлялся и одновременно радовался, что русские, пусть начинающие, авторы пишут на приличном уровне, а кроме того, в основном — в рифму. И призывал тех, кто, по его мнению, поддавшись западной пагубе, оступился в грех лукавой верлибристики, вернуться в лоно традиции, которую, в свою очередь, хранит русская поэзия от Пушкина до Бунина.

С Зораном, конечно, на сей счёт можно поспорить, припомнив хотя бы классические примеры невянувшего свободного стиха классиков русской поэзии в лице Александра Блока («Она пришла с мороза, раскрасневшаяся...») или его антипода Николая Гумилёва («Старый бродяга в Аддис-Абебе, покоривший многие племена...»), если уж не касаться «океанских» верлибров Пабло Неруды и считать всего лишь образцом экзотическо-экзотической прозы «рахат-лукумного» Тимура Зульф리카рова.

Однако вскоре по сходному поводу я услышал мнение Олеси Николаевой, лауреата премии «Поэт» и профессора Литературного института, ведающей, чем дышат нынешние студенты, выбравшие в качестве профессиональной ориентировки сей легендарный вуз. Тревога Олеси заключалась в том, что многие из них пишут теми самыми верлибрами. И, по её ощущению, это ни больше ни меньше, а «идеологическая диверсия». Посему генеральный секретарь Общества сербско-русской дружбы Зоран Костиц, может, не так и далёк от глобальной истины?..

— Пишете ли вы пьесы? — допытывается он у меня. Я отчего-то задумываюсь.

— А мог бы! — отвечает за меня давно знающий Зорана поэт Игорь Тюленев, один из членов конкурсного жюри. Очевидно, он намекает на мои диалоги в журнале «День и ночь», иногда напоминающие сцены, где разыгрываются интеллектуальные шторма и человеческие страсти. Вот и сейчас нам с Зораном предстоит услышать друг друга...

Костиц — поэт баскетбольного роста. Некоторым своим собеседникам я раньше часто задавал вопрос: «Кто выше — баскетболист или поэт?» Теперь, после знакомства и разговора с классиком сербской литературы, могу согласиться: в данном

случае этот вопрос отпадает, как у ящерики хвост. Зоран соединяет в себе внутреннюю высоту и внешнюю. Кроме того, в своё время он действительно профессионально играл в баскетбол. Но это — во времена, когда на карте мира ещё значилась такая страна — Югославия.

— Зоран, у меня есть довольно устойчивое ощущение: мы, русские, ищем себя в сербах, а вы, сербы, ищите себя в русских. И это происходит на протяжении очень давней истории. Когда-то мы могли политически и географически объединиться. Однако этого, увы, не случилось. Но упорный дрейф частиц расколотого славянского континента навстречу друг другу ведь всё равно продолжается?

— Вы привели верную формулу исторического поиска двух народов. Действительно, вся история проходит под знаком тяготения друг к другу сербов и русских. Сербов — в особенности. Но это эхо ещё языческих времён. Я уверен, что мы когда-то были одним народом. На месте древнего поселения близ Белграда найдено так называемое Винчанское письмо. Таблички, деревянные и глиняные, которые старше Христа. Археологи утверждают, что этим табличкам и письму — от трёх до шести тысяч лет! На них — кириллица, двадцать восемь букв. Конечно, это открытие международная наука хорошо утаила — западная в особенности. Она не может себе позволить, чтобы кириллица имела такой древний статус! И всё это официально называется этрусским письмом. Даже в самом названии — свидетельство того, что этруски — это русские.

А прислушайтесь, как звучит старое наименование сербов: рашцы! Средневековое название сербской столицы двенадцатого века — Рашка. О чём это говорит? О том, что все эти звуковые переключки — корневая система нашей совместной человеческой цивилизации.

— То есть эта странная тяга искать себя друг в друге: сербов — в русских и русских — в сербах, — есть православное поминовение об общем доме?

— Убеждён, что это так. А официально история взаимоотношения русского и сербского народов начинается со времён святого Саввы, который совершил монашеский постриг в одна тысяча сто

девяносто седьмом году на горе Афон, в обители «Старая Русь». Ныне на её фундаментах стоит монастырь Святого Преподобного Пантелеймона. Святой Савва был престолонаследником сербского короля Стефана Немани. Отец первое время старался его как-то вернуть восвояси, а потом сам, будучи королём, принял монашеский обет. Стал Семёном Мироточивым. И с этих времён сербы и русские начинают обмениваться церковными книгами. У нас была одна служба.

— Наши общий друг, замечательная русская певица Татьяна Петрова как-то мне сказала: «Знаешь, я, однажды приехав в Сербию, втайне надеялась услышать там подлинные славянские мелодии, отсылающие нас к нашим общим корням. Но была крайне удивлена, потому что в славянском поле вдруг зазвучали какие-то чуждые восточные напевы, которые сербы принимают якобы за свои». Вы с этим утверждением согласны?

— Это ужасно! Весь профессиональный сербский, славянский, византийский совместный мелос был отравлен. На таком геополитическом скрещении мы находимся. И не только Татьяна Петрова — я тоже слышать это не могу. Да многие не могут слышать. Этот популярный фолк, наводнивший сегодня Сербию, я воспринимаю как катастрофу. Именно на сей счёт мы тогда с Татьяной после её великолепного концерта и разговаривали на белградском телевидении, хотя я не являюсь никаким экспертом в музыке. Она сама подняла этот вопрос. А я помогал ей в переводе.

— В одном из интервью вы говорили о том, что «Сербия — последний оплот Европы в её столкновениях с Америкой». К какому времени относится это ваше высказывание?

— К девяносто первому или девяносто второму году...

— Если бы я услышал эту формулу в девяносто первом или девяносто втором году, мне бы ничего не оставалось, как с ней согласиться. А сегодня, пожалуй, назрела какая-то иная формула, потому что Европа-то, в её географическом и политическом преимуществе, не сталкивается с Америкой, а идёт у неё на поводу. Разве не так?

— Европа превратилась в колонию. Полностью. Её колониализм вернулся к ней бумерангом. Тогда, в девяносто первом — девяносто втором годах, мы ещё могли придерживаться суждения, что «Сербия — это последний оплот Европы». Знаете, я вам скажу такую вещь: по сути, война в Югославии была войной против Европы. Только Европа этого не понимала. Недавно ваш президент Владимир Путин, выступая на Генеральной Ассамблее ООН по поводу Сирии и других разрушенных ныне междоусобицей арабских стран и обращаясь

к руководству США, произнёс прекрасные, горькие и точные слова: «...Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?» Но сейчас надо спросить и европейцев: «Вы хоть понимаете, чего вы натворили на протяжении этих двадцати последних лет?!» Однако никто не хочет с этим согласиться, умножая очередную глупость...

— Не будите сирийскую пустыню, иначе она засыпет вас песком! Так и произошло — даже не в иносказательном, а в прямом смысле. Песчаная буря в Сирии перекинулась на другие страны...

— Я отлично понимаю, о чём вы говорите. К нам это понимание пришло гораздо раньше — в том же тысяча девятьсот девяносто первом году: мы тогда уже осознавали, куда клонится мир. Но минуло несколько лет — открылся Гаагский трибунал, где подвергли суду наших сербских лидеров: Милошевича, Младича, Караджича, Шешеля... Я наблюдал за тем судилищем. Написал несколько пьес на эту тему. У нас в Сербии и Республике Сербской поставить их на театральной сцене невозможно. Но эти мои пьесы идут в Минске, а также — в России. Как драматургу мне кажется, что на сербском плацдарме столкнулись не только две цивилизации и две политики, но и два начала — божественное и сатаническое. Столкнулись глупость с умом. На стороне божественного начала — ум. На стороне сатанического — глупость, которой не нужны факты и аргументы. Ей достаточно тупой и грубой силы, и, кроме неё, больше ничего. И мы видим, как теряется разум и как выигрывает глупость.

— А если вернуться к славянскому миру, который вокруг Сербии... С точки зрения человека усреднённого, смотрящего из России в сторону бывшей Югославии, много непонятного. Вроде бы славяне, но одних называют хорватами, других — боснийцами, третьих — сербами, а четвёртых — ещё и мусульманами. Оказывается, мусульмане — это не религиозная, а национальная принадлежность?! Вы можете преподавать на сей счёт урок политической географии? Что у вас там за пицца сотворилась?!

— Пицца, приготовленная шизофреническими кулинарами истории! Если кратко, это выглядит так. Откуда у нас мусульмане? Откуда — католики? Это всё были сербы. В прошлом — православные. До пятнадцатого века. Но мы находились под турецким игом более четырёхсот лет. И этого не забудем. После битвы на Куликовом поле была битва на Косовом поле. У вас — в тысяча триста восьмидесятом, у нас — в тысяча триста восьмидесятом. Вы одержали победу, а мы потерпели поражение и потеряли царствие земное. Турки заняли нашу страну, и вот с этих времён, через пятьдесят лет, наша земля была уже частью Османской империи. Но именно тогда начинаются наши восстания. И вся наша история — это история

восстаний. А многие — из-за исторического удобства — перешли в ислам. И вот так появились у нас мусульмане. Это всё бывшие сербы. Точно так же другие пересекли границу, убежали то в Австрию, то в Венгрию, то в Венецию. И там принимали католичество. И это тоже бывшие сербы.

— Но вы — один народ?

— Но это не имеет уже никакого значения! Мы столкнулись с печальной истиной, которая звучит так: кровь ничего не значит.

— И ментальность?

— Она изменилась абсолютно. Пресловутый политический инжиниринг сыграл свою зловещую роль. Иными словами, религия имеет более серьёзное влияние, чем генетика. Так начинается прозелитизм, когда надо продемонстрировать, что ты святее Папы Римского. Вариант этого прозелитизма — пограничное католичество. А пограничные — в своей религии самые агрессивные. И грех исторический берут на себя. Так весь двадцатый век над сербами идёт сплошной геноцид. Мы потеряли четвертую часть народа! И вообще чудом живы. Просто тяжело объяснить, как мы пережили всё это...

— Видимо, чем народ количественно меньше, тем нация становится сплочёнее и тем мощнее сопротивление? Потому что на уровне генетики нация чувствует, что она может исчезнуть совсем. И поэтому вы более активны, чем, к сожалению, мы, русские. Огромная нация... Мы и монголо-татарское иго пропустили сквозь себя, и выжили после Куликовской битвы, приобретя широкие скулы и сабельный разрез глаз. Но поскольку мы — большая нация, то многое позволяем другим.

— Вы расслабляетесь. Вы думаете: «Мы огромные! Кого нам бояться?!» Это — страшная ошибка. Расслабляясь, вы утрачиваете бдительность. А серьёзная нация всегда должна быть очень осторожной и внимательной: надо наблюдать за происходящими процессами. Однако у русских это качество просто-напросто отсутствует. Может быть, вообще у православных оно отсутствует? Не знаю. Православным свойственна доверительность. Остальные никто никому не доверяют.

— Вы не так давно вернулись из Иркутска, где была поставлена ваша пьеса «Тринадцатый день». Один из её героев — полковник Раевский, который участвует в освободительной войне тысяча восемьсот семьдесят шестого — семьдесят восьмого годов, когда Сербия восстала против турецких захватчиков. В этой войне на стороне сербов сражались две с половиной тысячи добровольцев из России. Возглавляли их генерал Черняев и полковник Раевский. И это был тот самый исторический

момент, когда русские и сербы могли объединиться на государственном уровне. И если бы мы тогда объединились, то история, не только русско-сербская, а вообще — европейская история...

— ...пошла бы по другому руслу! Европа всячески этому сопротивлялась. Правительства всех европейских стран были против: «Почему сербам нужна свобода?» Освободительная война нарушила, как они утверждали, европейский баланс. Кстати, сам Раевский был у Льва Николаевича Толстого прототипом Вронского. «Я погиб тринадцатого дня по приезду в Сербию». И в пьесе моей, названной «Тринадцатый день», встречаются дух Анны Карениной и сербская невеста Раевского Софья Станкович (есть легенда, что была у него такая). Какая из двух заберёт его к себе? Оставит ли на земле? Или пойдёт с ним в небо? Раевский за Анной пошёл...

— У вас есть такой моноспектакль «Кома», в котором играет ваша жена, русская актриса Елена Трепетова. Это ведь написано в начале девяностых? И в этом моноспектакле действует Милан Петрович...

— Это — я.

— Но аллегорический смысл пьесы в том, что в коме не только главный герой, в коме...

— ...два народа — сербы и русские. Я недавно вернулся из Ставрополя, где мне вручили литературную премию «Золотой витязь» в номинации «Поэзия». Так совпало, что действие моей пьесы происходит именно там — только двадцать лет назад. Тогда я весьма серьёзно заболел... Когда меня приняли в Союз писателей России, мне устроили нечто вроде гастролей — в Пятигорске и Ставрополе проходили мои творческие вечера. И когда они закончилось, я ждал специальную бумагу, чтобы попасть в Чечню и сделать оттуда документальный репортаж. И в ожидании этой бумаги переводил с русского на сербский стихотворение Михаила Лермонтова последнего года жизни, написанное там, на Кавказе, в тысяча восемьсот сорок первом году. Это «Выхожу один я на дорогу...». И писал эссе для сербской «Литературной газеты».

В это время у меня обострилась язва. Плюс простуда. Я пил аспирин. И усугубил язву. Она лопнула. Я маялся неделю. У меня кровь накапливалась в кишках. А в это время я мучился над первой лермонтовской строчкой: «Выхожу один я на дорогу...» Перевод этой строчки на сербский язык звучит очень банально. Я всё время спрашивал себя: почему он так начал? Чувствую — дело плохо. Меня повезли в клинику, оперировали. Кровь попала в лёгкие. И я двадцать один день был в коме. И всё время мне снился Лермонтов. Там, где мы остановились в реальности, продлился наш

разговор. Я не буду озвучивать все его тонкости. Скажу лишь, что там, во сне, мы были на «ты»...

Я лежу в коме на поляне. А он идёт в своём мундире, и колышки в землю вбивает, и верёвочками привязывает меня к ним, чтобы я в небо не взлетел! И я спрашиваю его: «Почему ты именно так начал своё стихотворение? Всё остальное гениально, а эта строчка какая-то слишком обыкновенная». Лермонтов говорит: «Слушай, я тебе объяснить не могу. Но если бы я не вышел оттуда — из того дома, где я тогда находился, где мне было так скучно и страшно, я бы умер. Из-за этого я так и начал: „Выхожу один я на дорогу...“». А я спрашиваю: «Что мне делать? Я эквивалентную строчку найти не могу». И он так спокойно и лаконично отвечает: «Если не найдёшь, ты умрёшь». Я помню, как испугался в этой своей коме. И нашёл, как должна звучать первая строчка по-сербски. И вышел из комы! И написал пьесу с одноимённым названием.

— *А что послужило толчком к написанию вашей поэмы «Котёл», переведённой на русский Юрием Лакербаем? Она производит сильное впечатление на многих, кто её читал. В частности — каннибалическим цинизмом одного из героев, который, оказывается, на тот момент работал председателем скупщины одного из районов Хорватии.*

— Эта история случилась в тысяча девятьсот девяносто первом году в Хорватии. В те времена там жили двадцать пять процентов сербов, хотя они — коренной народ. Как и по всей Югославии. Я был в гостях. Происходили литературные встречи. Но Хорватия уже начинала отделяться от Югославии. Хорваты перешли на парламентскую систему управления. А остальная Югославия ещё была однопартийной. И тут мне в руки попало одно письмо. Его автор действительно был только что выбранным председателем районной скупщины. Про него мне сказали так: «Бывший преступник, фашист». Усташи, как назывались они у нас. Это наподобие бандеровцев. Хорватия впервые в истории имела государство, начиная с десятого апреля тысяча девятьсот сорок первого года. До этого никогда не было такого — хорватского — государства. Как известно, сам Гитлер, приехавший в Загреб, благословил его возникновение.

И вот я читаю письмо, которое сей субъект (человеком его назвать у меня не поворачивается язык) адресует своей бывшей — «недорезанной» — жертве. Я произношу его имя: Боян Циндрич. Это случилось в том же сорок первом году. Девочке тогда исполнилось двенадцать лет. А когда он это письмо написал, ей было уже шестьдесят два. Я начал читать и не мог поверить собственным глазам. «Сука! — так начиналось это послание. — Я думал, что мы тебя убили, но, к сожалению, ты жива. Ты упала в обморок, потеряла сознание. Но я тебе сейчас напомню, как убивали твоих

родственников. Отца — так, мать — так, брата — так, сестру — так. А твоего самого младшего двухгодовалого братишку мы заживо сварили в котле. И эта вода кипела!.. И я тебе говорю: нет ничего вкуснее варёной сербятины...»

Сделав фотокопию этого письма, я пошёл с ней в ту многострадальную деревню. Эта женщина попросила: «Ради Бога, не пишите об этом. У меня ведь — внуки. Меня здесь многие знают...» Я пообещал. Но потом решил пойти к нему — к этому отродью, сатане. У меня была секретная идея: я задумал его убить. Я тогда ещё имел силы. И мог вцепиться ему в горло зубами. Взял диктофон, пошёл его искать. Нашёл дом.

Ограда высокая, чугунная. Позвонил. Навстречу — огромный дог. А во дворе — такой порядок, такие розы!.. Наверное, совесть подобных людей любит порядок. Вышла его супруга: «Кто вы?» — «Журналист из Белграда». — «Не-ет, врётё, — ядовито протянула она. — Вы — сербский монархист, известный националист». Видимо, она знала меня в лицо. «Тем не менее, — ответил я, — я хотел бы сделать с вашим супругом интервью». — «Но он не здесь — он на совещании в Загребе!»

И тут, гляжу, Боян Циндрич собственной персоной. Открывает дверь и с порога наблюдает за мной, фраер. Во рту — зубочистка. Смотрит цинично. Говорю: «Но вот же он — появился!» Она поворачивается, глядит на него, потом — на меня и заявляет: «У вас — галлюцинация, как у всех сербов! Там нет никого...» Она подошла к нему, он её обнял и показал мне фигуру, которую я сейчас не буду воспроизводить. Я только успел спросить: «А какое вино вы пили с сербятиной?..» На том и закончилась наша встреча...

Потом, когда вышла эта моя книга «Котёл», она имела большой тираж, и все деньги, полученные от её продажи, издатель направил на переселение Милицы (так звали женщину, которой адресовал письмо отведавший «варёной сербятины» подонки), на переселение её дочери, зятя и внуков из Хорватии в Сербию...

— *Слушал ваш рассказ и мне пришли на память строки боевого советского офицера и русского поэта Сергея Наровчатова, написанные им в марте тысяча девятьсот сорок пятого года:*

Где сердца единого сплава,
Там слова созвучны словам:
Скажут — Славия, слышим — слава,
Скажут — слава, вспомним — славян...

Тогда, в сорок пятом, да и потом — на протяжении по меньшей мере двух десятилетий, эти строки звучали гордо и восторженно, а сейчас — с оттенком горечи... Нет Славии, а если, ко всему прочему, ещё учесть события на Украине, приходится признать: нет и единого славянства...

— Когда освобождали Белград от фашистов (а это середина октября сорок четвёртого года), отец мой был комиссаром дивизиона. И вот, будучи в центре города, они весь день не могли продвинуться из-за угла. Потому что угол простреливался немецким снайпером. Уже погибли десять бойцов. И тут напротив, через улицу, появляется подразделение Красной Армии. Мой отец и его друзья впервые видят советских солдат и командиров. И пантомимой показывают русским, что за углом — опасно, чтобы они туда не выходили. А на той стороне — полковник, который не может понять, в чём дело. И спрашивает в мегафон: «Друзья, товарищи! Где расположена старая белградская крепость?» Отец мой, не выходя из-за угла, вновь показывает рукой, куда им двигаться. И тогда Максим, один из его бойцов, вдруг произносит: «Так не разговаривают с русским офицером!» И выходит за тот злополучный угол, хотя знает наверняка, что получит пулю, и чётко указывает направление, куда идти русским. И пуля попадает ему в грудь. Однако Максим был сильным. И Бог хотел, чтобы он выжил. И он выжил. Но в сорок девятом году его осудили на пятнадцать лет. Отсидел он восемь. Но вот характерная деталь: в обвинении было написано, что Максим «ещё с тысяча девятьсот сорок четвёртого года проявил свою безумную любовь к России». Таково было действительное славянское единение. Что потом?..

Я, конечно, не ждал развала Югославии. Но то, что впоследствии приключилось на Донбассе, у нас произошло много раньше. Явно — в девяностые годы прошлого века, но лично я почувствовал это ещё за двадцать лет до того. Все слышали: Косово, Косово, Косово... Постоянно об этом говорят. Фильмы снимают. Но я помню: в восемьдесят шестом году впервые появилась статья о том, что сербы Косово покидают. Бегут от этого албанского меньшинства, которое сейчас стало большинством. И в этой статье — снимок, а на снимке — деревянная ограда, а на ней — табличка: «Продаётся деревня». То есть — полностью. Даже с кладбищем! И я в тот же день написал стихотворение «Объявление в газете». В девяносто первом году оно переведено было на русский Юрием Лощицем:

Скупаю старые искромсанные рощи,
корявые дубы и сосны скупаю,
ведьмачьи утробы, где нечисть ропщет,
по-волчьи воя, по-лисьи лая.
Скупаю тучные и сухие нивы,
пшеницу, рожь, кукурузы початки,
стерню, терновники, кипень крапивы,
огородные пугала, межи и грядки.
Скупаю в горах сторожки пастушьи
(денежки — сразу!), а в долинах сёла,
целиком, частями, где живые души,
и те дома, где пусто и голо.

Скупаю остовы, печища, руины,
лебедой и полынью заросшие стены
(очаги из старой морщинистой глины,
без крыши, имеют особую цену).
Скупаю большие дома и хибары,
хлевушки, подвалы, чуланы, повети,
нужники, собачьи конуры, амбары,
овины, свиные и овечьи клетки,
монастыри, церкви, часовни и башни —
скупаю древние ваши святыни,
пристанища мёртвых скупаю ваши
(лучше — забытые всеми живыми).
Скупаю все ваши поля на свете,
мёртвых молчанье, живых дыханье,
скупаю воздух, воду и ветер
и в небесах облаков сверканье.
Солнце, звёзды — от края до края, —
минувшие дни и те, что будут,
все имена ваши оптом скупаю
и все их стираю — до последней буквы.

Меня, как представителя Союза писателей Сербии, в девяносто первом году пригласили в Хорватию. Сербы занимали тогда четвёртую часть хорватской земли. Сейчас их там уже нет. И я оказался в доме единственного человека, пережившего резню, устроенную уставами четырнадцатого мая сорок первого года. Это произошло в городке Глине, в православной церкви, где были убиты тысяча двести сербов. Переполненный трупами храм затем сожгли. Сейчас на том месте — Дом культуры.

И вот открываем памятник на братской могиле, и этот старик начинает рассказывать, как их резали. Это что-то страшное! Я никогда в жизни не видел такой пантомимы! Он слова не сказал. Он танцевал! Он был то жертвой, то палачом. Под впечатлением от увиденного я, вернувшись в гостиницу, написал стихи. С утра, после церковной службы, литургии и крестного хода, прочитал их над братской могилой:

На этом месте, всемогущий Боже,
Тебя с детьми и стариками тоже,
Облив бензином, обложив дровами,
Огню предали в православном храме.
Все стихло. Только головни дымились.
Дела закончив, палачи умылись.
Здоровые легли в постели к милым,
Слова любви шепча с таким же пылом,
С такой же страстью, Боже, и любовью,
С какою храм Твой заливали кровью...

А часа через три-четыре хорватское телевидение объявляет меня в розыск. Показывают мой анфас, профиль. И призывают: тот, кто его приведёт или убьёт, получит деньги. Неплохие. Думаю, такого гонорара писатели никогда не получали...

— Известно, что раскол когда-то единой Югославии, по сути, начался ещё с Иосипа Броз Тито,

кстати, во время Первой мировой войны попавшего в плен и очутившегося в Сибири. Но тогда, когда Тито стал президентом Югославии, он заложил столько политико-этнических «мин» в фундамент собственного государства, что они в конце концов не могли не сработать. Но что за история с «раздвоением личности» самого Тито?

— В последнее десятилетие у нас начинают появляться документы, а также историки, которые эти подлинники читали. Да, действительно, Тито, между прочим, женившийся шестнадцать раз, оказался в России во время Первой мировой войны, являясь на тот момент подданным Австро-Венгрии. И первая его супруга была из-под Омска, и звали её Пелагеей. Он не взял Пелагею Денисову с собою. Существуют фотографии времён Первой мировой, на которых Иосип Броз (Тито он прибавил себе гораздо позднее) или человек, на него похожий, сражается против сербской армии в тысяча девятьсот четырнадцать году. Тот Иосип Броз продолжал воевать и дальше и погиб в Галиции. А его двойник (и Коминтерну, говорят, это было известно) якобы присвоил себе часть его имени и стал тем, кто нам известен как Иосип Броз Тито.

Итак, плен. Встреча в больнице с Пелагеей. И будто бы здесь Тито очень быстро научился играть на пианино. Но вообще-то тот мальчик, который погиб в Галиции, был родом из хорватской деревни. Мог ли он играть на пианино? Как известно, это была привилегия аристократии. Потом, уже под старость, Тито начал забывать и говорить, что он — в прошлом ещё и чемпион по фехтованию. Возникает новый вопрос: как мог крестьянский мальчик быть чемпионом по фехтованию? И знать, что такое фехтование, в принципе?

И вот Тито вместе с русским маршалом Фёдором Толбухиным — в освобождённом Белграде. Сперва, как представитель Красной Армии, говорит Толбухин. Потом — Тито. Присутствовавшие на той встрече свидетельствуют, что на белградской площади гораздо лучше понимали речь русского военачальника, чем Иосипа Броза Тито. Потому что он говорил неизвестно на каком языке. Напоминающем польский. В его речи было много шипящих. Есть версия, что этот Иосип Броз Тито родился где-то на границе Польши и Венгрии и был по происхождению из венгерско-польских евреев. Типа Николя Саркози в нынешней Франции. И, конечно, неслучайно вся политика Тито, начиная со Второй мировой войны, была направлена против сербов.

— И Тито себя не идентифицировал как серба?

— Никогда! Он себя идентифицировал как югослава. О своём происхождении он обычно говорил: «Вы знаете, мне это так неинтересно!»

— Но югославы — это собирательное понятие? Вроде наших «дорогих россиян»?

— Или было ещё слово «советские». Вот вы меня до этого спросили: откуда на исконных сербских землях мусульмане, и почему мусульмане определены как нация? К сожалению, религия в югославском варианте становится национальной принадлежностью. Это с семьдесят второго года утвердил всё тот же Тито в новой югославской Конституции. Тогда я из-за трёх своих текстов отсидел в тюрьме два с половиной месяца. Я их опубликовал в студенческой очень популярной газете. Главная мысль моих заметок заключалась в том, что действия Тито — это «государственная основа для развала государства». Он уже придумал автономию для Косово и Воеводины. До этого только Сербия имела автономию. В девяностые годы уже всем было понятно, что тогдашние действия Тито стали основой для всего дальнейшего сербского развала.

— Получается, что Косово — это колыбель и сербского народа, и сербской культуры, и сербской духовности? И сейчас её у вас отняли...

— Но её отнимали и раньше. Во время Второй мировой войны фашисты тоже прошли сквозь наши земли. А если взять ещё более раннюю историю — времён битвы на Косовом поле, то тогда Косово было отнято турками-османами. У нас была другая история, связанная с турецким игом на протяжении почти пяти веков. По этой причине гражданской литературы фактически в Сербии не существовало. В этом смысле мы пережили огромный перерыв. Да, наша средневековая литература была сильной, высокого уровня. Поскольку тогда и держава сербская находилась на таком же уровне. И собственно гражданская литература появляется у нас где-то сто сорок лет назад. И, конечно же, русская литература сильно влияла на сербскую. И в девятнадцатом веке, и в особенности начиная с двадцатых годов века минувшего. Через Россию тогда прошло огромное несчастье, и многие её писатели эмигрировали в Сербию. В двадцать четвёртом году двадцатого столетия каждый четвёртый житель в Белграде был русский. Многие великие русские писатели жили в сербской столице. Например, Иван Бунин, один из любимых моих поэтов, чью книгу стихотворений я перевёл на сербский. Жил здесь и эмигрировавший через Крым казачий офицер Николай Туроверов — на мой взгляд, ещё один из великих поэтов России. Никто так напрямую не перенёс традицию девятнадцатого века — «золотого века» русской поэзии, как это удалось ему. В начале семидесятых совсем случайно я получил в подарок сборник его стихов. И они поразили моё сердце:

Уходили мы из Крыма
Среди дыма и огня.
Я с кормы всё время мимо
В своего стрелял коня...

Это был гимн русскому казачеству... И — один из первых моих переводов русского поэта на сербский язык. Среди тех, кого я переводил, был и Владимир Высоцкий, с которым я познакомился в Белграде. Помню, он исполнял роль Гамлета. Когда перевод опубликовали, Высоцкий едва ли не посчитал это чудом: как так, его стихи, пусть на сербском, да напечатали? На Родине тогда он опубликоваться не мог.

— В чём, на ваш взгляд, тайна перевода?

— Помните, как на сей счёт размышлял Пушкин? Он сравнивал перевод с ковром. У ковра есть рисунок, и если посмотреть его изнанку, это и будет перевод. И надо стараться, чтобы оригинальный рисунок не терялся, не исчезал. Я часто бываю на различных конгрессах переводчиков — русской литературы, сербской, польской, вообще — славянской. И становлюсь очевидцем, как в Англии, Франции, Германии, Италии, Испании невозможно достойно перевести наших великих славянских поэтов. В чём дело? А дело не в неумении переводчиков, а в усталости этих языков. Я часто слышу: «Да, Пушкин — великий поэт! Может быть. Но это у вас, у славян. А мы в переводах этого не видим...» А знаете почему? Восемь веков там рифмовали даже написанные в стихах рыцарские романы. Но исчерпали глубины собственных языков. И там больше нет рифмы! Может ли кто-либо вспомнить великое зарифмованное стихотворение западноевропейской поэзии последних ста лет? Я задаю этот вопрос в уверенности, что никто не сможет вспомнить такого стихотворения. А это означает, что поэты этих стран перешли семьдесят-восемьдесят-сто лет назад на верлибр.

Что такое верлибр? Это результат бессилия языка! А не выбор поэта. Так, перейдя на верлибр, они потеряли свою традицию. Это тупик. Многие наши авторы поддались на приманку поэтического «Макдональдса» со стороны Запада. И это несчастье длится уже многие десятилетия, в том числе и в Сербии. В результате мы ошиблись. Мы утратили и поэзию, и читателей. Нет поэзии без мастерства. Но мастерство связано с формой, с рифмой прежде всего. Исчезла рифма — ушло и мастерство. Из-за этого поэзия отошла на периферию. Её нет в центре человеческого внимания. А посему надо возвращаться к традиции русского языка. Лучшего нет в мире. Пропадут

народы, в которых пропал поэт. Это закономерность. Поэтому в любом народе люди должны быть бдительны: не допускать пропажи поэтов. Поэт — посредник между людьми и Богом. Он объясняет Господу наши человеческие слабости. А от Господа к нам через поэта передаётся пример веры — в любовь и в Бога.

— Получается, переводчики как таковые заняты переложением с одного языка на другой, а собственно поэты — это и есть переводчики с Божьего языка на человеческий и с человеческого — на Божий?

— Я не знал ответа на этот вопрос, пока у меня... не возникла катаракта. Я попал в военную клинику в Белграде. Ждал очереди на пересадку хрусталиков. А у меня высокое давление. Слышу, врач восклицает: «Ой-ёй-ёй! Тяжело с таким давлением оперировать...» Но я надеялся, что, может, помогут какие-то деньги. По всей Европе это — в порядке вещей. Меня повезли в операционный зал. Лежу под капельницей. И врача-анестезиолог, вижу, напрягается: «У вас давление — под сто девяносто!» Я ей — из-под капельницы: «Давайте я вам заплачу, чтобы моё давление сразу понизилось до ста двадцати!» Она: «Что с вами?! Это — военная академия!»

Тут в её кармане зазвонил телефон. Я понял, что она говорит со своей дочкой-студенткой, которая пишет дипломную работу по творчеству Пушкина. А у Пушкина есть стихотворение «Западным славянам». Это про нас, сербов. Я же опубликовал несколько книг переводов Пушкина на сербский, в том числе и этого стихотворения. И слышу продолжение разговора моего анестезиолога с дочерью: «А я тебе говорила! А ты заиклилась. Почему — Пушкин?! Надо было взять сербского поэта!» Дочка в телефонную трубку плачет.

Я спрашиваю врача: «Сколько осталось времени до того, как я отключусь?» Она: «Двадцать пять минут». Я: «Дайте мне телефон». Она, посмотрев, как меня зовут: «Дочка, тебе о чём-нибудь говорит имя Зоран Костић?» Дочка: «Мама, я давно ищу его книгу!» И я по телефону, насколько позволяло время, рассказал о каждом стихотворении Пушкина, о котором ей нужно было услышать. Забегая вперёд, скажу: потом дочка получила высокую отметку. А в это время её мама сделала мне какой-то укол — уже никаких денег не требовалось. Моё давление удивительным образом понижается. Приезжает офтальмолог. Говорит: «Какой молодец!» Я — из-под капельницы отвечаю: «Слава Пушкину!» И в этом месте засыпаю. А просыпаюсь зрячим. Так Пушкин вернул мне зрение. Он всегда его возвращает.

Олеся Николаева

АВГУСТИН

— А волосы у меня были,— продолжал он,
отхлёбывая чай из блюдца,—

вот до сих...—

и он бил себя по пояснице.—

Однажды, когда я оступился и летел в пропасть,
они зацепились, запутавшись, за колючку.

Так я и выбрался невредимым.

...В восемь лет он был увезён матерью в горы,
где пострижен в мантию с именем Августин
отшельником-старцем.

После смерти матери и блаженного старца
спустился возле Сухуми.

На деньги тайных монашек, живших при церкви,
приехал в лавру.

Там его не приняли без документов.

Он подался в Печоры.

Ему сказали: если бы у него был паспорт,
его бы взяли на послушанье,
а так—и нечего думать.

— Если они займутся выяснением, кто я,
они потребуют показать, где жил я:
вызовут свидетелей, заведут дело...

А это значит—показать им тропы,
указать Верхнюю и Нижнюю пустынь,
выдать старцев.

Многие там живут без паспорта, нелегально,—
власти дорого бы заплатили,
чтоб до них добраться.

...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: каждое действие
определяется не точкой его приложения,
а тем, во имя чего оно совершалось.

— А если сказать—жил отшельником,
никого там нету,
ничего не видел, и—в полную несознанку?..

У меня сидел врач-психиатр—

друг моего детства,

писатель-детективист с юридическим образованием
и отец Антоний—священник из Подмосковья.

— Тогда его пребывание в психбольнице
затянется на неопределённое время:
на нём будут защищать диссертации,
делать карьеры,
целые отделы за него будут получать зарплату.

Материал-то какой богатый,
какой чистый случай:
человек, выросший вне цивилизации,
Маугли по-советски.

*...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: доброе дело
определяется не его содержанием,
а свидетельством славы Божьей.*

— Были у нас улейки — тридцать штук,
две коровки — они там маленькие, почти как козы,
были яблони, груши, смоковница, кукуруза.
Были грядки с морковкой...

*От грызунов и от хищных птиц
их охраняли кошки.*

*А вот с греками, которые считали себя
хозяевами этой земли, не было сладу:
они то и дело захаживали за оброком
и очень жестоко нас обирали,
иногда — подчистую.*

С документами была неразрешимая сложность.
Августину было уже двадцать лет, и ему грозило:

а) статья за нарушение паспортного режима,
б) статья за уклонение от воинской службы,
в) статья за бродяжничество;

к тому же:

— Его будут прокручивать по каждому
нераскрытому уголовному делу,
имевшему место на всём Кавказе,
а для местных властей соблазнительно освободиться
кое от каких не расследованных преступлений.
Горы — такой случай: ни алиби, ни свидетельств,
каждый подозрителен, каждый берётся на мушку.
К тому же у юноши, кажется, нет родни, —
предположительно, что не будет ходатайств и апелляций.

— А в дереве — там каждый бук в шестнадцать обхватов —
была выдолблена у меня келья,
по примеру первых горных монахов.

Что я делал зимой? Ну, во-первых, катал свечи.

Во-вторых, варил ладан, глядел на небо.

Благовонный дым долго лежал в ущельях.

Мой духовный отец — новоафонский старец, —

когда монастырь его разогнали,

долго шёл через горы —

больше двухсот километров,

и так несколько раз,

пока не перенёс в эту пустынь

архиерейское золотое кадило,

Евангелие в драгоценной ризе,

богослужбные книги,

кресты, мощевик, иконы.

Там он построил небольшую часовню,

в которой мы и молились.

*...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: только личный подвиг
определяет духовность жизни.*

- К тому же, если он сдастся на милость властей,
его тут же
приведут к военной присяге,
а ему, как монаху,
по постановлению одного из Соборов—
не помню, простите, какого,—
держать оружие запрещается,—
так как быть с этим?
- А осенью начинались ливни.
*Они шли с вечера до утра и с утра до ночи,
и, казалось, ничего не высохнет там вовеки,
всё к земле прильётся, втопчется в землю.
Ближе к зиме монахи из Верхней пустыни
чуть-чуть спускались
и оказывались около Нижней пустыни—совсем близко.
Иногда мы ходили к ним—
особенно если что-нибудь нужно: соль, спички...
Там был один такой замечательный—отец Авель.
Им же оттуда было удобней
спускаться к Сухумской церкви.*
- ...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: только по чистоте жизни
можно судить об истинности чудотворца.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: истинное чудотворение
всегда сопровождается покаянным чувством.*
- Где ты взяла такого? —
спрашивал писатель-детективист, не скрывая восторга.
- Что ты с ним будешь делать? —
спрашивал врач-психиатр довольно мрачно.
- Ну что, кажется, не очень дикий, —
улыбался отец Антоний, как всегда, благодушно.
- По ночам, случалось, были шакалы,
и медведи бродили по горным тропам,
и особенно чудно светлячки мелькали,
туда-сюда летая перед глазами.
Ну и, конечно—цикады, конечно—птицы:
соловей, пока он семьёй не обзаводился.
- ...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: а при всём при этом
не за наши подвиги и молитвы,
не за наши добрые дела и жертвы—
лишь по Божественной милости,
по любви Его крестной
нам открываются врата Царства.*
- Наконец все решили: для спасения Августина
необходим покровитель,
который бы проследил, как движется дело,
и, возможно, своими связями бы добился,
чтобы всё прошло безболезненно, мирно, гладко,
чтобы дали паспорт молодому монаху,
освободили от военной службы,
позволили бы работать при монастыре или церкви,
возносить пустынноческие молитвы
о земле православной российской,

о властях и воинстве её огромном,
и он, избежав допросов, благодарил бы Бога.

...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: человек может сломаться
под тяжестью слишком рано исполненного желанья.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: любого новоначального,
пытающегося забраться в небо,
надо схватить за ноги и сдёрнуть на землю.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: даже прокажённый,
подходя к Господу, просил:
«Если хочешь, Господи, можешь меня очистить».

— А причащаться мы ходили в Сухумскую церковь.
Ну а так — вечерние, утренние молитвы,
монашеское правило: три канона,
акафист, кафизмы, Евангелие, Апостол.
И, конечно, — Иисусова молитва.
И вообще — подвиг молчанья.

Засыпая, я думала: как же ты всё-таки, жизнь,
удивительна, баснословна,
всё в тебе перемешано, все три дороги,
никаких указателей — направо, налево, прямо.
Ещё вчера, считай, я грела глупое тело
на камнях Сухуми,
а, может, завтра взберусь на какую-то там вершину,
и тяжёлый клубок надену,
и завернусь в трудную рясу.

— Так вот, — продолжал Августин,
устраиваясь поудобней, —
этот отец Авель сидел дважды:
первый раз за то, что крестил в Чёрном море
пионерский лагерь,
второй — за царицу Тамару.
Какой-то полковник в его присутствии
обозвал её нецензурным словом,
а отец Авель был крепкий, сильный,
под два метра ростом.
Пришлось полковнику извиниться,
отцу Авелю же — прогуляться
по сибирским просторам.

...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: лучше прогневить человека,
чем прогневать Бога.

Назавтра Знаменитый Писатель,
выбранный в покровители,
защитник, неожиданная надежда,
уезжал в Гватемалу, потом — в Гонолулу
и ещё куда-то.

Сегодня у него был единственный вечер,
да и тот был занят:
он задавал ужин в Дубовом зале
в честь классика английской литературы.

- Ты хоть знаешь, что он написал? —
спрашивал Знаменитый Писатель,
ведя меня лабиринтами к ресторану.
- Кажется, «Алые паруса», — отвечала я,
смеясь собственному остроумью,
ибо чувствовала, что всё началось отлично.
- Каждый вечер до самой глубокой ночи
мы с Августином разжигали кадило,
ходили по комнатам, распевая молитвы,
и я больше всего боялась сфальшивить,
но в конце концов вдохновение побеждало.
В доме уже все спали:
чиновники и поэты, лауреаты и кандидаты,
якобинцы и гугеноты, —
и кадильный дым окутывал их сновиденья —
хронику века, программу «Время»,
акции, баталии и реформы,
семейные неурядицы, мировые войны,
общественные нагрузки, неприятности на работе.
- Мы немножко посидим на банкете, —
сказал Знаменитый Писатель, —
а потом поговорим по твоему делу.
И я так загадочно ему кивнула,
что он не выдержал и спросил почти сразу:
- Ну, вкратце, что у тебя такое?
- Августин, — говорила я, — дай-ка скуфью примерить.
Ну как — идёт мне?
А теперь ещё, пожалуйста, и мантию с рясой.
Я вертелась перед зеркалом то так, то этак.
В конце концов я выпросила у него и клобук.
- Настоящая матушка, —
отвешивал он монашеские комплименты.
- А почему ты никогда не встречалась со мной
бескорыстно? —
спрашивал Знаменитый Писатель. —
Почему никогда не задавала вопроса:
что это я бегая от депрессии по утрам
в тренировочных шароварах?
Слушай, зачем это всё тебе —
какие-то, извини, попы, монахи?
- ...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил:
можно и в миру вести монашеский образ жизни —
необязательно облачаться во вретище, давать обеты.
Тот, кто поручил мне Августина,
очень меня ругал за мои ночные примерки.*
- Получается, — настоятельно повторяла я, —
либо предательство старцев,
либо психушка по всем статьям,
либо тюрьма со штрафбатом.
- М-да, — тянул Знаменитый Писатель. —
Зачем это всё тебе — тюрьма, психушка?
- А классик английской литературы,
о котором временно все забыли,

- делал вид, что ему и так очень приятно:
вот — поэты разговорились, разгорячились,
у них ведь столько проблем —
ускорение, перестройка...
- А подложный паспорт? — спросила я.
И тут же немного скривила рот,
как в шпионском фильме.
- Подложный паспорт? —
спросил Знаменитый Писатель
тоном заправского революционера
на конспиративной квартире где-нибудь в Женеве.
- Ну да, — небрежно кинула я,
как сотрудница ЦРУ в московском парке.
- Слушай, — он вдруг по-ковбойски
заиграл оливковыми желваками, —
он что, никак не пойму, твой любовник?
- ...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: то, что в мире называют любовью,
это всё — страсти, страсти...
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: истинная любовь изгоняет пристрастия,
как Христос — бесов.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: лишь любящий Христа — свободен.
Тот, кто поручил мне Августина,
был свободен и беспристрастен.*
- А ведь у меня есть, — сказа врач-психиатр, —
кореш один — уголовник...
Если он уже вышел,
так для него сделать подложный паспорт — плёвое дело!
- Ого! — отозвался писатель-детективист
с юридическим образованием
и назвал статью, в которой был обозначен срок,
и весьма немалый.
- Между прочим, —
заметил отец Антоний, меняя тему, —
существует поверье,
по которому тот, кто хоть раз примерял
монашеский клобук,
неприменно станет монахом.
- А однажды, — продолжал Августин,
расхаживая туда-обратно, —
поднялся к отцу Авелю в Верхнюю пустынь
какой-то странник.
*«Батюшка, — говорит, — смилуйся, поисповедуй...»
Был он вертолётчиком, когда с гор сгоняли монахов.
Был приказ доставлять их вниз живых или мёртвых.
Гнал он так двух пустынников — те прытко от него бежали.
Но вертолётчикам с высоты было далеко видно,
и было им видно то, что пустынники бегут к краю ущелья.
А пустынникам, наверное, уже начинало казаться,
что они отрываются от погони, что спасенье близко.
И вдруг за деревьями перед ними открылась пропасть.
Они, как вкопанные, как поражённые громом,
пред нею остановились.*

*Тут-то и подлетели жадные вертолётны, закружились,
как хищные птицы над обречённой жертвой.
И тогда пустынные трижды перекрестились
и по воздуху, по воздуху, как по ровной дороге,
бездну перебежали и скрылись где-то.
И вертолётчики содрогнулись.*

— Августин,—неожиданно проговорил кто-то,—
почему тебе обратно-то не вернуться?

Отец Антоний обычно долго откашливался
и начинал медленно, с расстановкой:

— Одного монаха поманила птичка.

«Какое-то необычное,—подумал он,—
у неё оперенье, голос...»

И пошёл за ней и всего-то на полчаса вышел из кельи.

А когда вернулся назад в обитель,

видит—игумен уже другой, и братия ему незнакома.

Стал он спрашивать про своего духовного старца.

Все ему отвечают с недоумением, пожимают плечами:

мол, и видом не видывали,

и слухом не слыхивали про такого!

Наконец отыскался отец библиотекарь—

человек, сведущий во всяких разных вопросах.

Он сказал, что действительно,

назад лет этак полтора,

жил в монастыре названный старец,

и даже вызвался отыскать древнюю его могилку.

Эта осень была особенно щедрой.

На кухне в большой прозрачной вазе

стояли жёлтые кленовые листья

и оранжевые сухие цветы—

Августина поразило то,

что их называют у нас «китайский фонарик».

Он трогал их удивлённо и осторожно

и радовался:

— Надо же—и не вянут!

На массивном блюде лежали багровые

разрезанные арбузы,

мокрый виноград, крепкие зелёные груши.

Темнело рано, и было радостно зажигать мягкий свет,

ставить на плиту чайник,

творить перед едой молитвы:

«Благослови, Господи, ястие и питие рабом Твоим...»—

и так далее...

...Тот, кто поручил мне Августина,

говорил: на всяком месте

достойно славить Господа Бога.

Августин начинал уже заметно томиться,

находясь под домашним арестом.

Целыми днями он свешивался с балкона

и громко обсуждал прохожих.

— Августин,—говорила я,—не высывайся

или надень мирскую одежду.

Ты привлекаешь внимание милиционеров:

они охраняют «Берёзку» и тоже, томясь, глазят.

— Снять подрысник?! — вскрикивал Августин. —
Ни за что на свете!

Каждое утро он его бережно чистил щёткой
и подолгу гляделся в зеркало,
стягивая светлые волосы
чёрной галантерейной резинкой.

Отец Антоний складывал на коленях смиренные руки
и начинал, покашливая:

— Среди русских сказок
очень много притч — вот одна такая.
Жили-были старик со старухой,
и пригрели они у себя уточку-хромоножку.
А она, когда они уходили, превращалась в деву,
убирала избу, варила похлёбку.
И старик со старухой были очень довольны, однако
эта тайна не давала им никакого покоя.
И решили они утолить любопытство,
притворяясь, будто уходят.

Сами же — притаились в сенцах и ждут, что будет.

И когда уточка скинула с себя оперенье,
сделалась девой,
им захотелось присвоить плоды своего откровения:
сожгли они тёплые перья и встали победоносно.

И тогда сказала им дева:

«Увы! За то, что
вы своей волей нарушили весь ход жизни,
лишили меня покрова и облачения,
должна я теперь вас, бессмысленные, покинуть
и тридцать лет и три года мыкаться на чужбине».

*...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: преждевременное прозренье
может исказить судьбы Божьи.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: можно и от всех земных встреч отказаться
во имя встречи небесной...*

Постепенно деревья начинали терять листья,
и земля стала до черноты обнажаться,
и разоблачались кусты, и леса редели,
и земля готовилась к холоду, к испытаниям.
Если смотреть Августина в глаза,
он вдруг как-то застенчиво усмехался и опускал их,
а щёки его покрывались девичьим румянцем.
К нам приходили монахи
и монашествующие молодые люди:

— Не у вас ли живёт старец с Кавказа? —
и он выходил навстречу.

Занимаясь в другой комнате своими делами,
можно было услышать:

— А волосы у меня были — вот до сих...

*...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: настоящему христианину
не следует ждать осязаемых результатов
в устройении земной жизни.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: истинному христианину*

*отчаиваться не должно от видимого поражения
в этом мире.*

*Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: надо любить не себя, но своё призвание...*

Решено было отправить Августина
к Грузинскому католикосу.

— В конце концов, Кавказские горы — его владенья.

Может, он, — ободряли мы
испугавшегося вдруг Августина, —
согласится за тебя поручиться.

— *И прожил раскаявшийся вертолётчик у отца Авеля
целый месяц в непрерывном плаче.*

*И простил ему отец Авель все его согрешенья,
и благословил до самой его кончины
прислуживать в церкви на самых чёрных работах.*

*Тот с радостью обещал грузить уголь для храма
да зимой и летом
то мести дворик церковный, то лёд сколачивать ломом.*

Грузинский католикос и подложный паспорт.

Знаменитый писатель и Фонд культуры.

юнеско. Патриархия. ООН.

Красный Крест. Какой-то там полумесяц.

*...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: ничего не стоит просить у Бога,
кроме как покаянья.*

*Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: ничего не стоит просить у Бога,
кроме как помилованья и прощенья.*

*Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: тот, кто хоть раз солгал,
рискует не поверить и Божественному Глаголу.*

На пороге стоял отец Антоний.

Из-за его спины выглядывал маленький человек
с длинной седой бородой.

— А это подарок нашему Августину —

его старый знакомец,

монах Елеазар, он его знает с детства.

Монах Елеазар сиял, кивал головою,

глаза у него блестели:

— Кто же мог ведать, что я в Москве его встречу?!

Вот истинно неисповедимы пути Господни!

Вот милость Божья!

— Августин! Августин! — закричала я. — Выходи скорее.

Тут тебе прекрасный сюрприз, желанные гости.

Слышно было, как самозабвенно он пел

под шум низвергающегося душа.

— Сподобил меня Господь в начале прошлой зимы

посетить Нижнюю пустынь, —

начал Елеазар, часто-часто моргая, совсем по-детски. —

Пришёл, а там матушку Августина отпевают в часовне.

Смирренная была женщина, высокой жизни.

Августин говорил, что за целых полгода

Господь ей открыл сроки её кончины.

И ещё говорил, что, давая ему последние наставленья,
благословила она его материнским благословеньем

с гор никогда не спускаться, да, видно, что-то
приключилось с ним, раз уж он, смиренный,
молчаливый, кроткий, здесь оказался.
Для меня ж, окаянного, его увидеть —
утешение в скорби, благоволение Божье.

Он с нетерпением поглядывал на дверь ванной.

*...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: в духовной жизни
всё совершается не «потому что»,
а «ввиду того что»...*

- Наконец дверь отворилась,
и на пороге появился раскрасневшийся Августин,
растрёпанный, с улыбкой блаженства:
— Ну, какой там ещё сюрприз? А, отец Антоний!
Здравствуйте, — он поклонился Елеазару,
смотревшему остолбенело.
Образовалась пауза, и я сказала:
— А это наш Августин! Очень ли изменился
от бесполой московской жизни?
— Это не Августин, — ответил Елеазар,
почему-то пятась и озираясь.
— Как это не Августин! А кто же это?
Я почувствовала вдруг, что наш новый гость
какой-то несимпатичный.
— А может, это другой Августин? —
спросил отец Антоний, краснея и заикаясь.
— Это не тот Августин, не с Кавказских гор.
А кто он — Бог его знает.

*...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: Господь может наслать на человека
временное ослепление,
если зрение мешает совершению путей Божьих.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: надо оставаться свободным
от всего «своего» —
даже от всякого предположенья.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: каждая встреча
уготована нам свыше.*

- И тогда они ушли в комнату
и от меня закрылись.
Они сидели там долго — часа четыре.
Мне очень хотелось подслушать, о чём они говорили,
но я не решалась.
И только когда я просунула туда голову,
предлагая ужин,
я успела ухватить обрывок фразы:
— Ничего, ничего ей не говорите!
Наконец из комнаты вышли Елеазар и отец Антоний.
Елеазар, который снял сапоги в прихожей,
казался совсем маленьким, совсем щедрым.
Августин ужинать отказался.
— Вынужден тебя огорчить, — голос отца Антония
звучал торжественно и очень мягко, —
ты должна знать, кого у себя скрываешь.

Августин—это не «другой Августин»,
 а Петушков Саша.
 Сбежал из армии в Кавказские горы спасаться.
 Жил несколько месяцев у отца Авеля
 и подлинного Августина.
 Просил, чтобы его постригли в монахи,
 его же благословляли
 спускаться в мир, сдаваться в часть,
 продолжать службу.
 А он, по его словам, так уже к ним прилепился,
 так прижился,
 что не мог ни глаз, ни рук оторвать
 от креста, кадила и облачения,
 прихватив их с собою в мир
 на молитвенную долгую память.
 Ну а дальше—дальше ты знаешь.

*...Тот, кто поручил мне Августина,
 говорил: выпрошенный у Бога крест—
 самый тяжёлый.
 Тот, кто поручил мне Августина,
 говорил: тот, кто выходит на проповедь,
 а Господь его на это не посылает,
 умножает лишь своеволие и претит Богу.
 Тот, кто поручил мне Августина,
 говорил: каждый человек
 нам поручен Богом.*

— Я предчувствовал, предчувствовал!—
 ликовал писатель-детективист,
 потирая руки.
 — Надо ещё проверить,—настаивал врач-психиатр,—
 может, у него оружие там, в портфеле.
 — Ничего, ничего,—поглаживал по плечу Августина
 монах Елеазар и прибавлял:
 — Сердешный,
 покаешься, пострадаешь—Господь тебя не оставит!
 Всё, что Августин украл, было возвращено обратно.
 Он сначала три дня молчал, забившись в угол.
 Потом—несколько дней проплакал
 под дождём на балконе.
 Я делала вид, будто ничего не знаю.
 Возможно, я, на всякий случай, сама боялась
 какого-то разоблачения.

*...Тот, кто поручил мне Августина,
 говорил: осуждающий своего брата
 сам вскоре впадает в подобное прегрешенье.
 Тот, кто поручил мне Августина,
 говорил: надо бояться не людей
 и каких-то там обстоятельств,
 а только греха и Бога.
 Тот, кто поручил мне Августина,
 говорил: надо бояться Бога
 так, как боится любящий человек,
 что возлюбленный от него отвернётся.*

— Можно ли мне после наказания вернуться в церковь?
 Августину ответили утвердительно, радостно, хором.

— А стать монахом?

— Это уж как на то будет воля Божья.

И все стали долго прощаться друг с другом
и по несколько раз просить друг у друга прощенья.

И уже первый снег пошёл,
и по нему расходились все по разным дорогам.
Елеазар садился в сухумский поезд.
Отец Антоний входил в холодную электричку.
Наверное, пока он к себе доберётся,
снег уже заметёт его деревянную келью.
Только дым из трубы будет долго виться над полем,
будет долго гореть свеча в домике над рекою—
за весь этот свет,
за весь этот мир,
за настоящего и вымышленного Августина,
за всех нас, грешных.

*...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: кроме любви,
нет в жизни иного смысла.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: кроме славы Божьей,
нет у жизни иного предназначенья.
Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: нет иного права у христианина,
кроме права прощать всем сердцем.*

Вскоре уезжал и Августин— Петушков Саша—
в военную часть сдаваться.

На нём был серый румынский костюм—
бесформенный и унылый.

Он был пострижен, побрит, выглядел жалко.
Ручаюсь: жалче всего было ему расстаться
не с золотым наперсным крестом,
не с архиерейским кадилом,
но с самим Августином— желанной чужой судьбою,
с ангельским облачением—
со строгим подрясником,
с бархатною скуфьею,
с мантией, развевающейся по ветру,
с клобуком—этой таинственной лёгкой лодкой
о двух узких вёслах,
на которой, по преданию, после смерти
отправляются вниз по большой и властной реке монахи.
И это уже— навеки!

— Опускай глаза,— говорила, ведя его по вокзалу,—
миродержители века сего по глазам узнают жертву.
Не хватает ещё, чтоб они в последний момент
тебя изловили!

— Я вот только не знаю,— сказал он вдруг на перроне,—
кончилась моя жизнь, началась ли...

Всё вокруг в летящем снегу терялось.

— Поцелуемся на прощанье,— сказал он кротко,—
кто знает, увидимся ли ещё, нет ли...

*...Тот, кто поручил мне Августина,
говорил: каждое испытанье
надо пройти насквозь,
и путь этот—наискратчайший.*

1988

Дмитрий Иващенко

Русская вертикаль



Зелёные кроны.
Но рано ли, поздно —
они разбиваются в черепки...
На доски пойдут и листвяк, и сосны,
берёза согдится на черенки.
А ты и дровами-то не послужишь —
поваленный тополь в глуши двора.
Пропитанный солнцем.
Дублённый стужей.
Махавший ветвями ещё вчера.



На брёвна раскатали дачу —
наш двухэтажный старый дом...
И в три полоски красный мячик,
и лунный мячик за окном,
трубу фабричную вдали
и водосточную канаву,
в которой щепки-корабли
вперегонки пускались плавать,
тот кедр и кота под ним —
ты, память поздняя, приветствуй!..
И что там было в раннем детстве,
далёким стало
и родным.



Дома в тумане потонули.
Дожди волынку затанули.
Дохнуло осенью в июле —
сырым, холодным октябрём.
Но отчего-то — на мгновенье —
нисходит умиротворенье.
И возникает ощущение,
что мы с тобою не умрём.
Дожди.
Аккорд минорный слушай
про небо, пролитое в лужи.
А нам от жизни много ль нужно? —
растить детей и быть вдвоём.
Мои заботы непреложны:
на всю семью бюджет итожить
и на плече, когда уснёшь ты,
хранить дыхание твоё...



Ты яблоками пахнешь и травой.
А мне — как дар —
оберегать досталось
лебяжий пух дыханья твоего
и наших встреч нечаянную радость.
Ты говоришь:
— Дойти бы так до края,
держа друг друга, чтоб не расплескать,
а то, что мы когда-то умираем,
всего лишь быть
из ветра и песка...



В полях снегами дышит небо.
Чернеет лесополоса.
Тебя, кусуновская небыль,
мой нож сибирский расписал.
Я стану дом топить дровами
да слушать ветер за окном,
отвыкнув от звонков трамвайных
и от спиртяги заодно.
Хлебну колодезной спросонок.
А что? Пожалуй, хороша.
...Бывай, ангарская промзона.
Не поминайте, кореша.



Свежий хлеб в краях совхозных
возит старенький «газон».
Здесь навозом квасит воздух
ноздреватый чернозём.
На дождевые — вдрызг дороги.
У ворот — собаки лай.
К службе батюшка Георгий
разбудил колокола.
Люди разные навстречу.
Здравствуй, всякий человек.
Нам с тобою этот вечер
коротать из века в век.
Шеи вытянули гуси.
В землю вкопаны столбы.
Это вертикаль по-русски.
Это линии судьбы.

Олег Хлебников

Отцы и дядьки

Фрагменты документальной повести о счастливой жизни

— Да у тебя было три отца! — воскликнул старый знакомый, выслушав мои сбивчивые истории.

Мне было тяжело, и требовалось высказаться, говорить, говорить, говорить об ушедших близких. А мой старый знакомый умеет слушать и очень любит гиперболы. Вот и сейчас, конечно, была гипербола. И всё же если принять его эффектную формулу...

Мать из моих отцов лично знала только одного. Да и то, возможно, не очень глубоко.

Его фотокарточку я часто держал под подушкой. Это происходило всякий раз, когда он уезжал в одну из многочисленных командировок (то была его зона свободы). Кстати, из командировок он всегда привозил мне модные одёжки, каких в нашем городе не видывали, — никогда после детства не был и не буду таким стилигой (словечко тех лет).

Сейчас его фотография в рамке стоит на пианино (недавно поставлена), на котором я никогда не играю (и совсем разучился), на ней ленточка, чёрная и бликующая, как само пианино.

На стенке висит фотопортрет «второго отца»: он на берегу залива, глаза (особенно один), даже сквозь толстые стёкла очков, поражают острой тревогой, почти отчаянием. Хотя все его считали весёлым человеком.

А снимок «третьего отца» я ещё не успел вставить в рамку — передо мной лежит. Здесь он улыбается и очень похож на артиста Демьяненко, знаменитого гайдаевского Шурика...

Почему мой знакомый назвал этих двоих людей, наряду с кровным, моими отцами? Наверное, из моих рассказов он понял, что обоих всерьёз волновали как внешние обстоятельства моей жизни, так и внутренние, образ мыслей, чего трудно ожидать от кого-то, кроме отца, а я тяжело переживал почти одновременный уход «первого» и «третьего» и всё время вспоминал «второго».

«Первый» и «второй» узнали друг друга и успели почувствовать взаимную симпатию. «Третий» не знал «первого» и очень любил «второго». У «первого» я был единственным, у «второго» имелось четверо детей, «третий» так и остался бездетным.

Всё это похоже на ребус или детскую загадку. Но отец и есть главная детская загадка: кто этот большой сильный человек рядом, который всё

знает и умеет то, что тебе не даётся, да ещё и за что-то любит тебя, целует?..

Вообще-то терпеть не могу обниматься-целоваться с мужчинами (с женщинами — тоже крайне избирательно). Исключением были — эти трое. Именно потому, наверное, и отцы.

...Со «вторым» я наконец (давно хотел) познакомился только за десять лет до его смерти и жил у него почти три года. Сейчас понимаю: это были очень счастливые годы. Этот его дом (квартира) открытых дверей... Хотя я открывал дверь своим ключом, всякий раз, когда возвращался с работы, из журнала, он шёл к дверям меня встречать. Шёл буквально с распростёртыми объятьями. Это при его полуслепоте могло показаться чуть ли не мерой предосторожности от невидимых препятствий (да и, в общем, одно невидимое препятствие действительно было — уходящее время его жизни).

Часто, уже приобняв меня в коридоре, он лукаво и при этом значительно шептал на ухо: «К нам пришёл хороший человек!» Это означало, что к нему, знаменитому поэту, пришёл очередной рифмоплёт, но не только со своими виршами, но и с бутылкой коньяка. Иногда он говорил: «К нам пришёл очень хороший человек!» — что значило: рифмоплёт принёс две бутылки коньяка. Фраза: «К нам пришёл странный человек», — характеризовала появление совершенно пустого (без спиртных напитков в том числе) графомана...

Но я перескочил: всё-таки первым, кто меня обнимал-целовал, был мой кровный отец, папка. В раннем детстве он целовал мне даже пятки (то ли помню, то ли рассказали). И это несмотря на то, что сам вырос в суровой староверской семье, где его отец, мой дед, похожий на актёра Бабочкина в роли Чапаева, называл единственного сына (остальные сыновья не выжили — только две дочери) не иначе как Парень — никогда по имени.

В детстве, пришедшемся на войну, Парень голодал, ел крапиву и щавель. После войны, ещё подростком, начал работать. Окончил художественное училище. В свободное от работы время малевал. Потом поступил «на инженера» — на вечернее. Мама рассказывала, что тогда он научился спать в трамваях и автобусах стоя. И, что сейчас непредставимо (время было уже хрущёвское), ещё

не окончив институт, стал главным технологом завода. Конечно, оборонного — в нашем городе почти все были оборонные. Потом он слетал с высоких должностей, поругавшись с начальством, и поднимался снова. И опять — слетал, к ужасу мамы...

Кстати, маму он взял нахрапом — даже бил морду собственному преподавателю, которого заподозрил в излишнем к ней внимании. Причём произошло это безобразие накануне экзамена, который Парень должен был сдавать тому самому поклоннику матери. Ничего, сдал.

А ещё вместе с дедом он построил пасеку у чёрта на рогах — на ней потом и сгорели все его рисунки и картины. Но к этому Парень отнёсся философски — сидя по выходным в двухкомнатной хрущобе (ничего другого от завода и государства не получил), мастерил шкатулки и дарил родственникам и знакомым.

Культбаза

Первый засвидетельствованный родителями проблеск моего сознания относится к 1957 году. Но запомнил я тогда не спутник (тоже первый), а свою прабабушку. Она на три четверти появилась из подпола, где жила (остальную территорию занимали, ютятся, дед с бабкой и многочисленное семейство их дочери, тётки Гали), — появилась посмотреть на меня, погладить по голове и похвалить: — Сколь бел да басок!

Сама прабабушка была чернявая, маленькая, тёмная лицом и очень добрая. Я был не столько бел, сколько скудноволос, большеголов и совсем даже не красив (не «басок») — похож, в соответствии с краткой модой времени, на Хрущёва. Впрочем, мне тогда только исполнился год.

А прабабушка спустилась обратно в подпол, откуда сладко пахло керогазом, и навсегда исчезла из моей жизни, способа существования данного мне в аренду белкового тела, на которое сам я в детстве очень удивлялся — ещё не привык.

Помню, подолгу рассматривал свою руку: неужели это вот и есть я, это вот моя рука (?!), и другой левой руки у меня уже никогда не будет (?!) (мой старый знакомый говорит, что так же удивлялся именно на свою руку Вольтер; не знаю, не читал), и я ограничен этой вот белой кожей на руке и остальным, и отделён ею от всего мира, и я, я, я, что за дикое слово, но Ходасевича прочитал, конечно, много позже... Словом, удивлялся и привыкал.

А что касается Хрущёва, его наряду с Райкиным я всегда с удовольствием слушал по радио и позже смотрел по телевизору: даже мне, дошкольнику, было интересно и смешно. Радио — клетчатое и ворсистое — я слушал, лёжа на диване с валиками, а телевизор у нас появился в числе первых на улице Коммунаров — «Рекорд» без линзы (!), его приходили смотреть соседи, зимой оставляя

у впускавшей морозный пар двери огромные нестигаемые валенки.

Но прабабушка, которая появилась и исчезла, жила на другой улице, в районе под названием Культбаза, что переводилось как «культурная база», а вовсе не база культа личности, хотя из всей мировой культуры там был только дощатый летний кинотеатр и один крашено-кирпичный продуктовый магазин, пахнувший селёдкой и лакированными резиновыми сапогами.

Зато там, на Культбазе, можно было чувствовать себя индейцем, поскольку по улицам свободно гуляли куры, а из ивы, растущей вдоль берега (прямо за домами) речки Карлудки (в народе — Говёнки), легко было сделать лук. Там, на высоком берегу этой речки, хорошо было сидеть в траве, думать и сочинять стихи: «Над рекой игривой, головы склоня, тихо плачут ивы каплями дождя...» «Склоня — дождя», конечно, плохая рифма, но ведь и у Фета в одном из лучших четверостиший русской поэзии рифмуются «огня — уходя» — и ничего, значит, дело не в рифме.

Ещё хорошо было, сидя на травяном склоне, резко поднять голову и увидеть, как в небе летят на город стаи прозрачных, но с отчётливыми контурами микробов, и поэтому руки, как бы ни не хотелось, всё-таки приходилось много раз в день мыть. Кстати, потом, уже в школе, я увидел микробов и разных там инфузорий в микроскоп — они ничем не отличались по виду от тех, небесных.

... Потом, вслед за прабабушкой, в моём способе существования появилось и исчезло много людей: некоторых из них знает весь мир, некоторых — вся страна, кого-то — продвинутые читатели и зрители, кого-то — только родственники и друзья...

А живших на Культбазе дед с бабушкой со стороны отца Парня, а также сестру отца тётку Галю с семейством, которых человечество не знает, мы все, обитавшие на улице Коммунаров (которых тоже человечество не знает), так и называли для простоты и краткости — культбазовскими.

Моя культбазовская бабушка Екатерина Ивановна была староверкой — дородной, громкоголосой, серьёзной и неграмотной. Зато умела делать любую работу и стряпать без дрожжей.

Были у неё две младших сестры — Аграфена и Секлетины. Когда они собирались вместе, сажались рядом на диван — все в платках, грудастые, белые лицом — и начинали разговаривать, я понимал процентов двадцать слов — не больше. Общий смысл разговора от меня тоже нередко ускользал, но фонетика заворачивала!

Ещё в девках культбазовская бабушка Катерина была сильна физически и работяща. И вот эти-то её качества могли перевернуть историю России. Да-да...

В молодости она жила в деревне недалеко от Владимирского тракта, по которому отправляли

в Сибирь ссыльных, — в традиционном староверском доме. Поскольку дом был староверский, он стоял на краю деревни. И именно в окно этого дома однажды постучал бородатый невысокий человек, по всему — беглый каторжник. Староверы всегда были настроены враждебно по отношению к любой власти и беглых принимали. Приняли и его. Прежде чем пойти дальше на запад, он несколько дней прожил в доме моих староверских предков и помогал моей тогда четырнадцатилетней бабушке колоть дрова.

Физически сильная Катерина вполне могла однажды опустить колун не на чурку, а на его голову, и тогда не было бы в мировой истории никакого Сталина, а разве что где-то петитом мелькнул бы малозначительный большевик-экс Джугашвили, сгинувший до Октябрьского переворота.

Но повести себя так у бабушки ещё не было оснований — она же не знала, что из-за этого рябого грузина раскулачат за две коровы и сошлют её отца (хозяина дома, принявшего беглого), а её старшую дочь Евдокию после войны и Дахау отправят в колымские лагеря. И что лично была знакома со Сталиным, культбазовская бабушка узнает только перед самой войной, когда в доме появится первая книга на русском, а не на церковно-славянском, — букварь моего будущего отца Парня с многочисленными портретами Сталина, в том числе и молодого, бородатого, времён арестов и побегов.

Впрочем, Сталина бабушка не ругала, она вообще была сдержанна на язык, единственным и главным её ругательством было не на шутку пугавшее меня в детстве «озеро пустое».

Сталина нёс по всем кочкам её муж, мой дед Валерьян Егорович, почему-то чаще всего именовавший вождя всех времён и народов говноусым.

Дед Валерьян тоже изначально был старовером, но с войны, которую прошёл от и до миномётчиком на Севере, даже в Заполярье, и получил осколочное ранение, вернулся убеждённым евангелистом. Объяснял смену конфессии так: они (староверы) читают свои книги и не понимают про что, — и до конца дней потешался над походами бабушки в молеальный дом. Сам же, кроме Евангелия, любил читать Некрасова, знал почти всего наизусть и часто к месту вворачивал цитаты из Николая Алексеевича. А когда некрасовских цитат не хватало, вспоминал что-нибудь народное или, подозреваю, своё, например:

Как во городе да во Саратове
Проявился там детина —
Он незнамый человек.
Он по городу похаживает:
Синя шапка набекрене,
Пистолеты на ремне
И шашка до земли...

«Во!» — неизменно добавлял дед и поднимал вверх большой палец. Был он худ, подтянут, невысок ростом, закручивал усы вверх, носил сапоги и гимнастёрку. А сколько занятий сменил за жизнь! Был механизатором, потом его избрали председателем колхоза — поработал, огляделся, сказал: «Дерьма-то!» — плюнул и уехал в Ленинград на стройку, несколько лет присылал оттуда посылки своей полуброшенной многочисленной семье. Но и в Питере перед ним в какой-то момент настойчиво замаячили перспективы карьерного роста — дед Валерьян сказал: «Дерьма-то!» — плюнул и вернулся в родные предуральские леса, стал зарабатывать на жизнь охотой.

Тогда у ворот нашего двухэтажного деревянного дома на улице Коммунаров дед появлялся то со связкой бёлок на ремне, то с глухарём или тетеревом (хвойный вкус глухариного супа помню до сих пор).

А ещё Валерьян Егорович искал клады, разводил пчёл, делал запруды и запускал в образовавшиеся водоёмы зеркального карпа, клал печки, рубил лес и строил избы, а также недолго был токарем на одном заводе, вахтёром на другом и всегда — вольным человеком.

Свои фронтовые медали дед пустил на блёсны.

«Международным положением» — так называлось тогда всё, связанное с политикой, — дед интересовался, слушая «Круглый стол» по радио. Коммунистов называл ворами и власти совершенно не доверял — когда говорил про неё, так шурился, что, казалось, ясно видит впереди что-то, скрытое от других.

Вообще, представляется, что смотрел он на мир с какой-то более высокой точки, нежели большинство. Может быть, такому его взгляду способствовало пребывание на питерских строительных лесах или на деревьях в прикамском лесу во время охоты? Во всяком случае, вспоминается Ошо с его рассуждением о том, что категория времени зависит от высоты и обширности взгляда. Если сидишь под деревом и к нему едет повозка, то эта повозка для тебя — ближайшее будущее (станет настоящим, когда до тебя доедет); если же сидишь на дереве, то уже видишь эту повозку, и, следовательно, она для тебя настоящая (то есть ты можешь наблюдать своё закрытое от приземлённого взгляда ближайшее будущее); ну а если подняться ещё выше да к тому же развить в себе внутреннее зрение!..

В общем, время — наверняка неотделимо от пространства, и хотя, скорее всего, представляет собой некий шар, движемся-то мы по его радиусу. И вот по этому радиусу я продвинулся уже на двадцать с лишним лет дальше культбазовского деда и наконец увидел то, что, возможно, он знал давно: коммунисты в нашей стране посжигали собственные партбилеты, после чего почти

открыто проявили свою воровскую сущность. Дед Валерьян оказался прав, но доказательств своей правоты не дождался, хотя на несколько лет пережил бабушку.

Его зарезали на операционном столе, вырезая всего лишь грыжу. Было ему восемьдесят четыре...

Не так мало. Его сын Парень, мой отец, до этого возраста не дожил. И «второй» много лет не дожил. И «третий»... Когда «третий» узнал о смерти моего отца, сильно сопереживал. А сам умер ровно через две недели.

И почти все мои «дядьки» ушли раньше. Но:

Не говори с тоской: их нет,
Но с благодарностью: были...
(Жуковский)

Эту цитату напомнил мне «третий», когда мы говорили с ним о его друге Булате.

Окуджава сам по себе и с хором

Мои отношения с Окуджавой начались без его ведома.

Я шёл с одноклассниками после уроков (это год 1972-й) по центральной ижевской улице и слушал их спор о сравнительных достоинствах разных западных музыкантов. И вдруг, неожиданно для себя, стал пропагандировать среди любителей «Пинк Флойд» Окуджаву, которого они не знали. Повисло неловкое молчание. Но тут вмешался человек, шедший за нами (как позднее выяснилось, студент истфака):

— А у вас действительно есть записи Окуджавы?
— Конечно! — радостно воскликнул я, гордый тем, что они у меня действительно есть.

— И вы можете мне их дать переписать?

Я ответил безусловным согласием и таким образом ввёл в свой дом стукача.

Но Окуджава тут, конечно, не виноват. И лично познакомился я с ним только спустя шесть лет. Но здесь же, в родном городе.

Окуджава приехал сюда на выступления в составе группы писателей. В неё ещё входили юморист Аркадий Арканов, который тогда и не думал петь (да и как при Окуджаве-то?!), а читал свои смешные и по тем временам острые рассказы, и поэт-сибарит, а также замечательный переводчик Евгений Храмов. Выступали в моём родном Ижевском механическом институте (ими), в местном университете, в дк и библиотеках. Ездили и в соседний городок Сарапул, где сохранился дом кавалерист-девицы Дуровой, и на родину Чайковского — в Воткинск. Везде выступления проходили при огромном стечении народа. Но больше всего поклонников Окуджавы обнаружилось всё же в ими: зал был не просто заполнен — переполнен, стояли в дверях, кто-то умудрился залезть в окно (не первого этажа) и устроиться на подоконнике.

Шёл 1978 год, самый расцвет застоя. Песни Окуджавы в те времена были глотком свободы. Причём не из-за какой-то там крамолы, а уже из-за одного только эстетического и стилистического (по Синявскому) противоречия с советской властью. Власть это чуяла и не жаловала барда, люди — тоже чувствовали и любили.

Приезд Окуджавы стал для моего родного города событием, а для меня — тем более. Я решил обязательно познакомиться с Булатом Шалвовичем и показать ему свои стихи.

Придётся пояснить, что к тому времени я уже успел напечататься — причём довольно громко, с предисловием Слуцкого, — в «Комсомольской правде» (тогда её любовно называли «Комсомолка»), это теперь она старая шлюха) и даже на двадцать первом году жизни издал в Москве первый сборник стихов «Наедине с людьми». Эта книжка стала возможной благодаря тому, что, участвуя в фестивале молодых поэтов в Душанбе, я, что называется, прошёл первым номером: писательское начальство решило — в свете партийного постановления по работе с молодыми — меня (действительно тогда молодого, русского, да ещё и не из Москвы-Питера) опубликовать. А одним из руководителей семинаров в Душанбе был как раз Храмов...

Словом, я посчитал, что имею все основания прийти к Окуджаве в гостиницу, — даже нахально думал, что, может быть, он обо мне слышал. Потом выяснилось, что действительно слышал, но не от Храмова, а от Маленького Светлова. Так называли за близкую дружбу с Михаилом Аркадьевичем и близкое к светловскому остроумие поэта фронтового поколения Марка Андреевича Соболя, в то время меня опекавшего, а когда-то способствовавшего выходу первого диска Окуджавы в фирме «Мелодия». Кстати, как-то мне Соболев рассказывал, что БШ однажды спросил его мнение о «Путешествии дилетантов», и Марк Андреевич ответил, что, мол, хорошо написано... даже слишком хорошо. На что Окуджава почти смущённо ответил, что старался.

В общем, Окуджава — у нас. Уже почти чудо.

...Господи! Ему же тогда было меньше лет, чем сейчас мне. Но и тогдашний Окуджава остаётся старше теперешнего меня. Неужели только — «на Отечественную войну»? Или дело ещё в чём-то другом? Например, в ясном понимании им своего предназначения? И в потерянности нашего никому не нужного поэтического поколения? По крайней мере, чувствуя потерянность, трудно позиционировать себя мэтром...

Впрочем, и Окуджава мэтра «не давал».

Я постучался — он открыл, строго спросил, кто я и по какому поводу. Увидев смущение, пригласил зайти в номер. Услышав несколько моих неловких фраз, всё понял и заулыбался (эту улыбку я тогда определил как кошачью).

Позже он рассказал мне, что в тот момент вспомнил, как в Тбилиси вместе со своим другом, тоже писавшим стихи, приходил к Пастернаку (кстати, Борис Леонидович обратил внимание, по словам БШ, не на него, а на его друга, вскоре бросившего писать стихи).

Тут в номер Окуджавы зашёл Храмов, узнавший меня... И я был принят в компанию. Как выяснилось, с некоторой пользой.

Дело в том, что Окуджава никогда—или, по крайней мере, в то время и позже—не возил с собой гитару. Не хотел выглядеть артистом-гитаристом (хотя Соболю подписал свою пластинку именно так: «От одного бедного гитариста»). А организаторы поездки предложили ему нечто экзотическое, да ещё и с наклейками. На таком инструменте Булат Шалвович играть не мог. На счастье, у меня оказалась вполне приличная, купленная по благу «Кремона». Её Окуджава одобрил, но сам носить всё-таки не захотел. И я с удовольствием и даже гордостью стал его оруженосцем на всех выступлениях. Но—не только оруженосцем, ещё и экскурсоводом по городу и его домам.

Под домами в данном случае подразумеваются скорее их обитатели, умевшие делать типовые советские квартирники действительно домами со своей атмосферой и традициями.

Так я привёл Окуджаву в дом полуслепého опального профессора, филолога-структуралиста, автора «Теории автора» Бориса Осиповича Кормана, затянутого в наш город болотом застоя.

Оба были чрезвычайно рады знакомству. Во всяком случае, я видел, как Борис Осипович волновался, а Булат Шалвович потом благодарил меня за то, что попал в дом Кормана.

Познакомил я с БШ и главного редактора самой живой (или единственно живой) в городе газеты—молодёжной. Для неё я сделал интервью с Окуджавой. Называлось оно «Не убирайте ладони со лба» и оказалось весьма куцым—по моей вине. Но там было и о необходимости «думать, а не улыбаться» (цитата из Слуцкого, которого БШ чрезвычайно ценил), и о том, что его, Окуджаву, любимое занятие—мыть посуду, поскольку это способствует правильной самооценке. По-моему, об этом он тогда сказал впервые, но потом ещё где-то повторил.

А во время прогулок по городу (Окуджава всё время сетовал, что в нём сохранилось мало старины) мы разговаривали буквально обо всём—относительно не только о литературе, эти разговоры он любил меньше всего, в отличие от анекдотов. Зато мы оба оказались болельщиками «Спартака». И тут уж обменов мнениями—с обеих сторон вполне компетентными!—не было конца. Конечно, и свои стихи Окуджаве я показал—и ничего плохого о них не услышал. Но в тот период Булат

Шалвович писал прозу и интересовался ею, как и историей, больше...

Эта картинка и сейчас кажется мне фантастической: идём это мы с Окуджавой, который в кепочке и щурится, по центральной улице моего родного города—Пушкинской—и обсуждаем спартаковские футбольные дела. А то вдруг—что-то как раз из пушкинских времён или про самого Александра Сергеевича. И это праздник...

Уехав, Окуджава стал присылать мне свои новые книги: понимал, что иначе я их здесь вряд ли достану—разве что у спекулянтов.

Потом и я—в 1983 году—переехал в Москву. Поступил на Высшие литературные курсы (вЛК) при Литинституте. Жил сначала вместе с женой Аллой-Розалией в комнате общежития Литинститута. Но вскоре «второй», практически иммигрировавший в Прибалтику, предложил нам переселиться к нему в пятикомнатную квартиру в писательском доме, где осталась не пожелавшая переезжать в Прибалтику дочка—по сути, трудный подросток. Мы с женой с радостью согласились и—оказались соседями Окуджавы.

Часто приходится слышать мнение о закрытости и даже высокомерии Окуджавы. Ничего этого я на себе не почувствовал и близко. Да, он не терпел фамильярности и амикошонства. Но был и тёплым, и даже каким-то домашним, что ли. Приглашал нас с женой на чай. Как-то, вернувшись из Штатов, позвал меня продемонстрировать привезённую оттуда диловинную в те годы игрушку—довольно примитивный компьютер, играющий с тобой в шахматы. Я поиграл. Ещё БШ постоянно спрашивал, не увлекают ли меня в пьянство всякие там—и он назвал во множественном числе имя одного незначительного стихотворца, поклонника «второго»,—когда «второй» приезжает в Москву...

Да, вспомнил: к нам на вЛК Окуджава тоже приходил. Его позвал руководитель поэтического семинара, прекрасный поэт, как и БШ, фронтовик, добрый человек с глазами падшего ангела (определение Соболя), Александр Петрович Межиров.

О, как мне завидовали все однокашники, что БШ со мной поздоровался и о чём-то заговорил! По-моему, после этого мои отношения с ними немотивированно осложнились. А Окуджава тогда даже спел. И Межиров его пение нам прокомментировал:

—Т-т-талантливо даже то, как он ставит ногу на стул, чтобы поддерживать гитару!

Вскоре, закончив вЛК, я поступил на работу в «Крестьянку» заводом литературы и попросил у БШ новые стихи для журнала. И хотя Окуджава вряд ли крестьянский поэт, а «Крестьянка»—далеко не престижное литературное издание (в те уже перестроечные годы любой журнал был бы счастлив напечатать Окуджаву), БШ отдал мне новые стихи, чтобы поддержать начинающего

редактора. А однажды Окуджава даже пел песни на вечере «Крестьянки» в каком-то дк. Это к вопросу о его якобы снобизме...

Надо сказать, в то время моя жена была беременна. Как-то зимним днём (я был на работе) Булат Шалвович встретил её, скользящую по направлению к булочной. Тут же он подошёл, дал руку и проводил её до магазина и обратно.

С тех пор БШ время от времени ей звонил, спрашивал, не надо ли чего, и прогуливал («Беременным надо много гулять!») или снова сопровождал до булочной. А меня он спрашивал, не надо ли денег. И раза три я их у Окуджавы занимал. Самое трудное было долг возвращать — Булат Шалвович всякий раз удивлённо поднимал и без того «удивлённые» брови и очень убедительно говорил, что не помнит, чтобы я был ему что-то должен...

В те годы ещё проводились многочисленные фестивали литературы, практиковались писательские поездки по стране.

На одном из таких фестивалей — грандиозных Днях русской литературы в Абхазии (шёл ноябрь 1984 года) — мы оказались вместе с Окуджавой. Трудно сказать, кого из наших знаменитых писателей (по-моему, только Ахмадулиной и «второго») и чего из их знаменитых напитков там не было. И там Булат Шалвович взял надо мной шефство.

На всех банкетах и просто обедах он усаживал меня рядом с собой и как знаток грузино-абхазской кухни (тогда ещё было возможно такое словосочетание — всего лишь через дефис) руководил моим чревоугодием: советовал, что при моей ранней язве (сам был язвенником) есть можно, а чего — категорически нельзя. Что касается напитков — тем более.

Помню грандиозный приём в доме, вернее — во дворе, народного абхазского поэта Баграта Шинкубы. Столы образовывали гигантскую букву «П» под навесом. Сам хозяин в черкеске с газырями расхаживал в прямоугольнике, получившемся внутри этой буквы, и произносил высокопарные тосты. Окуджава высокопарностей и национальной экзотики напоказ не любил, и мы с ним в промежутках между тостами шептались, как школьники. По-моему, именно тогда я познакомился со своей коллекцией графоманских перлов.

О, там были высокие образцы! Например, лирическое произведение, от татарина, который писал, что, к сожалению, плохо знает родной язык и потому пишет по-русски: «Приснился сон / В синий ночь, / Окрасил окон / В синий-синий роцъ». По-моему, гениально. БШ тоже так посчитал и решил пополнить мою коллекцию. Он вспомнил когда-то прочитанное в книжке неизвестного стихотворца произведение, посвящённое Пушкину. Вот какие он зачитал мне строки: «Я поэтом лежу на диване — / Ты портретом висишь на стене...»

А после банкетов мы собирались договорить и дообщаться — всегда в одном и том же составе (по алфавиту): Битов, Искандер, Окуджава, Рейн, Чухонцев, ну и я. Часто этот пир духа (и не только) происходил в номере БШ (гостиница «Абхазия», на самом берегу моря, впоследствии разрушенная во время грузино-абхазской войны). Он (номер) был всё-таки побольше, чем у остальных (кроме, естественно, Искандера) упомянутых писателей — в Сухуми понимали масштаб Окуджавы...

Ещё одна наша совместная с БШ поездка состоялась в конце мая — начале июня 1985 года.

Мероприятие называлось «Пушкинские дни в декабристских местах». Всё происходило в Иркутской области. Главой делегации была замечательная Лидия Борисовна Либединская, между прочим — графиня, по линии Льва Толстого.

Мы ездили по доньине диким бурятским поселениям, таким как Ойек. Посещали могилу любимого Окуджавой Лунина. Пытались перед выступлением в огромном стеклобетонном и уютном Дворце культуры города Усть-Кут погулять по этому городу. Что оказалось возможным только вокруг самого дк и непосредственно по трассе бама, на которой движения не наблюдалось, — а всё остальное было покрыто грязью или водой...

Даже в бурятских селениях Окуджава, в отличие от всех остальных, знали и встречали с восторгом. Лидия Борисовна говорила:

— Это уже не популярность — это слава!

Ещё она говорила:

— Какое всё-таки счастье, что у нас есть Окуджава!

А я дразнил его Бурят-Окуджавой, на что БШ только улыбался. Он сам рассказывал мне о слухе, который пустили про его отца: мол, японский шпион, и настоящая его фамилия — Окудзава.

И ещё я придумал шутку. После выступления подходил к БШ и с серьёзным видом говорил:

— Булат Шалвович, мне надо сказать вам нечто важное...

— Да, Олег... — он склонял ко мне голову.

— Быть знаменитым некрасиво! — торжественно цитировал я Пастернака.

Он смеялся. И так три раза, как в анекдоте. Ловился!

Поскольку разъезды по Иркутской области были долгими и утомительными, мы с Окуджавой — с вынужденными перерывами, конечно, — сочиняли устную пьесу «Приключения Бурятино». Некоторые эпизоды этого произведения всех в нашем микроавтобусе веселили и вовлекали в сотворчество, но записать хоть что-то я, увы, не удосужился и, конечно, давно уже всё забыл.

Наконец мы приехали в Ангарск. Случилось это первого июня, напомним — 1985 года. А значит — в первый день вступления в силу великого антиалкогольного закона.

Наш вечер проходил в самой большой городской библиотеке. После него интеллигентные библиотекари предложили нам попить с ними чайку и повели куда-то за стеллажи...

О неистребимая русская интеллигенция в провинциальных городах и сёлах! На тебе стояла, стоит и стоять будет Россия-мать-перемать!

На длинном столе между стеллажами с книгами, помимо обещанного чая, присутствовали—водка, коньяк, сухое и портвейн, причём в промышленных количествах!

Потом подумал: неужели бедные библиотекари сами скинулись? Но тогда мысли были о другом: об интеллигентской фронде, народном сопротивлении и непростых отношениях общества и государства. С Окуджавой мы этими соображениями поделились сразу же, а потом было не до того. Мы всей нашей бригадой пролетариев литературного труда очень дружно и активно выражали своё «нет» государственному произволу!

Когда манифестация закончилась, её участников, как и в нынешние времена, натурально погрузили в автобус, но не в пример вежливо и даже ласково.

Автобус отправился в Иркутск. По дороге мы запели. Напрашивалась: «Выпьем за Родину, выпьем за Сталина, выпьем и снова нальём...»—но всем нам Сталин нравился ещё меньше, чем антиалкогольный закон, и уверенней всего мы помнили песни Окуджавы. Сам БШ их тоже подхватывал, но слова почему-то знал хуже остальных исполнителей. И тем не менее это был первый на моей памяти случай пения Окуджавой своих песен с хором. Ну, пусть и не с Краснознамённым, но, видит Бог, исполненное истинного энтузиазма...

И всё же наше главное выступление состоялось в самом Иркутске, во вместительном, но всё равно битком набитом зале главного городского театра.

А перед выступлением произошла такая история.

Утром в гостинице БШ зашёл в номер Либединской попить чаю с мёдом—«для голоса». Лидия Борисовна специально «под Окуджаву» привезла этот мёд из Москвы. Но стоило БШ выйти из номера Либединской, как он подвергся нападению женщины никем в последние годы не определённого возраста—дежурной по этажу. Самое приличное из того, что она кричала, было:—Как не стыдно! Ведь уже немолодые люди!

И правда, Лидии Борисовне было тогда за шестьдесят, и она после болезни ходила с палочкой.

БШ ничего не ответил, только его брови взлетели в поднебесье.

А вечером состоялось наше выступление в переполненном зале иркутского театра, и случился ещё один небольшой скандал. Его причиной на этот раз стал не чай с мёдом, а непосредственно я собственной персоной.

Дело в том, что месяца за два до Пушкинских дней я уже приезжал в Иркутск, который на меня произвёл разнообразные впечатления. И неожиданно они выразились в стихах.

Заканчивались мои вирши про Иркутск так:

...Запомню этот город, этот град
по ставням по закрытым (что не важно),
по девицам ругающимся (тоже
не важно), по утрюмому кумиру
Распутину—теперь он здесь живёт...
Зачем-то мне показывают от
и до-ре-ми, приснившееся миру.

А ещё там было что-то про полубуряство этого города... В общем, идея прочесть такое произведение со сцены в Иркутске теперь мне кажется безумной. Тем не менее я её осуществил!

И тут же испытал на себе ненависть половины зала. Раздались оскорбительные выкрики. Это переносится тяжело.

Я сел на место. Окуджава, склонившись над моим ухом, прошептал, что я категорически не должен реагировать и вообще обращать внимание. Тут из зала передали БШ записку, которую я через его плечо прочитал. В записке, обращённой отчего-то к нему, а не к Лидии Борисовне, которая была не только главой делегации, но и вела вечер, задавался вопрос, почему он, Окуджава, привёз с собой в их замечательный город такого негодяя—меня.

И как раз в это время Либединская, к радости зала, объявила Окуджаву.

БШ начал, естественно, с Пушкина, но потом как-то ловко перешёл на мою нескромную персону и похвалил как самого молодого в делегации, а уже талантливого. Зал насторожённо, но и уважительно слушал. В общем, БШ меня отмазал. После чего стал петь свои удивительные песни.

Неужели потому, что он заступился за меня, подлеца, опорочившего их город, в Иркутске тогда не напечатали ни одного интервью с Окуджавой?

Но вернёмся от домыслов к реальности. Значит, сначала БШ говорит о Пушкине, потом—обо мне, любимом, потом поёт своё...

Никогда больше я не окажусь в таком чудесном контексте, в такой весёлой компании—с Пушкиным и Окуджавой! «А всё-таки жаль...»

Съехав с квартиры «второго» (ввиду намекавшегося рождения ребёнка, это было бы уже слишком для продолжения светской московской жизни, которой у него оставалось всё меньше и меньше) и перестав, таким образом, быть соседом Окуджавы, я продолжал приходить к нему в гости. Однажды я даже нахально завалился в его дом в Новый год с друзьями, без звонка. Не прогнал.

А потом мы снова стали соседями—теперь уже по Переделкину.

БШ получил в качестве писательской дачи-мастерской маленький домик на улице Довженко и очень ему радовался.

Окуджаве была необходима топографически обозначенная зона одиночества.

Вскоре и я получил сторожку на улице Павленко, на бывшей даче Всеволода Иванова, и тоже очень радовался—по той же причине. Поэтому навязывать своё общество Окуджаве я категорически не хотел, и всё же мы довольно часто виделись—то по делам, литературным и не только (я в то время уже работал в «Новой газете»), то «среди шумного бала, случайно» (например, на празднике в переделкинском Доме-музее Чуковского), то и вовсе на дороге. То есть я на ней стоял и ловил машину до города, а БШ ехал. И он раза три-четыре меня подвозил.

Однажды, стоя на обочине в позе Ленина на броневике, я вдруг увидел, как какая-то машина даёт задний ход, причём угрожающе быстро. Я отскочил. Оказалось, это машина БШ. За рулём был его сын Булька, а сам Окуджава пригласил меня сесть рядом и вместе доехать до города. А услышав мои неосторожные, но искренние опасения, что опаздываю на планёрку, предложил довезти прямо до редакции. На мои отнекивания возразил, что тоже работал в газете и знает. (Как БШ работал в газете, мне подробно и смешно рассказывал «третий», его друг, первый слушатель и критик, в то время коллега по этой конторе.)

Помню, тогда по дороге Окуджава говорил, как Евтушенко буквально заставил его собрать свою книгу стихов и сделал всё, чтобы издать её в Москве.

В результате моих отнекиваний и наших разговоров БШ довёз-таки меня до самой редакции «Новой», которая тогда располагалась на Тишинке.

Всё равно минут на десять опоздав на планёрку, я нашёл безошибочное оправдание:

— Извините, тут меня Окуджава подвозил—немного заболтались.

И упрёков за опоздание не последовало: или собеседник Цезаря, как и его жена, вне подозрений, или главный редактор решил, что у парня мания величия и с этим надо разбираться отдельно.

...А отдельно были мои посещения Окуджавы в его переделкинском домике. Во время одного из них я вдруг услышал шуршание и забеспокоился, а БШ, заметив беспокойство, рассказал, что у него тут есть своя мышка, которую он кормит, и значит, всё в порядке...

Как-то на переделкинской улице Довженко справлялся юбилей поэтессы Марины Тарасовой. Мы приехали к ней вместе с моим другом—очень талантливым, но не очень известным (не тусовочным и не каэспэшным) бардом Толей Головковым. Громкоголосая Марина радовалась гостям, угощала и смеялась. А потом вдруг загрустила. Вот,

говорит, живу напротив Окуджавы и даже с ним незнакома, только здороваюсь при встрече, а он вежливо кивает, но не знает кому.

Я расчувствовался и решил сделать новорождённой главный подарок.

Для этого отправился к домику Окуджавы без всякого предварительного звонка. Решительно постучал в дверь. Услышав: «Кто там?»—представился. Дверь открылась—на пороге «домашний» БШ.—Извините, Булат Шалвович, за беспокойство, но тут на вас соседи обижаются,—заявил я очень твёрдо и печально.

— Да? А за что?

И я рассказал БШ всю правду.

Буквально через пять минут мы с Окуджавой были у Марины, а она была счастлива.

Но нет такой бочки мёда, в которой не оказалось бы ложки дёгтя. Дело в том, что Толя Головков давно хотел показать что-то из своих песен любимому барду, а тут такой случай—общее застолье, но... Гитары не было. Ни у самого Головкова в машине. Ни у Тарасовой. Ни, как выяснилось к немалому общему изумлению, у Окуджавы (он тогда писал стихи и прозу, а не «песенки», и гитару, от греха подальше, в Переделкине не держал).

Я обзвонил ряд окрестных писателей—никто из них не оказался гитаровладельцем... В общем, мы с Головковым доехали до Москвы и привезли-таки гитару.

Толя спел несколько песен. БШ они понравились, о чём он сказал прямо и однозначно—никогда, между прочим, в своих оценках не лукавил. Причём понравились настолько, что Окуджава завёлся и сам вызвался попеть, чего не делал к тому времени в компаниях несколько лет.

Сначала мы благоговейно слушали, а потом стали подпевать. И это было второе при моём участии пение Окуджавы с хором. И так ли уж важно, что нестройным? Зато от души.

...А последняя моя встреча с БШ произошла за три дня до его последней поездки в Европу с выступлениями. Летел он в Германию, во Францию тогда даже не собирался. И хорошо бы, если б не собрался, кто знает... «Не пускайте поэта в Париж!..» Но сослагательное наклонение работает только в виртуальном мире...

Я пришёл к нему на Безбожный (ныне снов Протопоповский) вместе с другом, поэтом и литературным исследователем Андреем Черновым. Булат Шалвович был предельно радушен. Предложил нам выпить с ним водки (что делал нечасто), сказав:

— Это Войнович из Германии привёз—должна быть хорошая.

И потёк разговор. О том, что происходит в стране. О том, чем в российской истории это вызвано. О «Новой газете», которую БШ читал с интересом и сочувствием. О Чубайсе, на которого

возлагал надежды, несмотря на античужайсовские настроения, мелькавшие и в тогдашней «Новой». В общем — «об Азии, Кавказе и о Данте»...

Ольга Владимировна, жена БШ, сидела рядом, но в разговоре участвовала только время от времени. А периодически БШ вспоминал, что в холодильнике ещё есть что-то подходящее, и отправлял её за этим подходящим на кухню. Кажется, дело было не в необходимости дополнительной закуски, а в собственном поэту чувстве гармонии: на троих так на троих...

Когда мы расставались, как выяснилось — навсегда, БШ проводил нас до дверей. И уже в дверях спросил:

— Так когда в России было отменено крепостное право?

Мы с Черновым дружно выпалили:

— В тысяча восемьсот шестьдесят первом!

— Да-да, только в шестьдесят первом... В этом-то всё и дело... — грустно сказал Окуджава.

И ещё раз (мы уже обсуждали это за столом) пообещал мне что-то передать для публикации в «Новую газету» — сразу же, как только вернётся из Германии.

Это обещание оказалось единственным, которое Окуджава не выполнил. По крайней мере, из данных мне.

...Потом были букеты и букетики цветов, заткнутые в его переделкинскую калитку, и — прощание в театре Вахтангова на его родном, хоть и обезображенном Арбате.

Я не пошёл «по знакомству» на сцену. Встал в нескончаемую очередь, тянувшуюся от Смоленки. Проходивший мимо Евтушенко звал меня пройти с ним, но я отказался. Я был прежде всего поклонником Окуджавы, а уже потом хорошим знакомым и почти другом, младшим. Поэтому я хотел оставаться в нескончаемом потоке его поклонников. Только в августе 1991-го и тогда на Арбате, в 1997-м, я чувствовал единение с незнакомыми людьми на улице (много позднее это случилось ещё на Болотной и проспекте Сахарова).

Шёл мелкий, какой-то осенний, несмотря на июнь, дождь, а мы медленно двигались к гробу того, кто нас объединял, и не обращали внимания на этот дождь. Даже хорошо, что он шёл. По крайней мере, мужчины этому дождю были, по-моему, благодарны.

Булат Шалвович Окуджава,
так проходит земная слава —
по Арбату в сто тысяч ног.
Это вы уже сверху видели:
проигравшие победители
девятиных всему итог
подводили — под мелкий дождик,
под колеблемый ваш треножник,
скрипку Моцарта, скрип сапог.

Вслед за песенкою короткой
поднимался беззвучный рокот,
по Арбату-реке волной
шёл, вздымался, бился о небо,
на людей глядевшее слепо,
нависавшее над страной.
Булат Шалвович Окуджава,
так приходит земная слава:
не крикливо, не величаво,
к небу тягостному спиной.

Но и в тот горестный день я с Окуджавой не расстался. Остались его голос, песни, книги. Его переделкинский домик стал всегда открытым для друзей БШ Домом-музеем. В нём, спасибо Ольге Владимировне, я отметил, так сказать, в рамках Булатовых суббот и своё, как пошутил тогда друг Окуджавы Юрий Карякин, полувежье, и пятидесятипятилетие тоже. Лучшего места, да ещё в июле, даже представить нельзя.

И на «все наши шалости и мелкие злодеяния», улыбаясь, смотрел Булат Шалвович с большого фотопортрета над нашими головами.

И всегда будет смотреть. «Пока Земля ещё вертится...»

А «третий» это словосочетание, «проигравшие победители», использовал потом, к моей радости, в названии одной из своих многочисленных и замечательных, хоть и не прочитанных всерьёз большинством, книг...

...Но это я залетел в совсем другое время. Надо вернуться — даже не из Иркутска, Москвы или Переделкина — из Сухуми...

Сухуми-Мухус (палиндром)

Все мы, участники последних Дней советской литературы в Абхазии, возвращались, гружённые подаренными чемоданчиками с осенними сухумскими мандаринами и — у кого сколько — бутылками «Лыхны».

У Юрия Кузнецова, того самого, который «пил из черепа отца», был целый ящик (подарили абхазские поклонники). Выходя из автобуса на проспекте Мира, а многие ехали именно сюда — там были писательские дома, Кузнецов выронил из ящика бутылку. Тёмно-красная лужа разлилась по асфальту. Юрий Поликарпович на неё внимательно посмотрел, а потом бросил коробку в эту лужу и стал её вместе с винно-стеклянным содержимым яростно топтать. Чухонцев был единственным, кто не оторопел.

— Юра, ну ты всё-таки дикарь! — сказал он сочувственно, и наш автобус поехал дальше.

А до этого, в Сухуми, где «купальную» погоду сменяли град и даже снег, Юрий Кузнецов пригласил меня как-то в свой номер и там по-медвежьи неловко и стеснительно накинуд мне на плечи своё пальто...

Что ещё было в Сухуми?

Например, мой приход в мастерскую к замечательному художнику Нугзару Мглоблишвили. Когда мы стояли на балконе его мастерской, между нашими головами, повернутыми друг к другу, пролетела шаровая молния—гость из другого измерения. Мы не шелохнулись (что, видать, было совершенно правильно). Молния залетела в мастерскую, облетела её и вылетела обратно—снова между нами. С тех пор (убей меня гром!) мы стали близкими друзьями, даже братьями. Поэтому я и знаю—Нугзар не любит говорить об этом посторонним,—что гораздо менее гуманным, чем шаровая молния, оказался снаряд грузино-абхазской войны: он полностью уничтожил мастерскую Нугзара со всеми картинами. Слава Богу, самого художника в это время там не было. (Потом Нугзар сделает гениальный памятник нашему общему любимому другу Щекочу.)

А в последние Дни советской литературы в Абхазии между грузинами и абхазами чувствовалось только некоторое отчуждение. Например, когда со сцены сухумского театра грузинский поэт Джансуг Чарквиани прочитал стихотворение, состоящее практически из одного постоянно повторяющегося слова «Иберия!» (впрочем, ещё и второго—«Иберия!!!»), две трети зала встретили его овацией, а треть мрачно молчала. Ну и приехавших писателей грузинская и абхазская диаспоры делили между собой. Так, Окуджаву пытались поймать в сладкие сети своего неусыпного гостеприимства сухумские грузины, а Искандера—естественно, сухумские абхазы. У последних это получалось лучше.

Один из наиболее помпезных банкетов состоялся в плавучем ресторане «Амра». Фазиля абхазские поклонники усадили за свой абхазский стол. Окуджава оказался за грузинским, рядом с ним—и опекаемый БШ я. И сидели мы как раз напротив Евтушенко, возглавлявшего при СП СССР Совет по грузинской литературе, и Вознесенского, с которым Евгений Александрович тогда решил снова подружиться.

Даже посреди самых шумных застолий, как известно, периодически наступает момент тишины. Именно в один из таких моментов уже испивший полную чашу гостеприимства Искандер встал из-за абхазского стола и дошёл-таки до грузинского. Его путеводной звездой был Окуджава. Фазиль подошёл к стулу БШ, склонился над ним и со словами:

— Булатик! Как я тебя люблю!—приобнял барда.

Потом Искандер очень медленно распрямился и сделал «козу» сидящим напротив Евтушенко и Вознесенскому, изрекая:

— А вы...

Он ещё не успел доформулировать, за кого, собственно, их держит, когда Андрей Андреевич

исчез из-за стола. Как-то так случилось: только что тут был Вознесенский—и вдруг Вознесенского нет как нет (это казалось мистикой, только потом я сообразил, что за спиной Андрея Андреевича был стеклянный выход на палубу).

—...воры!—наконец изрёк Фазиль (употребив это слово, несомненно, в расширительном старорусском значении, как мой дед).

Окуджава попытался его увести (получилось не сразу), а Евтушенко, горестно, по-бабьи, подперев подбородок рукой, сказал:

— Ну ладно я, а Андрея-то ты за что?!

На следующий день кто-то рассказал Искандеру о случившемся, но, видать, неправильно. Потому что он, совершенно спокойно разговаривая с Евтушенко, всё время норовил извиниться перед Вознесенским. А тот от него вместе с его ненужными извинениями бегал.

Вообще, Фазилю во время этого приезда в Абхазию было тяжело. И не только от ежесекундного гостеприимства.

— Зачем я сюда приехал?—то и дело вздыхал он, сверкая персидскими очами.

— Ну как же,—банально утешал я, искренне любящий его «Сандро» и даже эндурцев,—это же ваш Мухус!

— У меня здесь все умерли...

А однажды я с гордостью убедился, что мои биоритмы полностью совпадают с биоритмами любимых прозаиков—Битова и Искандера.

С Битовым-то всё выяснилось сразу же. Наши номера были рядом, и, выходя утром каждый на свой балкон, чтобы выдохнуть вчерашнее и вдохнуть полной грудью, мы всякий раз обнаруживали друг друга за аналогичным занятием.

Однажды мы вышли проделывать это уже после того, как вся делегация уехала в район на какие-то грандиозные абхазские скачки с джигитовкой.

Что делать? Мы с Битовым не стали суетиться—вышли на набережную попить кофе по-турецки. И—с радостью обнаружили там Искандера. Правда, у меня есть подозрение, что он, в отличие от нас, не проспал, а просто удрал от повышенного внимания.

Мы стояли и неспешно беседовали за кофе, как вдруг, откуда ни возьмись, появился громокипящий Рейн. Он в этих Днях литературы не участвовал, а, как выяснилось, только что высадился с катера из Батуми.

— Я только что трахнул потрясающую буфетчицу!—прокричал Рейн, а Битов с Искандером стали вслух прикидывать, как его включить в состав делегации.

Несмотря на то, что Женя тогда ещё был в полуопале, это у них получилось. В результате принимающая сторона немного пострадала: с каждого официального банкета Рейн прихватывал пару бутылок коньяка для продолжения. Эти бутылки,

надо сказать, не бывали лишними во время наших послебанкетных посиделок, в которых, помимо отставших от скачек, периодически участвовали Окуджава и Чухонцев.

Беда была только в том, что в качестве тары для ворованного спиртного Рейн использовал мою холщовую наплечную сумку. Наконец я попросил Женю этого больше не делать: неудобно, мол. Женя тут же согласился. Каково же было моё удивление, когда уже в самолёте Сухуми—Москва я открыл свою сумку и обнаружил там бутылку коньяка...

Но если кто-то подумает, что в Абхазии мы только то и делали, что выпивали, будет не прав. Например, мы ещё читали друг другу стихи и вели интеллектуальные беседы.

Так, Вознесенскому я рассказал тогда про четырёхмерный шар. И его моё сообщение заинтересовало. Сам я до того, что это за зверь, додумался на семинаре по матанализу—ещё в своём родном Ижевском механическом институте. Вот—конспективное изложение моего сообщения.

Пятимерный шар

Как выглядит четырёхмерный шар? Представим себе, что всё воспринимаем только в плоскости, двумерно. Тогда любой обычный шарик голубой—это для нас круг. Причём попадает он в плоское поле нашего зрения из ниоткуда (точка—нечто, не имеющее частей), затем расширяется до своего диаметра, потом уменьшается и исчезает в никуда. Значит, шар в двумерном восприятии—это пульсирующий круг. Пусть даже шар этот совсем и не движется—это мы осматриваем его в пределах доступной нам плоскости.

Отсюда вывод: четырёхмерный шар в щёлочке нашего трёхмерного восприятия—это обычный шарик, появляющийся из ниоткуда, расширяющийся до своего диаметра, затем уменьшающийся и исчезающий в никуда. Это, конечно, если он был неподвижен, а мы его последовательно осматривали. Но мог ведь и двигаться, будучи, например, четырёхмерным футбольным или баскетбольным мячом, или вообще—четырёхмерным воздушным шариком. Тогда... ну тогда... уж и не знаю, где и какой величины этот шар-мяч будет появляться в нашем трёхмерно воспринимаемом мире. Знаю только, откуда он будет появляться: из ниоткуда. И ещё знаю, куда будет пропадать: в никуда. Он-то будет оставаться на месте или лететь в свою четырёхмерную корзину, просто мы перестанем его видеть.

А ещё он может быть вовсе и не шаром—любим четырёхмерным предметом. Значит, если любой трёхмерный предмет, на наш взгляд, движется, то он очень даже может быть неподвижным четырёхмерным объектом. Или субъектом. Кстати, и человек тоже, по общепринятому мнению, существо трёхмерное, а между тем движется, меняет в течение земной жизни свои размеры, да и

появляется, в общем, из ниоткуда, как и исчезает, с материалистической точки зрения, в никуда...

Солнце вот тоже—не было, не было, вдруг появилось, движется целый день по небу и пропадает в никуда: некоторым кажется—в море село, другим—за гору, третьим—в степной ковыль. И воздушный шарик в небо улетел—исчез.

А первый резиновый мячик—сине-красный, разделённый серебряной полосой, в специальной шёлковой сетке—где он?

Ну, сначала он попал мне в руки, был немедленно приближен к носу—как волшебное, дальней дорогой, пахнет новая резина!—а потом был точнѐхонько отправлен в ржавый обруч над сараем, изображающий баскетбольное кольцо. Обруч висел высоко—сквозь него глядело только небо, и никогда больше забросить в него мячик мне не удавалось, а удавалось этот мячик набивать о деревянный крашенный пол, о твёрдую и светлую летнюю землю, кидать в стену сарая и ловить, запинывать через забор на улицу Коммунаров и находить там в низкорослых зарослях ароматной, лечебной, как говорили, ромашки... Ну и где сейчас этот мячик, я спрашиваю?

А может, мы все движемся вдоль четвёртой оси восхитительной системы координат и по невежеству называем эту обычную—ничем не отличающуюся от длины, ширины и высоты—ось временем?

Ну а пятое измерение—это память. Она позволяет пренебрегать линейным поступательным движением по оси времени и оказываться в самых разных её точках.

Теперь понятно, что такое пятимерный шар-мяч?

Верхние и нижние

Тот красно-синий, с серебряной полосой посередине, мячик скакал во дворе нашего дома на Коммунаров, который строил другой мой дед.

Я его никогда не видел—он умер в бане от инсульта за год до моего появления на свет. Зато рассказов о нём я слышал столько, что, кажется, знаю его лучше всех остальных родственников. Виртуальность нашего мира проявлялась задолго до изобретения компьютеров. Так что об этом своём деде я могу немало порассказать.

Однако ограничусь вот чем.

Родился он на Буковине (хутор под Хотиним), в бедной семье, однажды переплыл Днестр, оказался в Румынии и оттуда попал в Америку; там, в Детройте, работал на заводе Форда, очевидно, испытал на себе его «потогонную систему» и, вернувшись в Россию, вступил в РСДРП. Каким ветром его занесло в Ижевск, не знаю, но здесь он построил завод (и стал первым его директором), который стоит сейчас в самом центре города и называется мотозаводом—в целях конспирации:

все знают, что в Ижевске делают мотоциклы, и пусть иностранные шпионы думают, что их делают именно на этом заводе, в то время как на мотозаводе делают... Скажу одно: от рейгановской провокации со звёздными войнами пострадал прежде всего мотозавод — здесь уже начали что-то такое звёздно-военное разрабатывать, да советская экономика на этом деле надорвалась.

А директорство деда не избавило его семью от бедности: когда своими силами строили маленький двухэтажный деревянный дом, в котором я и родился, ели одну картошку. Ну а уж после его внезапной смерти... Моя будущая мать вынуждена была совмещать учёбу в техникуме с работой, а бабушка Елизавета Николаевна — продавать молоко вскормившей меня чёрно-белой любимицы Зорьки (потом Зорьку во время «хрущёвских перегибов» со двора увели — бабушка плакала). И ещё всё время что-то шила на продажу.

Про незнакомого мне деда, пожалуй, вот ещё что: бабушка и при жизни, и после смерти всегда называла его на «вы» и по имени-отчеству, и, овдовев в сорок четыре года, не только больше не вышла замуж, но и никогда не смотрела в сторону мужчин. Ну а на руках у неё осталось трое, моя мать была старшей.

Эта бабушка воспитала и меня, а можно сказать: меня и воспитала.

Бабушка... Сдобный запах пирожков утром по воскресеньям; поленья дров в снегу, которые она приносила с мороза и складывала у печки, но они уже пахли весной; неизменный серо-полосатый кот Васька у неё на коленях, мурлыкавший под её рассказы о прежней жизни; постоянные приходы соседей с бытовыми просьбами, в которых она никогда никому не отказывала; шашки или домино со мной по вечерам...

А ещё — наши совместные походы «по магазинам». Я был, по определению моего будущего учителя Бориса Слуцкого, ребёнком для очередей. Благодаря моему стоянию в очередях, в этом русском клубе пятидесятых — восьмидесятых, наша семья получала в два раза больше муки, сахара, масла... В очередях я активно общался и даже рассказывал анекдоты. На дворе стояла «оттепель»...

Однажды улыбчивый дяденька в ушанке с кожаным верхом, заинтересовавшись разговорчивым четырёхлетним человеком, стал меня расспрашивать о родителях: как зовут, где и кем работают. Я подробно отвечал. А дяденька вдруг сказал, до сих пор помню дословно:

— Мальчик, а вдруг я шпион? Ты вот мне всё рассказал, а я передам врагам, и твоим маме и папе не поздоровится!

Конечно, после этого я всю ночь не спал и утром сказал отцу, что я предатель...

Когда пишешь о своей жизни, понятно, что таким простым способом хочешь её хоть как-то

сохранить. А зачем это иногда читают другие люди? Наверное, они в течение своей короткой жизни хотят прожить ещё какие-то жизни — пусть даже чужие. Поэтому такой популярностью пользовались толстые подробные семейные романы (например, «Война и мир» или «Сага о Форсайтах»), потом — мемуары (хотелось, чтоб дополнительные жизни были взаправдашними). Сейчас с этой корыстной целью смотрят сериалы, вытеснившие в сознании большинства литературу. И понятно, почему их смотрят прежде всего женщины: они самой природой настроены на продолжение-продление жизни.

А как жизнь заканчивается, я впервые увидел в том же доме, где родился.

Первым из родных и близких умер мой прадед по матери Николай Терентьевич Нефёдов. Вообще-то его фамилия была Нефёдов, но он её сменил — она казалась ему какой-то незвучной и даже туповатой.

Прадед был из мастеровых. Ходил в картузе, сатиновой косоворотке, перетянутой тонким ремешком, портках, заправленных в сапоги. Были у него добрые лучистые глаза и этакая «калининская» козлиная борода.

Проснувшись любым летним утром и накинув распашонку, я выбегал во двор (счастье, когда без подъезда, лифта и сразу — на землю!) и заставал прадеда в его мастерской под лестницей: он или что-то строгал, или резал стекло алмазом. Я с интересом за ним наблюдал, но больше разговаривал, чем запоминал, как он обращается с инструментами. Во всяком случае, ничему не научился. А стекло прадед резал нередко после того, как я стёкла разбивал — почему-то всегда на втором этаже, у «верхних», то мячиком, то посредством рогатки. Прабабушка — Клавдия Тихоновна — ругалась, подозревая, что я это делаю специально, прадед меня защищал и шёл резать стекло под размер окна.

Вообще-то чаще всего прабабушка бывала права. И, увы, разбитые стёкла были не единственным моим подловатым хулиганством в детстве.

Ещё, например, я любил сидеть на заборе, поедать сладковатый жёлтый цвет акации и караулить прохожих. Как только кто-то из них, обратив на меня внимание, высказывался в том роде, что вот, мол, какой пончик сидит или, того хуже, жиromaсокомбинат (был я тогда несколько упитан), я доставал доселе скрытый от посторонних глаз водяной пистолет и пускал струю в обидчика. Так как чаще всего попадал, потом приходилось прыгать с забора во двор и бежать куда-нибудь за сарай, где располагалось кошачье кладбище.

Да, водяной пистолет — чуть ли не единственная удачная вещь, которую я сделал собственными руками — из пневматического, стрелявшего большой резиновой пробкой.

Ну а кошачье кладбище... Вот, собственно, первые смерти, которые я увидел.

Все коты были серые в чёрную полоску, и всех звали Васьками. Каждого последующего—в честь предыдущего. Почему они долго у нас не заживались, не знаю. Хоронил их я—зарывал навсегда на всегда сырой узкой полоске земли между сараем и забором, делал холмик и ставил крест. Конечно, ревел. И только последнего Ваську хоронить не пришлось.

С ним, ещё котёнком, я познакомился в магазине и упротил бабушку взять его домой. Он не уходил от меня целый день, а я с ним разговаривал. И как-то так получилось, что у нас выработался общий язык—во всяком случае, он понимал, чего я от него хочу, и поскольку любил—выполнял все мои просьбы. Например, перепрыгнуть через палочку или толкнуть лапой круглую лакированную жёлто-синюю китайскую батарейку для круглого фонарика.

Этот номер демонстрировался всем гостям. Я садился на стул, брал Ваську на руки, так что он тоже вроде как сидел, держа на весу передние лапы, а перед ним была выстроена целая батарея из этих самых батареек. Тогда я произносил известное только нам с Васькой слово, и он толкал лапой одну батарейку. Сколько раз я это волшебное слово произносил, столько батареек катилось по столу. Что говорить—номер пользовался неизменным громким успехом. Потом, после длительного перерыва в представлениях, я это слово забыл, и цирк уехал в неведомые дали.

А моей главной детской мечтой была такая: рассыпаясь я однажды, а у моей кровати стоит Васька, как всегда принёсший мне мышшь поделиться, и вдруг начинает со мной говорить человеческим языком. Мне всю жизнь горько, что мой первый настоящий друг не умел говорить по-русски.

Васька исчез незадолго до того, как наш дом снесли. Может быть, задержался по своим мужским (он созрел раньше) делам, а когда вернулся—дома не обнаружил.

Конечно, я много раз приходил на родное пепелище, звал его, но мы с ним так и не встретились.

Зато Васька остался для меня вечно живым, как Ленин. А Ленина я в те годы сильно уважал и даже хотел быть похожим на него, более того—на менее значительную роль в истории человечества, чем ленинская, лично сам не был согласен. Тоже собирался переустроить мир, чтоб сделать всех насильно счастливыми и ещё—бессмертными.

Это только спустя лет пятнадцать мой другой настоящий друг Юра Шекочихин специально подгадывает себе командировку в Ижевск от «Комсомолки», чтобы рассказать мне то, что недавно узнал сам: Ленин-то, оказывается, плохой, злодей не меньше Сталина...

А ещё, кроме Ленина, я хотел быть милиционером.

Дело в том, что в нашем доме жил «верхний» Дядьпаша, муж бабушкиной младшей сестры Тётьшуры, и был он майором милиции, хотя вроде бы по пожарному ведомству. У Дядьпаши была коробочка с орденами Ленина и Красного Знамени, и иногда он разрешал мне в них поиграть. А ещё играл со мной в шашки, да так азартно, что когда проигрывал, говорил, что, мол, это он мне поддался.

Кроме того, Дядьпаша не курил и не пил, и когда мой отец Парень приходил после своей тяжёлой работы зама главного технолога или начальника производства завода навеселе, а иногда и скандалил, усмирять его и даже однажды умело связал.

Словом, благодаря Дядьпаше я считал милиционеров практически идеальными людьми, не только всегда всё правильно делающими, но и следящими за тем, чтобы все остальные делали всё так же правильно.

Каково же было мое потрясение, когда, сидя на заборе, я увидел милиционера, идущего по нашей улице Коммунаров с папироской в зубах! Поравнявшись со мной, ужасный милиционер смачно сплюнул! И этот плевок угодил не на доску деревянного тротуара—о нет!—он попал мне прямо в душу.

И я передумал быть милиционером—решил стать молодым физиком-ядерщиком в белом халате, как в фильме «Девять дней одного года», да ещё и бегло играющим на пианино, как мечтала моя мама.

Сразу скажу: и это у меня не получилось.

Что ещё не получилось?

Ох, многое. Подпись: ОХ.

Но зачем перечислять? Это же интересно, только если вы захотите войти в мою жизнь и попытаться её вместе со мной заново прожить (чего и мне-то не удалось—ни с первого, ни со второго раза).

И жизнь не столь увлекательна, как авантюрный роман, и не столь последовательно-детерминирована, как фабула греческой трагедии. И вы это чувствуете, привыкшие к сказкам как к сказкам (и соответственно—к любой литературе). И точно знаете, что в жизни всё немного иначе.

Ну, например, если в книжке возник некий герой, а потом куда-то исчез—это безобразие и нарушение чего-то, важного для книжки и её оценки в ваших глазах. А в жизни? Ну, возник. Ну, исчез. Закономерность. Ну, встретился через многие годы (случайность) старым и обрюзгшим (закономерность)... А был любовником (это я обращаюсь к женщинам как основным читательницам написанного). Ну и хрен с ним—никакой «Варшавской мелодии», сама-то уже, погляди: на пляже стыдно раздеться, да и внуки. И ваще!...

В общем, о том, что не получилось, не буду. Лучше—о том, что удалось.

Это должен быть конспект производственного романа. Ну, читали же когда-то и «Цемент» Гладкова, и «Гидроцентральный» Шагинян, а тут, как мне кажется, даже веселей...

Как горел «Огонёк»

Когда Михаил Сергеевич Горбачёв объявил ускорение, а затем перестройку и гласность в СССР, наверно, даже он сам не до конца понимал, к чему это приведёт. А привело к тому, что ускорение, безусловно, получилось. Причём — исторического процесса и во всемирно-историческом масштабе — вопреки японско-американской концепции человека с фамилией, похожей на название вулкана, про конец мировой истории. Нет у неё никакого конца — она ж история! Это доказал горбачёвский СССР.

Что касается перестройки, тут, наверное, несмотря на многое сделанное, не хватило исторического времени — ввиду того же удавшегося ускорения.

А как получилось с гласностью, помнят все, кто ночи напролёт смотрел съезды народных депутатов. (Кто не помнит, знайте: почти вся политика страны делалась на глазах телезрителей, то есть народа, если исходить из того, что он всё-таки ещё был, сохранился каким-то сказочным образом после всех революций, репрессий и войн.)

И была другая составляющая удавшейся гласности — связанная со снятыми с полок фильмами, с новым, талантливым и свободным, телевидением, с вышедшими из андеграунда музыкантами и поэтами, с литературными публикациями всего запрещённого при советской власти, за одно чтение чего (даже за Цветаеву!) люди мотали сроки...

Вообще, это было самое интересное и счастливейшее время для художников (в широком смысле слова), журналистов, редакторов...

...Когда в самом начале 1988-го я пришёл в коротичевский «Огонёк», процесс уже пошёл. Имеется в виду процесс возвращения в литературу запрещённых имён и произведений. Но его надо было углубить. Понятно, что слова «процесс пошёл» и «углубить» звучали тогда исключительно в горбачёвской транскрипции и с его же ударением.

Ещё до моего прихода в «Огонёк» в качестве заведомо литературы в этом внезапно переродившемся после многолетнего царствования монстра-антисемита Софронова журнале была опубликована первая в СССР статья о Николае Гумилёве. Причём автором её неожиданно оказался вовсе не поэт и не литературовед — а Николай Карпов, Герой Советского Союза и тогда один из писательских начальников. Значит, ветер дул не с запада и не с востока, а сверху.

Тем не менее даже при благоприятном атмосферном давлении «пробивать» каждое новое (а в основном — хорошо забытое старое) имя надо было снизу. В этом низу, но около дверцы из подпола (или подполья?), мне и посчастливилось оказаться.

Первая моя история «пробивания» запрещённого связана с именем Саши Соколова, жившего в то время в Канаде сына советского дипломата. Прозу Саши Соколова хвалил Набоков, а я полюбил его «Школу для дураков» и «Между собакой и волком», которые были изданы американским «Ардисом» и просочились в Москву. Когда я предложил Коротичу опубликовать отрывок из «Школы для дураков», Виталий Алексеевич сказал:

— Надо идти к Солодину и обаять его.

Солодин был тогда главным цензором страны, и без его санкции публиковать «эмигранта Соколова» (хотя какой он эмигрант, если и родился в Канаде?) было невозможно. Это понятно. Куда непонятнее было, как его, цензора, обаять.

Мы посоветовались в отделе и решили применить против Солодина тяжёлую артиллерию в лице Татьяны Толстой, так же, как мы, симпатизировавшей Саше Соколову и тогда вполне дружественной нам и новому «Огоньку». Идти вместе с ней на цензорский ковёр вызвался мой тогдашний зам, а впоследствии глава пресс-центра Патриарха всея Руси Владимир Вигилянский.

Встреча главного цензора и самой яркой, как казалось в те лета, писательницы состоялась. И её чары (плюс интеллигентское, но всё-таки обаяние Вигилянского) подействовали! Подпись Солодина была получена. И «Огонёк» опубликовал отрывок из «Школы для дураков», а несколько позднее и книгу Саши Соколова, куда вошёл, наряду со «Школой...», и второй его роман — «Между собакой и волком».

Но это было только самое начало нашего романа с гласностью.

Какие поэты тогда вернулись на родину стихами благодаря публикациям «Огонька» (и не только)! Назову лишь самых крупных: Владислав Ходасевич, Георгий Иванов, Иван Елагин, Александр Галич, Иосиф Бродский, Лев Лосев... А чего стоила публикация арестованных стихов Николая Клюева! Их добыл из следственного дела расстрелянного поэта Виталий Шенталинский, который вёл у нас рубрику «Хранить вечно» (тогда архивы, в прямую противоположность нынешним временам, становились с каждым днём всё открытее). Впервые напечатали мы и лагерные стихи Анны Барковой, практически никому из неспециалистов до этой публикации неизвестной мощной поэтессы.

Вообще тема ГУЛАГа оказалась неисчерпаемой. Назову наиболее яркие публикации тех лет: стихи и рассказы Варлама Шаламова, стихи и проза Юрия Домбровского, потрясающий рассказ Георгия Жжёнова, отрывки из романов Андрея Синявского и Льва Копелева... Настоящим открытием оказались присланные в «Огонёк» тетради Евфросинии Керсновской с её летописью ГУЛАГа в рисунках и текстах под ними.

Границы гласности расширялись не по дням, а по часам. Вот мы печатаем в нескольких номерах главы из романа Анатолия Рыбакова «Дети Арбата», про который в своё время мне рассказывал Булат Окуджава, не сомневавшийся тогда, что при советской власти это произведение издано не будет, а советская власть в ту пору казалась незыблемой... Вот публикуем стихи Семёна Липкина и Инны Лиснянской, вышедших из Союза писателей в знак протеста против исключения из него самых молодых «метрополитцев» Евгения Попова и Виктора Ерофеева. И самих Попова и Ерофеева печатаем, наряду с другими представителями последнего советского андеграунда—вплоть до Тимура Кибирова и Дмитрия Александровича Пригова.

И всё же запретные имена и темы ещё существовали. Если блестящая антисталинская статья Юрия Карякина «Ждановская жидкость» прошла в журнале на ура, то когда я принёс Коротичу что-то сильно неласковое о Ленине (автора за давностью лет не помню), он буквально взмолился:

— Ну давайте дедушку-то не будем трогать!

Пришлось подчиниться. Хотя такими послушными мы были далеко не всегда.

В моём отделе работал сотрудник, который блестяще умел подделывать подписи. И, признаюсь в грехе (а то и должностном преступлении, за давностью лет уже не наказуемом), я несколько раз прибегал к его услугам. Когда Виталий Алексеевич выражал сомнение в своевременности какого-либо горячего материала, а мы в отделе были уверены в необходимости его срочной публикации, я звал нашего умельца, тот расписывался за Коротича, и—оставалось только дожидаться очередной командировки главного редактора в США или Европу. Командировки эти были частыми, а первый зам тексты, подписанные Коротичем, ставил в номер, не читая. «Подмётный» материал редакционная летучка, как правило, называла в числе лучших в номере. Потом Виталий Алексеевич возвращался из дальних странствий и ничего плохого нам не говорил. Думаю, прежде всего потому, что не получал никаких нагоняев «сверху»—от Александра Николаевича Яковлева или ещё от кого-то из аппарата Горбачёва.

Так повторялось несколько раз. Но однажды «не прокатило». Причём на ровном месте. Без ведома Коротича мы опубликовали Василия Розанова. Что-то из «Опавших листьев». То есть ничего крамольного или задевающего интересы, допустим, партийной элиты здесь по определению быть не могло. Однако вернувшийся в редакцию из какого-то высокого кабинета Виталий Алексеевич вызвал меня на ковёр.

— Что вы такое нам подсунули?—едва сдерживался он.—Оказывается, этот ваш Розанов—антисемит!

От неожиданности я рассмеялся и сказал что-то в том смысле, что Розанов такой же антисемит, как и русофоб. Но, видать, главным моим аргументом защиты оказался всё-таки смех. Виталий Алексеевич на меня внимательно посмотрел, и—никаких репрессий не последовало. Демократ.

Кстати, Розанова мы напечатали в рубрике «Запасники русской прозы XX века», которую пригласили вести известного литературоведа и критика Бенедикта Сарнова. Сколько всего замечательного увидело в ней свет! Рассказы Максима Горького (!), Евгения Замятина, Гайто Газданова, Владимира Набокова, Пантелеймона Романова... Всего не перечислить. Но вот что интересно: эту рубрику мы придумали «под Солженицына».

В 1989 году «Новый мир» объявил о своём намерении опубликовать «Архипелаг ГУЛАГ». Он анонсировался из номера в номер, но всё никак не выходил. Дело в том, что тогдашний идеолог партии Вадим Медведев, занявший пропитанное зловредными эманациями кресло Суслова, неосторожно и весьма категорично высказался в том смысле, что Солженицын в СССР будет опубликован только через его, Медведева, труп (в результате так и вышло, только труп оказался политическим).

Но ведь Солженицын в СССР печатался, и его некогда публиковавшийся, а после высылки писателя изъятый из литературного оборота «Матрёнин двор», например, очень подходил для наших «Запасников русской прозы XX века». Советскую цензуру этот рассказ уже проходил—как же его можно запретить во времена демократизации? Словом, я позвонил в Вермонт спросить разрешения самого Солженицына на публикацию. Александр Исаевич к трубке не подошёл. Тогда я рассказал суть просьбы Наталье Дмитриевне (так я думаю—голос был женский) и оставил все свои координаты с тем, чтобы он сам или кто-то из его доверенных лиц дал знать, если есть возражения против публикации. Когда прошло какое-то приличное время и возражений не последовало, я понёс «Матрёнин двор» на подпись Коротичу.

— Зачем нам это надо?!—плаксивым голосом запричитал Виталий Алексеевич.—Вот Солженицын вернётся в Россию на белом коне, и мы же с вами на конюшне должны будем ему сапоги чистить.

Я не сдавался.

— Ну хорошо,—недовольно кивнул Коротич и оставил рассказ у себя.

А через некоторое время он сказал, что Солженицына сняла цензура. До сих пор не знаю, так ли это: может быть, цензор был внутренним?

Тем не менее условия игры предполагали, что «Матрёнин двор» следует считать снятым цензурой. И тут совершенно неожиданно выходит постановление ЦК, подписанное Горбачёвым, суть которого, если коротко, сводится к тому,

что можно републиковать всё, в разное время печатавшееся в СССР. С этой дорогой сердцу бумагой в руках мы пришли в кабинет Коротича целой толпой — не только сотрудники отдела литературы, но и ответсек «Огонька» Владимир Плотов, и другие журналисты.

Одним словом, «Матрёнин двор» вышел в «Огоньке», а следом и «Архипелаг ГУЛАГ» в «Новом мире». С имени Солженицына был снят запрет, и не публиковать его главное антисталинское произведение — значило противоречить всей политике Горбачёва.

А сам Александр Исаевич в письме выразил недовольство публикацией — думаю, из-за нескольких критических слов, содержавшихся в предисловии Сарнова. И своего недовольства он не забыл и спустя много лет. Во всяком случае, когда меня с Солженицыным познакомили на вручении Инне Львовне Лиснянской премии его имени, он вспомнил историю с «Матрёниным двором» в «Огоньке» и долго со мной разговаривать не стал.

Зато и кровный мой отец, и «второй» мою деятельность по части расширения гласности категорически одобряли («второй», кстати, считал, что Россия, для того чтобы двигаться в правильном направлении, должна взять идеи как Сахарова, так и Солженицына). А «третьего» мы в «Огоньке» с удовольствием печатали — его блестяще написанные статьи «с высоким уровнем нравственных претензий» (как он сам однажды отозвался о тексте другого автора). Шли они как раз по моему ведомству. Но то, что он будет «третьим», я тогда ещё не знал.

А как в «Огоньке» обстояло дело с дядьками?

На редколлегии приходил знаменитый артист с лицом родного человека — Юрий Никулин. Он внимательно и всегда молча выслушивал то, что там говорилось, а в конце обязательно рассказывал анекдот, ассоциативно связанный с тем, о чём шла речь. Мы и начали печатать «Анекдоты от Никулина». Шли они по моему отделу. Поэтому после редколлегий Никулин заходил в мой кабинет, бегло смотрел вёрстку и доставал какой-нибудь достойный напиток. И тут уж рассказывал совсем другие анекдоты и травил байки.

Однажды буквально целый рабочий день у меня просидел похожий на шахматиста Талья и такой же искромётный Натан Эйдельман — ждал вёрстку своей статьи. Уходя, он сочувственно посмотрел в глаза и сказал, что не понимает, как возможно так работать. И действительно, это тогда была передовая. Наш отдел делал до двадцати полос в номер: это были отнюдь не только литературные публикации и правда о сталинских репрессиях, но и писательская публицистика, и издевательская полемика с антисемитскими и русофобскими изданиями, и борьба с зародившимся русским фашизмом.

На моём столе лежали рукописи и вёрстки, которые надо было срочно прочитать. Бесперывно шли посетители — авторы и «чайники» (например, от Сергея Острового, написавшего «сто стихотворений о любви и закрывшего тему», я просто бегал по этажам). Постоянно заходили с камерами вежливые японцы. А два телефона на столе звенели бесперывно: по одному звонил только Коротич, по другому кто угодно, в том числе члены националистического общества «Память» с угрозами (даже знали, сволочи, что у меня растёт маленький сын).

Однажды пришёл совершенно счастливый Iskander — я его больше таким никогда не видел. Он принёс дарить свою удивительную эпопею — наконец без купюр изданного в России «Сандро из Чегема». Главы этого главного романа Фазиля мы тоже публиковали.

Часто забегал Вознесенский — именно забегал: всегда в лёгком нашейном платке и улыбающийся. Он, кстати, написал первую в СССР после десятилетий молчания статью о Ходасевиче. Она вышла в «Огоньке» и называлась «Небесный муравей». Поэтому неудивительно, что именно Андрей Андреевич привёл к нам Нину Берберову, а вместе с ней, кажется, весь Серебряный век и первую волну иммиграции. Жалко, что Берберова говорила больше о себе, чем о Ходасевиче.

Появлялись у нас и другие «эмигранты», первые приехавшие в СССР после долгой разлуки: Владимир Войнович, Андрей Синявский с Марьей Васильевной, Лев Копелев, тот самый Саша Соколов, с которого начались наши общения с цензурой, Василий Аксёнов (который потом очень переживал наш уход из журнала)...

А вот самым близким и заинтересованным дядькой был Евтушенко. Он публиковал в «Огоньке» свою «Антологию русской поэзии XX века» и приходил часто. И спорил я с ним нередко — по составу некоторых публикаций. Так, помню, удивился тому, что Евгений Александрович выбрал из Георгия Иванова, и составил подборку из совершенно других стихов этого большого поэта. Евтушенко её принял.

А однажды Евгений Александрович спросил, почему у меня такой усталый вид. — Потому что устал, — почти по-хамски ответил я, и Евтушенко предложил поехать отдохнуть на его дачу в Гульрипшах.

И мы с моей второй женой Анной оказались на его знаменитой даче с белыми шарами у входа, на которых было написано: «Станция Зима», — под опекой его друга и порученца Джумбера Бетагшвили, занимавшего какой-то высокий хозяйственный пост в абхазском правительстве.

(Это был чудесный отдых. Дачу от пляжа отделили только узкая дорога и кустарник, в котором валялись чёрные свиньи, а грузинские и абхазские

застолья сменяли друг друга. Потом, во время грузино-абхазской войны, дача Евтушенко была стёрта с лица земли, а Джумбера Беташвили, говорят, расстреляли в подвале собственного дома в Сухуми на глазах жены и детей.)

Так вот, Евтушенко был дядькой, а Коротич? Коротич нет.

Он был очень хорошим редактором. Всю толстую пачку рукописей, которую я отдавал ему вечером, возвращал утром следующего дня полностью прочитанной и умело почёрканной. Если материал заворачивал, тот действительно был или недостаточно сильным, или, на его взгляд, преждевременным (как мы в таких случаях иногда поступали, я уже писал). Ещё он умел так отказывать авторам, что они уходили почти счастливыми. И, наверное, главное в те годы для хорошего редактора: он умел разговаривать с начальниками на их языке. Так, что начальники чувствовали: он совершенно разделяет их позицию, но по натуре человек более мягкий и снисходительный (потому и сам не начальство, и никакой угрозы, что будет претендовать). Поэтому и оправдывает зарвавшихся: мол, молодые, глупые, горячие, будем воспитывать.

Словом, хитёр был Виталий Алексеевич как редактор, а иногда и неожиданно смел. Ну, все, кто постарше, помнят, как он вышел на трибуну сквозь недоброжелательный гул «агрессивно-послушного большинства» съезда народных депутатов с документами, изобличающими коррупцию региональных элит (потом рассказывал, что было страшно)... Кто не помнит, не знает — и не надо: сейчас коррупция (в том числе в регионах) на порядки выше.

Но из «Огонька» не только Коротич выходил на уровень высокой государственной политики. На нём оказался — и куда основательней — редактор отдела писем, чей кабинет находился ровно напротив моего, через коридор, — Валя Юмашев.

На работу Валя ходил в джинсах и кроссовках. Девочки из его отдела дали ему ласковую кличку Барсик. В журнал он не писал, зато очень вовремя придумал печатать в «Огоньке» читательские письма — они были тогда потрясающими. И вдруг, когда Ельцин (во время опалы) согласился дать интервью «Огоньку», Валя настоял, что сам будет его брать (хотя собирался это делать политический обозреватель, почему-то приписанный к юмашевскому отделу, — мой друг Толя Головков).

Вскоре Юмашев подошёл ко мне и спросил, не съедёт ли кто-то дачу в Переделкине — Ельцин хочет снять. Я не знал и интересоваться не стал — никогда не испытывал к БН симпатий.

А ещё чуть позже Валя подарил мне книгу Ельцина в своём исполнении. Называлась она «Исповедь на заданную тему», как первая опубликованная в «Алом парусе» «Комсомолки» заметка

Юмашева (заголовок придумал тогдашний капитан «АП» Павел Гутионтов), и содержала в себе пометки в скобках типа: (Смеётся), (Кашляет)...

Валя всегда был негромок, улыбчив и услужлив. Когда мы отдыхали в одно время с ним в доме отдыха «Правды» в Пицунде, он по своей инициативе покупал и приносил нам с женой домашнее вино. Думаю, эти качества и подобные телодвижения Юмашева немало поспособствовали его политической карьере, вершиной которой стал пост главы Администрации президента. Но, мне кажется, Валя к такой известности не стремился — ему больше нравилось оставаться в тени. Не случайно какое-то время бытовало мнение, что в ельцинском окружении (уже кремлёвском) серый кардинал — именно Юмашев.

Но всё это было потом, потом...

А значительно раньше — в начале 1991 года — мы ушли из «Огонька». Мы — это три члена редколлегии, в том числе ответсек, его зам, весь отдел литературы, редактор международного отдела, новый финансовый директор и даже одна очень квалифицированная верстальщица. Всего человек четырнадцать.

Причиной нашего ухода стали результаты аудиторской проверки, инициированной Коротичем в связи с обретением журналом независимости. Эти результаты стали хорошо известны новому финансовому директору, а также только что избранному председателю совета трудового коллектива, моему заму Владимиру Вигилянскому. Они поразили: оказывается, «Огонёк» несколько лет грабили. И делали это некоторые наши коллеги.

Многочисленные разговоры группы возмущённых с Коротичем, который не имел прямого отношения к тайной «приватизации» журнала, ни к чему не привели. Никто из «приватизаторов» не был уволен или даже наказан.

На столе Виталия Алексеевича всегда было огромное количество остро заточенных карандашей. После того, как стало известно его решение не выносить сор из избы, он взял пучок карандашей и стал их раскладывать на две кучки, говоря нам: — Смотрите, нас же больше! (Имелись в виду не замаранные члены редколлегии.)

Но это нас как-то не убедило. И мы ушли делать новый и «чистый» журнал. Что из этого получилось — об этом позже.

А оставшиеся в журнале вскоре скинули Коротича на революционной волне августа 1991-го. Мотивировка была такая: во время путча демократ Коротич струсил вернуться в Москву, в родной журнал, из Штатов. Хотя все знали, что Виталий Алексеевич значился в «расстрельных списках» ГКЧП.

И это стало началом конца легендарного «Огонька».

А на наш уход общественность и авторы журнала отреагировали по-разному. Мы сами решили не

давать по поводу нашего исхода никаких интервью (звонили и из «Голоса Америки», и с Би-Би-Си, и из «Московских новостей») — не топить флагман перестройки. Солидарность с нашей непримиримостью проявили Людмила Петрушевская, Василий Аксёнов, Виктор Ерофеев, Бенедикт Сарнов, Станислав Рассадин... Игорь Иртеньев отказался идти на моё место редактора отдела литературы, как на сакральное, что ли.

А ближайший мой друг-наставник Юра Щекочихин нас осудил — как раз за пробоину во фламане перестройки-гласности, которую мы, по его мнению, нанесли, и за разрыв с некоторыми его (а значит, должны быть и моими!) друзьями, оставшимися в «Огоньке»...

Тридцать лет в электричке Щекоча

Снова прохожу мимо Юркиной могилы с замечательным памятником работы Нутзара Мгалоблишвили. Он называет свой памятник — собиранием креста, но в этом собирании мерещится и сам Щекоч с его угловатостью и желанием обнять весь мир.

Ещё недавно на могиле и вокруг было очень много венков, потом — очень много цветов. Иногда проезжавшие машины (а могила хорошо видна с переделкинского мостика через Сетунь) гудели. Сейчас уже просматриваются отдельные букеты. Но всегда свежие... Иду по короткой дороге к станции.

Здесь меня когда-то ограбили. Вернее, не когда-то, а в 1995 году, незадолго до парламентских выборов. При чём тут выборы?

Щекочихина тогда включили в партийный список «Яблока». Но дело опять же не в этом. Важнее другое: он только что вернулся из Чечни и, как практически всегда и отовсюду, привёз с собой понравившегося человека — чтобы ещё больше (в перспективе было всё прогрессивное человечество) расширить круг друзей. На этот раз таким человеком оказался Сан Саныч Чикунов — полковник внутренних войск, который в Чечне начал писать настоящие песни. Особенно поражала одна — со строчкой: «Родина, не предавай меня!»

Щекоч «подарил» мне Сан Саныча вместе с его песнями, а потом сказал:

— Слышь, а давай устроим ему вечер в ЦДЛ!

Я выразился в том смысле, что устроить-то можно, дело нехитрое, только кто же придёт на вечер совершенно неизвестного барда?..

— Тогда давай обзвоним всех своих знаменитых знакомых, чтобы они выступили на этом вечере против войны в Чечне.

Так мы и сделали. Согласились прийти многие известные писатели, а из политиков — естественно, Явлинский и Лукин. Почему-то Юрка настоял, чтобы вечер вёл я.

Так вот, как раз накануне вечера на этой узкой тропинке вдоль путей три тени нарисовались за

моей спиной, их обладатели повалили меня в снег, и пока двое держали, третий обчистил мои карманы и сумку. Когда я пытался дёрнуться, меня несильно пинали ногами в рёбра. Но тут кто-то появился на тропинке — и злодеи мгновенно убежали. Только спины и запомнил (хилые, похоже, гастарбайтерские).

А потери мои оказались не столь значительными: денег было немного. Самое неприятное — не осталось ни одной сигареты.

Я доплёлся до своего переделкинского жилища и стал звонить Юрке на пейджер. Ни телефона на даче, ни мобильного у него тогда ещё не было.

Текст я передал примерно следующий: «Юр, тут меня на станции малость попинали, а главное, грабанули. Принеси, пож., сигареты». Ни к кому из ближайших соседей я не пошёл: знал, что все поголовно не курят. Да и вообще — к кому же ещё обращаться, когда случилась неприятность, если не к Щекочу? Все знали: если что — немедленно к нему. Он помогал, даже когда к нему не обращались за помощью...

В общем, передал я Щекочу свою «телефонограмму» и стал ждать.

И вдруг на меня обрушилась лавина звонков, причём даже междугородних. Встревоженные голоса родных, друзей и знакомых почему-то (с разной степенью деликатности) спрашивали об одном: жив ли я? (Моего уверенного «Алло!» всем для выяснения этого обстоятельства почему-то было недостаточно.)

Выяснилось, что, когда я звонил Юрке на пейджер, он сидел вовсе не на своей дачке, как мне представлялось, а на студии НТВ, в прямом эфире (тогда ещё были такие). Прочитав мой месседж, он тут же сообщил всей стране, что на станции Переделкино зверски избит поэт Олег Хлебников и это, не иначе, сделано для того, чтобы сорвать завтрашний вечер-митинг в ЦДЛ против войны в Чечне, который вышеназванный должен (был?) вести.

По-моему, это был самый удачный политический пиар Щекоча. Но он бы не был собой, если б ограничился пиаром: вскоре в мою дверь постучали два симпатичных «шкафа», присланные Юркой, и не только вручили пачку сигарет, но и попытались выяснить приметы грабителей. К сожалению (или к счастью?), я ничем помочь им не мог, и они уехали.

А на следующий день я всё-таки должен был, согласно афише, вести антивоенный вечер в ЦДЛ.

...Увидев меня, не повреждённого головой, Щекоч обрадовался, а когда понял, что и лицо моё тоже почти невредимо, расстроился, а потом стал громко смеяться.

— Ты, — говорит, — как Марк Твен, скажи, что слухи о твоей смерти сильно преувеличены.

Кстати, потом выяснилось, что этот вечер стал чуть ли не главным предвыборным мероприятием

«Яблока» в Москве. По крайней мере — самым заметным.

...На станции Переделкино сажусь в электричку.

Солнечная. Это место прославилось на весь мир благодаря «солнцевским», Юриным клиентам. Их лидер Михась стал успешным бизнесменом, спонсирует окрестные церкви, получил от патриарха церковный орден. А однажды даже шикарно издал Библию и подарил Щекочу.

— Подпиши! — попросил Щекоч.

— Как? — задумался Михась.

— Ну, напиши: от автора.

Востряково (теперь — Сколково, хотя само Сколково отсюда далеко, зато — модернизация!). Здесь дача нашего общего друга — Толи Головова, с которым я много раз боролся за диван на Юркиной кухне в Очакове. Но уже не в Очакове, а именно на востряковской, позже появившейся Толиковой даче Юрка с друзьями встречал новый век. Не очень радостно.

А вот и Очаково. Здесь, на первом этаже старого дома у школы, в маленькой однокомнатной квартирке с большой кухней, на «крейсере», как с Юркиной подачи стали её называть, прошло много счастливых лет нашей дружбы.

Часто ночами Юрка писал, а я спал на знаменитом (потому что кто там только не спал!) кухонном диване (на который порой сваливался среди ночи из окна кто-нибудь из общих друзей). Утром Щекоч будил меня и сразу же начинал читать только что написанный текст (некоторые потом стали знаменитыми). Понимая жестокость ранней побудки, он смягчал её бокалом пива, а то и шампанского (в этом случае приговаривал: «Ну где ещё тебе с утра приносили шампанское в постель?!»).

Надо сказать, что вся комната за стенкой в это время была усеяна скомканными листками — на каждом одна фраза, первая. Её Юрка всегда очень долго искал, она должна была задать правильную интонацию всей статьи. А найдя, дальше строил на машинке, как пулемёт, невзирая на многочисленные опечатки и орфографические ошибки.

Нет, «крейсер» был не просто холостяцкой квартирой или вариантом одной из многочисленных во времена застоя гостеприимных московских кухонь. Это был флагман здорового образа жизни, предполагавшего естественное пренебрежение бытовыми удобствами и вообще материальным, а ещё — безусловное аристократическое равенство со всем живущим. Поэтому здесь во время частых «сборов» (словечко Щекоча) легко уживались милицкий начальник и лидер спартаковских фанатов; знаменитый писатель, начинающий актёр и только что выпущенный из «обезьянника» архангельский хиппи, вздумавший в центре Москвы дарить незнакомым людям цветы... Кроме нас, птенцов гнезда Юрийпетровичева, залетали сюда и

такие птицы, как Ролан Быков, Эдуард Успенский, Александр Аронов, Юрий Рост, Борис Жутковский, Валерий Фокин, Павел Лунгин...

А ещё Щекоч сам любил ездить по гостям. И часто брал с собой меня. Приехав вечером к одним друзьям, он тут же садился за телефон и начинал звонить другим. К которым мы через пару часов заваливались. Здесь повторялось то же самое: Юрка садился за телефон друзей и звонил друзьям — уже третьим. И спустя пару часов мы к ним, третьим, приезжали. Благо поймать машину за рубль или, в крайнем случае, за трёшку в тогдашней ночной Москве было нетрудно.

Зачем он объезжал за ночь несколько «московских кухонь»? Наверно, Щекочу было важно удостоверить всех друзей-приятелей, что он у них есть, и самому убедиться, что у него много верных друзей.

После таких инспекций Москвы в Очакове, на «крейсере», мы оказывались только под утро. В рассветной дымке за невымытым окном таял угловатый «москвичонок» или даже дребезжащий автобус. Можно было ложиться спать. И если денег после ночного путешествия не оставалось совсем — не беда: на кухне имелся заветный подпол, заполненный пустыми бутылками из-под пива. А в те благословенные годы две пустых бутылки обменивались прямо в магазине на одну полную, в данном случае — очаковским пивом «Ячменный колос»...

Потом здесь же, на «крейсере», была Юрина свадьба, после которой почти все гости остались и спали на полу, столе, а также — шкафу (!) и даже на приведённой в дом невестой эрдельтерьерше Вулли. Как ни удивительно, изменение семейного положения Юры не изменило образ жизни.

А вот после второй свадьбы очаковская квартира была обменена на другую, побольше и поближе к центру, впоследствии оставленную второй жене. Так «крейсера» не стало.

Но Юра получил маленькую «литгазетовскую» дачу в Мичуринце. И с тех пор «сборы» происходили там. Им не мешало депутатство Щекоча. Разве что участников таких «сборов» стало уж очень много. И это вопреки времени, в котором больше не наблюдалось «московских кухонь» и взаимного желания людей чаще встречаться.

А своя квартира у Юрки всё-таки появилась, но много позже. Он с удовольствием рассказывал, как именно.

Когда кончился его первый депутатский срок в Госдуме, ему в большом изумлении позвонил главный кремлёвский хозяйственник:

— Юрий Петрович, говорят, у вас единственного из депутатов нет квартиры?

Щекоч подтвердил.

— Ну тогда прямо сегодня мы можем выписать вам ордер на однокомнатную квартиру в хорошем

доме, но лучше вы сейчас добавьте двадцать тысяч долларов—и получите двухкомнатную.

— У меня нет двадцати тысяч,—честно признался Щекоч.

— Ну так в чём же дело?—удивился главный кремлёвский хозяйственник.—Съездите домой и привезите, я подожду.

Опытный госчиновник не мог и представить себе, что у народного избранника ельцинской поры не найдётся не только в карманах, но и в кубышке такой мелочи, как двадцать тысяч у.е.

В общем, Юрка получил однокомнатную квартиру. Как здесь, в Очакове. Только в совсем другом доме—с мощной охраной. Которая, впрочем, ни от чего Щекоча не защитила.

...Снова—электричка. Следующая станция—Матвеевская. Здесь много лет жила Юрина мама Раиса Степановна, работавшая учительницей, а потом завучем в школе, где её сын учился.

Щекоч часто приводил своих друзей, и меня в том числе, к ней в гости, на обед. А когда при старых друзьях ей звонил, обязательно передавал трубку—хотел, чтобы Раиса Степановна знала, что её не забывает не только сын.

Раиса Степановна рассказывала, что, когда Юрка был маленьким, он по собственной инициативе рано утром занимал ей очередь в парикмахерскую и часами стоял—хотел, чтобы мама была красивой.

Так же внимателен он был и к другим старшим, кого считал своими, точнее—нашими. Иногда специально звонил мне—сказать: «Слышь, ты что-то давно не навещал и не звонил N». И мне становилось стыдно, и я начинал набирать номер старшего друга...

Мало кто так естественно, как Щекоч, интересовался жизнью других.

...Киевская. Вон они, эти «другие». В метро их сколько хочешь, даже больше, чем надо для того, чтобы было чем дышать. Но это я так реагирую. А Юрка любил и часто пел песенку Окуджавы «Мне в моём метро никогда не тесно...», так же переставляя слова, как почти во всех песнях...

Ну, вот и Чистые пруды. «А по Чистым прудам лебедь белый плывёт, отвлекая вагоновожатых...»—это уже Алик Городницкий, тоже Юркин друг, а песенка—времен прежнего «Московского комсомольца», который располагался тогда здесь, на Чистиках, и в котором работали другие Юркины друзья, поэты Саша Аронов и Вадик Черняк, и начинал совсем юный Щекоч...

Последнее его место работы оказалось тоже здесь, рядом, но уже в «Новой газете», в которую мы с ним пришли почти одновременно. Точнее, я—на пару месяцев раньше. В «Литературке» тогда (1996 год) Юре становилось всё теснее—его материалы казались начальству газеты «уж слишком». И однажды он пробормотал мне:

— Слышь, скажи Мите (имелся в виду главный редактор «Новой».—О.Х.), что я готов пойти к нему первым замом.

...Когда-то мой нынешний кабинет был его кабинетом. Переехав, я почему-то не выбросил многие его и самому Щекочу уже не нужные бумаги. Что-то предчувствовал? Вряд ли. А ещё в одном ящике стола до сих пор лежат письма Юрке—лужицы, оставленные тем потоком, который обрушивался на него и в Думе, и в газете.

Тридцать с лишним лет назад ему в руки попало письмо и с моими стихами. Ответом были: сначала совершенно неожиданная—первая в Москве—публикация в «Алом парусе» (сейчас бы сказали: страничке для тинейджеров) много-миллионной тогда «Комсомолки», а потом—его короткая записка с предложением приехать в Москву и прийти в «Алый парус» и с удивительным словом «спасибище» (это за стихи-то!) в конце.

С этой записки и началась моя московская, да и литературная жизнь. Благодаря Юрке я познакомился со Слуцким, Вознесенским и Ароновым. И—о!—как окрылило меня их благословение... Но важнее другое. Благодаря Щекочу тогда, семнадцатилетним, я увидел совсем другие масштаб и способ жизни.

А больше всего меня поразил он сам: всегда в кожаной «журналистской» куртке, стремительный, остроумный... И очень тёплый. Я даже стишок о нём сразу же сочинил:

В нём главное не то, что он всегда в кожанке,
как юный комиссар времён дорожных смут,
а то, что говорит так быстро и так жарко—
его и не расслышат, а всё-таки поймут...

А заканчивалось так, несколько пафосно:

И если скажут мне, как одарят советом,
что он уже не тот: смирился и затих,—
я не поверю им, наивным людям этим.
Я не поверю им, куда верю в них.

Однако действительно—не смирился и не затих.

...Однажды, когда я в очередной раз приехал в Москву, а Щекоча в ней не оказалось—исполнял священный долг перед родиной под Ростовом,—мне вдруг стало ясно, что без него Москва—совсем другой город. Как будто какая-то очень важная тема из симфонии исчезла.

То же самое произошло и летом 2003-го...

Но тогда-то, в конце семидесятых, ещё можно было, хоть и не в Москве, попробовать увидеть Щекоча. Что мы с Лёнькой Загальским, работавшим под Юркиным началом и, конечно, тоже его другом, и решили немедленно сделать.

Время было легкое на подъём (в смысле цен билетов на самолёт)—и мы в тот же день оказались в Ростове-на-Дону.

Лёнькино удостоверение «Комсомольской правды» и сдерживаемая лишь брючным ремнём солидность собкора «Комсомолки» по Ростовской области сделали своё дело: армейское начальство вызвало к нам Щекоча.

Солдатская форма на нём не сидела и даже не висела, а топорщилась сразу во все возможные стороны. Тем не менее, как нам позже рассказал Юрка, у генерала, командовавшего аэродромом, где Щекоч служил, были на него серьёзные виды. Во-первых, написать с Юриной помощью книгу своих мемуаров, и во-вторых, женить его на своей дочке. Ни того, ни другого Юрка категорически не желал делать и очень хотел без свидетелей посоветоваться с нами, как лучше «откосить».

Собкор «Комсомолки» знал правила игры и психологию командиров — и как-то очень кстати процитировал Брежнева, после чего армейское начальство отпустило Щекоча с нами, такими политически грамотными, до вечера. Правда, придало лейтенанта в качестве сопровождающего (от него мы, конечно, легко избавились, быстро напоив и спать уложив в своём гостиничном номере).

Это был весёлый и счастливый день...

А спустя года три, приехав в Очаково рано утром (с поезда), я обнаружил на доблестном полу «крейсера» очень солидно спящего человека. — Это мой командир, — ласково объяснил Юрка, вообще-то равнодушный к высокопоставленности знакомых, — генерал-лейтенант.

— Тот самый, который хотел тебя женить?

— Мяу-мяу... — смутился Щекоч.

— Что ж ты его на полу держишь?

— Но диван же занят!

Действительно, на диване тоже кто-то спал, и я, забыв о генерале, стал прикидывать, на какой бы плоскости обосноваться следующей ночью.

...Ну вот, я сейчас это пишу, а рядом с компьютером лежит вещичка, оставшаяся в кабинете после Щекоча, — антипрослушка, правда, уже старая и испорченная...

Как опасно то, чем занимался Юрка, мы, конечно, понимали. Но, наверное, до конца не чувствовали. Он сам снижал пафос, как будто говоря: «Но меня же ещё ни разу не убили!»

...Заменить Юрку... Щекоча... Юрия Петровича Щекочихина ни в моей жизни, ни в жизнях многих его друзей, ни в «Новой газете» не сможет никто. Как сказал главный редактор «Новой»: «Такое чувство, что лично меня нагло ограбили».

Когда тебя грабят, остаётся чувство негодования, но главное — унижения. И долго не проходит (вот до сих пор помню переделкинскую историю). И всё же лица счастливых, знавших Юру, снова и снова будут светлеть при одном только упоминании этого забавного, дорогого и ничем не запятнанного имени — Щекоч.

...А сейчас, после работы, снова — на электричку. Мимо Очакова, где Юрка долго жил. В Переделкино, где он похоронен...

Собеседники

Тогда с Киевского вокзала я ехал до Очакова. Возвращался из Болгарии, где прожил почти три месяца.

Тоскливый московский ноябрь, но на сердце радость. Это было ещё то время, когда, подъезжая к Москве, я испытывал волнение.

Поздний вечер. Электричка полупустая. На плацкартной гнущей скамейке передо мной сидит мужичок — дед Мазай без зайцев, одно ухо меховой ушанки вверх, другое вниз. В руках у него вязанье, от которого он отрывается и пристально смотрит на меня. Потом спрашивает:

— А кто у нас лучший скульптор?

От неожиданности я что-то мямлю, неуверенно называю Коненкова, Шадра...

— Не-е-ет, — перебивает он меня, — конечно, Антокольский!

Спорить у меня нет никакого желания. Мужичок не отступает:

— А кто у нас лучшая певица? Скажете — Пугачёва? Она, конечно, ничего, но куда ей до Руслановой!

Мне этот разговор начинает нравиться — в последние две недели в Болгарии самым популярным словом было «чушки» (такой сорт перца, который вся страна дружно собирает, варит, жарит и маринует осенью). Буквально везде — в транспорте, на улицах, в домах их элиты — обсуждались эти чушки, и никаких тебе духовных интересов. А тут первый же случайный попутчик-соотечественник — и пожалуйста...

Мужичок сам себя перебил:

— Вот, наверно, думаете: мужик, а вяжет, как-то не к лицу, а я пока до Апрелевки доеду — дочке полкофточки свяжу. Чего стесняться?..

Когда я пошёл к выходу, он проводил меня до тамбура и всё говорил, говорил... Открылись двери, я попрощался. Последнее, что услышал: — Да, конечно, я болтун, а что? Так промолчишь, простесняешься, а жизнь-то проходит...

На этих его словах двери захлопнулись и прижали одно ухо его шапки. Электричка тронулась, а я остался на перроне и, пока было видно, смотрел на это удаляющееся в ночь прижатое меховое ухо...

А самого немногословного собеседника я тоже встретил в электричке, на этой же дороге, но много лет спустя и уже по пути в Переделкино.

Вагон был забит битком, и даже тамбур, где я обосновался. Меня буквально прижало к хлипкому прокуренному субъекту.

— Болят мои раны! — вдруг сказал он.

Я решил, что слишком на него надавил, и извинился. Он отрицательно покачал головой и кивнул

в окно на гостиницу «Украина», мимо которой мы как раз проезжали.

Я сообразил, что он, наверное, глубоко переживает отделение Украины от России, и уважительно на него посмотрел. Но он снова помотал головой: — Работал, болят мои раны, сократили.

Через какое-то время добавил:

— Жена, дочь, болят мои раны!

Я понял, что у него семья, надо кормить, а тут сократили, и поинтересовался, устроился ли он на другую работу.

— Болят мои раны! — ответил он мне, и я испытал искреннее сочувствие к этому откровенному и яркому собеседнику.

... Кто были моими собеседниками — помимо случайных попутчиков? Из знаменитых и просто известных — Арсений Тарковский, Семён Липкин, Александр Борщаговский, Марк Соболев, Давид Самойлов, Юрий Левитанский, Александр Межиров, Булат Окуджава, Юрий Никулин, Ролан Быков, Бенедикт Сарнов, Валентин Берестов, Юрий Давыдов, Юрий Карякин, Андрей Вознесенский, Натан Эйдельман, Станислав Рассадин, Михаил Козаков, Александр Аронов, Алексей Герман, Анатолий Кобенков, Юрий Щекочихин, Валерий Болтышев, Денис Новиков... Это только из людей,

в разной степени известных и ушедших (попытался расположить их по старшинству) и тех, с кем мы говорили действительно о существенном и, что называется, наболевшем. (Здесь есть и те двое, кого я нахально называю своими отцами.) Там сейчас их значительно больше, чем здесь. В основном это — поэты. Что и понятно — цеховые интересы.

Но даже им, будучи близко знаком, я не сказал ничего, что бы утешило их в какие-то тяжёлые моменты жизни, поддержало. Потому об этом говорю, что — за исключением ровесника Валерки и Дениса, который был младше на одиннадцать лет (а теперь на сколько?), — все они старше меня. Ничего по-настоящему тёплого никому из них я так и не сказал.

Но мы же можем быть в нашем неизбежном пути к полному и окончательному одиночеству хоть каким-то подспорьем друг другу! Нет, не получается... Может быть, и не надо? По-буддистски освободиться от всех привязанностей? Но я не хочу. Меня греют воспоминания об ушедших. И, верю, греют их мои воспоминания. А те, кто жив, пусть знают: есть на свете такой Добчинский, который не просто пока где-то есть (о трагичнейшая фигура русской литературы!), но и почему-то их любит.

ДиН ДЕБЮТ

Рафаэль Ярошевский

Мы паводком дышим...



Летит первый снег над остывшим кварталом,
Всё гуще лиловость рассветов.
Как ял у карниза судьба моя встала,
Опять ничего не изведав.
Швыряюсь среди принесённого скарба,
Ищу в поражениях опыт,
А ветер стекло продолжает царапать
И улицы в холоде топит.
Гудит меж домами начало сезона
Сомнения и самоедства,
Мой выдох дрожащий, почти невесомый,
В иголку способен продеться.
Мне стылáя осень нужна для ошибок
И для оправдания грусти,
И лишь вдохновение более живо
В тоске, что никак не отпустит.



Потёртые куртки, протаявший снег —
Материя вечна;
Собой закрывает прорехи в окне
Следов человеческих.
Промозглая площадь, бездушный район,
Мы паводком дышим,
Живём, как в прихожей тускнеют вдвоём
Скрипящие лыжи.
И будет над крышами ветер шуметь
Из самого детства,
Но в этой холодной весенней тюрьме
Уже не согреться.
Квартал новостроек прострелен, воздет
На чёрную сваю.
Мой стон об украденной лучшей судьбе —
К кому он взывает?

Александр Осмоловский

Спасибо, Небо!



На влажной площади вокзальной,
Где окна в чёрной глубине,
Услышу звук—то поезд дальний
Тебе напомнит обо мне.

Душа занует от бессилья,
Составы мимо пробегут.
Нам время спутывает крылья,
Как нервы скручивают в жгут.

В окно ворвётся ветер острый,
Я отойду, чтоб не шагнуть.
Нет, это было б очень просто...

Сегодня снова не заснуть.

Подружка дальняя проснётся,
Чему-то тайно улыбнётся.



Сквозь сладкий сон
Летят машины,
Ревут моторы—город мой!
По снам шуршат тугие шины,
Хотя б их чёрт унёс с собой.

Нет! Суэта невыносима,
Она грохочет напролом.
Когда-то небо было синим.
Спасибо, Небо, и на том.

Я не ропщу. Мне скучно очень.
Не трепещу перед Судом.
Душа болит. А мозг—он точен.
Спасибо, Небо, и на том.



Ценой кровавой, год от года
Освобождаясь от оков,
Находим тайную свободу,
Что спит под тяжестью веков.

И, легче становясь с годами,
Мы различим в последний час,
Что за проклятие над нами
И что проклятью вторит в нас.



А жизнь летит неумолимо
И не даёт передохнуть.
Но, как бы ни были ранимы,
Мы не свернём на ложный путь.

Мы сохраним простое право
Любить друзей. И до конца
Сквозь всю житейскую поправу
Оставим чистыми сердца.

Про желание творчества

Когда, распутывая нити,
Судьбою сотканные в нас,
В прохладном сумраке укрытий
От бесполезных прячась глаз,
Мы сокровенных ждём открытий;

Когда мы юны, как тогда
(«В те баснословные года!»),
И пыль житейской суеты
В пространстве нашем—Я и Ты—
Уляжется, как от воды,

С весенних хлынувшей небес;
Когда на месте злых словес
Распустится в молчанье мак
И посреди простых чудес
Душа увидит сложный знак

Раскрытой тайны бытия,
Где вместе мы—Они, Ты, Я—
Спокойны на своих кругах,
Свершаем путь свой в небесах,—

Тогда мы выдохнем печаль,
Нам наших жертв не станет жаль,
И вместе с выдохом из нас
То слово устремится вдаль
И быстро скроется из глаз.

...Так шарик воздуха со дна
Глуби душевной вверх несётся.
Когда же с небом он сольётся,
Кому-то радуга видна.

Моя родина

Ты—моя родина, Поэзия,
Ты плоть и дух моей души.
Я покачнусь, идя по лезвию,
Но удержусь. И буду жить.

И в мрачном вакууме холода
И отупляющих забот
Дрожащим светом тьма расколота
И звук, как жест, тепло даёт.

Нам не до роскоши Сомнения—
Тем, кто остановил момент.
Изгиб души—стихотворенье,
Красны извивы этих лет.

В кошмарном сонме графоманов,
Кормящихся от всех времён,
Незаживающие раны—
Всего лишь несколько имён.

Мы эти имена прошепчем
Пред тем, как на помост взойти.
Актёрам не должно быть легче
На крестном праведном пути.

Солигалич

Снова сонная Русь.
Лай собак поутру.
И пустые глазницы
Разрушенной церкви.
Ржавый скрежет оконниц
На страшном ветру.
И привычное чувство,
Что мы—в эпицентре.
Вот когда забываю,
Что я одинок,
От столичных претензий
Душой отвращаюсь.
Забываю—про Запад, про Юг и Восток.
Только—Север и Русь.
Только здесь начинаюсь.
Только здесь постигаю,
Что здесь я не зря.
Боже! счастье какое—
В Руси не наездом.
Солнца нет.
Холодеет над крышей заря.
Над обрывом кресты
Обозначили бездну.
Бездна—прямо и вверх.
Бездна—слева и справа.
Я спиной прижимаюсь
К стене над холмом.
Крест железный над куполом
Режет пространство.
Упокой меня, Русь,
Молчаливым псалмом.

Воспоминанье

Тебе шестнадцать лет, и осень золотая
Навстречу нам летит ажурной краснотой,
И тёплый день, последний тёплый, тает,
И мы вступаем в лес запрытанной тропой.

Кружась, уже исчез пустой фруктовый сад,
Где на границе ель и где трава примята,
Где ты, обнажена, ступая в листопад,
Идёшь ко мне сейчас.

Нет, не сейчас. Когда-то...

Ведь только миг прошёл. Но мы вступили в лес,
Рукой махнув тем двум оставшимся телам.
За спутанной стеной фруктовый сад исчез.
Был переход во тьму. Как переход к делам.

Казалось, было всё во власти этих двух,
Ведь лес был в двух шагах от обнажённых тел...
Но не было пути. И неизбежен звук,
Прорезавший листву. То город прогудел...

Летний сад

На Моховой пустынно и безлюдно.
Пройду насквозь и поверну на мост.
Здесь, как всегда, всё сокровенно-чудно
И замо́к Инженерный во весь рост.

И Летний сад, холодный, терпеливый,
Заснул до лета, растеряв листву.
Сквозь строй скульптур пройду неторопливо
И выйду на холодную Неву.

Спускаюсь к воде по каменному сходу
Поразмышлять на западном ветру.
Благодарю за тайную свободу,
За птицу на ветру благодарю.

И, возвратившись к мраморным богиням,
Не пожелавшим прятаться в дома,
Скажу тихонько: «Нет, ещё не сгинем,
Ещё дойдём—до сердца и ума».

Последнее

Я шёл к свободе—вышел к смерти
И, разобрав смысл бытия,

Нашёл в разорванном конверте
Записку с кратким словом: «Я».

Болело сердце напоследок,
И было грустно без причин,
И мир людей, глухой посредник,
Уже не мучил, не учил.

В последней трезвости блуждая,
Растрчивал остаток сил
И, жизнь смешную вспоминая,
Всё дальше, дальше уходил.

Аделя Броднева

Кто Вы, доктор Крутовский?

Среди старожилов Красноярска немало нашлось людей, которые на вопрос: знали ли вы доктора Крутовского? — ответили: конечно, он был самым известным врачом в Енисейской губернии, редактором нескольких газет и журнала «Сибирские записки»; наконец, его имя упоминалось в ленинской теме. Он был попутчиком Владимира Ульянова в поезде, когда тот следовал в административную ссылку из Петербурга в Красноярск. Всем известно, что только благодаря медицинскому освидетельствованию, проведённому В. М. Крутовским в Красноярске, В. И. Ульянов попал в южную ссылку — село Шушенское.

В январе 2016 года исполняется 160 лет со дня рождения В. М. Крутовского и 78 лет со дня его смерти.

Мой интерес к теме сибирской журналистики в 1980-е годы начался с изучения переписки Владимира Крутовского с учёным и путешественником Григорием Николаевичем Потаниным, присланной из библиотеки Томского университета. Потом была конференция по проблемам областничества в Томске, безуспешные мои попытки опубликовать хотя бы очерк о Крутовском в периодической печати (вероятно, существовал какой-то негласный запрет на тему сепаратистов-областников). В связи с этим хочется выразить благодарность историку П. Н. Мешалкину, который сумел преодолеть негативное отношение к областничеству, сложившееся в период советской истории, и написать блестящий биографический очерк о В. М. Крутовском (П. Н. Мешалкин, «Одержимые. О деятелях культуры Красноярск на рубеже XIX–XX вв.», Красноярск, 1998).

Когда-то Н. М. Ядринцев бросил горький упрек сибирскому обществу: «Сибирское общество ещё не научилось дорожить писателями и учёными, вышедшими из его среды, уважать их труды и чтить их память. Их могилы остаются заброшенными, забытыми, а имена почти не повторяются. Сибирское общество не имеет биографии Словцова, не знает учеников его, не знает многих и многих второстепенных деятелей сибирских, работавших, мсливших, страдавших».

В. М. Крутовский не был лишён исторической памяти. В воспоминаниях о «незабвенном друге» Н. М. Ядринцеве он написал: «Три года назад мне

пришлось быть в Барнауле, и я, конечно, отправился на могилу покойного друга. Что же я нашёл? Печальная картина мерзости и запустения! Сердце сжалось от боли. Вот как чтит память своих лучших сынов их родина Сибирь!» Читать эти строки горько и стыдно. От интеллигенции, дожившей до конца тридцатых годов минувшего века, не осталось даже заброшенных могил.

Прослеживая жизненный путь В. М. Крутовского, невольно поражаешься, как много мог сделать и сделал один человек. Он стоял у истоков всех общественных и культурных начинаний Сибири, всегда и везде — один из первых. В 1881 году начал службу окружным сельским врачом в городе Ачинске. С этой скромной должности началось служение людям во имя интересов родной Сибири. В Красноярске в 1880-е годы складывается круг интеллигенции, которая начала решительную и смелую борьбу за переустройство всех сфер жизни, за формирование гражданского общества, о котором так мечтал Н. М. Ядринцев. Выпускники академий, дипломированные врачи В. М. Крутовский, П. И. Рачковский, П. И. Мажаров, П. Н. Коновалов, П. Д. Сысоев, Я. Л. Гинзбург начали своё благородное дело практически с нуля. Невольно вспоминается герой рассказа А. П. Чехова «Ионыч» — доктор Старцев, молодой земский врач, который в начале служебной карьеры бескорыстен, честен, благороден, гордится своей профессией. Финал этой истории трагичен: «среда заела». Доктор Крутовский гипотетически мог повторить путь чеховского Ионыча, однако он выбрал путь служения народу.

Что же было сделано за каких-нибудь тридцать лет с начала его служения родине-Сибири (1881)? По инициативе небольшой группы медиков было учреждено Общество врачей Енисейской губернии (1886), открыта бесплатная амбулатория для бедных с бесплатной раздачей лекарств и хирургическим баракком при ней, построена аптека Общества врачей (1886), открыта в 1889 году первая в Сибири фельдшерско-акушерская школа, построены больницы, роддома, положено начало бальнеологическому лечению на курорте озера Шира, при городской Думе создан медико-санитарный совет, с 1903 года начала издаваться первая в Сибири медицинская газета «Сибирские врачебные

ведомости». До революции образование и медицина были платными, но многие врачи, учителя работали не за страх, а за совесть: отсюда статус сибирской интеллигенции — подвижничество.

В. М. Крутовский неоднократно избирался и президентом Общества врачей Енисейской губернии, и директором фельдшерской школы, секретарём Красноярского подотдела Русского географического общества, исполнял другие, менее престижные общественные нагрузки — библиотекаря, казначея, и при этом все эти обязанности он выполнял бескорыстно. Мы не должны забывать, что первая экспозиция краеведческого музея открылась в доме наследников купца М. А. Крутовского (1889) по Степановскому переулку, ныне это улица Каратанова, 11. Братья Крутовские передали свой наследный дом под коллекции безвозмездно и были первыми научными сотрудниками, собирателями и дарителями музея Приенисейского края.

Таких значимых культурных инициатив на счету преуспевающего врача и признанного общественника было немало: открытие в 1889 году городской библиотеки и музея, в 1901 году его трудами и настойчивостью открыт Красноярский подотдел Русского географического общества, заложен в 1900 году на речке Лалетиной яблоневый сад по просьбе брата, учёного-садовода Всеволода Михайловича Крутовского.

Кем же всё-таки был В. М. Крутовский? Врачу-окулист, впервые в Красноярске проводивший тысячи хирургических операций, преподаватель фельдшерской школы, чиновник городской администрации, садовод, журналист, редактор газет, журналов? Каждое из этих направлений могло бы составить смысл жизни человека. Сам Владимир Михайлович, кажется, ответил так в своих неопубликованных (сохранил правнук, Иван Всеволодович Воронов. — А. Б.) воспоминаниях «Былое»: «Любовь к родине — Сибири, местный патриотизм заставили меня дать „аннибалову клятву“ — по окончании академии вернуться в Сибирь и посвятить работе в Сибири всю свою жизнь. В это же время я познакомился с Ядринцевым и Потаниным, а впоследствии и сдружился с ними. Ядринцев очень горячо, и на словах, и в печати, проповедовал сибирякам любовь к родине, долг их вернуться в Сибирь и посвятить ей свои знания и силы. Это был красноречивый оратор, яркий публицист, пламенный патриот. Потанин — более скромный, более учёный, чем проповедник, но он действовал на сознание сибирской молодёжи в том же духе, а его высоко-нравственная личность и прошлое — каторга „за проповедь сепаратизма“ — высоко поднимали его в наших глазах. Я сделался ярым поклонником обоих, и затем нас ещё больше сблизили дружба, единство идей, общность мыслей, общая область работы, в конце концов превратившаяся в идею

областничества, которую мы и пропагандировали в обществе и печати. Но идея областничества, как мы понимали её, давалась другим нелегко, может, этим можно объяснить и то, что Ядринцев умер рано, а Потанин при всей своей популярности — всё же был больше учёным, чем проповедником областничества».

К счастью, уцелела небольшая часть когда-то огромного архива В. М. Крутовского. В конце 1980-х годов мне в руки попали первые сорок писем из библиотеки Томского университета. Автор — русский интеллигент, альтруист, доктор В. М. Крутовский — поразил широтой своего кругозора, близким знакомством с известными учёными, литераторами, общественными деятелями девятнадцатого века. Позднее был выявлен значительный корпус эпистолярного наследия В. М. Крутовского — всего сто двадцать девять сохранившихся писем.

Основная часть переписки хранится в Красноярском краеведческом музее, в фонде Г. Н. Потанина. Письма адресованы преимущественно Г. Н. Потанину; собраны были отдельные письма Крутовского деятелям Сибири — В. И. Семевскому, Н. М. Мартыянову, И. И. Попову, А. В. Адрианову, два письма В. Г. Короленко — В. М. Крутовскому. Общий тон писем В. М. Крутовского к Г. Н. Потанину позволяет утверждать, что они были очень близкими, сердечными друзьями. Характер их взаимоотношений выходил далеко за рамки делового сотрудничества по издательской деятельности.

По свидетельству самого Крутовского, их знакомство состоялось в литературном салоне Н. М. Ядринцева в Петербурге в зиму 1884–1885 годов.

В своих «Отрывках из воспоминаний» Владимир Михайлович писал: «Украшением „Четвергов“ на Песках (район Петербурга) был также почтенный Г. Н. Потанин, неизменно посещавший их, когда бывал в Петербурге. Он обыкновенно занимал какой-нибудь уголок кабинета или столовой и был окружён многочисленными поклонниками и поклонницами... Помню: я в ту же зиму принял участие в „Восточном обозрении“, давал туда кое-какие заметки». С 1882 года «Восточное обозрение» стало издаваться в Петербурге, с 1888-го — в Иркутске. Основателем газеты, её редактором был Н. М. Ядринцев, областник, пропагандист новых революционных идей, поэт и публицист. В газете «Восточное обозрение» Ядринцев основал, сформулировал и пропагандировал в многочисленных статьях своё понимание целей и задач литературных сил огромного края. Он был лучшим издателем лучшей провинциальной газеты Сибири конца девятнадцатого века.

Для Ядринцева, как идеолога и критика сибирской печати, не существовало никакой локальной

сибирской литературы: в своих статьях он рассматривал литературу Сибири как неотъемлемую часть общерусской литературы, подчинённую единым для России общественным и эстетическим закономерностям. Он считал, что гражданские идеи не могут появиться в Сибири, пока среда не заживёт ими: он обращал внимание современников на то, что Сибирь отставала в своём литературном развитии, страдала от постоянного отлива творческой интеллигенции, а оставшиеся на родине — подвергались ожесточённой травле. Ядринцев справедливо утверждал, что в Сибири ничтожен круг образованных людей, что печать здесь делает первые шаги, что общество страдает от недостаточного литературного воспитания и образования.

Именно поэтому газета «Восточное обозрение» стала верной и популярной спутницей сибиряков: газета выходила по четвергам — этот день был выходным. На «Четверги» в Петербурге собирались студенты, «бестужевки», в основном сибиряки и сибирячки, не менее тридцати-сорока человек. Это был своего рода светский литературный салон, где блистала умом и гостеприимством Аделаида Фёдоровна Ядринцева, дочь енисейского золотопромышленника Ф. Баркова. Она резко выделялась из среды столичных женщин отсутствием кокетства, природным остроумием, интеллигентностью, что нередко наблюдалось у сибирячек, очень доброжелательно относилась к Лидии Симоновне и Владимиру Михайловичу Крутовским из Красноярска. На «Четвергах» бывали писатели, поэты, политики: В. Г. Короленко, Н. К. Михайловский, С. Я. Елпатьевский, Н. Ф. Анненский и другие выдающиеся люди.

Начало журналистской карьеры было положено в газете «Восточное обозрение» в восьмидесятые годы девятнадцатого века. Именно тогда В. М. Крутовский сформировался как видный публицист, рецензент, критик. Тематика статей и очерков разнообразна: медицина, история, экономика, культура сибирского края, областничество, земство, освободительное движение, садоводство и плодоводство.

Крутовский помещал свои статьи в «Восточном обозрении» под общим названием «Красноярские письма». Эти публикации вызвали гнев енисейского губернатора Л. К. Теляковского, в них он был выведен «помпадуром» (Салтыков-Щедрин). По доносу губернатора автора скандальных фельетонов выслали из пределов Енисейской губернии на два года. Из-за особой остроты материала фельетоны печатались анонимно, чтобы не подвести редактора «Восточного обозрения», которому грозили суд и нередко тюремное заключение за «злостную клевету».

Приведём образец одного из фельетонов в «Восточном обозрении» (№ 30 за 1884 год): «Целые

толпы „жиганов“ расхаживают по улицам с гармониками и песнями, а притоны общественного разврата — дома терпимости, питейные заведения, разные харчевни и полупивные — буквально кишат ими. Люд этот лишён всяких заработков и, понятно, пропивает и разматывает „захапнанное“, в чём обыватель нисколько не сомневается. Чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть только на питейные заведения по Песочной улице и на Кучках. Там вы можете видеть этих „друзей“ нашей общественной жизни в настоящем их виде: в лохмотьях, полунагих, с хриплыми голосами, с харями, как бы грозящими каждому неповинному обывателю. Тут открыто совершаются акты самого наглого непотребства, под аккомпанемент циничного хохота и непечатных возгласов одобрения, не говоря уже об игре в орлянку, о кровавых драках и т. п. Губернское начальство не принимает никаких репрессивных мер к обузданию этой сволочи, полагая, по заверению полиции, что всё обстоит благополучно. Но обыватель об этом „благополучии“ судит вернее по указанным притонам: когда ночь обошлась без преступления, то притоны пусты и торговля не идёт вовсе; когда же кого-нибудь обворовали, придушили, ограбили — притоны снова оживляются, и начинается дикая оргия за счёт обворованного и ограбленного обывателя, — это своего рода барометр».

Уже в первых публикациях наметились основные черты В. М. Крутовского как журналиста: активная гражданская позиция, освещение больных и значимых вопросов, волнующих горожан, широкий диапазон интересов и глубина их исследования. Такова была школа жизненного опыта, накопления литературного мастерства, наработка связей — прежде чем созрело окончательное решение издавать свою собственную газету или журнал. Около тридцати лет шёл «неисправимый областник» к своему журналу.

Так, летом 1887 года в Иркутске была закрыта газета «Сибирь». Именно это обстоятельство стало решающим шагом при переводе «Восточного обозрения» из Петербурга в столицу Восточной Сибири — город Иркутск. Однако были желающие возобновить опальное издание в любом другом городе. Заветная мечта Крутовского — иметь свою газету — была в условиях жесточайшей цензуры, бюрократии практически недостижима. Однако в достижении своей цели он проявлял завидную целеустремлённость и настойчивость.

В. М. Крутовский через связи Г. Н. Потанина, признанного авторитета в литературных кругах, начинает хлопотать о переводе «Сибири» из Иркутска в Красноярск. Потанин не только вёл переписку с бывшим редактором газеты М. В. Загоскиным, но и имел конфиденциальную беседу с графом Игнатьевым, министром внутренних дел, по поводу «Сибири».

В письме к Г. Н. Потанину Крутовский сообщает: «Если не согласны в Иркутске, то потрудитесь, Григорий Николаевич, устроить всё дело и научить нас: как и кого мы должны просить о переводе газеты в Красноярск, как представлять редактора и всё прочее. Мы здесь ничего этого не знаем. Нельзя ли это ходатайство возбудить из Иркутска для скорости? Здесь будут задерживать, так как вообще недружелюбно относятся к закупаемой газете».

Хлопоты не увенчались успехом. Неудача только подстегнула желание иметь свою собственную газету. Крутовского, считавшего газету действенным средством борьбы с косностью сибирской администрации, очень беспокоило падение престижа «Восточного обозрения». По его мнению, газета стала неинтересной, не отвечала злобе дня, не отстаивала интересы Сибири, а больше писала о революционном движении рабочих Европы и Америки. Он же забил тревогу по поводу содержания российских газет, где появлялись время от времени корреспонденции из Сибири и о Сибири, как выражался Крутовский, «самого гадкого или даже паскудного свойства» (умел же Крутовский вернуть острое слово, его считали скандалистом и боялись). Особенно злобствовала томская газета «Сибирский вестник», где взяли силу литераторы из России, осуждённые за уголовные преступления, Корш и Полянский, а также такие столичные издания, как «Гражданин» и «Новороссийский телеграф».

Крутовский отстаивал право на защиту чести и достоинства сибирской интеллигенции от политических спекуляций и оскорблений, от эдакого поверхностного взгляда на проблемы Сибири, которым грешил даже такой гуманист, как А. П. Чехов, который в 1890–1891 годах так описал сахалинскую каторгу, что русское общество содрогнулось от негодования. В апреле 1892 года в письме к Г. Н. Потанину Крутовский в резкой форме выражает своё возмущение по поводу статей А. П. Чехова из Сибири.

Путешествие Чехова через всю Сибирь, перепись всего населения острова Сахалин, страстный протест против уголовной каторги и ссылки были восприняты обществом как гражданский подвиг писателя. Но мог ли даже такой гуманист, как А. П. Чехов, за столь короткий срок увидеть и понять глубину трагедии сибирской интеллигенции: каторга и ссылка, отсутствие университетов, недостаток учебных заведений, постоянный отток с окраин в центр, в Россию, самого талантливого, самого энергичного элемента? По поводу этих бед областники били во все колокола.

Томский университет открылся через год после его постройки, в 1889 году, — правительство боялось социалистов и революционеров-террористов. Был открыт только один факультет — медицинский,

второй факультет — юридический — принял первых студентов через десять лет. Задолго до открытия университета в печати нагнеталась истерия. 25 января 1886 года влиятельная газета «Московские ведомости» опубликовала «письмо из Томска», в духе нападок «червонных валетов». Анонимный корреспондент усердно озабочен проявлениями сибирского патриотизма, который проповедуют сибирские газеты: в Петербурге — «Восточное обозрение», в Иркутске — «Сибирь», а в Томске — «Сибирская газета». Цитируем: «Тенденции их везде одни и те же: самобытное развитие страны, возможная независимость колонии от метрополии, которая так безжалостно эксплуатирует богатый край, и т. п.». Газеты эти финансируют сибирские купцы, а за ними прячутся ссыльные поляки, нигилисты и социалисты, которым попустительствуют местные чиновники. А ведь именно с появлением поляков, утверждал анонимный автор, началась в Сибири проповедь местного патриотизма, именно они посеяли зёрна «сибирской национальности». Тогда же, напоминая о деле «сибирских сепаратистов» 1865 года, появились первые статьи «о самобытном и независимом от метрополии развитии Сибири». В 1870-е годы им на смену явились ссыльные нигилисты и социалисты. В этих условиях открываемый в Томске университет неизбежно станет своего рода штабом для социалистов: «Под маской местного патриотизма прячутся наши старые знакомые — нигилисты и социалисты. В Томске образовался целый штаб социалистов, собранных со всех концов Сибири. Кружок политических ссыльных постоянно старается вербовать молодёжь. Революционные кадры уже готовы. Ожидается только прибытие новобранцев в виде томских студентов, а может быть, профессоров».

Статья была замечена Победоносцевым, обер-прокурором Святейшего Синода, послан царю донос и требование остановить опасность. Остановиться было уже невозможно. Слишком много сил сибиряки потратили на свой университет, и всё общественное мнение России было на их стороне. Осенью 1889 года первые студенты вошли в аудитории. Зато «Сибирская газета» в Томске была закрыта цензурой.

Как на образец полемики о судьбах Сибири и сибиряков в те годы сошлёмся на статью Г. Н. Потанина «Сибирские областники о пришлое и краевой интеллигенции». Потанин, отдавая должное «пришлое» интеллигенции, которой Сибирь была обязана всплеском многих культурных начинаний, всё же считал её случайным элементом местной жизни. По мнению Потанина, только появление своей «туземной интеллигенции» может служить признаком, что затронута масса, что она начала выделять свою интеллигенцию и может отстаивать свои интересы. Сибири нужна

боевая общесибирская газета, общественно-политическая трибуна, наподобие «Сибири», «Сибирской газеты» или «Восточного обозрения» времён Н. М. Ядринцева.

Даже народоволец И. И. Попов, руководивший «Восточным обозрением» с 1892 по 1904 год, не устраивал областников. Попов позволял себе выпады в адрес сибиряков в духе «червонных валетов». 11 декабря 1901 года Крутовский сообщает Г. Н. Потанину: «Я написал Ивану Ивановичу ругательное письмо по поводу его передовой статьи в № 262 „Восточного обозрения“. Статья полна бахвальства, что сибиряки ничего не сделали в газетном деле и не дали капиталов, а российские „пришлые“ люди сумели и газеты поставить, и капиталы найти, и пр. Статья гадкая, несправедливая и даже глупая. Как вы относитесь к этой статье?»

Вероятно, секрет политики, запретительной на свободное слово на окраинах, и кроется в том, чтобы не давать прессу в руки самих сибиряков, готовых защищать интересы этой окраины не щадя живота своего. Временного редактора проще скрутить репрессивными мерами, цензурой и подкупом, временный редактор не будет отстаивать чуждые идеи как свои собственные. Что касается Крутовского, то он был готов взять газету в свои руки в любое время (1887, 1890, 1900, 1904). Лейтмотивом всей переписки с Г. Н. Потаниным звучит потребность в издании своей собственной газеты. Эта мечта осуществилась нескоро — не прошло и тридцати лет, как Владимир Михайлович смог возглавить свой собственный журнал «Сибирские записки» (январь 1916 — декабрь 1919 годов).

С самого начала журнал был задуман как областнический, с целью пропаганды и привлечения внимания общественности к истокам областничества и современным проблемам. Это был первый в Сибири общественно-политический и литературный журнал, с широкой и интересной программой в духе столичного издания. В глухой провинции это стало возможно только благодаря огромной энергии, трудолюбию и навыкам профессионального литератора, приобретённым ранее в «Восточном обозрении».

Хочется обратить внимание читателя на годы издания «Сибирских записок»: 1916–1919 годы. Это драматическое время, сплошь в белых пятнах и неразрешимых противоречиях; значение «Сибирских записок» с этой точки зрения будет возрастать. Это подлинный документ истории, протоколно запечатлевший классовую борьбу в Сибири в период революции и Гражданской войны, являющийся бесценным свидетельством той эволюции, которую прошла сибирская интеллигенция в один из самых переломных моментов истории, да и сам редактор тоже. Издание «Сибирских записок», периодического полноценного журнала, в условиях революции, Гражданской

войны, интервенции, дороговизны печатного дела, всеобщего хаоса, разрухи было своего рода подвигом одного человека, который, к тому же, был ещё и активным политическим деятелем.

Начиная издание журнала, Крутовский рассчитывал на помощь и практические советы старшего друга Г. Н. Потанина, жившего тогда в Томске. 27 февраля 1916 года он делится с Потаниным впечатлениями по поводу выхода в свет первого номера «Сибирских записок»: «Дорогой Григорий Николаевич! Спасибо Вам за письмо и за помощь, которую Вы мне оказываете и думаете оказать. Первая книжка у нас здесь идёт очень хорошо. Вызвала в публике большой интерес, и об ней всюду говорят и спорят. В общем, находят её чересчур серьёзной, а некоторые прямо называют периодическим журналом. В разные книжные магазины Сибири я посылаю до 200 экземпляров, но пока ещё не имею сведений, как они расходятся там. Знаю, что собратья не помогают и не поддерживают... Рукописи присылают, но много макулатуры и барахла; вся контора, редакция и состав ея журнала — это я один. Я и секретарь, я и сторож, и разносчик, и экспедитор, и писатель, и редактор. Советами и просмотрами рукописей по сибирским делам мне большую помощь оказывает Н. Н. Козьмин, в плане организации я нашёл в нём драгоценного помощника. Все другие оказались нигде не годными и бесполезными. Ваше участие, дорогой Григорий Николаевич, конечно, очень мне дорого. Пишите и присылайте, что у Вас найдётся. Все Ваши замечания принимаю к сведению и руководству».

На первых порах большую поддержку журналу оказали политические ссыльные, но в дальнейшем, по мере отъезда из Красноярска после октября 1917 года, они утратили связь с редакцией, поэтому приходилось рассчитывать только на свои силы. Наиболее деятельными и преданными помощниками редактора были талантливые журналисты Н. Н. Козьмин, Е. Е. Колосов, М. П. Плотников (Хелли); они работали бесплатно, напрягая физические и душевные силы. Благодаря обширным связям и авторитету в литературных кругах, Крутовскому удалось привлечь к изданию виднейших сибиряков: И. Г. Гольдберга, В. Я. Шишкова, Г. Д. Гребенщикова, К. В. Дубровского, В. М. Бахметьева, Г. А. Вяткина, Ф. Ф. Филимонова, не говоря уже о Г. Н. Потанине. В «Сибирских записках» печатались историки Н. Н. Козьмин, А. М. Гневушев, Н. К. Ауэрбах, Н. Н. Бакай, А. Я. Тугаринов, экономисты Н. Я. Быховский, Г. Жерновков, ссыльные В. А. Ватин-Быстрянский, А. В. Прибылёв, Л. Ф. Пантелеев, С. Я. Елпатьевский, А. И. Иванчин-Писарев, И. И. Попов. Большинство авторов тяготело к областничеству. С целью привлечения внимания к истокам областничества на страницах журнала публиковались материалы, посвящённые

пионерам сепаратистского движения А. П. Щапову, П. А. Словцову, Н. С. Щукину, П. П. Ершову. Наиболее удачные очерки пускались отдельными оттисками. Центральное почётное место в журнале было отведено незабвенному другу Н. М. Ядринцеву (умер в 1894 году).

Владимир Михайлович ставил себе в заслугу публикацию писем Н. М. Ядринцева к Г. Н. Потанину периода ссылки в Шенкурске (1873 год), а также отдельных фельетонов, статей и стихотворений. «Сибирские записки» № 2 за 1919 год были полностью посвящены 25-летию юбилею со дня смерти Н. М. Ядринцева. Кроме того, весной 1919 года в Красноярске вышло отдельное издание произведений Н. М. Ядринцева — «Сборник избранных статей, стихотворений и фельетонов» (приложение к журналу «Сибирские записки»). После выхода сборника (24 мая 1919 года) Крутовский писал Г. Н. Потанину: «... Я много лет знал Ядринцева, был с ним близок, но я никогда не ценил его так, как теперь, когда познакомился с его письмами. Он вырос в моих глазах, и жаль, что его так мало знают сибиряки... Мне думается, что сибирское дело нужно начинать почти снова, и издание этой книжки Ядринцева, думается, хорошее начало. Это будет широкая пропаганда его идей».

Когда-то в семье Крутовских хранилась частная переписка Лидии Симоновны Крутовской с Н. М. Ядринцевым. Тот факт, что она была близко знакома с В. Г. Короленко, Н. К. Михайловским, Г. Н. Потаниным, Н. М. Ядринцевым, Н. А. Морозовым, В. В. Лесевичем, И. П. Белоконским, Л. П. Семиренко и другими, свидетельствует о незаурядности этой женщины. Крутовские обвенчались ещё в Петербурге, в сентябре 1884 года, когда Лидия Симоновна закончила высшие Бестужевские курсы. Через год вместе с женой Владимир Михайлович вновь уезжает в Санкт-Петербург в отпуск, где сближается с революционерами-народовольцами. Есть свидетельство, что квартира Крутовских в столице была местом конспиративных встреч членов «Народной воли»; здесь же печаталась и хранилась нелегальная литература. В 1885 году В. М. Крутовского арестовали и «по Высочайшему повелению» выслали в Енисейскую губернию под полицейский надзор. В марте 1885 года санкт-петербургский градоначальник отправляет секретное письмо на имя енисейского губернатора с уведомлением о воспреещении лекарю Владимиру Михайловичу Крутовскому и его жене Лидии Симоновне жительства в Санкт-Петербурге и в пределах Санкт-Петербургской губернии.

С тех пор дом поднадзорного лекаря и в Красноярске был открыт для всех гонимых. Врач В. В. Хворов вспоминал: «Двери дома доктора Крутовского всегда и для всех были гостеприимно открыты... ни один ссыльный, побывавший в Красноярске, не обошёлся без каких-либо услуг с его стороны...»

Практически до самой революции 1917 года Крутовские состояли под гласным надзором, но продолжали служить общественным идеалам, выполнять аннибалову клятву, данную в юности.

Лидия Симоновна, как секретарь первого сибирского журнала, самостоятельно вела переписку с Потаниным, она была достойной подругой Владимиру Михайловичу и была в курсе всех его дел. Г. Н. Потанин просит Лидию Симоновну написать воспоминания о Ядринцеве как о близком друге и человеке. Лидия Симоновна ответила Г. Н. Потанину: «Мы начали переписываться с ним после смерти Аделаиды Фёдоровны. Вы знаете, в какой он был ностальгии. Писал он почти каждый день. В письмах, записанных под впечатлением минуты, благодаря его страшно нервному состоянию, наверно, было много преувеличено, но зато это была полная исповедь, всё, что было пережито и на что он ещё надеялся в будущем». Н. М. Ядринцев находился в тяжёлой депрессии, которая закончилась трагической смертью: он страдал манией преследования и просил Лидию Симоновну уничтожить всю их переписку, что она по его просьбе и сделала. Крик страдавшей, отчаявшейся души понять может только человек тонкой душевной организации. Такой страждущей душой обладала Лидия Симоновна, когда отвечала на письма, когда успокаивала, как мать — своё дитя, Николая Михайловича, когда своими советами подбадривала слепого, немощного Г. Н. Потанина, когда шла в тюремный замок, собирая вкусную снедь среди сочувствующих для очередной партии ссыльных, прибывшей в Красноярск. «Л. С. кормит студентов: она собирает куличи, пасхи, яйца, окорока — возит всё это в острог. Благодаря ей студенты по праздникам сыты. Их здесь осталось ещё более 50-ти человек».

Для сибирской интеллигенции имя Потанина было символом бескорыстного, страстного служения людям, знакомство с ним открывало любые двери, его авторитетом многие пользовались как тараном. Он был выдающимся организатором сибирской науки, долгие годы занимал пост правителя дел ВСОРГО и в то же время оставался признанным идеологом сибирского областничества. Несмотря на свой колоссальный общественный статус, он был доступен, человечен, а главное — активен в своей доброте. В Красноярске с особым уважением относились к «сибирскому дедушке» и в феврале 1916 года избрали его почётным гражданином Красноярска. Газета поместила ответ Потанина на избрание: «Приношу глубокую благодарность за честь, оказанную мне избранием меня в почётные граждане Красноярска, за учреждение стипендии моего имени при Красноярской высшей школе и за ассигнование ежегодно 300 рублей на пополнение отдела моего имени при Красноярском музее. Г. Н. Потанин» («Вестник красноярского

городского общественного управления», 17 февраля 1916 года).

Известно, что Г. Н. Потанин по несколько месяцев, а то и целый год, как это было в зиму 1901 года, жил у Крутовских на квартире, а летом на даче. Он стал как бы членом их семьи, очень полюбил дочерей — Лену и Лёлю, потом присылал им дорогие книги, игрушки, за что его упрекала Лидия Симоновна: сам Григорий Николаевич был «гол как сокол». Супруги Крутовские поддерживали Потанина, когда его постигло горе — смерть жены Александры Викторовны Потаниной, скончавшейся в сентябре 1893 года во время путешествия в Китай. В последние годы, особенно в период издания «Сибирских записок» (1916–1919), были в курсе всех перипетий семейной драмы Потанина, поддерживали его морально, заботились о его материальном положении, здоровье. Несмотря на тяжёлое финансовое положение журнала «Сибирские записки», статьи Григория Николаевича оплачивались незамедлительно.

После выхода Григория Николаевича из Томской госпитальной клиники В. М. Крутовский писал 31 июля 1919 года: «Вторая книжка вышла как раз тогда, когда мы Вас ждали сюда, и поэтому не было смысла её посылать. Затем получилось известие о Вашей болезни и думалось, что Вам теперь не до чтения. Вот как вышла задержка. Я всегда первую книжку, получаемую из типографии, посылаю Вам. Мы рады все Вашему выздоровлению и были крайне опечалены болезнью. Хорошо, что кончается хорошо. И местные областники с глубокой радостью и великим чувством облегчения услышали об Вашем выздоровлении. Будьте здоровы, живите дольше, Вы — наш дорогой учитель, наша совесть и наш путеводитель». В. М. Крутовский очень высоко ценил поддержку в деле издания «Сибирских записок» со стороны Г. Н. Потанина.

С первого номера редакция «Сибирских записок» настойчиво проводила идею сибирской областной автономии. Убеждённый областник, В. М. Крутовский считал, что только независимая в политическом и экономическом отношении Сибирь может стать действительно счастливой и свободной. Не будет преувеличением считать Крутовского наиболее последовательным решительным наследником старшего поколения областников, принявшего областное знамя бело-зелёного цвета из рук Ядринцева и Потанина и достойно продолжившего их дело. Журнал «Сибирские записки» в руках Крутовского был трибуной областной идеи. В каждой книжке «Сибирских записок» обязательным было «Областное обозрение», которое писалось самим редактором под псевдонимом «В. К.». Время от времени «Областные обозрения» пересылались в петроградскую газету «Вольная Сибирь». Помимо различных вопросов, касающихся истории областничества, эти очерки в

хронологической последовательности запечатлели разворот кровавых событий классовой борьбы на всей территории Сибири, отразили позицию союза областников по отношению к Советам и большевикам. При дефиците правдивой информации об этом непростом времени «Областные обозрения» Крутовского просто уникальны с точки зрения истории.

Из номера в номер перед нами разворачиваются потрясающие картины грабежей и реквизиций имущества населения, без различия социальной принадлежности. В «Областном обозрении» («Сибирские записки» № 2, 1919 год) развёрнута картина сибирской Вандеи: «Пожары, повальные грабежи, истребление интеллигенции деревни: учителей, священников, военных, чиновников и инакомыслящих крестьян, — имеет массовый характер. Всё это сопровождается жестокими пытками, истязаниями, издевательствами. В Каратузе священника сбросили живого с колокольни, в Енисейске замораживали в погребах и топили в прорубях, в Красноярском уезде разрывали лошадыми и т. д. После того, как Щетинкин со своими бандами захватил северную часть Ачинского уезда Енисейской губернии и своими заставами преградил туда дорогу, никаких сведений из этого района не сообщалось. Кое-кто пробрался, и передают следующее о работе этой банды. 14 февраля группа Щетинкина заняла с. Перовское, разоружила милиционера, разгромила волостную земскую управу, сожгла все бумаги, затем арестовала священника, вывела за село и, сняв шубу (чтобы не испортить), расстреляла. При аресте священника заставили его жену лечь на кровать и поднять руки, а затем глумились над несчастной женщиной».

И всё это проделывалось под святыми лозунгами свободы личности, слова, печати, неприкосновенности жилища. Позвольте, скажет читатель, всё это клевета, происки классовых врагов: можно ли верить эсеру, областнику и его буржуазным домыслам? На что можно ответить словами Крутовского: «Свобода слова понимается тоже своеобразно, свобода слова лицам партии, имеющим за своей спиной толпу или солдат, или красногвардейцев, вполне обеспечена. Им разрешается кричать что угодно и о чём угодно. Но всякое возражение, устное или печатное, господствующему течению ведёт к избиению, аресту или другим неприятностям. Зажимание рта противнику широко практикуется. Он объявляется контрреволюционером, противником нового строя и делается уже вне закона. С ним не церемонятся». Свобода «была понята как свобода от всего, особенно в деревне» («Областное обозрение», В. К., «Сибирские записки» № 4–5, 1917 год).

М. В. Шиловский в статье «Областничество в прошлом и настоящем», опубликованной в «Сибирской газете» (Томск, 1990), поясняет:

в современной исторической литературе «областники предстают в виде двуликого Януса, у которого, с одной стороны, безупречное лицо учёных-подвижников, а с другой — буржуазно-либеральная физиономия общественных деятелей, пришедших в конце жизненного пути в лагерь контрреволюции».

В истории областничества В. М. Крутовский, наряду с Г. Н. Потаниным, занимал видное место. В эпоху Государственных дум он выдвинулся как политический деятель радикального направления. Первые лозунги и программные требования сибиряков-шестидесятников были исключительно земские, местные, культурно-экономические. В 1905 году на Сибирском съезде в городе Томске требования сибиряков вылились уже в политическую программу «За областную Сибирскую думу» с правом на самостоятельный областной бюджет. Будучи председателем Красноярского областного союза, гласным городской Думы в течение трёх десятилетий, Владимир Михайлович Крутовский активно пропагандировал идею самоуправления Сибири в местной печати под общим названием «К вопросу о самоуправлении Сибири в Государственной думе».

После победы Февральской революции красноярским обществом Крутовский единогласно избирается председателем Совета общественной безопасности, а из центра назначается комиссаром Временного правительства в Енисейской губернии. Казалось бы, какое дело учёному, врачу, общественнику до политики? Вполне естествен, логичен порыв честной трудовой интеллигенции — послужить на благо России. Усталый, но счастливый — таким видели шестидесятилетнего В. М. Крутовского в мартовские дни 1917 года. Вот как описала эти дни Лидия Симоновна: «Владимир Михайлович утомился ужасно, спит мало, иногда 3–4 часа в сутки, и целый день и ночь в Думе и в напряжённой работе председателем в этом Комитете. Сначала были выборы председателя только на три дня. При новых выбрали опять его единогласно, он хотел отказаться, взять себе что-нибудь полегче, его стали упрекать, и он опять остался... Он здорово похудел, побледнел, но душой цветёт» (из письма Г. Н. Потанину в Томск 9 марта 1917 года).

Как председателя первого областного съезда, проходившего в Томске в октябре 1917 года, В. М. Крутовского избрали в состав Сибирского областного временного правительства, где он назначается министром здравоохранения и министром внутренних дел. Крутовский — признанный сибирским обществом лидер областничества, в руках которого своя политическая трибуна — «Сибирские записки». На страницах журнала поднимается вопрос об областной сибирской автономии, основанной на идее областной сибирской

федерации с высшим органом управления — Сибирской областной Думой. Крутовский писал: «... Сибирский союз независимых социалистов-федералистов будет наряду с этим вести неуклонную борьбу за независимое культурно-правовое и экономическое самоуправление областей государства, и в частности Сибири, на основах демократической, федеративной республики по типу Северных Американских Соединённых Штатов. А накануне воцарения диктатуры пролетариата, с логически вытекающей отсюда диктатурой над экономической жизнью, в духе социалистического командования производством, распределением и потреблением всей географической необъятной Российской республики, мы, социалисты-федералисты, поднимем решительную борьбу против ненужной, стеснительной для области и общин, трудно выполнимой диктатуры властного социалистического центра над экономической жизнью всей республики, во имя раскрепощения экономической власти и за свободное творчество, строительство и самоопределение народной жизни, земли и народной воли» («Сибирские записки» № 3, 1917 год, «Областное обозрение», В. К.).

Особенно современной, созвучной нашему времени является программа сибиряков в области аграрных отношений с правом самим устанавливать нормы и формы землевладения и землепользования, вплоть до единоличного хозяйствования. По мнению историка М. В. Шиловского, областники были родоначальниками идеи регионального хозяйсчёта и местного территориального самоуправления. Эти идеи пытались взять на вооружение политики девяностых годов двадцатого века (ассоциация «Сибирское соглашение»).

На первом областном съезде в Томске в январе 1917 года областники приняли декларацию о необходимости борьбы с большевиками. Г. Н. Потанин в августе 1919 года призывал к оружию: «Граждане! Банды большевистские у ворот!» Но сил на борьбу с большевиками у правосоциалистических партий явно не хватало. Областники — это «культуртрегеры», а не военные люди, они не умели бороться с оружием в руках! Главное направление их деятельности — это служение интересам Сибири, их неподдельная любовь к ней, активная созидательная работа. Политические воззрения В. М. Крутовского как лидера областников повлияли на оценку в целом журнала «Сибирские записки». Однако историческое и культурное значение «Сибирских записок» и его содержание шире политических платформ и установок: значение первого сибирского журнала нельзя свести к одному областничеству.

Несомненной творческой удачей Крутовского как редактора был литературный отдел: в журнале печатались романы, повести, рассказы, стихи, литературная критика и отзывы. Крутовский

оказался хорошим организатором. Ему удалось собрать целое созвездие талантов, дать возможность печататься маститым литераторам: В. Бахметьеву, И. Гольдбергу, Г. Н. Потанину, А. Прибылёву, А. Иванчину-Писареву, поэтам П. Драверту, Г. Вяткину,—и неопытным, начинающим, вошедшим в большую литературу через журнал «Сибирские записки»: Ф. Лыткину, А. Гастеву, В. Пруссаку, Д. Глушкову-Олерону, М. Плотникову, В. Калашникову (Кручинину), В. Шишкову. Опыт журнала был уникальным. Высокая культура издания, широкий круг сотрудников, большинство из которых отличалось несомненной литературной одарённостью,— всё это способствовало популярности журнала, приковывало внимание к нему. Многие произведения, впервые появившиеся на страницах «Сибирских записок», с успехом могли бы украсить любой столичный журнал.

В 1907 году Общество врачей Енисейской губернии отметило 25-летний юбилей врачебной и общественной деятельности В. М. Крутовского и оценило эту его многостороннюю деятельность как *идеальное служение* интересам родной Сибири. Особо отмечен был факт создания им первой

медицинской газеты «Сибирские врачебные ведомости», которая, по словам коллег, «стала центром духовного единения врачей и завершила до некоторой степени *тот идеал*, который Вы поставили себе как врачу и общественному деятелю». Без всякого сомнения, Владимир Михайлович Крутовский стоял и стоит в одном ряду с выдающимися деятелями Сибири—Г. Н. Потаниным, Н. М. Ядринцевым, А. П. Шаповым, П. А. Слобцовым, М. К. Сидоровым, С. В. Востротинным, Д. П. Давыдовым, Г. И. Гуркиным, С. С. Шашковым и другими.

В 1938 году В. М. Крутовский был арестован органами НКВД как агент пяти иностранных разведок, создатель контрреволюционной организации в Сибири. 9 декабря 1938 года умер, по официальной версии—от сердечной недостаточности, а на самом деле—от старости и трагического осознания крушения всех идеалов и ценностей. Захоронение на Николаевском кладбище Красноярска в общей могиле не сохранилось или потеряно навсегда.

Р. С. Полностью статья опубликована в книге А. В. Бродневой «Кто Вы, доктор Крутовский?» (Красноярск, 2014).

Литературное Красноярье ∴ ДиН стихи

Станислав Феньков Моя Россия

Кто нынче скажет, сколько эр подряд—
То с посвистом, то с кротостью мессии—
Ты пробивалась к Богу через ад,
Моя многорадальная Россия?!

Тебя веками резали и жгли,
Стирали с карт, копытами топтали,
Но каждый раз из выжженной земли
Твои кресты до неба отрастали.

Тебя сто раз пытались хоронить,
Но, вопреки пророчествам лукавым,
Ты раз за разом продолжала жить,
Переплавливая горести на Славу.

И мне смешны старания врагов,
Чьи лбы не учат никакие стены:
Кто выбил зуб избраннику богов,
Разорван будет в клочья непременно.

И пусть в моей крови такая смесь,
Что в самый раз генетикам стреляться,
Я—русский: в доску, без остатка, весь,
На всю башку. И это люблю, братцы!

Евгений Беркович

Женский бунт на улице Роз

В первые дни марта 1943 года в Берлине произошло событие, в которое и сейчас трудно поверить. Несколько тысяч евреев, собранных в пересылочном лагере на улице Роз (Розенштрассе, 2–4) для отправки в лагерь смерти, были отпущены на свободу. Более того, двадцать пять евреев, которых уже депортировали в Освенцим, через две недели были возвращены в Берлин и тоже получили свободу. Освобождение заключённых не было результатом тайной операции подпольщиков. Все евреи были освобождены нацистами вполне легально и получили соответствующие справки и удостоверения. Отлаженная машина уничтожения впервые дала сбой, приговорённые к смерти жертвы остались жить. Многие из этих людей увидели конец гитлеризма. Некоторые живы ещё и сейчас.

Своим освобождением спасённые евреи обязаны нескольким сотням простых берлинцев, в основном женщин, которые в течение двух недель выходили на Розенштрассе и требовали вернуть им мужей, отцов и детей. Это был первый и единственный протест немцев против депортации евреев, против расистской политики нацистов. И этот протест увенчался полным успехом. Казавшаяся неумолимой и беспощадной, власть была вынуждена уступить.

Женщины, протестовавшие на улице Роз, несмотря на угрозы вооружённых эсэсовцев, проявили истинное мужество и бесстрашие. Немецкие женщины, вышедшие замуж за евреев, прошли длинный путь испытаний. Долгие годы сопротивлялись они настойчивым попыткам властей добиться их развода с мужьями-евреями. Своей стойкостью эти женщины спасали своих супругов: развод означал для евреев немедленную депортацию и неминуемое уничтожение.

История спасения евреев на Розенштрассе не только уникальна, но и поучительна. Она заставляет задуматься над моральными проблемами, которые не потеряли актуальность и в наши дни.

Операция «Фабрики»

Ранним утром в субботу 27 февраля 1943 года в Берлине началась операция под условным названием «Фабрики», в результате которой Берлин должен был стать свободным от евреев городом. Эту операцию давно задумал министр пропаганды

и руководитель городской организации (гауляйтер) НСДАП Геббельс. Операция задумывалась как особый подарок Гитлеру к его пятидесятичёрлехлетию 20 апреля 1943 года.

Операция проводилась по тщательно разработанному сценарию. На фабрики и заводы, где на принудительных работах были заняты евреи, неожиданно врывались эсэсовцы и загоняли евреев в специально подготовленные грузовики. Людям не давали взять с собой еду или одежду. Евреев свозили в специальные сборные лагеря, откуда их через несколько дней партиями отправляли в лагерь уничтожения. Операция продолжалась ещё две недели, причём евреев стали забирать не только с рабочих мест. Облавы проводились и в жилых домах. Не спаслись и те, кто был болен...

В операции «Фабрики» участвовали отборные части СС, в том числе известный отряд «Адольф Гитлер», для неё были выделены все имевшиеся в Берлине грузовые автомобили. Разработкой деталей руководил специально вызванный из Вены по приказу Адольфа Эйхмана, известный своей жестокостью к евреям Алоиз Бруннер. Он в своё время за несколько месяцев очистил Вену от евреев, чего никак не удавалось сделать в Берлине его коллегам.

Для оценки описываемых событий важно подчеркнуть, что время постоянных побед немецкой армии на фронтах уже закончилось. 31 января 1943 года под Сталинградом капитулировала армия Паулюса: триста тысяч немецких солдат оказались в плену. Впервые у многих простых немцев появилось ощущение, что «тотальная война» вовсе не обязательно означает «тотальную победу». Это ощущение усилилось после сильнейших бомбардировок Берлина, осуществлённых британскими Королевскими военно-воздушными силами в ночь с первого на второе марта. В эту ночь на Берлин было сброшено больше бомб, чем за все бомбардировки, вместе взятые. Берлин стоял в огне и руинах. Погибли минимум пятьсот человек. Тысячи потеряли кров.

Операция против евреев должна была, по мнению Геббельса, поднять моральный дух нации.

Когда национал-социалисты пришли к власти, в Берлине жили, согласно переписи населения 16 июня 1933 года, примерно сто шестьдесят тысяч

человек иудейского вероисповедания. Это составляло около трети всех верующих евреев Германии, которых всего насчитывалось чуть менее полу-миллиона. К 1939 году это число уменьшилось наполовину: согласно переписи 17 мая 1939 года, верующих евреев было двести восемнадцать тысяч. Кроме этого, имелось ещё около двадцати тысяч евреев по происхождению, принадлежавших к другим религиям или являвшихся атеистами. Подобной классификации перепись 1933 года ещё не знала. Тогда еврея, перешедшего в христианство или не исповедующего вообще никакую религию, официальная статистика евреем не считала.

К эмиграции подталкивали многочисленные запреты и предписания, предельно ограничивавшие евреев в правах и делавшие их жизнь невыносимой. В период между «Хрустальной ночью» и началом Второй мировой войны 1 сентября 1939 года было опубликовано свыше двухсот таких указов; иными словами, каждые полтора дня появлялся новый запрет. Евреям запрещалось сидеть на общественных скамейках, еврейским детям — посещать общественные школы, для всех евреев вводились обязательные дополнительные имена: Израиль для мужчин и Сара для женщин... Садистской изобретательности нацистских властей не было предела.

Сопrotивление сердца

2 марта 1943 года комендант Освенцима Рудольф Хёсс получил телеграмму от берлинского начальства, в которой сообщалось, что с 1 марта началась отправка в лагерь около пятнадцати тысяч здоровых и работоспособных евреев, до того работавших на фабриках и заводах, выпускающих военную продукцию.

Операцию «Фабрики» нацистам не удалось провести в полной тайне. В своём дневнике (запись 11 марта 1943 года) Геббельс жалуется, что минимум четырём тысячам евреев удалось узнать о предстоящей операции и скрыться. Всего в Освенцим было отправлено в период с 1 по 12 марта почти восемь тысяч евреев. Больше повезло тем, кто был связан с немцами тесными семейными узами. Гонения на евреев касались этих немцев непосредственно. Не считаться с мнением такой части немецкого общества власти не могли. Поэтому евреи в смешанных браках не были так беззащитны, как большинство евреев, не породнённых с арийцами. Известны примеры того, как арийская родня заступалась за преследуемых родственников-евреев.

Браки немцев и евреев угрожали важной цели нацистов изолировать евреев от арийцев. Поэтому власти принимали все меры, чтобы заставить немцев развестись со своими еврейскими супругами. В ход шли и угрозы, и посулы. Если смешанный брак распадался, то «еврейская

половина» практически мгновенно исчезала — нацисты безбоязненно отправляли жертву в лагерь уничтожения. В тех же случаях, когда наперекор властям смешанный брак сохранялся, расправиться напрямую с евреями власти не решались. Вызвать недовольство даже части немецкого населения означало поколебать одну из важнейших заповедей тоталитаризма — «нерушимое единство партии и народа».

Проблема смешанных браков много раз рассматривалась на совещаниях нацистского руководства. Фашисты не собирались мириться с легальным существованием евреев. Наличие немецкого супруга сводило на нет многие запреты и ограничения, предусмотренные для евреев. Например, евреям запрещалось на территории Третьего рейха читать любые газеты, кроме специальной «Юдише нахрихтенблатт». Но кто мог запретить немецкому супругу или супруге купить немецкую газету или подписаться на неё?

По принципиальному вопросу уничтожения всех евреев у руководителей рейха было полное единодушие. Но в отношении евреев в смешанных браках существовали серьёзные разногласия между Гиммлером и Геббельсом. Шеф государственной безопасности Гиммлер, его заместитель Гейдрих, Адольф Эйхман и другие настаивали на немедленной и решительной депортации всех евреев, даже если их немецкие супруги не были согласны на развод. Предлагались насильственные разводы, стерилизация супругов, а также совместная депортация немцев и евреев, состоящих в браке.

Напротив, Геббельс, а впоследствии и Гитлер склонялись к тому, что возможные акции протеста со стороны немецких родственников евреев крайне нежелательны и опасны. Было решено сначала добиться «окончательного решения еврейского вопроса» в оккупированной Европе, а потом вернуться к проблеме смешанных браков в «старом рейхе». Это и дало женщинам на Розенштрассе возможность добиться успеха и спасти своих мужей. Однако для этого было нужно проявить немалое мужество и стойкость.

Американский историк Натан Стольцфус называл протесты женщин против депортации их родственников «сопротивлением сердца». Очень многих женщин заставила выйти на Розенштрассе любовь к своим мужьям. Это чувство прошло множество испытаний и у многих сохранилось на долгие годы, часто на всю жизнь.

Чувство, руководившее женщинами, не всегда можно было назвать любовью. Супруги Хайнц и Анна Ульштайн уже несколько лет не жили вместе и собирались официально развестись. Свидетельство о разводе было уже почти готово, однако в последний момент Анна взяла своё заявление назад и тем спасла жизнь Хайнцу. Когда

Хайнца забрали в лагерь на Розенштрассе, Анна делала всё, чтобы помочь своему бывшему мужу. Они развелись через несколько лет после войны. Хайнц Ульштайн посвятил своей бывшей жене главу из книги воспоминаний. Глава называется «Германия... Анна, это ты!».

Жить не по лжи

Первое письменное сообщение о событиях на Розенштрассе появилось в берлинской женской газете «Она» сразу после окончания войны. А затем целых пятьдесят лет ни историки, ни журналисты не вспоминали о том, что происходило на улице Роз. Только в девяностые годы появились первые монографии, статьи, документальные фильмы об этих событиях. К их пятидесятилетию по проекту художницы Ингебор Хунцигер, по распоряжению руководителя гдР Хонеккера, был создан мемориальный скульптурный комплекс, но он был открыт уже после падения Берлинской стены и объединения Германии.

Что могло означать столь долгое молчание о таком, казалось бы, необыкновенно привлекательном для историков и писателей событии, как спасение человеческих жизней в условиях безжалостной тирании?

Успех демонстраций на Розенштрассе позволяет несколько по-иному посмотреть на события прошлого, и в частности — на ответственность немецкого народа за преступления нацистов. Распространённое оправдание звучит так: «Мы ничего о лагерях уничтожения не знали». Действительно, планы нацистского руководства «окончательно решить еврейский вопрос» держались в тайне от народа. Но люди видели, что преследование евреев становится всё более жёстким. Прямому уничтожению предшествовали выделение евреев среди других людей (опознавательные знаки — шестиконечные звёзды) и их изоляция и концентрация (еврейские дома, гетто, концлагеря). Только после этого следовало уже собственно физическое уничтожение.

Выступления на Розенштрассе показывают, что если бы евреи не были изолированы от немецкого общества, их уничтожение оказалось бы сложной проблемой для властей. А подавляющее большинство немцев не возражало против выделения и изоляции евреев. С 1933 года практически не было протестов немцев против расистских законов

и распоряжений нацистов. И это развязало руки фашистским преступникам. Тотального геноцида евреев можно было бы избежать, если бы не пассивность и молчаливое одобрение немцами действий своего правительства.

Знаменитый философ Карл Ясперс сказал в своём первом публичном заявлении после войны: «Мы, выжившие немцы, не искали смерти. Нас не арестовывали, как наших еврейских друзей, не выгоняли на улицы, не казнили. Мы предпочитали остаться в живых с таким слабым оправданием, что наша смерть всё равно никому не может помочь. То, что мы живы, и есть наша вина!»

Есть ещё одна причина, почему о событиях на Розенштрассе не говорили как об антифашистском Сопротивлении. «Сопротивлением» в послевоенной литературе называли вооружённую борьбу с фашистским режимом. В странах соцлагеря к этому обязательно добавляли руководящую роль коммунистов. К Сопротивлению относили действия партизан и подпольщиков, но никак не мирные демонстрации на городских улицах. Демонстрации — типичное оружие диссидентов, инакомыслящих.

Об угрозе, которую инакомыслящие представляют для правящего режима, лучше других сказал Вацлав Гавел, когда он сам как «опасный диссидент» был под надзором органов госбезопасности социалистической Чехословакии: «Если опорой системы является „жизнь по лжи“, то неудивительно, что основная угроза этой системе исходит из „жизни по правде“». Гавел говорил о коммунистической системе. Коммунизм как тоталитарную систему роднит с нацизмом стремление подчинить весь народ идеологии правящей партии. Большинство людей принимает эту идеологию или делает вид, что принимает. В последнем случае приходится действовать вопреки своей совести, «жить по лжи». Тоталитаризм подавляет правду и индивидуальность. «Жизнь по правде», по мнению Гавела, создаёт основу для оппозиции, столь невыносимой диктаторским режимам.

Выступления на Розенштрассе были для людей, которые в них участвовали, вершиной нелёгких лет жизни в соответствии со своей совестью. Этот протест был направлен против расистской идеологии нацистского режима. Люди пытались «жить не по лжи» и тем представляли опасность для тоталитарной системы не меньшую, чем вооружённые партизанские отряды.

Рон Палин

АЛЛОХТОН

Эпистолярная повесть

24/09/2014, Бельгия

Дорогая сестрёнка!

Сегодня три коллеги — автохтоны (те, кто имел честь родиться от не мигрантов) — накинудись на меня по пустяку за утренней чашкой кофе. Вышел спор ни о чём: о роли Америки в мире. В Бельгии не любят американцев, и немцев, и французоз, и голландцев, всех вокруг себя не любят. Предложил им поделить Америку на штаты. Так легче не любить будет.

Тогда все трое дружно вступились за Америку. Диктаторов и террористов правильно бомбят. Ох уж эти мне человеколюбцы из социального сектора. Даже Дэльфин, эта молчаливая алкоголичка-наркоманка, что-то таякнула в общий хор. Опять же, попытались перекинуться на Путина. Я ещё раньше им всем сказал: эту тему не трогать, не прикасаться, как к исламской религии. Сказал, что у Путина прямая спина и развитые мышцы груди, что в мире есть только двое шестидесятилетних мужчин, которые так хорошо выглядят: бельгийский премьер, социалист-гомосексуалист Ди Руппо (про социалиста и гомосексуалиста я не сказал — это они и так знают) и вот этот такой нелюбимый ими Путин.

Они сейчас — прошло два часа — друг с другом беспрестанно воркуют, меня же эти пересмешники обходят стороной. Мне почему-то вспоминается гордый асоциальный писатель Набоков. С этой, за офисным столом справа, африканской любовницей точно сегодня не заговорю. Скоро обед.

Третий коллега — дурашливый мужчина тридцати пяти лет со степенью доктора антропологии, отъявленный коммунаг и философ-анархист — тоже присоединился к западникам. Говорит, что демократия тут, свобода, а в России бы он сидел в тюрьме за свои убеждения. Неудачник. В России бы он скорее спился. Тут же он устроился на халявную работу и женился на эфиопке из новоприбывших.

Сию уязвлённый, непримиримый и беспомощный. Где она, моя первоначальная мигрантская самодостаточность? Когда говорил я односложными фразами, модалными глаголами и местного диалекта не понимал. Целомудренным двадцатидвухлетним юношей был. Пять долгих лет прошло с тех пор.

25/09/2014

И вот снова сижу за своим офисным столом, ослабленный, глупенький и довольный.

Кофейная пауза прошла спокойно. Мой чёрный юмор с едва уловимым привкусом цинизма вновь в цене. Котируется как лечебный змеиный яд.

Короткие фразы падают, скатываются с пластмассовой мебели под визгливые женские улюлюканья. Пошлости с нехитрой начинкой подхватываются вороньими клювами на лету и тут же проглатываются. Никаких особых происшествий. Неказистый конторский день плавно течёт к своему концу.

Но вот после обеда, ближе к полднику, на горизонте новая нелепица — наш лидер, временно исполняющий обязанности главного директора. Косоглазый бегун трусцой. Молодцевато перепрыгивает через две ступеньки, идёт боком, смотрит боком, улыбается — криво.

Из партии зелёных, человечных и экологичных. Сконцентрирован на своей карьере и женских сотрудниках в эшелонах повыше.

Ему докладывают, что туалеты после курса интеграции мигрантов вновь грязные. Пластмассовые «очки» унитазов опять сломаны: становятся на них, вот они и трескаются. Бумага туалетная свешивается с потолка.

Директор тыкает грязным пальцем ассенизатора в «Самсунг Галакси» и произносит: надо установить краники для подмывания, в исламской культуре пользуются водой, а не бумагой, это даже гигиеничнее и экологичнее.

Краники никто никогда не установит — кому это надо? Но идея останется, запомнится. Директор скользит бодрым взглядом по окружившим его подхалимам. Подхалимничают все, без устали, без смысла, без умысла и толка, так, на всякий случай, чтобы голову при случае не отрезали... потом, при исламском халифате.

26/09/2014

Бывает, как сегодня, нас выгоняют из-за столов и собирают на собрание. Обсудить новые инструкции регистрации мигрантов. Каждому бродяге, удачно перепрыгнувшему ров и постучавшему в ворота королевства, присваивается национальный

номер из двенадцати цифр. Без этого номера клиентов не подпускают к регистрации и называют нелегалами. Их сотни тысяч, они есть в королевстве — и их как бы и нет. Раз лет в десять их амнистируют. О чём же это я? Ах да, регистрация. Первые шесть цифр королевского национального номера — дата и год рождения. Если какой-нибудь новоприбывший не знает дату своего рождения, ему её определяют на первое января, год он себе выбирает сам, почесав в паху.

Рядом со мной на вышеупомянутом душегубском собрании сидит, нога за ногу, в свитере и обтягивающем чёрном трико, моя ровесница — Изольда. Постукивает от нетерпения полусапожком по ножке стола, барабанит приклеенными ноготками по столу. Характер трудный, неуживчивый, каблучки — высокие и острые, головка змеиная. Под одним глазом у неё сегодня фиолетово-чёрный синяк. Говорит, собака мордой в глаз толкнула. Слышу звук её гундосого, неразжёванного крестьянского диалекта. Её клиент Осман Мохамед Юсуф заявляет, что родился в 1460 году по исламскому календарю... Серьга под нижней губой шевелится, ротик маленький, глазки стреляют из-под прилизанной чёлки, мозги зажатые, куцые. Изольде не хочется быть простым сопровождающим по интеграции — подавай ей «коучинг» с отдельным кабинетом. Чтобы совсем ничегошеньки не делать, косметическую пыльцу со стола сдуть. Пальцем не о палец ударять, а исключительно о компьютерные клавиши. Недавно вышла замуж за кенийца и во время ланча заявила, что второго Обаму заводить не собирается. Упаси Бог.

29/09/2014

Обычно раз в день на меня находит вязкая гнетущая тоска. Я встаю со своего эргономичного стула (он откатывается чуть назад) и поднимаюсь этажом выше, в пустынную столовую. Обхожу длинный стол, открываю откидное окно. По полу катаются надувные шарики. Со вчерашнего закрытия курсов ориентации на арабском языке. Стою и неотрывно смотрю на тихую узкую улицу. Скоро обед, но я не испытываю чувства голода.

Когда мне было двенадцать лет, я ехал с отцом на ночном поезде. Глубокой ночью надо было делать пересадку. В железнодорожном буфете отец купил мне бутылку кефира и пряник. Натуральный медовый пряник за семь копеек, хранившийся месяцами на прилавке без всяких консервантов. Я запивал ломающую во рту пряную твердь густым кефиром из свежих кислинков — белых ягод. Утолял в ту ночь особый голод — тихий, духовный, многозначный. Помнишь тот день, когда мы ходили в булочную на углу? Перешли трамвайные пути. На тебе были короткое красное пальто и вязаная шапка. Ты купила за последние пятак бублики с сезамовыми зёрнами. Оставляющими

горьковатый привкус на зубах. По пути домой ты заплакала. Вздохнула, вытерла слёзы и посмотрела на меня глазами, просиявшими от слёз и усталости. Я сказал: не плачь, я поеду за границу. Раз я языки знаю, то и судьба мне такая. Добывать буду там эти проклятые доллары и вам присылать.

Опускаюсь и упираюсь ладонями в пол. Делаю двенадцать отжиманий. Как учил наш школьный физрук, сорокалетний Владимир Владимирович с телом юноши-легкоатлета.

Слышу шаги по лестнице, вскакиваю с пола. Мне навстречу идёт, улыбаясь во весь рот, коренастый безбородый Мохаммед (только на нижней губе узкий чёрный мазок). Узкий задумчивый лоб, густые дуги бровей. Учитель курсов краткосрочной интеграции. Нахраписто дружеский коллега. Долго держит мою руку в своей. Рассказывает, как чеченцы молятся в перерывах в кладовке, на полу, рядом с мусорными мешками. Мохаммед щурится, как бы посмеиваясь над такой рьяной религиозностью. Приближается своим хитрым лицом к моему уху. Летом он был в родном Марокко, там появились русские проститутки, красивые — *tres belles russes*. Его ртутные глазки загораются. Я медленно вытягиваю у него свою руку. Не русские, а украинские, бросаю ему напоследок. *Les Ukrainiennes*.

30/09/2014

Правда только в том, что мне незаслуженно повезло с трудоустройством. Прибыл я в этот небольшой фламандский город пять лет назад. Тогда поток мигрантов только подступал к его ползучим аркам. Можно сказать, вовремя под руку попался — заметили меня, ясноглазого студента со знанием аглицкого и галицкого наречия из заморского владимирского княжества. Директоршей нашей в то время была Катлин — блондинка, слабохарактерная и полнотелая. Фигура — в форме перевёрнутого гриба. То набирающая, то сбрасывающая двадцать-тридцать килограммов. По-донкихотски воинственная в министерствах и добродушная к подчинённым. Во взгляде что-то прозрачное и тёплое. Утопленное солнце на дне лазурных глаз.

Катлин заболела раком и ушла с работы. Я видел её вчера на улице, распухшую от гормонов. Стоял солнечный сентябрьский день, дряхлый божий старичок и его сгорбленная подружка прижимались к витрине мясной лавки. На склоне улицы седовласый учитель учил школьников из Сомали езде на велосипеде. Пускал их вниз и выкрикивал: держать баланс, не крутить педалями, не распускать по ветру юбки и платки. Высокорослый негр в кремовом халате и пантофлях Аладдина фланировал по улице. Феска на голове — как флагшток на мачте. Неспешно шёл, разрезая волны, словно флагманский корабль.

На смену Катлин на должность директора пришёл худой, хищный пожилой мужчина.

01/10/2014

Директора у нас меняются часто. Причины тому разные: повышение, раздвоение командной должности, неразрешимый конфликт с другими директорами, серьёзная болезнь или надуманная депрессия. Никто из нас не знает, что случилось с этим нашим директором. Говорят, проворовался и вынужден был уйти.

Неприглядный такой мужчина в дорогом костюме. Небольшого роста, в ортопедических ботинках на высокой подошве. Шишковатый череп покрыт мхом рыжеватых волос. На длинном носу — тонко прочерченные очки из титано-платинового сплава. Профессор богословия с глубоко спрятанными глазами болотного цвета. Пришёл он к нам из системы высшего образования. На пальцах перстни. Самоуверенный, тихо говорящий, внимательно слушающий и ногти грызущий. За ним тянулась паутина обвинений в домогательствах к студентам.

Вижу его сидящим в своём огромном кабинете. На одной стене — широкий тёмный телевизор, другая стена — пропасть зеркальная. Похож на ящера — задержался на эволюционном пути, так и не став крокодилом. Красноречив, велеречив, высовывал длинный язык и ловил мотыльков — приближённых молоденьких сотрудниц. Среди них — едва распустившийся нежный цветочек со школьным дипломом. Дочка бывшей директорской ассистентки. Та сама её к нему привела. Потом отравилась. Я же с самого начала держался от него подальше. Не высывался, не делал резких движений. Просто инстинктивно замирал от отвращения. Это-то меня и спасло.

02/10/2014

Ты спрашиваешь о перстнях и барских замашках бывшего директора. Действительно, такой прожорливо-жадный троглодит в нашей социально-кривоуправленной конторе. Всё перемешалось в этом «датском королевстве». Социалисты здесь борются за голоса исламистов, а либералы — за дешёвую рабочую силу. Вот и Ящер что-то там шипел о стареющем населении, что труд, мол, сначала освобождает от предрассудков, а потом интегрирует в мультикультуру. К субсидиям, впрочем, он относился бережно, как к своим собственным. Грех и жаловаться.

Другая наша директорша, Хильдой звали, происходила из здешней крестьянской бедноты. Как же тебе её тип описать? Помнишь, были такие женщины-железнодорожницы при советской власти? В жёлтых грязных жилетах поверх телогреек и с ломом в рукавицах. С большими красно-кирпичными лицами. Мужей у них в живых уже не

было. Вдовы, значит, были. Вот такой женский тип. Хильда никогда замужем не была, даже лесбиянкой не была. Закончила гуманитарный университет. Очень деловая женщина, говорила не так много, как предыдущий директор. Но зато часто. Почти ежедневно созывала летучки по разным мелким поводам. Мне как-то раз сказала, что я не убираю кофейные ложечки со стола после кофейной паузы. А это признак асоциальности. Подкоп под меня совершала. Катапультировала себя из нашей конторы на министерскую должность. Стала главой мигрантско-интеграционных контор по всей Фландрии. Страшная женщина. Тело цилиндрическое, руки и ноги короткие, по-тараканьи подвижные, лицо мужицкое, круглое, величиной со зрелую тыкву. Вынули из тыквы содержимое, проделали дырки для глаз, рта и носа — но не для Хэллоуина, а для всеобщего устрашения и управления агентством интеграции мигрантов.

03/10/2014

Не спрашивай разрешения, просто спрашивай о чём угодно. Мне так легче рассказывать. Пишу по вдохновению, без усилий, как, впрочем, и должно быть. Делаю это украдкой. Краду рабочее время, что приносит мне тайное внутреннее удовлетворение. Начальники мои тоже довольны, довольны мной, как были довольны Кафкой. Русские буковки выстраиваются в ряды, прочитываю их пару раз, исправляю описки и посылаю тебе. Письмо улетает с моего айфона с изысканным звуком (птичьего крыла, рассекающего воздух). Чувствую себя в это момент хорошо. Момент взлёта, затем свободного парения. После мягкой посадки сразу начинаю думать о новом полёте.

Каждый раз, когда я вижу Хильду на общем собрании, тешу себя неоднократно проигранной сценой. Тыквоголовая высшая правительница небрежно полусидит на столе с микрофоном в руке. Сотня работников рассажена на пластмассовых стульчиках в зале с навесным потолком. Внимательные затылки по-бараньи повёрнуты в одну сторону. Я встаю с крайнего стульчика, выхожу перед толпой и галантно, но решительно прошу микрофон у Хильды. Твёрдый, раскатистый от волнения голосом говорю, что уезжаю обратно домой. Своё выходное пособие прошу перечислить детям в Сомали. И под тихий ропот добавляю пару любимых мной неpolitкорректных фраз о заре Востока и закате Запада.

Снять мой геройский поступок на айфон я попрошу нашу секретаршу Кристин. Надеюсь, она мне в этом не откажет. Кристин — самая красивая девушка в нашей конторе. Завораживающие глаза и изгиб внизу спины. Маленькая колдунья, знающая себе цену. Её ещё Ящер для себя отобрал. Как-то раз в зимние сумерки мы шли вместе с работы. Она остановилась, взяла меня за руку

и сказала, что тает под моим взглядом и дрожит при звуке моего голоса, что ради меня готова на всё.

04/10/2014

Почему бы мне не остаться жить в Бельгии, а к вам во Владимир приезжать только в летний отпуск? Жить, как перелётные лебеди, арабы и турки. Такие упорные и смиренные мысли посещали и меня. Первые три года. Потом понял, что я не миграционная птица и не люблю летать стаей.

Ещё ты спрашиваешь, не хочу ли я жениться на Кристин.

Гранд-отель, Сорренто, Италия. Молодой швейцар, похож на румына, выхватывает розовый чемодан из рук Кристин. Моя подружка восторженно вздыхает. Спешу засунуть монету-империял в протянутую руку. Чтобы избавиться от плотоядных улыбок этого венгра.

Слишком много целовались на пляже и в море. Как подростки, солёными языками. Весёлое девичье обожание, брала меня за руку, вела туда, куда я охотно бы и сам шёл. И этот мучительно красивый жест: собирает тонкие прямые волосы в хвост и щёлкает заколкой. Яркие жёлтые шорты, как у гандболисток, в обтяжку. Монотонное возбуждение, похожее на лёгкую лихорадку. Горячий язык солнца прилипал к её бело-кремовым плечам и бёдрам. Её кожа пахла жареной картошкой.

— Пойдём перетолкнёмся, — шептала мне в горячее ухо, и мы толкались на широкой кровати, часами отскребали тела от прилипшей смолы.

— Знаешь, я один раз с негром... о-май, мамочки, какой ты чувствительный, — сказала и хлопнула меня ладонью по животу.

05/10/2014

Еду на службу на трамвае. По вторникам и четвергам выхожу из дома совсем рано, чтобы успеть в бассейн. Уличный фонарь освещает полосу зелёной травы на трамвайной остановке. Трамвай полупустой. Сиденье возле окна вздыхает, поскрипывает прохладной кожей. В бассейне только пара пенсионеров. Вода голубая, едва колыхнется от световых бликов. Лилю Чуйко не забыл. Осуждён пожизненно искать глазами подобный тип женщины. Кристин на неё похожа, но длинный нос её сильно портит. За обедом нос у неё опускается в чашку с порошковым супом. В детской руке на отлёте — булка, намазанная шоколадной пастой. Кристин книг никаких, кроме комиксов, никогда не читала. А Лиля Чуйко прочитала всех русских классиков. Теперь замужем за морским офицером. Живёт в Санкт-Петербурге. У неё родился ребёнок. Я был занят её более доступной сокурсницей и безнадёжно опоздал.

06/10/2014

Когда подчинённый — аллохтон (мигрант), а начальник — автохтон, то поневоле становишься ясновидящим. Потом, когда начальники уходят, исчезают из поля зрения, забыть их всё равно невозможно.

Лоренцо, молодой бельгийский священник со степенью магистра из Кембриджа, попал к нам случайно и пробыл недолго. Пришёл на работу к нам в потёртых джинсах и рубашке в клетку, коротко стриженный и немного потерянный. Его только что лишили сана священника за открытый гомосексуализм. Не скажу, что я ненавидел его так же люто, как других руководителей, скорее — от всей души желал ему поражения. Как нелюбимой футбольной команде.

Говорил Лоренцо красиво, с аристократическим акцентом, знанием дела и обаянием. На любые темы, особенно много — о смерти и болезнях. Даже расстриженный из католицизма, продолжал вести службу на свадьбах и похоронах. В кругу знакомых. Вошёл в обширную, раскинутую по городам и сёлам сеть гомосексуалистов, хвастался своими богатыми дружками. Потом ушёл на престижную должность директора школы для взрослых, женился на мужчине, купил виллу и «Порше 911». Пригласил зачем-то на свадьбу всех своих бывших коллег, даже самых ничтожных, включая меня. Отказаться было невозможно, отказ был равносителен профессиональному самоубийству.

На лужайке перед виллой хиппующие франты пританцовывали, хихикали и давились шампанским. Лоренцо подошёл, пошатываясь от бургонского, к нам. Пожал мне руку, посмотрел в глаза и вдруг сказал:

— Молодой человек (сам был ненамного старше меня), не следует думать, что в жизни всё так же просто, как на порносайтах.

Мои коллеги перевели разговор на другую тему. Какой восхитительный успех, какой проделанный путь! От широкозادого священнослужителя до крупного директора. А по мне, так лучше бы на оборот — назад, в прошлое.

08/10/2014

Если бы ты посетила наш небольшой фламандский город, то могла бы созерцать любопытную процессию. Главная торговая площадь. Будничное дождливое утро. Впереди группы вяло бредущих новоприбывших (похожих на пленных) вышагивает автохтонка. Ростом с пигмея, то есть ещё на голову ниже, чем низкорослые Ящер и Хильда. В оранжевых кедах, с рюкзаком за спиной. На серо-хмуром лице верхняя губа по-старчески сомкнута на нижней.

Это одна из старожилых нашего учреждения — Дэльфин. Бездетная запойная уродина. Разрабатывает проект культурной интеграции. «Для выпавших из лодки мигрантов» — эвфемизм для

нетрудоустраиваемых, тёмных и убогих. Годами сидит за офисным столом, выдавливая из себя прозрачный яд. В пузырёк, спрятанный в грязном рюкзаке... Обогащает, сгущает ведьмовское зелье — яд чистого абсурда. И травит себя им. У неё есть сожитель. На столе стоит его фотография. Спортивный мужчина с открытым лицом без видимых изъянов. Ездят вместе по выходным на велосипедах, пропуская по стаканчику в пивнушках на пути.

Дэльфин читает беллетристику, курит и часто напивается до чёртиков. Это идёт не на пользу её лицу, всё больше походящему на печёное яблоко. Иногда от неё можно услышать что-то остроумное. Как на той служебной вечеринке. Непьющие мусульмане развозили пьющих автохтонов по домам. Пьющих рвало прямо в автомобилях. Дэльфин всё ещё стояла на ногах рядом с бочкой бесплатного пива и двумя мертвецки пьяными кадровыми работниками. Её мутный взгляд остановился на мне: ух, трезвый, иностранная скотина. Сама бледная. Выдавила из себя наконец ядовитое жало.

09/10/2014

Ящер уволил много старожиллов. Дэльфин ждала своей очереди. Вступила в профсоюз и запаслась справками от психиатра. Между тем Ящер расширил нижний этаж. Снёс перегородки между столами. Украсил конторское заведение гирляндами молодых птишек с канареечными дипломами. Дочек бывших кухарок и посудомоек. Посадил их друг против дружки. Так они и сидели, заложив ножку на ножку. Томно смотрели в компьютерные экраны. Получали за это приличную зарплату. Ящер наблюдал за ними сверху, из своего стеклянно-зеркального кабинета. Потом в один день исчез, словно в зазеркалье канул.

Во времена процветания, в период правления Ящера, к нам в заведение попал Нильс. Молодой мужчина, не гомосексуалист. Молодец с дипломом учителя физкультуры. На должность завхоза. Халявная такая должность. Для вызова аварийной службы канализации. Развоза на «мерседесе» Ящера с птишками по ресторанам. Там они заседали с двенадцати пополудни до позднего вечера.

Холёный тридцатилетний Нильс со мной не здоровался. Пройдёт, бывало, мимо моего стола. Прямая спина гимнаста, брючки в обтяжку, пуловерчик под цвет, дорогие штиблеты. Белые кудри на крепкой голове, румяные щёки ямщика. Побалагурит с африканской любовницей. Я встану из-за стола, пройду сзади, задену слегка его сзади. Пусть знает наших. Будет ему уроком. Нильс растерянно обернётся. Улыбнётся и поздоровается.

Мне десять лет. Сцена происходит в раздевалке спортивного зала. Одноклассник, высокий широкоплечий спортсмен, толкает другого, щуплого заморыша, на голову ниже. Нет, драка невозможна. Вдруг заморыш подпрыгивает и с размаху влетает

кулачком колоссу в нос. Тот запрокидывает голову. Заливается кровью и слезами, идёт жаловаться Владимиру Владимировичу.

10/10/2014

Вначале было мягкое местное правление Катлин, подпитываемое весёлым ручейком субсидий. Обманчивое ощущение защищённости, пошлые бургерские иллюзии. Завтраки для мусульманок, уроки кройки и шитья, автобусные экскурсии, языковая азбука и правила вежливости различных культур. Эскимосы здороваются носами, а валлийские мужчины — щеками. Мои коллеги радовались своим игривым будням, как первоклашки.

Катлин красила губы. Сидела в кабинете на втором этаже с лицом миловидной и доверчивой девочки. Кроме меня, приняла на работу ещё четырёх иностранцев: монголку, арабку, пакистанку и нигерийца. Как будто выкладывала цветную мозаику. Краснокожих индейцев в нашем городе тогда ещё не было.

Нигериец продержался после ухода Катлин совсем недолго. Звали его Сумо де Мартелаар. Фамилия бельгийская, имя японское. Сам же был африканцем, попавшим в Бельгию малолетним, без родителей. Воспитан был бездетными адвокатами. Гордый получился нигериец, непокорный и огромного роста. Имел связи в высших кругах. На банкетах министров по плечу хлопал и гоготал во всю глотку. На собраниях брал слово первым, по-адвокатски долго закругил фразы. Перебивал тех, кто осмеливался его перебить.

Помню последний его день в нашей конторе. Ящера только что забросили к нам. Он обустроил свой кабинет, выслушивал наши рассказы о себе, тихо чему-то улыбался. Процедуру новую придумал. Каждый из нас должен был поклониться «мерседесу» Нильса и подписать бумагу о лояльности конторе. «Мерседес» Нильса стоял припаркованным у центрального входа. Нигерийский великан подошёл к «мерседесу». Стукнул кулаком по капоту. Побагровел бритой наголо головой. Поискал выпученными от бешенства глазами Нильса. Швырнул скомканную бумагу о лояльности в позеленевшее лицо ямщика.

На следующий день Ящер прислал Нильса с увольнительной для Сумо. С подкреплением из трёх координаторов среднего звена и двух птишек. Сумо ожидал такой развязки, спокойно, вызывая долго собирал вещи из своего кабинета. По-братски попрощался с каждым из нас. Мне он сказал:

— Нау-виски (Новицкий), что ты тут делаешь? Тебе бы дипломатом работать.

12/10/2014

Среди моих ночных кошмаров есть два неизменно повторяющихся. Меня приходят забирать в армию.

Злой, нервный прапорщик и добрый офицер (чем-то похожий на нашего отца). Не дослужил, говорят, положенный срок. Должен вернуться в гарнизон. В другом кошмаре стою, испуганный и потерянный, на большом вокзале, надо бежать, чтобы успеть на поезд дальнего следования, а ноги ватные. Просыпаюсь после этих кошмаров не среди ночи, а ближе к утру. Свежим и бодрым. Иду в бассейн или на утреннюю пробежку.

Другое дело — кошмары среди белого дня. Ящер исчез навсегда. Собранием рулит Косой Вилли. Козлиную бородку отпустил, волосы подстриг полубоксом, джинсы и мокасины прикупил из дорогого магазина. Вилли все боятся. Ящера и Хильду не успели забыть. Когда Вилли говорит перед большим собранием, кажется, что его глаза косят меньше. Вопросы из публики он выслушивает с открытым ртом. А ответа долго ждать не приходится. У Косого на любые вопросы есть в запасе два ответа: «в этом нет смысла» и «это как раз по делу». Чистый оборотень: то добрый, как эскимос, гнилой рыбы вдоволь пообещает, то отпрыгнет, ногу на стул поставит, косой глаз гарпуном навестрит, кризисом припугнёт.

За закрытыми окнами серый день. Из стены прилегающего торгового центра выползает белый дым газового отопления. Слышен однотонный шум вентиляции, как в аэропорту или в Аушвице. Вилли с автоматом, в пилотке набок, в форме СС. Приказывает мне и монголке закопать живьём отлынивающих от работы арабку и пакистанку. Монголка принимается за дело. Я отказываюсь. Вилли толкает меня прикладом в яму к пакистанке и арабке. Монголка уже почти засыпала нас землёй. Вилли даёт ей приказ остановиться и открыть нас. Мы ещё дышим. Когда мы выползаем из ямы, Вилли толкает туда монголку и приказывает нам взять лопаты в руки.

Собрание между делом закончено. Пустой и разбитый, еду домой. В такие вечера я обязательно звоню тебе, потом долго говорю с родителями. Вы все в один голос советуете мне одно и то же. Пока платят такую зарплату и живу я в культурной европейской стране, не стоит ничего менять в своей жизни.

13/10/2014

Монголку зовут Лули. На самом деле это китаянка из Малайзии. Немолодая, маленькая, улыбчивая. Не любят её у нас и поэтому монголкой заглазно называют. За суетливую деловитость, мышинное мышление и назойливость. За то, что замужем за богатым фабрикантом, и за то, что на работу ездит на «ягуаре». Несмотря на фирменную одежду, тонкий макияж и дорогие очки, выглядит Лули невзрачно, похожа на паучка. Как ей удалось охотулировать крупного фламандского жука-предпринимателя? Никто этого не понимает, поэтому её даже побаиваются. Богатый жук нас в рестораны

водит, на экскурсии возит в Лондон. За свой счёт. Всю команду интеграции нашего города плюс начальников из провинции. У начальников слюни, как у сумасшедших, текут от такого доброго жука. Лули полностью его себе подчинила. Двое детей у них родилось. Непонятно каким способом. Секс с Лули представляется мне невозможным.

Разведённый и депрессивный фламандский жук пробирался сквозь камбоджийские джунгли. Лули висела на шёлковой паутинке и терпеливо его караулила. Прыгнула четырьмя лапками сверху на его спину и яд в голову впрыснула. Хоботком два яйца отложила.

Зарплата нашей конторы китайской миллионерше не нужна. Ей на вилле сидеть скучно. А у нас в конторе как-никак люди, клиенты. Да и компьютерная регистрация сама по себе ей удовольствие доставляет. Видимое и слышимое удовольствие. Лули язычком прищёлкивает и губки смачивает. Очень любит новые компьютерные программы изучать, всем потом помогает. Я эти программы презираю, логика в них примитивная, как у насекомых. Чем меньше думаешь, тем быстрее осваиваешь. Потыкаешься усиком, щёлкнешь пальцем и пользёшь себе дальше. Лули я не боюсь, подхожу к ней близко, китайский язык даже начал с ней учить. Чтобы времени пустого меньше было на кофейных паузах. Потом бросил. Принялся Льва Толстого по-русски перечитывать. Прямо среди рабочего дня, с экрана компьютера. Странное пронзительное удовольствие. Встаю со стула и обхожу кабинеты коллег. Им нравится моё сияющее смыслом лицо.

14/10/2014

В кабинете пакистанки Файзы я задерживаюсь дольше, чем у других сопровождающих. Ждущие в приёмной опускают плечи и прилипают туловищем к пластмассовым стульям. Файза родилась в Бельгии пакистанкой по отцу. О своей матери, бельгийке, она никогда ничего не рассказывает. От отца, индусского мусульманина, бывшего владельца обувной фабрики в Южной Африке, у неё коричневый цвет кожи и смоляные волосы. У Файзы узкие бедра бегуньи на длинные дистанции. Тонкие черты лица. Передвигается она по нашей пластмассово-картонной конторе с лёгкостью тени. Тихо задумчивая, похожа на индианку. Пакистанская Покахонтас.

Из-за цвета кожи и волос она похожа на мигрантку. В ритуальном отношении к регистрации Файза — типичная молодая бельгийка с дипломом психолога. Клиентов держит на расстоянии. Как-то призналась мне, что цепенеет от страха на стуле, когда к ней в кабинет входят бородатые талибы и чернотубые чеченцы.

Файза внимательно смотрит на меня. Задаёт вопросы о моей прошлой жизни. Рассказывает

мне о молодом бельгийском инженерере, с которым она живёт вместе. Любовь к инженеру обволакивает её волокнистым коконом, скрывает и защищает от безумного мира интеграции. Благодаря мимикрии — коричневой коже и бельгийскому происхождению — она могла бы далеко пойти по карьерной лестнице. Ящер заприметил её и назначил одной из своих помощниц. Правда, Покахонтас оказалась ему не по зубам. Карьера не интересовала её. Её интересовал только инженер, бег и здоровье её отца. Она вернулась в свой кабинет сопроводительницы.

Однажды зимним вечером я с Файзой стоял на стуженом ветру. Собрание в другом городе кончилось поздно. Поезда перестали ходить. Инженер должен был приехать за Файзой и заодно подвезти меня домой. Мы окончательно замерзли. Я искал глазами такси. Файза хлопала себя рукавицами по плечам. Наконец перед нами резко затормозила последняя модель «ауди». Файза засветилась улыбкой и впрыгнула на переднее сиденье. Инженер всю дорогу проговорил по телефону, едва процедив приветствие мне и ни разу не посмотрев на Файзу. Через год они расстались. Покахонтас несколько месяцев молчала и почти не выходила из своего кабинета. Доктора до сих пор беспокоены её здоровьем. Месяцами она находится на больничном. Её кабинет пустует. Потом всё же выходит на работу. Целуется с женщинами, подставляет щёку и мне. Я снова захожу в её кабинет, но не так часто, как во времена инженера. Кажется, мы уже обо всём переговорили.

15/10/2014

Бедная Файза. Наполовину ненастоящая мигрантка, наполовину ненастоящая бельгийка. Удручённая любовным горем сопроводительница новоприбывших. Новоприбывшие делятся на беженцев и создателей семей (бельгийские подданные в паре с мигрантами). Если к беженцам можно как-то привыкнуть, поделить их на категории, то что делать со смешанными парами? Этими непредсказуемыми комбинациями, этими фантастичными фигуристами из парного фигурного катания? Экзотические пары появляются на льду. Я наблюдаю за ними печальными глазами Файзы.

Филиппинка, похожая на десятилетнюю девочку, едва достающая до локтей долговязого фламандца-сантехника. Обоим по тридцать пять лет.

Досрочный пенсионер, бывший работник муниципалитета, в парике брюнета со своей тайландской подружкой. Тридцать пять лет возрастной разницы.

Местная глуповатая дамочка со скалящим зубы бритоголовым арабом.

Волоокий рыжий бухгалтер и его перуанский друг с толстыми коричневыми губами.

Шестидесятилетняя блондинка с обвислыми напудренными щеками и молодым сенегальцем в цветных бигудях.

Учительница из Алжира — кривой рот, измученные колючие глаза. И её супруг — толстый лупоглазый водитель грузовика с волосатыми лапами.

О запахе изо рта у этого господина я распространяться не буду. Это клиенты для Файзы. Вон там, дальше по коридору, дверь в её кабинет.

17/10/2014

Хоббиты. Настоящие хоббиты. Слышал недавно о коренных жителях, фламандцах. От пожилой армянки, собирательницы социальных пособий, матери большого семейства дармоедов. Звучит одновременно и с любовью, и крайне пренебрежительно. Так говорят о близких родственниках. То, что автохтоны не любят новоприбывших, — это оправдано историей, но чтобы аллохтоны не любили автохтонов — это и непонятно, и просто неслышанно. Что я только не слышал о фламандцах от различных чужеземцев! Хитрые стяжатели, хамы импульсивные, у каждого своё маленькое хобби, своё сексуальное извращение. Чем отвечают автохтоны? Великодушным терпением и пониманием.

Между мной и моей фламандской соседкой справа нет перегородки. Большой кабинет на двоих. Я упоминал её уже пару раз в своих письмах. Это африканская любовница. Зовут её Фамке. Дамочка-самочка, бабочка-павлиноглазка, автохтонка, рядом с которой я провожу свою дневную жизнь. Ночью она мне один раз приснилась. Мучительно грустный, абсолютно асексуальный сон получилась. Сидит у меня на коленях, тихо склонив голову. Покачивая её тельце, глажу ладонью поверх прозрачной блузки её хрупкую спину. Средний её сегмент, ниже лифчика и выше короткой юбки. Так утешают больных детей и усыхающих престарелых. Что заставляет Фамке приходить каждое утро в нашу контору? Она не нуждается в деньгах. От родителей — рьяных католиков — она унаследовала две кухонные фабрики. Ими управляет её муж — мордастый, животастый, белобрысый викинг из семьи рабочих-социалистов. У них есть три взрослые дочери. Рассажу тебе и о двух замечательных хобби Фамке. Первое хобби — коллекционирование очков, с прошлого века до наших дней. Другое хобби — краткосрочные связи с молодыми мужчинами. Она предпочитает выходцев из стран Африканского Рога (Эфиопии или Кении — чтоб хоть немного с примесью Обамы). Находит их среди своих клиентов. Шепчется с ними в кабинете часами. Два раза в год викинг везёт её в аэропорт на своём «мерседесе». Они чмокаются на прощание. Фамке улетает в Найроби. Возвращается похудевшая, с чёрными мешками под дикими глазами.

Однажды, в порыве странного откровения, в конце кофейной паузы, она мне сказала:

— Семья—это для меня святое.

Верит ли она в загробную жизнь? Говорит, что хочет прожить до девяноста лет. Я вижу перед собой немощную старуху. Ваяет из чёрного воска головы бывших любовников. И украшает их очками из своей коллекции.

20/10/2014

Работают ли у нас арабы? А почему бы им у нас не работать? В приёмной у нас работает арабка. В чёрном мусульманском платке. Ключ от дверей нашей конторы по традиции хранится у неё. Система интеграции изначально возникла для регистрации прежде всего арабов. Остальные мигранты худо-бедно сами по себе внедряются в систему. Превращаются в полезную микрофлору. Другое дело—арабы. Несговорчивы, переменчивы, нетерпеливы, горды и агрессивны по пустякам. Система регистрации прожорлива, но не всеядна. Арабов система не переваривает. Пронюхав про это, арабы прибывают ещё в больших количествах. И как ни в чём не бывало становятся в очередь на регистрацию. Система даёт сбои, делает глупые ошибки. Эксперты предлагают регистрировать арабов дважды.

Местные жители арабов боятся. В нашей конторе к ним относятся с осторожной почтительностью. Мой кабинет и кабинет моей арабской коллеги находится на одном этаже. Её зовут Рашида. Это низкорослая светская арабка с кудрявыми чёрными волосами. Точнее, не арабка, а берберка. Похожа на гречанку.

У Рашиды продолговатые глаза, то вспыхивающие, то потухающие тусклым блеском. Две глубокие морщины вокруг рта и верблюжьих зубы. У неё взрослый сын от распавшегося брака с местным учителем физкультуры. Отец его зовёт—Ален, мать—Али. У сына мания чистоты. Протирает руки спиртовым раствором и питается смесью моркови с финиками. Он тоже учитель физкультуры. Рашида ненавидит просроченные продукты, компьютерную регистрацию, лицемерие начальства и раболепие коллег. Меня Рашида называет своим северным сыном. Призывает на помощь при компьютерной регистрации. Гладит меня, сидящего за её столом, распяленной ладонью по голове. Рашида считает, что новоприбывших надо встречать за столом с кускусом и что регистрацию в один день отменяют. Благодаря арабам. Что в этом их миссия. Считает меня единственным в конторе, кто не презирает арабов.

У нас ходят легенды, что Рашида восстала и в одиночку победила Ящера. Думаю, что она скоро сцепится в смертельной схватке с Косым Вилли. Готов ли я на роль её оруженосца? Вчера после обеда она заваривала мятный чай. Коллеги неспешно

расползались по рабочим местам. Одними глазами заставляла меня не вставать со стула. Достала из пластикового мешка металлическую коробку с халвой. Воткнула в неё нож. Запричитала:

— Долго ли мы будем ходить под Косым Вилли?

— Не говори так громко,—сказал я.

— Ещё ни один араб не убоился фламандца,—ответила Рашида.—Что может быть хуже, чем страх перед Косым Вилли? Ты видел, как он мазал на хлеб этот сырой фарш? Сделанный из вонючей розовой крови и свиных отходов? Разве ты не хочешь сам стать начальником?

Я вздрогнул. Косой Вилли был на пути в туалет для джентльменов. Повернулся и сфокусировал левый глаз. Наклонил туловище вперёд и произнёс гормонально заискивающим голосом:

— Когда ты, Рашидочка, опять будешь угощать нас тёплым кускусом? И танцевать в хороводе, как на прошлой неделе? На закрытии курса интеграции на арабском языке?

26/10/2014

Моё любимое голландское слово—«лёопистэ». Мне необъяснимо нравится его звучание. И значение. Круговая дорожка для бегунов в лесу или парке. Ранним октябрьским утром ближайшая к дому дорожка для бегунов принадлежит мне одному. Нажимаю кнопку освещения. Низкие фонари загораются холмистой петлёй. Чуть наклоняю туловище вперёд. Отталкиваюсь «адидасами» от древесной коры, уложенной между бордюрами. Мягко опускаю ступни под собой. Не стучу копытами. Я ведь не конь Александра Македонского. Ощущаю голыми коленками и лбом паутинки, сплетённые за ночь лесными пауками. От нежного касания провожу ладонью по лбу.

Я не хочу становиться начальником. Не такой у меня характер. Наш отец был командиром танкового полка. Помнишь, ни одного солдата не мог отправить на гауптвахту. Рано ушёл на пенсию. Мама—заведующая детским садом. Они не понимали своего счастья. Просто были уважаемыми людьми в стране, где родились.

У здешних начальников есть, конечно, свои преимущества. Отдельный кабинет. Свобода передвижения по конторе. Могут выйти и зайти в неё в любую минуту. Могут стать на лестнице и прислушаться. Пташки чирикают внизу по телефону. Секретарша заискивающе улыбается, разрезает румяное яблоко на дольки, вырезает сердцевину и приносит на блюдечке.

Бывает, что и большие жуки поедаются муравьями. Лучше наберусь терпения, насобираю денег на увеличительную камеру и займусь снятием многосерийного документального фильма. Из жизни насекомых. Уверен, очень интересный фильм получится. И для детей, и для взрослых.

27/10/2014

Помнишь, сестрица Алёнушка говорила братцу Иванушке: не пей, Иванушка, водицы из лужицы — козлёночком станешь. Так и мне хочется тебе бесконечно повторять: не выходи замуж за фламандца — несчастлива будешь. Заберёт лиходей Стевен или Питер тебя в свою берлогу. Раз в неделю будешь выходить оттуда. Бродить с ним по проходам супермаркета, толкать перед собой тележку, бросать в неё замороженные жёлуди и чипсы. С тоской катить полную тележку назад к машине. Вдвоём будете разгружать содержимое тележки. Самодовольный супруг будет норовить лизнуть тебя языком в шею. Появится у тебя интерес к ясновидению и чёрной магии, книги по психологии читать начнёшь. Пару деток нарожаешь, любить будешь их безмерно и русскому языку учить. А они на своём шведском наречии отвечать будут.

Бормочу всё это из чистой любви к тебе. Нет у меня больше никаких аргументов, как нет давно уже ни гордости, ни эгоизма. Не надо тебе сюда приезжать и пытаться остаться. Знаю эту глупую народную песню: «Мне красивого не надо, я красивая сама». Не надо тебе фламандского мужа. Обойдусь без этой твоей ранней женской жертвенности. Я сам тут справлюсь и домой вернусь через пару лет.

28/10/2014

Еду в поезде на собрание мелких чешуйчатокрылых. Разворачиваю на коленях бесплатную газету. Новое правительство. Правое. Стоят уроды-красавцы, как на школьном фото. В первом ряду министр интеграции, городского строительства и ограждения. Пятидесятилетняя стройная блондинка. С красиво уложенными — золотым шлемом — волосами. В короткой, как у римского центуриона, юбке. С ужасно помятыми слоновыми коленями и с перекошенным, как у парализованного, ртом. Эту даму-министра мы будем видеть только по телевизору. Тыквоголовая будет у неё первая помощница — она назначена главой агентства интеграции. Косой Вилли станет нашим главным провинциальным директором. Под ним рассадутся по веточкам начальники и координаторы, доморощенные эксперты и командные лидеры. Пауки-теоретики. Ленивцы-кровопийцы. Паразиты летучие и ползучие.

Напротив меня в поезде сидит моя коллега Инке. Эксперт по заманиванию новопривывших на регистрацию. Щиплет булочку и кладёт кусочками себе в рот. Невыразительные бусинки зелёных глаз. Тонкие ножки и ручки. Балерина-Дюймовочка. Жалкая и упрямая. Легко прилипает и присасывается к жертве — сопроводителю моего подвида. Но не может удержаться, соскальзывает в повторение указаний свыше. Когда мы вдвоём

сходим с поезда, на перроне вдруг поднимается сильный ветер. Я вдруг понимаю, что гусеницы и бабочки, жуки и пауки одинаково беззащитны перед природными явлениями, что никакой я не режиссёр, а жалкое действующее лицо. Пишу тебе это письмо, ползу и прижимаюсь гусеницей к странице.

29/10/2014

Вгрызаюсь в цифры, базы данных и папки регистрации. Мне это удаётся на какое-то время. Стучит в дверь и входит эксперт Инке. Ложится худой грудью мне на спину. Водит пальчиком, рисует на моём компьютерном экране график. Волны прилива и отлива новопривывших. Слышу спасительный крик Рашиды, открепляюсь от Инке и плыву на помощь коллеге. Затем возвращаюсь в тихую гавань своего кабинета. Бесплотный голос Инке слабо плещется о тонкую стенку кабинета Файзы. Одиночество обычно успокаивает и утешает. Но в это раз меня вдруг начинает мутить, как при морской болезни. Встаю, поднимаюсь на палубу, вспоминаю Владимира Владимировича и начинаю отжиматься от пола.

Эта Дюймовочка так и липнет ко мне. Ей тридцать лет. Живёт со своим другом, пожарником. В Брюгге — старинном городе на каналах, называемом Северной Венецией. Детей нет и не предвидится. На рабочем столе стоит фотография: Инке и чёрная собака с открытой весёлой пастью. Собака в прошлом году околела. Инке полгода после этого не ходила на работу, пролежала в лечебнице. Вчера шёл с ней на собрание в Брюсселе по Авеню-де-Сталинград. Удивительно грязная иммигрантская улица. Исламистские мясные лавки. Заколоченные фанерой окна запустелого дворца. Кусок кариаиды прямо на моих глазах отлепился и медленно упал на тротуар. Рядом с Инке. Я отскочил в сторону, а она даже не вздрогнула. После собрания, уже на обратном пути, спросил, нравится ли ей город Брюссель. Ответила, что нравится. Его людское многоцветие и разноликость. В Брюгге одни только богатые туристы, а в Брюсселе много других. Многодетных и бедных. Дословно передаю.

30/10/2014

Сырое утро. Тёмные кусты и деревья хранят капли вчерашнего дождя. Освещённую беговую дорожку окружает неподвижная тишина. Малейший звук заставляет со страхом оборачиваться. Не хочу превращаться в насекомое, затвердеть спиной в сухой панцирь. Бегаю каждое утро, чтобы слышать тихий звон тёплой крови. На третьем беговом круге страх исчезает.

Речка в лесу, за забором военного городка. Жаркий день. По зеркальной водяной поверхности прыгают водяные пауки. В глубине водятся раки и пиявки. Я стою в трусах на глинистом

берегу. Мне лет девять. Мальчишки плещутся в холодной воде. Рядом со мной стоишь ты, моя маленькая сестрёнка. Яркие лучи солнца отражаются от тёмно-зелёной воды. Вдруг моё детское сознание пронзает мысль, что ты можешь утонуть. Отвожу тебя подальше в древесную тень. Там мы стоим вдвоём в высокой траве как заворожённые. Несколько часов, пока мои друзья-мальчишки не накупаются вдоволь и не захотят вернуться домой.

Пришли как-то раз в мой кабинет муж и жена. Русские. Оба научные работники. Мария Соколова и Олег Орлов. Заговорил я с ними на языке Пушкина. Дёрнулись мы было друг другу навстречу, как интеллигентные собаки при встрече на улице. Поводок с моей стороны натянулся. А с ними сынишка. С таким же затылком, как у русских мальчишек. Тех, что в речке купались. Сердце у меня застучало. Встал из-за стола. Погладил мальчика по голове на прощание. И почувствовал, какая чёрствая у меня ладонь стала. Слово рука отсыхает.

03/11/2014

Я привык к работе в конторе. Иногда после регистрации на меня находит умиротворение. Похожее на благодушный дурман. Чувствую себя мухой, плавающей в сиропе. Муха предполагает, что скоро выползет вверх. Оботрёт крылышки и ножки и полетит зигзагами дальше. Кто бы мог подумать? Лучший ученик владимирской школы и университета стал слепой мухой.

Хаотичный полёт мысли выводит меня из гнетущего благодушия в гнетущую тоску. Там—в тоске—по крайней мере, привычно. Смотрю на профсоюзный календарь на стене. Конторская стена представляется мне больнично-тюремной. Что ждёт меня на моём гуманитарном поприще—форпосте миграционного помешательства?

Чёрно-коричневое неподвижное лицо в мусульманском платке. Беженка из Гвинеи. Говорит только на языке фула. Ни слова по-французски. Как она добралась до Бельгии с шестью малолетними детьми? Кто оплатил дорогу поводырю? Рассчитываться за доставку ей придётся из прожиточного пособия и детских денег. Не больна эболой. Это всё только мои мысли. Их я не поизношу вслух. Мне надо вести беседу согласно предписаниям. Рядом со мной, по ту же сторону стола, сидит коуч Каролин.

— Яркий поучительный казус,—шепчет мне в ухо.

По другую сторону стола, рядом с гвинейской беженкой, сидит ассистентка из соцслужбы. Короткие соломенные волосы, толстое лицо, выжидательные коровьи глаза. На шее намотана аксессуарная шаль. Даю объяснения гвинейке через телевизионного переводчика. Выписываю направление в школу для безграмотных. Шесть лет обучения начальной грамоте. Затем шесть

лет прохождения базисного уровня нидерландского. Месяц спустя соцассистентка звонит мне. Хочет поделиться радостной новостью. Наша общая клиентка беременна. От кого, мысленно спрашиваю себя. Неужели от телевизионного переводчика Дьялло?

04/11/2014

Регистрация новоприбывших производится в программе «Матрица-Клетка». Эта программа создана по заказу правительства. Одной частной компьютерной фирмой. За очень кругленькую сумму. Концепцию и макет «Клетки» скрупулёзно и беззастенчиво содрали со знаменитого «Фейсбука». Меня почему-то особенно зацепило название. Почему, спрашивается, «Матрица-Клетка»? Предыдущая программа называлась «Матрица-Траектория». Тут сразу понятно почему. Ассоциация с безумным полётом мухи. А вот почему «Клетка»? Но ты уже, наверно, догадалась. Открыто намекают на птицу, чтобы о мухе и думать забыли. Заносишь в эту программу номер новоприбывшего, выбираешь из длинного списка подходящий эпитет и ставишь птичку в клетку. Потом следующий эпитет и так далее. Главное—не останавливаться. Программа сама ведёт тебя через дебри регистрации. Нескончаемый процесс, похожий на строительство Вавилонской башни. Клиент регистрируется годами и этажами языкового продвижения. В это же время в параллельной реальности монастыри и казармы перестраиваются в школы для взрослых. Для обучения нидерландскому языку, как второму. Сеть этих школ разрастается с буйством лесов Амазонии. Мигранты годами ездят по городам Фландрии на трамваях из одного класса в другой. В руках держат папки с логотипом нашей конторы. Это даёт им право на бесплатный проезд. Здания наших контор расположены в центре каждого города. На главных городских площадях с древних времён сохранились крепостные башни-часовни. В них-то и даются обзорные курсы ориентации. Для перелётных птиц пройти такой курс совсем не трудно и даже полезно. За чашкой кофе чужеземцы знакомятся с доцентом Мухаммедом и друг с другом, обмениваются информацией, осознают свои права, учатся по глянцевым картинкам сортировать мусор, запоминают места выплаты пособий. Для простоты и доходчивости курс даётся на персидском, аглицком, фракийском, сомалийском и древнеарабском языках. Но, независимо от родного наречия, все зарегистрированные поголовно должны пройти курс ориентации в течение года. Только тогда конторе выделяются субсидии на следующий год.

Об этом первая забота наших начальников, которые обзавелись помощниками. Ещё их называют экспертами. Есть у нас эксперт по учёту долгих досье и отправке писем. Эксперт первого

приветствия и заключительной беседы. Эксперт ясно-прозрачного общения и языкового опрощения. Эксперт по активизации слабых, ранимых и отстающих. Эксперт по презентации мультикультуры. Эксперт по обучению самообучению. Архивариус экспертной базы данных. Эксперт по коучингу. И, наконец, директор экспертного отдела нашей конторы (второй этаж башни, вход через левую дверь)—тихая, слабоголая дама, философ по образованию, с худой спиной и недоразвитым отростком вместо правой руки. Недавно вышла замуж за исправленного лёгким штрафом торговца наркотиками.

06/11/2014

Каролин—эксперт по коучингу и сама коуч. Имеет грубое толстое лицо, всегда некстати растягивающееся в улыбку. Вкрадчивую и постылую. Готова за посушку сдать с потрохами любого сопровождаителя Косому Вилли. Вбила себе в голову, что является тонким психологом и природным лидером, что может управлять скользкой начинкой насекомых. Научилась ползать по новой регистрационной программе «Клетка» в Брюсселе. После индивидуальных сессий с известным компьютерным гуру. Фото бельгийского бородача в тёмных очках сделала заставкой своего гигантского ноутбука. Решила, что пришёл её звёздный час. Распечатала полсотни страниц пошаговых инструкций. Свистнула, созвала сопровождаителей со всей провинции в одну башню. Села на стол посередине душевной аудитории, выставила по-дурному напоказ чёрные сапоги, толстые ляжки в бордовых колготках и запищала мышинным голоском.

За окнами стоял тихий осенний день. С деревьев падали последние жёлтые листья. Сопроводители до изнеможения напозлались по компьютерной «Клетке». Приближался полдень. Потеряв нить инструкций, сидели мы, прилипнув глазами к экранам, а подхвостьем к юродивым стульчикам. Мучимые страхом перед новой компьютерной «Клеткой». В обморочной духоте. Одна только Лули поднимала голову в такт пisku Каролин, переворачивала листочки и живо тарасилась на экран. Вдруг писк Каролин перешёл в громкий скрип. Слышу и не верю своим ушам, едва разбираю её странную речь:

— Прошли первые три часа презентации «Клетки». Запрыгнете на стол те, кто рад новоразработанной регистрационной программе.

Пара дураков прыгнула. Остальные пошли на перерыв. Всё нормально. Я не один. Не только Рашида против. Но и целая дюжина других сопровождаителей из разных городов громко жужжали, выражая своё недовольство. Во второй половине дня после бесплатных сэндвичей глаза наши помутнели, на лицах изобразилась неизбежная мука. Первой не выдержала Рашида. Перебила Каролин

и начала присыпать её вопросами с подвохом. Что делать при многократной беременности малограмотной клиентки? А при тошноте со справкой от врача? А при грудном кормлении? Каролин терпеливо отвечала, раздувала ноздри и хмурила брови: регистрировать отсрочку, каждый раз на три месяца.

— А если двойня родится,—спросила одна недалёкая, но ехидная сопроводительница из Брюгге.

Каролин покраснела и зло посмотрела на ехидницу. Но пробудившиеся сопроводители уже почуствовали запах крови.

— Но ведь тогда клиент не пройдёт курс ориентации за год?—выкатила тяжёлую артиллерию Фамке.

— Срок в один год не является священным.

— Но это же предписано законом.

— Нет никакого закона, есть только я, вы, клеточная регистрация и правило отсрочки,—отрезала Каролин.

— Как нет никакого закона?—в негодовании вскрикнула Рашида.

На её крик в аудиторию вбежал Косой Вилли.

— Рашида права, и Каролин права. Всё дело в интерпретации.

— А закон—это просто древняя притча,—добавил я, нарушив молчание после слов Вилли.

Раздался сдержанный, но единодушный смех. Я смеялся вместе со всеми. Вилли смеялся громче всех.

— Ты победил,—сказала мне Фамке в поезде, пригладивая широкой крестьянской ладонью края короткой юбки.

— Нет, не я, а «Клетка»,—ответил я.

И опять все остались довольны моим ответом. Дружно засмеялись. Так громко, что другие пассажиры оглянулись на нас.

10/11/2014

Эксперты—все, как на подбор, гордые некрасивые автохтонские женщины от тридцати пяти лет и старше. Сопроводители намного моложе. Почти половина сопровождаителей—аллохтоны. Первого или второго поколения. Мы разобщены и разномастны. Эксперты кормятся нами. Нашими цифрами и фактами о клиентах. Эти крупные паразиты подпитываются нами, но им запрещено нас поедать сразу и целиком. Это ни в чьих интересах. Это понимал даже бесноватый Ящер, размноживший и насадивший экспертов по пустым углам центральной конторы. Но и самих экспертов Ящер не щадил. Откармливал их как на убой. Повышал им зарплаты. Выдавал им новые планшеты и смартфоны. Держал их в насекомом страхе разом потерять всё незаслуженно нажитое. Обещал взять их с собой на работу в Европейскую комиссию. Куда Ящеру была прямая дорога, если б он не ополумел на полпути от своих успехов.

Под Косым Вилли эксперты окончательно распустились. Потеряли всякий страх, сплотились, присвоили себе ещё больше привилегий. Например, получили возможность писать отчёты, чертить графики и строить бизнес-модели, не выходя из дома. В те дни, когда им не хотелось выходить из дома.

Каролин — прикреплённый ко мне эксперт. Источает нечистый запах, когда сидит рядом. Имеет двоих детей от бразильского мулата. Который бросил её сразу после рождения двойни. Шансов найти другого мужа или секс-партнёра у неё практически нет. Неясно, насколько глубоко она сама это осознёт. Но характер у неё испорчен не на шутку.

Во время индивидуальных бесед со мной Каролин сидит чуть позади меня. Мы оба смотрим на компьютерный экран. Она пригибается к моему уху, щекочет тишайшим шёпотом:

— «Клетку» ты освоил, не подкопаешься. Отрапорту о твоих достижениях директору.

Затем приставляет нож к спине:

— Мы знаем, что ты друг Рашиды. Она причиняет много неудобств Вилли и мне.

— Но ведь она самая интегрированная из всех арабов, — пробую возразить, поддаваясь логике удушающего кошмара.

— Она лезет не в свои дела. До сих пор не освоила «Клетку». Мы должны её уволить, но она — профсоюзный лидер, и сделать это можно только с твоей подписью. Ты готов её поставить?

Давит мне ножом под лопатку:

— Не думай так долго, а то я проткну тебе панцирь и выпущу твою оранжевую начинку.

Срывается на трубный хриплый крик:

— Отомщу тебе за моего мужа — могучего мулата Паоло. Я двойню от него родила, а твои дружеченцы зарезали его прямо на моих глазах в больничной палате. Со звериной жестокостью. Размажу тебя, как клопа, по стене. Ух, раздавлю сапогом ползучего таракана.

Каролин встаёт со стула и топает слоновыми ногами по полу.

Я просыпаюсь. Тихая ноябрьская ночь. Твёрдый уголок книги, которую я читал перед сном, упирается мне в спину.

11/11/2014

За третий триместр снова получил позитивную оценку. От Каролин, за подписью Косого Вилли. С живейшим пожатием руки и пожеланиями дальнейшей успешной регистрации. Сочетание каких качеств обеспечивает подобный успех? Скрамная исполнительность и ленивая изобретательность. Глубокое равнодушие и холодная вежливость. Замедленная реакция и осторожность при контакте с липкими поверхностями. Регистрация на автопилоте, не больше четверти часа за один

присест. Навык переключения с тупой серьёзности на пошловатую шутливость. И, наконец, следование золотому правилу: помни, самая неприглядная тварь может стать твоим начальником.

Не всем аллохтонам удаётся, как мне, пригреться в тёплых конторах. Яркий тому пример — Николина. Маленькая щуплая румынка. Жучок-светлячок. Появилась на пороге нашей конторы прошлой зимой. С бледным лицом, светящимся радостью первого трудоустройства и верой в западную цивилизацию. С высокой, как у Раскольникова, шляпой-цилиндром на голове. В тяжёлых сапогах на каблуках. В перспективе — ещё меньше ростом от всего этого. Николина в шестнадцать лет сбежала с румынских Карпат в Бельгию. Работала уборщицей. Десять лет вдыхала ядовитые пары бытовой химии. Потом, когда стало совсем невмоготу, пошла учиться в университет. С дипломом университета пришла к нам в контору. Коучи получили её в своё распоряжение. Месяц пичкали шальными методиками и блаженной терминологией. Проблема Николины была в том, что она воспринимала слова «трудоустройство», «зарплата», «регистрация» слишком буквально. Следовала пошаговым инструкциям, как врачёбным предписаниям. Записывала эпитеты клиентов, как стихи, в отдельную толстую тетрадь. Чтобы потом регистрировать их в «Клетке-Матрице». В конце пятой недели Николина уже не могла ни принимать клиентов, ни вести регистрацию. Коучи вывели её, рыдающую, из кабинета. Ей нельзя было уже ничем помочь. Через неделю после своего увольнения румынка позвонила мне. Сквозь слёзы и придыхания попросила меня доесть банку йогурта. Которую она забыла в холодильнике в конторе. Поблагодарила меня. Сказала, что никого больше из конторы не хочет ни видеть, ни слышать, что не может больше работать уборщицей, что я единственный, кто похож на человека, из всех насекомых конторы. Это я-то, который тут же, на кофейной паузе, рассказал сопровождающим о Николинином йогурте, выбросил его в мусорный мешок и тихо, в сторонке, наблюдал за искривлёнными смехом женскими туловищами.

12/11/2014

Приснился сегодня Путин. Ехал с ним и его дочкой в одном купе. Чай пили вместе. Разговаривали. Шапку он мне подарил. Зимнюю, из рыжевато-го меха, с ушами наверх и кожаным козырьком. Прямо с его головы. Говорит мне: у нас зима уже наступила, отморозишь себе уши после Бельгии. Я вертел шапку в руках. На голову не надел. Не поверят ведь, говорю, что лично ваша. Он засмеялся, шутка моя понравилась. Дочка у него красивая, хоть и старше меня. Я сразу в неё влюбился. Всегда в тех, что старше меня, влюбляюсь. Это от инфантильности. Подумал: как это я один

за границей уже пять лет живу? Смех у Владимира Владимировича хороший, себя мнущий и давящий. Не громко лающий, как у Обамы.

Возвращаешься, говорит, на родину. Это правильно. Дочка моя тоже возвращается. Немца своего, датчанина, наконец бросила. Друг её, петух голландский, не хотел отпускать по-хорошему. Пришлось с ним по-мужски поговорить. Возникла пауза. Дочка улыбается мне, садится отцу на колени. Хороший он, Путин, простой, понятный, на отца нашего похож. И дочка у него — настоящая русская красавица. Приятно было с ними в одном купе ехать. Ночью с ними хорошо спалось. Сны такие яркие, из детства. Спит Путин на боку, свернувшись калачиком. Нижнюю полку я ему с дочкой уступил.

Передай отцу и маме, что я скоро приеду. Предлагаю, как вы меня, мои родные, ждёте. Слезы у самого на глазах выступают. Пишу тебе почти каждый день эти свои электронные письма. Всё о себе, да о себе, да о своей зачатой жизни. И забываю сказать, как я тебя и маму с папой люблю. Целую вас всех крепко.

17/11/2014

Каролин и рядом с ней ещё один эксперт, поменьше росточком, Герда. После утренней летучки эксперты спустились на наш этаж. Разбились по парам. Начальники отпустили их передохнуть. Как же они там у себя наверху, наверно, пыжаты, сучат верхними конечностями, нервничают, изводят себя по пустякам! А сколько, должно быть, там напряжённого жужжания, пикирования, позиционирования из-за последних брюссельских указов!

Герда — пожилая лесбиянка, стрижка «седой ёжик», руки в карманах пиджака — едва поспевает за бокастым крупом раскрасневшейся Каролин. У Герды шаркающая разбитная походка. Постреливает опустошёнными глазами в сторону Фамке и Файзы. Я сижу рядом. Но меня Герда как будто не замечает, смотрит мимо, как сквозь воздух. Заговаривает с Фамке. Мне только в самом конце беседы выдавливает из сжатых челюстей краткое приветствие. Чувствую себя при этом тонким прозрачным комариком. Герда бледна и немощна. Задумчива и часто прикладывает руку ко лбу. Её лишили в прошлом должности в министерстве. За сексуальные домогательства и активное растление подчинённых. Файза загуглила эту историю десятилетней давности. С нами по случаю поделилась. Вроде как всё доказано было, но судья решил Герду в тюрьму не сажать. Я, наивный аллохтон, выразил своё возмущение. Такое мягкое наказание за такие грязные дела? А как же слабые жертвы властной извращенки? Фамке ответила, что жертв, конечно, жалко, но суровые наказания ничего не исправляют, а приносят только ненужное ожесточение. Я посмотрел в конец длинного коридора.

Там беседовали друг с другом Каролин и Герда. Соблазн поспорить и поругаться с Фамке был очень велик.

18/11/2014

Как попадают новопривывшие в нашу контору? Им высылается заказное письмо. Мигранты-рекруты являются в нашу контору в назначенный день. Приводят своих жён и детей. При первой встрече проявляют наигранное доброхотство. Уклониться от интеграции пробуют только мигранты, трудоустроенные на стройках и мясобоинях. Эти не читают никаких повесток и не видят смысла в сопровождении. Их труд достаточно тяжёл, самодовлеущ и сам по себе избавляет от излишних забот. Так думают они. Но наши посыльные вводят их адреса себе в навигатор. В воскресный полдень, под бой колоколов близлежащего костёла, в дверь мигрантов-уклонистов настойчиво звонят. Их застают дома врасплох. Мигранты польщены вниманием, виновато улыбаются и с готовностью подписывают интеграционный контракт. Напоследок угощают посыльного снедью, которая, по инструкции, выкидывается в ближайший мусорный ящик.

Не всякая регистрация проходит так гладко. Вот фламандский мужчина, по виду — успешный предприниматель, заходит в приёмную. В одной руке держит украинскую даму в белом коротком платье. В другой — заказное письмо. В его звучном голосе слышны нотки раздражения. Он быстро теряет терпение и начинает трясти заказным письмом перед носом нашей секретарши — арабки в чёрном платке. Требуется аудиенции с начальником. Его направляют к Грет — эксперту по предварительной беседе. Это пожилая дама с узким лицом и неподвижным взглядом. В складках натянутой улыбки блестит густой слой крема. Грет никогда не выходит из себя. Слегка только жмурится от нервного тика. Ничто её глубоко не волнует. Она только тихо, как водоросль, покачивается на своём стуле. По совету психиатра ежедневно ведёт дневник — толстую тетрадь в твёрдой обложке. Позволила мне однажды заглянуть в неё и тут же захлопнула. Страницы аккуратно, до краёв, заполнены убористым почерком.

— Только факты, — поспешила объяснить. — События текущего дня без рассуждений, сравнений, прилагательных и причастий. Это помогает мне внести порядок в безумный мир.

Грет пятьдесят пять лет. За спиной у неё четыре десятилетия сексуального разврата, секс-клубов, долгие годы депрессии. Грет обо всём этом рассказывает каждому из нас. Многократно, в мельчайших отвратных и скучных деталях. Не скрывает, что была больна, что и сейчас не совсем здорова. Не пытается оправдать свою болезнь трудным детством в сиротском приюте.

Дуэль Грет с предпринимателем стала притчей во языцех нашей конторы. Украинка стояла рядом со своим новым мужем, но не могла ему ничем помочь. Разговор проходил на голландском языке, которого она не знала. Предприниматель сразу выпалил весь свой заряд. Кричал, что платит большие налоги, что его жена-блондинка ни за что не сядет за парту рядом с бородатыми арабами. Этого он не допустит, обратится к адвокату. Никто не смеет навязывать обязательные курсы его законной жене. Мешать её с другими мигрантами. Этими кочевниками с чёрными выпученными глазами, прогуливающимися по городу в платках и халатах, говорящих на неудобоваримых наречиях. В ответ Грет даже не привстала со стула. Произнесла нудным голосом с носовыми придыханиями:

— Понимаю ваше желание правосудия, никто так не жаждет его, как мы, большие грешники. Но правосудие не на вашей стороне, господин Дирк. Ваша расистская речь записана на диктофон, — тут Грет повертела смартфоном у себя над головой. — Мне остаётся только написать заявление на имя прокурора, и вас обложат огромным штрафом. Итак, считаю до трёх: даёте согласие на прохождение программы интеграции?

Предприниматель замаялся, прильнул котёнком к уху своей жены. Быстро зашептал ей что-то по-английски. Лицо украинки покраснело, глаза сделались круглыми, рот скривился презрительной улыбкой. Она потребовала по-английски как можно быстрее интеграционный контракт, подписала его и негодуя хлопнула дверью. Предприниматель растерянно поспешил за ней вслед.

21/11/2014

Я раб, низкий слуга абсурдного заведения, чужеродной конторы. Другие пытаются стать экспертами и начальниками. Я к этому не стремлюсь. Мне и ленивым рабом быть приятно. Кофе чайными чашками пить. По сторонам глазеть. О свободе мечтать. Письма тебе из заточения писать. Ты говоришь, что они выходят у меня интересными. Некоторые письма родителям вслух прочитываешь. Папа от души смеётся. Хлопает себя ладонями по коленям. А мама сидит на стуле неподвижно, озабоченная, ни разу не улыбнулась. Успокой её, пожалуйста.

Сегодня Рашида собрала всех коллег за обеденным столом. Угощает тёплым куриным кускусом. Она у нас не только самый безалаберный сопроводитель. Она — наш профсоюзный лидер. В джинсах, с распущенными смоляными кучеряшками, с повязанной на шею красной шалью — профсоюзным пионерским галстуком. Агитирует за участие во всеобщей забастовке. Никто не смеет отказаться. Тёплое месиво кускуса прилипает к пластиковым тарелкам. Поверх мокрой каши — ломоть редьки, полено моркови и ошмёток бройлерной курицы.

Рашида держит куриное крылышко двумя руками. Обладывает его верблюдскими зубами. Намерение у неё простое — повести нас колонной на демонстрацию. Сплотить нас, а потом, в подходящий момент, бросить в бой против Вилли. Одной косою фалангой, включая меня, своего северного сына (сыновей у неё, очевидно, в избытке). Недовольна тем, что я взял выходной в день забастовки. Что буду катиться на велосипеде в солнечный день вдоль канала. В то время как она с активистами — на бесплатном поезде в Брюссель. На всеобщую манифестацию. С ланчевым пакетом и денежным довольствием от профсоюза. Наводит на меня злые глаза и язвительно, ковыряя зубочисткой в зубах, заявляет:

— Кто ещё, кроме русского, додумался взять выходной в день забастовки?

Все затихли. Ведь Рашида — дрожащий паутинный нерв нашей конторы. Я гордо промолчал. В свой последний день в конторе подойду к этой коротконогой задастой мамочке. Наклонюсь и нашепчу ей на ухо: «Мой папа — чистокровный еврей».

25/11/2014

Стоит только встряхнуться, отжаться от пола в столовой, и порочный круг разрывается. Чувствуешь себя вновь человеком. Можно вновь пробавляться юмором. Заняться тем, что ещё минуту назад было в тягость. Например, задавать вопросы коллегам. Переспрашивать. Слушать, не перебивая, Каролин-коуча. Любезно терпеть нечистый запах. Но в конторе все усилия постепенно сводятся на нет. Вдруг понимаешь, что становишься насекомой массой. Это и есть расплата за мимирию. За жалкую роль регистратора пустотелых мигрантов. За мошенничество и фарс.

Дверь моего кабинета открывается после короткого стука. На пороге — Косой Вилли в новом свитере. И незнакомая женщина средних лет. С круглым лицом водолаза, тонким крючковатым носом и обтекаемыми глазами. Где-то уже видел это лицо. В калейдоскопе тошнотворных новостей на жидкокристаллическом экране. Лицо крупной политической деятельницы. Невзначай вынырнувшей в моём кабинете. По жалкой улыбке Косого Вилли можно догадаться, что его только что отчихвостили. И действительно, сразу после отбытия женщины-политика наш соловей-разбойник созвал собрание. На свист слетелись секретари, сопроводители и эксперты. Расселись по пластмассовым стульчикам. Вилли ходил между ними и размахивал руками. Причитал по поводу мероприятия, организованного без его ведома. Акции протеста против запрета обучения нелегалов нидерландскому языку. Во время акции наши клиенты ходили с транспарантом в руках: «Мы хотим учить нидерландский». Вокруг средневековой башни в центре города. Кричали

в рупор на берберском, курдском и африканских языках. Вавилонское столпотворение изображали. Симпатизанты усиливали какофонию ударами ложек по кастрюлям. Спектакль был заснят телевизионной группой. Косому Вилли было не до шуток. Почему без разрешения начальства и профсоюза? Откуда такая самостоятельность? Что тут началось! Настоящие тараканы бега. Грет взяла разгон первая:

— Сценарий акции протеста написала я, а Рашида — режиссёр-постановщик. Она набрала в группу своих клиентов.

— Ложь, — понеслась вдогонку, без тормозов, Рашида. — Участие моих клиентов в акции не означает, что я её организовала.

Грет продолжала выстраивать свою оправдательную версию. С дотошной методичностью, на которую способны только помешанные.

— После акции участникам были выданы сэндвичи, пиво и лимонад. Оплаченные профсоюзом. — Врёшь, — сорвалась на визгливый крик Рашида. — Смотри мне прямо в глаза, не отводи взгляд, наглая лгунья.

Косой Вилли вынужден был вмешаться:

— Сейчас же и тут же помиритесь. Как настоящие профессионалы. Пожмите друг другу руки, как боксёры в перчатках. Я заранее вас обоих прощаю. Ничего страшного ведь не произошло. Не переживайте так сильно из-за меня. Меня только немного пожурили.

— Не буду мириться с этой старой каргой, — раздался вдруг иступлённый крик Рашиды.

Я сидел в стороне. В неожиданно наступившей тишине. Свободно парил над насекомыми. Ощущал лёгкость во всех членах после утренней пробежки. Всматривался в своё школьное детство. В портреты Толстого и Достоевского над классной доской. В кружение пылинок в солнечном луче. Перевёл взгляд на мелькание чешуйчатокрылых и членистоногих коллег. Подумал, что сил у меня для решающей схватки поболее, чем у них.

28/11/2014

Сегодня все сопроводители, кроме меня, заняты презентацией. Водят по этажам башни нескончаемые группы взрослых и школьников. Оболванивают автохтонов по поводу тёмного процесса интеграции. Экскурсоводы млеют от собственного переливчатого голоса. Не мужское это дело. К тому же, согласно правилам обихода, Грет нельзя быть одной в приёмной. Её разжаловали вчера из экспертов, но оставили на работе. А в приёмной как раз место освободилось. Арабка в чёрном платке в очередной раз оказалась беременной.

Занимаю место за столом неподалёку от окна приёмной. Рядом с кадкой раскидистой пальмы с блестящими листьями. Вдыхаю прохладу высоких потолков, пряный запах начищенного паркета.

Грет опускает голову и погружается в заполнение дневника. Я пытаюсь вчитаться в «Войну и мир» на компьютерном экране. Но косое ноябрьское солнце меня слепит. Не могу прочесть ни одной страницы. Каждые пять минут раздаётся звонок в дверь. Реальность ломится в приёмную во всей своей первобытной силе. Заставляет зрителя вертеть головой, как в теннисном матче. Грет встаёт и приветствует входящих наполеоновским жестом — вытянутой вперёд рукой:

— Добрый день. Чем могу быть полезной?

Её прокуренный голос потрескивает, во взгляде прочитывается злое изумление. Да и как тут не поразиться эффекту реального присутствия? Это совсем другое, чем работа эксперта по разнообразию. Перед ней карнавальная процессия проходят: две беременные арабки, в коконных платках, сарафанах поверх джинсов, в сопровождении аравийского оборвыша (промотавшегося бедуина-кочевника); три вкрадчиво невежливых грузина в кожаных куртках (воровская шайка); супружеская пара, громко говорящая на армянском (свободные торговцы людьми и краденым); многодетные семейные цыгане, спрашивающие про туалет; разомлевшие сомалийские девушки с грудными детьми и их острокосые иссиня-чёрные мужья (амнистированные пираты); пуштуны в белых пижамах: женщины — в платках, мужья — в белых тюбетейках и белых тапочках (экс-талибы).

В три часа дня приношу Грет чашечку кофе с бисквитом. Она всё ещё слабо улыбается, машет рукой входящим, путается в приветствии, называет мужей отцами, жён — дочками. Пытается заигрывать с негритятами и арапчатами. Те пугаются и плачут. В наклоне головы, одежде, мимике и макияже Грет — намёк на былую изжитую сексуальность. Это сбивает с толку. Мужчины недоверчиво хмурятся, достают из кармана помятый листок. Грет пробегает по нему колючими глазами. Просит их прийти на следующий день.

30/11/2014

Во сне всё пытаюсь кричать, хватаю воздух немимым ртом. Не знаю, кричу я на самом деле или это только мне снится. Не могу спросить у моей соседки из соседнего апартамента, слышит ли она мои крики. Это одинокая тонкогубая бельгийка с бледным стёртым лицом. Кажется, что она у себя в квартире постоянно тихо плачет. Её плечи вздрагивают, когда мы сталкиваемся на лестничной клетке перед лифтом. У неё красные глаза и носовой платок в руке. Разве возможно что-то спрашивать у неё?

Квартира моя находится в скромном, но приличном трёхэтажном доме. Мигрантов тут пока ещё совсем немного. В холле развешены картины с экзотическими птицами. Под домом гараж, где стоит моя машина. Лифт такой маленький, что

жильцы избегают заходить в него вдвоём. Двери и стены квартир тонкие. За ними, должно быть, всё слышно. Намного приятнее выходить из такой квартиры, тихонько прикрывая за собой дверь, чем входить в неё.

Иду на раннюю воскресную прогулку в парк. Беру с собой всех жильцов из дома и коллег с работы. Они семят за мной на тонких неустойчивых ножках. В распушенных по ветру пижамах. С открытым от удивления ртом. Оглядываюсь: одни полусонные автохтоны. Какая же это трогательная картина! Ни одного мигранта, кроме меня. Мигранты никогда не гуляют в парке по воскресеньям.

02/12/2014

Упапы с мамой в гостях их лучшие друзья. Взрослое застолье перешло уже в постдесертную стадию. Ты играешь в куклы с подругой. Я занят своими ковбоями и индейцами. Красочные резиновые фигурки цепко охватывают ногами бокастых лошадей. Через открытую дверь слышу, как папа чеканно произносит одно и то же слово. Как будто спорит. Встаю с пола и иду в соседнюю комнату. Папа сидит на диване рядом с книжным шкафом. С пьяной серьёзностью повторяет: «Лев». Его друг — импозантный плечистый подполковник — спокойным голосом отвечает: «Нет, самый сильный зверь — тигр».

Вот так же, как они тогда, спорил сегодня за обедом со своими бельгийскими коллегами. О чём? О том, что во Владимире есть тихие улицы под уклон, булыжные мостовые и каменные фасады, бронзовые памятники, парки, газоны, покрытые мхом деревянные мостки, многоэтажные книжные магазины. Что в Европе экосистемы неустойчивы. Что на густонаселённых равнинах Фландрии скоро не будет места ни для аллохтонов, ни для автохтонов. Что старым развратникам надо запретить привозить из-за границы молодые тельца пленных гусениц. Запретить обманывать, причинять боль и продолжать обманывать, что боль пройдёт. Что свежая рыба на ледяных прилавках уже начала протухать. Что хип-хоп — это всего лишь скучный народный танец. Что мечта каждого блудного сына — вернуться домой. Что я воспользуюсь их советом и покачу домой. А там видно будет. Может, махну потом на несколько лет в Новую Зеландию. Страну, где снимали фильм про хоббитов. А может, в Канаду. Настоящие специалисты по многообразию нужны везде. Вот только ихний нидерландский язык вряд ли мне пригодится. Так я им говорил.

А после обеда пришёл ко мне в кабинет молодой безбородый чеченец. За справкой для получения гражданства. Правильные черты лица. Коротко подстриженные волосы. Нелепая короткая чёлка, как у Кашпировского. Удушающий чесночный

запах. В одном ухе — наушник от смартфона. Жена ему часто звонит. Всегда на связи должен быть. С ней он говорит по-чеченски в необычно резкой манере. Хрипит, шипит и плюётся. Зубы сжимает и носком туфли по полу стучит. У них шесть детей. Работает по ночам. Хлеб развозит по супермаркетам. До этого много других работ перепробовал. Но остановился на этой. Не хочет сталкиваться с аборигенами. Так он бельгийцев называет. В отпуск домой ездит со всей семьёй на личном микроавтобусе. Как там? Подъезжаешь к родной деревне. Много новых домов. Чем дольше в односельчан всматриваешься, тем более чужими они кажутся. Половина полицейскими устроилась, половина в бизнесмены пошла. Кажется, что даже недымящие трубы заняты бизнесом. Повсюду мафия. Из чеченской мафии прогнали, в бельгийскую не взяли. Но чеченцу всё нипочём. Его упорство, бодрость, его дети — залог того, что он не совсем в проигрыше. Будут новые походы, новые миграции.

04/12/2014

Сегодня ездил в Брюссель на научный семинар. От вокзала до здания культурного центра шёл пешком. Мимо стеклянных башен министерств, мимо зашторенных окон спящих проституток, мимо турецких лавок и марокканского рынка. Культурно-мозговой центр оказался неказистой модернистской коробкой. Внутри, за двойными дверями, в просторной аудитории собралась чёртова дюжина сопровождаемых. Седой негр с пожелтевшей на складках кожей, длинноногая невзрачная полька, самонадеянная арабка в чёрном платке, хмуро-серьёзные братья арабско-курдской наружности, армянин или албанец в костюме-тройке, пара худощавых азиаток с ярким макияжем и троица толстощёких молодух-бельгиек без макияжа. Все заняли места за круглым столом. Как на заседании объединённых наций. Бледная венгерка Мариска, единственная, кого я знал из всего сборища, нежно мне улыбалась.

Учёная старушка опоздала почти на час. Вбежала в аудиторию в висячей кольчуге, грязноватом свитере-тунике, с потёртым портфелем через плечо. В брючках по шиколотку и босоножках. (На улице у нас ноль градусов. Переобулась, должно быть, в коридоре.) По-голландски говорила с французским акцентом. Оказывается, французский акцент красив только во французском. Говорила бегло, не стесняясь своей артикуляционной корявости. Уверенная такая в себе старушка. Шустрая и энергичная. Наверное, в далёком прошлом мужа-фламандца имела. Шесть часов подряд словоблудила. Об общественной пользе массовой миграции. О публичном запрете слов с негативной коннотацией: «чужеземец», «иноходец», «аллохтон». О замене их выражением

«новый бельг». О том, что слова надо менять по истечении срока пользования. Хвасталась, что изобрела новое слово: «супердиверсификация». Это когда в уличной толпе так много этносов, что ни один из них не может быть доминантным. Не похоже, чтобы сама придумала. Призналась, что является яркой сторонницей межрасовых браков. — По любви? — спросил я вслух, поддаваясь минутному умопомрачению.

— Что вы имеете в виду? — с угрозой переспросила учёная старушенция.

— Браки по любви? — не сдавался я.

Глаза Мариски светились весёлыми огоньками. — Молодой человек, вы расист? — слово «расист» жёстко прошелестело в завядших устах Алёны Ивановны.

Мариска бросилась на помощь Родиону Раскольникову, уверяя, что знает его несколько лет, что расист — это не он.

Я жался в свой стульчик. Расчихлил айфон и до конца семинара беззвучно выстукивал для тебя это письмо.

06/12/2014

Отправили Иванушку в лес за грибами. Ходит он по сказочному лесу, белые грибы в лукошко собирает (других грибов не берёт). С чудищами разными знакомится. Начинает смеркаться. Лукошко почти полное. Родители наказывали домой прийти до темноты. Уже слышу, как сестрица аукает, зовёт меня на краю леса. Бегу, кочки, топи болотные перепрыгиваю. Столько всего рассказать надобно. Аж дух захватывает. Просыпаюсь от своего сказочного сна. Повесть принимаюсь писать среди ночи. О чём? Да всё о том же: о мигрантах и их сопровождателях.

Вначале мигрант надеется спутать судьбе карты. Своей скромностью, бестолковостью и покладистостью. Он настолько внутренне подготовлен к унижениям, что просто их не замечает. Потом, когда не замечать уже невозможно, отказывается долго в них разбираться. Со временем становится не важно, как и кто его унижает. Рассудительным становится, панцирь на спине отращивает, со скованностью в движениях мирится. Тогда же его и видения разные начинают посещать.

Сегодня на тихой улице с большими деревьями, рядом с виллой врача, маму видел со спины. Походка её, пальто и причёска. Хотел крикнуть уже, но вовремя одумался. На душе так потеплело и хорошо стало. Не один я тут и не бродяга какой-нибудь. Мама моя в дорогом пальто по улице неспешно прогуливается. Рядом вила с высокой крышей. Вековые деревья из-за ограды ветки свешивают. Теперь буду ждать встречи с папой в парке.

Ночью перед моим отъездом мама складывала пустые рукава моих рубашек. Слезы роняла на отглаженную материю. Отягощала мой лёгкий

багаж горестными всхлипами. Утром, уже перед открытой дверью, в суматошном экстазе кинулась мне на шею. С сухими безумными глазами, сберегая рыдания на потом.

Той последней ночью во Владимире я тоже не спал. Нашёл для себя одно осмысленное занятие. Сканировал фото из альбома в твёрдом переплёте из тусклой кожи. Загружал семейную историю на флешку. Теперь ношу эти фото в памяти моего айфона. Вот молодые бабушка и дедушка по маминной линии. Женская головка склонена на плечо молодого офицера без фуражки. Сияющие глаза и худые лица, как бы просветлённые любовью и голодом. Три фотографии братьев другого дедушки в военных гимнастёрках. Прямой пытливый взгляд на безупречно красивых лицах. Все трое погибли во время войны. Вот ещё одно добротное фото: папина большая еврейская семья. Это последнее фото в фотопотоке. Родовая линия обрывается на этом. Дальше заглянуть в прошлое невозможно. Поищи, пожалуйста, может, другие семейные альбомы где-то сохранились. Фотографии моих славных родственников поддерживают меня в трудную минуту. Помогают мне спокойно сидеть на моём конторском стуле. Заботливо сжимать кожаный футляр айфона в левой руке.

09/12/2014

Тыквоголовая выступила по телевизору. Заявила, что наш мирный муравейник как никогда крепок, что забастовки и миграция делают его только крепче. Это неправда. В действительности всё как раз наоборот. По крайней мере, так видится мне со своей маленькой жёрдочки. Затяжные ссоры и короткие стычки возникают в нашей конторе по пошлейшим поводам. С пугающей регулярностью и самопроизвольностью природных катастроф. Автохтоны заблаговременно издают сигналы, позиционируют, лживо заискивают и провоцируют своего оппонента. Воюют исподтишка, берут измором. Долго мирятся. Аллохтоны глупо пытаются, блефуют, безоглядно кидаются в схватку. Быстро сдуваются и сдаются. Но тут же готовы начать новую свару. Заканчивается всё всегда одним и тем же. Нездоровым шипением плохо горящего химического материала.

До сегодняшнего дня думал, что досконально исследовал тактику конторских конфликтов. Что успешно применяю свои знания на практике. Во время издаю предупредительный писк. Умею разоружить двуличного автохтона смелой шуткой. Могу, не теряя спокойствия, отбить набеги и наскоки аллохтонов. Успешно избегаю стычек с Рашидой. Вовремя даю понять Фамке, что её карты раскрыты. Но излишняя самоуверенность опасна. Не стоит воображать себя жуком-голиафом или королевским шутком, который может свободно играть, кувыряться и упражняться в остроумии.

Вот что произошло со мной сегодня. За обедом к сопровождателям присоединилась Аннеми. Планировщица обзорных курсов ориентации. Обрюзгшая сорокалетняя дама в колбасно-отвислых джинсах. С непроницаемым лицом билетного контролёра. Угрюмая сноровистая бумажная крыса. Плюхнулась на стул рядом со мной. В столовой воцарилась гнетущая тишина. Аннеми поднесла ко рту гибкий змеевидный сэндвич. Откусила большой кусок. Молчание жующих сопровождателей сделалось невыносимым. Мне стало жалко толстую Аннеми, и я решил заговорить с ней. Бабушка часто повторяла, что толстые люди добрее худых. Бабушку можно за это простить. Она имела в виду себя и тех толстых людей, которых она знала во Владимире. Аннеми выслушала мой вопрос, дожевала кусок, внимательно посмотрела в пустоту перед собой и сказала, что к ней собираются прислать стажёра. Малограмотного тунидца с зачаточным нидерландским. Я выразил своё искреннее сочувствие и добавил:

— Не вдаваясь в различия «аллохтон — автохтон», скажу только, что, по-моему, малограмотные мужчины ещё хуже малограмотных женщин.

Хотел заставить всех жующих немножко посмеяться, но забыл, что Аннеми не окончила среднюю школу. Увидел, как она резко встала из-за стола с сэндвичем в руке. Тут же извинился. Но было уже поздно. Уже слышался гулкий шум. Спускающейся по лестнице живой шаровидной массы. Громкий хлопок входной двери. Планировщица ушла с работы. Позвонила Косому Вилли. Пожаловалась, что над ней издевались за обедом. Нет, не Рашида, а этот белый гвардеец — русский. Меня после обеда охватила, нет, не тревога или паника, а тихая грусть. Я растравливал и бередил её в себе. Пытался окунуться в неё с головой. Растянуть своё немое погружение во времени. Ничего не произошло. Косой Вилли не посчитал нужным появиться. У него были дела и поважнее.

12/12/2014

Один раз в месяц наша контора открыта по вечерам. И хотя клиенты имеют удостоверение личности с национальным номером и тёмной фотографией, никогда не знаешь, с кем придётся иметь дело. Особая опасность грозит сопровождателям-женщинам. Бывали случаи, когда клиенты нападали на них. Обрызгивали ядовитой слюной и покусывали зубами. Жертвы едва успевали нажать кнопку под столом для вызова полиции и скорой помощи. Я единственный в нашем городе сопровождатель мужского рода. Поэтому вечерний приём выпадает всегда мне.

От трамвайной остановки до конторы иду под проливным дождём. Шквальный ветер вырывает зонтик из замёрзшей руки. Хлещет по ногам и лицу. Залепляет рот. На улице из прохожих только одна

пара — хромая женщина и негр под капюшоном. Открываю ключом дверь конторы. Хромая с негром толкает меня в спину, извиняется и заходит вслед за мной. Вода капает на пол, образуя лужу возле письменного стола. Система отопления нагнетает горячий воздух через решётку в потолке. Мои очки затягиваются пеленой. Женщина-автохтонка и негр садятся на стулья напротив меня. Состорожностью переносчика мебели приступаю к регистрации. Вставляю пластиковое удостоверение негра в идентификатор матричной клетки. Чуквуемек *****, сорок семь лет. Выходец из Ганы. Женщина-автохтонка проживает в социальных апартаментах на пособие по инвалидности.

За тёмными окнами бушует непогода. Меня мутит от духоты и растворённого в ней какого-то едкого запаха. Невозможно вести регистрацию. Тяжело дышать, как раненному в грудь. Автохтонка постоянно задаёт вопросы. О бесплатном обучении и проезде. О расписании занятий. Нормальные вроде бы вопросы для партнёра-автохтона. Но у неё заторможенный, блаженный голос. Вдруг ясно понимаю, что имею дело со слабоумной. Автохтонка рассказывает в затяжных подробностях, как адвокат добился признания брака через суд. Негр молчит и смотрит на меня воспалёнными белками глаз. Немолодой негр, со стёртым лицом цвета почерневшего дерева. Наконец интеграционный контракт готов и распечатан. Протягиваю документ Чуквуемеку на подпись. Мы оба привстаём для рукопожатия.

Душевнобольная спрашивает про туалет. Негр берётся её сопровождать, хотя наша беседа не окончена. Так уж у них, наверно, заведено, у сочтавшихся браком инвалидов. Ушли. В этот момент мой айфон вздрагивает и затихает. Открываю письмо от тебя с фотографиями. Лилия Чуйко с гордым взглядом и полуулыбкой. Стала ещё красивее после рождения ребёнка. Лиля с голым младенцем в подгузниках на руках. Муж — морской офицер — ушёл в кругосветное плавание и не вернулся. Ей нельзя без мужа, не умеет она жить только для себя. Решила вместе с тобой, что лучшего, чем я, отца для ребёнка не найти. Уверена, что люблю её и помню. Прощает мне мою прошлую легкомысленность. Надеется, что жизнь на чужбине пошла на пользу моему душевному развитию.

Вернулись из туалета. Спешу закончить регистрацию. Негр оживился — я заговорил с ним по-английски. Душевнобольная замерла на стуле и надолго замолчала. Она совсем плохо понимает по-английски. Определяю Чуквуемека на вечерние языковые курсы. У него диплом менеджера из африканского университета. Вхожу в роль сопровождаителя. Говорю ему, что менеджеров здесь — как комаров в тёплую летнюю ночь (as many as mosquitoes on warm summer nights). Советую ему податься в каменоломни, где выращивают

шампиньоны. Чуквуемек отнюдь не разочарован, наоборот, признателен мне за прагматизм и откровенность. С энтузиазмом жмёт мне руку. Он начинает мне казаться симпатичным и, в отличие от своей жены, совершенно вменяемым.

Еду в пустом трамвае домой. Ветер стих. Я доволен регистрацией, дружелюбием Чуквуемека и ещё непонятно чем. Дома усталость окончательно настигает меня. Не успевая ни о чём подумать, ложусь в кровать. Только смыкаю глаза, как в спальню входит Кристин со своим новым другом. Берут меня за ноги и за руки и несут. «Куда вы меня несёте?» — спрашиваю. Кристин наклоняется, вижу её искажённое перевёрнутое лицо. «В контору, подлый предатель. Жена Чуквуемека подала на тебя жалобу. От неё тебе не так просто будет избавиться, как от меня». Голубоглазый друг Кристин впивается всё глубже стальными пальцами в мои голени.

16/12/2014

Лиля идёт по Невскому проспекту в приталенной шубе, белой меховой шапке и сапожках без каблучков. Под руку с вернувшимся из плавания морским офицером. В коляске — тепло одетый румяный мальчик. Лилия держится за рукав чёрной шинели с золотыми шевронами. Спасибо тебе за её фотографии. Пробовал читать твоё письмо поверх и между строчек. И, по своей привычке, переборщил. На той студенческой дискотеке Лилия и ты были самыми красивыми девушками. Ты танцевала плечами и руками. Качала, как деревце, тонкими ветками на ветру. Лилия танцевала по-другому. Делала незамысловатые шаги с грациозностью молодой лани. Вижу и сейчас перед собой тонкую линию её шеи. Мерцающую белизну коленей под краем прямой чёрной юбки. Детский очерк лица под крылом светло-русых волос. Строгая и чистая красота молодой девушки отпугивала студентов. Они были заняты более доступными девицами. Танцы нам скоро надоели. В метро по пути домой заговорили об учёбе. О романах из обязательного чтения по предмету «Зарубежная литература». О чём ещё можно говорить с двумя прилежными отличниками? Подумал про себя и тут же сказал это вслух. Лилия внимательно на меня посмотрела, сдвинула светлые брови и сказала, что профессорская карьера для неё не самое главное. Её заветное желание — выйти замуж по любви и родить троих детей. В комбинации бликов радужной оболочки её близоруких глаз я уловил вызов, обращённый ко мне. Предложил ей свою подшивку журнала «Иностранная литература». Свет, излучаемый Лилей, был ослепительно ярким, почти бесплотным и до боли притягательным. Я сделал шаг в сторону, посчитав по недоумию, что дорогу к звёздам уже застолбил, всегда смогу на неё вернуться.

Лиля, будучи столичной девушкой, не проживала в студенческом общежитии. Женские и мужские этажи в этом высотном здании перемежались, как в слоёном пирожном. В тот пасмурный осенний полдень я стоял в очереди в студенческой столовой. За девушкой в бордово-белом полосатом свитере и джинсах. Девушка поставила на поднос блюдце с разрезанным яйцом под мазком майонеза. Обернулась, залилась тёмно-розовым румянцем, пылливо посмотрела на меня. Я уже и раньше замечал на себе взгляд этих горящих раскосых глаз. И даже ухитрился найти в них глубину и нежность. Однажды утром, когда общежитие опустело, девушка постучала ко мне в комнату. Попросила несколько словарей. Бросила взгляд исподлобья. «А хочешь?» Запрыгнула в синем бумазейном халате на кровать. Спустила быстрым жестом чёрные колготки ниже колен. Затянула меня в бурлящий мутный водоворот. А сама спокойно упиралась носками в железные прутья кровати. Приковала меня к этой кровати на долгие месяцы горячей девичьей плотью, литыми белыми бёдрами. Учила целоваться, не пуская слюни. Обжигала и мучила своими признаниями и изменами.

Подшивки «Иностранной литературы» ты можешь найти в моём шкафу. Не во всех журналах есть романы, которые мне нравились. Но я всё равно прочитал их от корки до корки и разложил стопками по годам. Непонятно, как, изучая иностранные языки, я мог проводить столько времени за чтением романов в русских переводах. В трамвае, поезде, парке или на берегу реки. Читал и мечтал о загранице. Никогда бы не уехал, не будь в моей жизни этих журналов с цветными окнами-репродукциями на лощёной белой обложке. Что ещё казалось мне привлекательным за границей? Разные мелочи: форма шведской хоккейной сборной «Тре Крунур», названия марок немецких бытовых приборов, названия французских и итальянских городов, имена голливудских актёров, голландские почтовые марки.

Представляю, как пожелтела бумага и выцвели обложки журналов «Иностранная литература». Но для тебя и Лили эти журналы, не сомневаюсь, сохранили всю свою прелесть.

19/12/2014

В центральной конторе сегодня собрание. Здесь всё напоминает о Ящере. Зеркала, ландшафтные бюро, мебель салатного цвета. Надо отдать ему должное: умел старый деспот в конторе порядок навести. Стоило ему направить на насекомых свет своих тусклых глаз, щёлкнуть отравленными челюстями, как мы уже лежали лапками кверху, цепenea от страха. Это он проделывал с нами до своего последнего дня в конторе. Его настолько боялись, что даже сплетничать остерегались. А ведь

пустоголовая болтовня и лукавство — неотъемлемая часть нашей конторской жизни. В кабинете Ящера всегда было включено радио. Программа с классической музыкой. Любил он и живую музыку. Хоровое пение молодых пташек, гимны и песни в свою честь. За окнами, бывало, серая муть, а в конторе яркие лампы зажжены, эксперты музицируют по кабинетам. Сам конторский воздух наполнен неспетыми ариями, дрожит от волнения и страха. Пташки, готовые стать экспертами, уже натянули на себя жёлтые, розовые или голубые колготки-рейтузы. В лице у каждой — какой-нибудь маленький недостаток или незаметный изъян. Под конец своего правления Ящер стал слишком щедрым и неразборчивым. Всё торжественные собрания с приёмами организовывал. Состав пташек постоянно менял. То одну в фаворитки произведёт и тут же уволит, то другую к себе в кабинет тащит. Говорили, что там у него всё ограничивалось дружескими разговорами о музыке. Главное для него было — вызвать у персонала инстинктивное уважение и страх. Если и были у него другие желания, то вполне умеренные. Связанные с дорогой одеждой и гастрономией, уютom и эстетическим комфортом. Любил отобедать в дорогих ресторанах за счёт конторы. Как-то шкаф антикварный купил для своего офисного кабинета. Потом передумал и отвёз его к себе на виллу. Так этот шкаф ему в душу запал.

Когда Ящер вдруг в один день исчез, насекомые громко затрубили хоботками победу. Среди победителей обнаружили и Рашида с её профсоюзом, и Фамке с её связями с местными политиками, и пара экспертов, якобы пославших антенный сигнал Тыквоголовой. Победители вскоре переругались между собой. А я до сих пор задаюсь одним праздным вопросом. Как вышло, что Ящер пал? Именно пал. Ведь он не был никем свергнут. Как-то задал я этот каверзный вопрос антропологу-неудачнику. Тот ответил мне, что это парламентская демократия переварила и выплюнула его. Втянул меня в бесплодный спор. Когда этот философ начинает спорить, то поднимает вверх патлатую голову, упирается неподвижными глазами в верхний угол потолка и начинает говорить быстро-быстро. Аргументы, как паутину, изо рта ткёт. Минут десять не даёт себя перебить. Потом криво улыбнётся, извинится и в туалет поспешит. Так он и меня оставил наедине со своими страшными мыслями. Выгуглил я как-то от тоски чёрной страничку «Фейсбука» нашего нового министра. А там фамилия и имя Ящера стоят. Среди трёх почётных пожизненных советников некоего закрытого мозгового центра.

20/12/2014

На вчерашнем собрании Косой Вилли делил поделом с Эвой, координаторшей обзорных курсов

для мигрантов. У Эвы длинные чёрные волосы, белое неподвижное лицо и большие невыразительные глаза. В конторе ей дали прозвище Кармен. Она носит яркие жакеты и короткие юбки. Ей сорок пять лет, и у неё есть муж и трое детей. С Косым Вилли, у которого есть тоже жена и трое детей, у неё романтическая связь. В конторе Вилли и Эва неразлучны. В обеденное время они садятся в одну машину и едут обедать в ресторан. Эва неспешно ступает по гравию к машине. Вилли шаркает за ней модными мокасинами, наклонив вперёд туловище. Вертит головой с косыми глазами направо и налево. Эва садится, не оправляя короткую юбку, за руль. У конторских насекомых этот ежедневный ритуал вызывает восхищённое шипение, жужжание и какой-то странный сухой шорох. Я давно заметил пугающе зрелую испанскую красоту Эвы. Но мне больше по душе простое девичье обаяние капризной Кристины.

На собрании Вилли и Кармен рапортуют об успехах регистрации. В аудитории стоит тишина. Вилли легко пружинит на кривых ногах футболиста от одного слайда к другому. У Кармен ноги длинные и прямые. Она покачиваются на них, как на ходулях. Кажется, что её зелёная мини-юбка начинается от груди. А гордо поднятая голова скользит поверх графиков отдельно от тела. То, что происходит между этими двумя менеджерами, остаётся для нас, насекомых, непонятным и необъяснимым. Никто не может отрицать торжества их безрассудной любви. Среди серого конторского дня они закрываются в бывшем кабинете Ящера. Если брать во внимание их семейное положение, риск, которому они себя подвергают, может быть оправдан только порывами безудержной страсти. Теми ласковыми словами, которыми они этот частый офисный секс обставляют. А может, они всё-таки не сексом там занимаются? Оба являются членами менеджерской команды. Могут проводить заседания за закрытыми дверями. Так, по крайней мере, я и другие пытаемся себя успокоить на фоне всеобщего смущения. Ведь наш покой, как и равномерное отопление в конторе, мы ценим больше всего. Зачем нам фантазировать на эту опасную тему, воспарять в непонятные сферы, обжигать себе крылья о тусклые, вероятно, уже засиженные мухами лампы? Я не раз ломал голову над вопросом: откуда могла возникнуть эта явная, в глаза бросающаяся любовная связь в нашей конторе? Для меня этот вопрос дополнительно осложняется внешним видом Вилли. Если красота стареющей Кармен ещё может вызвать слабый отклик в моей душе, то как быть с косоглазием Вилли? Я не нахожу ответа, и тогда у меня рождается поистине страшное подозрение. Неужели всё дело в должности директора, которую занимает Вилли?

29/12/2014

Когда вижу, на какие поступки отваживаются автохтоны ради конторского роста, мне становится не по себе. Откуда такая прыть у этих саморефлексирующих и осторожных прагматиков? Возникает и вполне конкретный вопрос: что будет со мной? Слабым экзотическим подвидом с чужеземной артикуляцией и корявым синтаксисом? Заранее обречённым на поражение в любых тараканьих забегах? Вспоминаю Катлин и то, как добра она ко мне была с момента, как меня увидела. И эта первая встреча — какой же чистой случайностью она была! Я проходил по улице мимо незнакомой конторы. Из двери на улицу вывалился лохматый мужчина. Плюнул на тротуар и громко выругался на каком-то славянском наречии. Поймал мой взгляд и быстро спросил: «Словак? Поляк?» Мужчина оказался предводителем словацких цыган. В конторе он требовал денег на дорогу. В качестве компенсации за то, что табор добровольно покидает городской парк. Я быстро понял его намерения. Словацкий язык оказался очень близок к русскому. То же ударение на глаголе «заплатить». Мы вернулись в контору, и я перевёл его требования Катлин. Ей стало понятно недовольство господина в матросской тельняшке под пиджаком. Она была мне очень благодарна и сразу предложила место в конторе. Так всё и началось. В начале действительно было слово. И точный перевод на другой язык.

В то время я уже почти отчаялся найти работу. Бродил под дождём по безлюдным кривым улочкам. Стоял на открытой ветрам мощёной площади с бронзовым всадником. Провожал взглядом из трамвайного окна сапожки студенток на крепких каблучках. И находил в этом грустную прелесть. Самой интересной книгой считал голландско-русский словарь. Некоторые слова, например, «вор», «кашель», «забастовка» на голландском языке казались мне не такими резкими и тяжёлыми, как на русском. Теперь, годы спустя, замечая, что русские слова возвращают себе мягкость и лёгкость. Снова становятся привлекательными за счёт голландских.

03/01/2015

В этом письме мне хочется открыться тебе. Исповедаться. Для меня очень важно — не потерять душевную связь с тобой. Я понял, насколько это важно, уже в процессе написания этих писем. Я также понял, как нелегко оставаться честным в своей исповеди. Контора впустила меня в социум оплачиваемого труда. Все эти годы я выполнял механически то, что она от меня требовала. Подталкиваемый инстинктом самосохранения и страха. Если в первое время я как-то от этого страдал, то со временем слепота и бесчувственность взяли верх. Остался только узкий просвет между подчинением

низкому инстинкту и окончательным падением. Каждый из коллег, проработавший в конторе какое-то время, следует своему инстинкту. Этому и учит контора. Доверять только своему первородному инстинкту. Преодолевать обманчивость эмоций и ограниченность разума. Лули пытается сохранить связь со средой, окружающей её богатство. Фамке пытается следовать своему половому инстинкту и хоть немного эстетически приукрасить его. Рашида отторгает систему и пытается перестроить её на свой лад. Файза безуспешно пытается подстроиться под систему. Эксперты и начальники мутируют и надеются стать незаменимой частью системы. Обманутые системой мигранты беспокойно ворочаются на продавленных матрасах и мечтают вернуться домой с небольшой суммой денег. Меня же переполняет сознание собственного величия. Я исповедуюсь и упиваюсь блеском каждой произнесённой фразы. Как легко становится человеку, признавшему своё поражение! Но непобеждённому и находящему в себе новые силы для борьбы. Благодаря узкому просвету.

08/01/2015

Кто только не пытался у нас стать директором. Даже философ-анархист, доморощенный коммунист с дипломом антрополога. Я его уже упоминал в своих письмах. Крайне левый такой, недоделанный и альтернативный, женатый на африканской беженке. Зовут его Патрик. В один день Патрик пришёл на работу в костюме и белой рубашке. В начищенных ботинках и без галстука. Торжественно немногословный, как иранский посол. Это был день прослушивания кандидатов на пост главного директора. День, когда Косого Вилли временно отобрали на эту высокую должность. Как наиболее внушительного лицемера и притворщика.

Когда Патрик быстро, с преувеличенной живостью, отвечает на вопросы, высказывает своё всеобъемлющее мнение, плетёт из себя бессвязные силлогизмы, смотрит сквозь собеседника выпуклыми водянистыми глазами, хочется только одного — как можно быстрее закончить затянувшуюся беседу. Отталкивающее впечатление усиливается плоским крючковатым носом с раздуваемыми ноздрями. Самими размерами этого сказочно большого носа, похожего в профиль на парус «Летучего голландца». Несомненно, Патрик — наиболее интеллектуальный автохтон в моём окружении. Стоит только посмотреть на наклон его головы над экраном лэптопа. А сколько усердия в очертаниях согбенного туловища! Такое можно увидеть только у завязатого пианиста. И всё же моё описание далеко не исчерпывает сущность Патрика. Если бы мне позволили быть судьёй, то я бы, не задумываясь, вынес ему приговор.

Патрик—патологический трус. Сегодня он полностью раскрыл себя. В конторе только и было разговоров, как об исламистском теракте в Париже. Патрик сказал, что он на всякий случай выучил арабскую молитву. И даже промурлыкал её начальную фразу. Рашида засмеялась, остальные только пощёлкали челюстями в жеманном удивлении. Вот что произошло сегодня в нашей конторе.

11/01/2015

После обзорных курсов каждый без исключения мигрант должен определить цель своего пребывания в Бельгии. Составить с помощью сопровождающего долгосрочный план действий. Никто не хочет собирать мусор, зацепившийся в сетчатых заборах, мыть туалеты в резиновых перчатках. Работать на скотобойне или химическом заводе в дыхательной маске. Приходится предлагать им другие проекты, как, например: хозяин мясной лавки «халал», держатель греческо-албанского ресторана-харчевни или же хозяйка салона этнической красоты.

Худая скуластая грузинка. Жёлтый жакет, чёрные рейтузы. Высокие каблук и цепкие колючие глазки. Смолисто-чёрные волосы. Протестует против своего участия в курсе интеграции на общих основаниях. Упрямо наклоняет острую голову в мою сторону, перебивает и дразнящим голосом растягивает гласные звуки:

— Нет, мне не подходят ваши идиотские планы. Мой фламандский муж подарил мне на днях шоколадную фабрику. На моей фабрике будут работать только новоприбывшие мигранты, будет царить не только дух обожания разных сортов шоколада, но и любовное отношение к упаковке, оборудованию и фирменной одежде. В удачном предприятии всё взаимосвязано, всё приносит выгоду. Простите, но вы и ваша контора—не моего уровня. Я сама могу дать кому угодно курс ориентации.

Я придвинулся к столу, отделяющему меня от грузинки. Задержался взглядом на её верхней губе с едва проступающими усиками и сказал:

— Вот видите, на вашей фабрике будут такие же приоритеты, как в нашем учреждении. Наши щедрые субсидии, как и ваша фабричная прибыль, предполагают любовно-бережные отношения с клиентами. Я в своей работе исхожу из принципа: как можно не любить больных, сирых и убогих, если они к тому же не совсем больные и убогие?

Произнёс я всё это ровным и спокойным голосом. Неужели иммиграция и контора сделали меня выдержанным и мудрым человеком?

13/01/2015

Сегодня до обеда снова обучались сухой регистрации. По распечатанной пошаговой инструкции. Бежали до умопомрачения по «Клетке» в поисках какой-то матричной логики. Под язвительные

комментарии Жюли—молодой усатой многоножки. Недавно ставшей матричным экспертом. Похудевшей за месяц на тридцать килограммов и отравившей себе для работы безмышечные усы-антенны. Теперь она может нестись, практически не спотыкаясь, по закоулкам «Клетки». У неё жидкие белёсые волосы, мерцающие красные глаза и скрытые челюсти. Фамке попробовала сцепиться с ней в принципиальной схватке и была больно покусана. Я сидел в тёмном углу, в стороне от бегающих, пытающихся не отстать, вырваться вперёд, задающих бездумные вопросы. Потерянный, полуживой, на горящих от стыда ягодицах. Мне было невыносимо стыдно за себя. За попусту растроченные годы и напрасно изученные иностранные языки. За золотую медаль из владимирской школы, за униженный Владимир и за обиженного в Австралии Путина.

Ненависть к конторской регистрации, подумал я,—моё последнее оружие в борьбе за сосуществование. Надо уметь скрыто ненавидеть, не терять самообладания и не поддаваться страху. Ухитряться просветлять горькими мыслями самые сумрачные дни.

Перед обедом сделал двенадцать отжиманий от пола. Поел гречневой каши с артишоковой приправой из стеклянного контейнера. В два часа ко мне на приём пришёл невзрачный марокканец. Серая лыжная шапка, щуплый, в потёртом пальто. Прародитель шести детей и муж молодой новоприбывшей марокканки. Сам—мигрант-старожил с бельгийским паспортом. Работал в скотобойне. Теперь безработный со сложной историей болезни. Я долго говорил с ним о программе интеграции, пользу которой он ставил под сомнение. В том виде, как она существует в Бельгии. Мой собеседник показался мне недалёким человеком. Мысли его топтались на месте. Он повторял газетные штампы о дискриминации и терпимости. Пришлось напомнить ему о денежном штрафе за отказ жены участвовать в программе интеграции. В ответ марокканец выпучил по-собачьи умные глаза и заявил, что жена его должна сидеть дома и заботиться о нём и детях.

— Такое возможно только после прохождения курса интеграции,—ответил я.

— Я правоверный мусульманин, член фламандской социалистической партии и не потерплю насмешек над собой и своей женой,—слабым женственным голосом то ли пожаловался, то ли пригрозил он.

14/01/2015

Наша контора пробуждает в обитающих в ней насекомых дурные инстинкты. Лицемерие и трусость здесь так же естественны, как насморк и кашель при простуде. Контора легко извиняет любые дурные поступки и тем самым поощряет их. Бывает,

иду утром на работу с бодрым самодовольством. С ощущением, что привычная регистрация не в тягость, а почти в облегчение. Бывший африканский клиент приветствует меня из кабины мусороуборочной машины. Машу и я, улыбаюсь ему в ответ. У входа в контору Патрик преувеличенно дружески хлопает меня по плечу. Рашида за утренней чашкой кофе смеётся над глупостью террористов, отправившихся к девственницам на небо. Коллеги улыбаются и одобрительно кивают в ответ на Рашидину шутку. Из окна виден белый дымок, поднимающийся из трубы отопления. Никто не вспоминает об убитых в Париже евреях. Вот, казалось бы, случай остаться в истории конторы. Открыто встать из-за стола, выразить отвращение, неприятие, несогласие. Поругаться с Рашидой, порвать с конторой и уехать обратно во Владимир. Но молчу, будто дьяволу продал душу. На лестнице встречаюсь нос к носу с Косым Вилли. Тот подавлен, расстроен и сбит с толку. Едва отвечает на приветствие. Опять менеджерские или любовно-семейные передраги? Или, наконец, замышляет что-то против меня?

Иду в серой мути домой. Моросит дождик. На асфальте размокший мусор и окурки. Араб в капюшоне, коротких спортивных штанах обгоняет меня. Глупой гусиной походкой. Старик-автохтон бросает на меня жёлтый трусливый взгляд. Его собачка гадит под столбом. Отовсюду, куда ни посмотри, наваливается тоска. Переходящая в страдание, когда сам отрезаешь себе все пути, загоняешь себя в угол. Нужен ли я кому-то здесь, среди стареющих автохтонов и мигрантов? Нужен ли я ещё кому-то во Владимире?

18/01/2015

Достаточно проснуться в выходной день раньше обычного. И чуть напрячь память. Десятилетний мальчик едет в валком автобусе на урок музыки. По едва освещённым снежным улицам маленького городка. Сидит на стуле в больничном коридоре. Прислонился к маме, которая поправляет ему воротник рубашки и расчёсывает ему волосы. В тепло натопленном классе мальчик быстро решает задачки по математике. Смотрит на полусогнутую спину девочки, сидящей на парте перед ним. На чёрные пуговицы её платья. Таня Сидякина—девочка-отличница, в коротком школьном платьице—коричневом тюльпане и розово-кремовых колготках.

Вчера ходил с коллегами на экскурсию в средневековый замок. Это был день, посвящённый сплочению коллектива. Завели нас всех в маленькую комнату какого-то принца. Запах сырости и старого дерева. Подростковые одежды принца. Вот здесь он истомился от неизвестной внутренней болезни.

Проснулся среди ночи. Зажёл настольную лампу. Пишу письмо. Вглядываюсь в моё подростковое

самосознание. И нахожу в нём трещинку. Любопытную странность. Несмотря на очевидную склонность к точным наукам, меня буквально завораживал школьный учебник по истории средних веков. С цветными картинками и гравюрами. Изображениями горожан и крестьян в странных шапках и костюмах. Рыцарей и трубадуров. И вот я, уже взрослый варвар-мигрант, хожу среди замков и костёлов той эпохи. По мощёным мостовым, загаженным мусором и собачьим дерьмом. Живу в средневековом центре города, работаю в одной из сторожевых башен. Получаю известия о жизни владимирского народа по спутниковому телевидению. Просыпаюсь в холодном поту среди холодных простыней. Спрашиваю себя: какая умственная лень, туманная химера или внутренняя болезнь заставила меня забыть, а значит, предать моё детство, мой снежный город Владимир, мою нежную подростковую любовь? Вновь засыпаю. Меня будят и говорят: пора. Школьные каникулы я провёл у бабушки и дедушки. Теперь уезжаю от них ночным поездом. Папа снимает с меня плед. Мне не удаётся перебороть глубокий сон, и мама тормошит меня за плечо. Родные голоса, зажжённая люстра, яркие цвета пледа резко, как по струнам, бьют по моему слуху и зрению. Всё вокруг оставляет глубокое и тяжёлое впечатление, заманчивое именно своей неизведанной глубиной.

19/01/2015

Промозглое тёмное утро. Захожу в свой рабочий кабинет. Открываю окно в серый плотный туман. Опускаюсь на пол и делаю двенадцать отжиманий от пола. Встаю и через несколько минут вновь опускаюсь на руках на пол. Замечаю лужицы дождевых чернил от раскрытого возле батареи зонтика. Прозрачные капли, высыхающие на его натянутой чёрной материи. Вдруг дверь порывисто открывается. Входит худой мужчина с сумкой. В джинсах и дождевике. Принесённый в мой кабинет логикой какого-то кошмара. Вглядываюсь в тёмное заскорузлое лицо с изъеденными голодом щеками и воспалёнными глазами. Иранец—определяю один из расхожих мигрантских типов. Автоматически перестраиваюсь на Pidgin English. Иранец представляется Сириусом. Имя такое. Бывший иранский коммунист. Отказной проситель бельгийского убежища. Попал ко мне в кабинет как к единственному мужчине этого заведения. Женщин он ненавидит.

Пугает и оскорбляет их на улице. Кричит в полицейском участке, что бельгийская королева—шлюха, и ещё что-то о бельгийском короле. А полицейские на это никак не реагируют. Никто его не бьёт и не наказывает. Вот только документы на постоянное проживание ему до сих пор не дали. Живёт уже пятый год в грязном пристанище для нелегалов. А там полно курдов, негров

и арабов. Арабы покупают у негров краденые лифчики для своих жён, а сами торгуют бесплатными памперсами, автоматами и гранатами. Во время разговора чувствую, что мне грозит какая-то опасность. Как будто иду по шаткому мостику над бездной. Внимательно слушаю и киваю головой в такт безумию своего клиента. Безумию иранского Сириуса. Как того требует инструкция конторы. Ребёнок, скользящий по замёрзшему озеру, улыбается до последней минуты, пока не ломается лёд. Мне становится жутко, я медленно качусь, не вставая со стула, к открытому окну. За окном пожарная лестница. Продолжаю делать вид, что внимательно слушаю. Иранец требует статуса легального проживания, но самое первое его требование — переезд в отдельный дом. Он не может больше жить в беженском общежитии. Просыпаться среди завываний молящихся мусульман, среди криков их новорождённых детей. Слушать плевки и шарканья сандалий босоногих арабов, их преувеличенно слащавые приветствия по пути в туалет. Даже самый захудалый араб имеет право на долгое приветствие своего соплеменника. Он сходит от этого с ума.

Сириус прервал свою речь и посмотрел на меня. Взгляд его затуманился, соскользнул с моего лица, голова опустилась, руки полезли в сумку. Он достал оттуда бутылку и начал лить себе на плечи клюющую жидкость. Лужа под его ногами растекалась. Резкий запах бензина ударил мне в мозг.

Я приподнялся со стула и закричал трубным голосом:

— Sirius! Listen to me. My grandfather and my father were communists. The Red Army Colonels. Don't do this. Your death is a victory of our enemies.

Сириус стоял с зажигалкой в руке. Я забрался на подоконник и быстро, с невесомой лёгкостью, спустился на асфальт по пожарной лестнице. Приказал испуганной арабке в приёмной вызвать полицию. Приехавшие через пятнадцать минут полицейские осторожно сняли с Сириуса дождевик и отвезли его к психологу. Коллеги поздравляли меня. Фамке кинулась мне на шею и принялась целовать в щёки. Лули, Рашида и Файза последовали её примеру.

28/01/2015

На лицах новых сотрудников нашей конторы отражаются страх и трепет. Я имею в виду автохтонов. Об аллохтонах и говорить не стоит. У них трепет гипертрофированный, болезненно выпяченный, не поддающийся описанию. Интересно наблюдать за новичком-автохтоном в конторе. За тем, как он (она) знакомится с сухой регистрацией, липкой паутиной и коллегами-пауками. Как скованно улыбается. Нервно посмеивается. Сосредоточенно слушает. Невпопад качает головой в знак согласия. Воскликает с придыханиями всякий вздор. Как

сидит на собрании, краснеет ушами и обводит ошалевшим взглядом коренных обитателей конторы. Пауков-старожилов самых необычайных разновидностей. Только долгие месяцы спустя новичок пообвыкнет, произнесёт первые естественные звуки. А пока он всего лишь необученный, малограмотный и молчаливый паучок.

Даже начальники содрогаются от страха перед своим первым появлением в нашей конторе. Косой Вилли, помнится, протянул мне потную ладонь в мужском туалете. Замялся на выходе. Вёл я его по коридорам на собрание-представление и успокаивал. Мол, тутошние самки не так страшны, как на первый взгляд может показаться. За исключением, пожалуй, верховной правительницы, Тыквоголовой. Эта, должно быть, родилась специально, чтобы руководить нашим интеграционным агентством. Упомянул я и Кармен. Как очень самоуверенную и педантичную координаторшу. Иногда мне кажется, что я обладаю каким-то чертовски провидческим даром. Не я ли вложил имя Кармен Косому Вилли в уши? Косой Вилли, наверно, думал, что если он овладеет телом Кармен, склонит её к возобновляемому любовному акту, то это победа. Что с ним после этого ничего плохого не случится, как с генералами на пенсии. Типичная ошибка примитивных самцов его подвида. Кармен недавно сама стала верховным и единовластным провинциальным лидером. Непосредственно под покровительством Тыквоголовой. А Косой Вилли остался у разбитого корыта — сидит уже третью неделю дома, мутирует в депрессии. Его жена-домохозяйка решает, что с ним дальше делать. Годен ли он ещё на роль хищника-добытчика, или лучше бросить его высыхать с пробитым панцирем в больничном приюте. Признаюсь, что я долгие годы наивно недооценивал жестокость здешних нравов. Но некоторые факты и мои собственные исследования в этой области подтверждают самое худшее.

30/01/2015

Мне исполнилось двадцать семь лет. Пора подвести кое-какие итоги. Родился я в тот год, когда рухнул Советский Союз. Я был маленьким ребёнком в это время. Поэтому с меня и спроса нет. Но замечу, что и взрослые из того времени отнюдь не поумнели и не прозрели после подобного эпического события. Большинство занялось мелким бизнесом. Каково же было юноше, подобному мне, преданному науке, саморефлексии и самопознанию? Что мне оставалось, как не прикладная лингвистика? Выучил я худо-бедно теорию и практику нескольких европейских языков. (До сих пор липнут ко мне иностранные языки. Сейчас польский изучаю. Слишком много поляков сюда приехало.) Лёг я на почву со своими дипломами, прижался всем телом к владимирской земле

и занялся разными переводами. Что я только не переводил: инструкции пользования бытовыми приборами, описание оборудования скотобойни, бахвальство производителей итальянской шоколадной пасты, торговые договоры и судебные приговоры. Миллионы зачерствелых, покрытых коростой слов, упакованных и расфасованных, с ярлыками и торговыми марками. Соль и фасоль заняли всё пространство моей маленькой комнаты, и мне стало трудно дышать. Захотелось послушать живую иностранную уличную речь, вместо того чтобы беспрестанно справочники и словари в Интернете листать. К тому же, ты сама знаешь, денег на жизнь во Владимире нашей семье всё равно не хватало. Вот и отправился на заработки за границу. Думал, что научные исследования никуда не убегут, что ими можно везде заниматься. Вот чем это всё закончилось. Письма теперь пишу. И рад тому, что ты находишь их интересными.

02/02/2015

Сегодня мой кабинет посетил афганец Джавад. Он учился в университете в Ташкенте, воевал подростком с душманами на стороне советских войск. Джавад носит европейскую одежду. Почтительно со мной здоровается. С военной выправкой ставит ноги на одной линии, наклоняет вперёд прямое туловище, опускает слегка голову и протягивая мне руку поверх стола. Мне приходится вставать со стула, чтобы дотянуться до его руки со сжатыми пальцами. Ладонь лодочкой — это знак уважения ко мне или конторе, а может, проявление тихого отчаяния. Двое его сыновей пожаловались школьному учителю на суровость отцовского воспитания. Сыновей забрали от родителей и поместили в интернат. Джавад отнёсся к этому недоразумению со стоицизмом афганского коммуниста. Уже второй год пытается с моей помощью добиться встречи с сыновьями. От которой они категорически отказываются. Помнишь, у нашего отца-командира полка был личный водитель? Улыбчивый молчун по имени Володя? Джавад на него очень похож. Такие же тихие огоньки в глазах, такое же открытое мальчишеское лицо. Пусть и изборождённое глубокими морщинами.

Сегодня Джавад был по-особенному возбуждён. Руки его слегка дрожали. Обычно после моего бесплодного телефонного звонка в интернат Джавад кивал головой и покидал мой кабинет. Но в этот раз, словно подчиняясь какому-то закону природы, он остался сидеть на стуле и заговорил со мной. — Я думаю, что моих сыновей рекрутировали и скоро отправят в Сирию. Мулла мечети недалеко от моего дома — известный салафит. Я знаю этого типа ещё по Афганистану. Он был главным душманом в отряде тайманийцев. Получил здесь статус беженца не под своим именем.

Превозмогая навалившуюся усталость и беспомощное раздражение, я предложил Джаваду обратиться в полицию.

— Я туда уже обращался, — тихим голосом сказал Джавад. — Там смотрят на меня бараньими глазами, разводят руками и выпроваживают поскорей на улицу. Сегодня шёл к тебе в кабинет и думал о своей жизни. Никогда и нигде не чувствовал себя таким беспомощным, как в Бельгии. Даже в Афганистане всегда жил надеждой. Помню, анекдоты про талибов друзьям рассказывал. Хочешь один послушать? Я не буду долго тебя задерживать. Итак, какая смерть самая прекрасная? Смерть талиба от дрона. Почему? Не знаешь? Потому что избранная, посланная с небес, мгновенная и... не моя, а моего злейшего врага.

Джавад стоял и глубокомысленно усмехался, словно придумывал продолжение к анекдоту. И действительно, после короткого смеха снова заговорил: — Проходил сегодня мимо школьного футбольного поля. Талибы копошились там, как мыши. Выкапывали ямы и устанавливали в них столбы. Репетировали что-то. Нам всем надо быть начеку.

Вместо ответа я принял за изучать тыльную сторону своих рук, выдержал паузу и назначил встречу с афганцем через две недели.

05/02/2015

Сегодня утром выпал снег. К обеду он растает и смешается с грязью. Но пока ещё мягко поскрипывает под ботинками. Как во Владимире по дороге в университет. Когда думаю об университете, вспоминаю почему-то прежде всего библиотеку и студенческую столовую. Сафьяновые тома Пруста издательства «Плеяда» под замком в стеклянном шкафу. Свою голодную растерянность. Симфонию съедобных запахов, света и яркого макияжа девушек. Затем неизменно вспоминается Лилия Чуйко с её сдержанной всепонимающей улыбкой, скреплённой тонкими губами, и ещё одна сероглазая девушка, на которой я чуть не женился.

Почему я не еду домой? Все мои исследования практически закончены. Никаких остаточных амбиций не наблюдается. Краски вокруг меня блёкнут, звуки становятся привычными, артикуляция неродного языка — стабильной. Нет больше азарта первооткрывателя и никаких исследовательских тайн. Последняя деталь скучно ложится в пазл. Мигранты принимают меня за автохтона. Автохтоны спрашивают дорогу в парке, как у своего.

Наверно, пришло время признаться тебе, что я влюблён в женщину на двадцать лет меня старше. Это небольшого роста француженка из Нормандии. У неё прямая спина, распущенные светло-русые волосы. Тонко вылепленное лицо. Той простой и поразительной красоты, которую многие не ценят и пытаются испошлить. Я признался ей в любви во время нашей второй встречи за столом

конторского кабинета. Она ничего не ответила. Только внимательно, с чуть приоткрытым ртом, прислушивалась к моим словам. Потом мы договоривались о встрече по телефону. И каждый раз она, после моих вопросов, молений и уверений, называла мою любовь безысходной. Она замужем. Состоит в бездетном браке с фламандцем. Она так трогательно спрашивает меня о родителях, о Владимире и о тебе, что мне хочется плакать от счастья. Я бы мог долго писать об этом. Для этого понадобился бы роман. Роман о любви, а эти письма не о том. Они лишь отголоски неравной борьбы вдохновения с повседневностью, наполненной конторой, автохтонами и мигрантами.

10/02/2015

По дороге в контору замечаю, что светать начинает раньше. Зажжённые фары автомобилей уже не слепят глаза. Голоса школьников—детей арабских и африканских мигрантов—приглушены густым молочным туманом.

Мужчина-автохтон пролетарского типа проходит мимо энергичной походкой. В кожаной куртке и с зажжённой сигаретой в зубах. Утро учит смирению. Тому, что надо принимать всё как есть: мигрантов и автохтонов, контору и послеобеденную пустоту. Я захлёбываюсь от собственного благодушия.

Косой Вилли курит у входа в контору. Порывисто подносит телефон к уху, едва кивает мне головой и отворачивается. Он оправился после трёхнедельной мутации. Вышел на работу с починенным панцирем. (Тыквоголовой, наверно, было проще посадить его у нас мелким начальником, чем выгнать зелёного политика из конторы.) В девять утра начинается собрание. Тянется оно медленно и лениво. Собрание, собарание, баранья процессия. Косой Вилли—впервые в роли локального лидера—сидит в кресле. Уткнувшись

косыми глазами в «Самсунг Галакси». Каждый из нас—на своём месте в упряжке. Сопроводители по традиции несут своего лидера на своих плечах, как эмира на паланкине. Первый удар кнута Косого Вилли приходится на меня, переднего левого пристяжного. Стегает он меня с насекомой свирепостью, недолго думая и наотмашь. За то, что я—доморощенный умник-аллохтон—связался поверх его головы с Тыквоголовой. Предложил ей доносить на подозрительных клиентов—потенциальных мусульманских радикалов. Отмечать их фиолетовым цветом в регистрационной клетке. (Это было самовольная инициатива Лули и Файзы.) Взбрыкиваю я всеми своими конечностями и влетаю кулаком в широкое, мягкое, податливое лицо Косого Вилли. Как тот щуплый подросток из школьных времён. Удар получается несильный. Но Косой Вилли падает с паланкина на пол. И остаётся там театрально лежать, дожидаясь прихода полиции. Пытаюсь несколько раз поднять его длинное тело за плечи. Заставить его честно драться. Плюю в лицо этому подлому трусу. Пинаю напоследок пару раз ногой в бок. И покидаю контору, чтобы больше в неё никогда не вернуться.

На день рождения француженка подарила мне открытку. С красным горным перуанским пейзажем. Это единственная страна, куда она хотела бы уехать. В этом она мне недавно призналась. В тот единственный раз, когда она хотя бы в мыслях допустила, что оставит ради меня своего пузатого фламандца. Я готов с ней поехать куда угодно. Я готов умереть рядом с ней в одном бомбоубежище. Думаю, после нескольких месяцев путешествий по перуанским Андам мне удастся уговорить её поехать со мной во Владимир. Она там в университете французский язык сможет преподавать. Лекции о Прусте с кафедры читать. Во Франции Пруст давно никому не нужен. А у нас его с удовольствием почитают.

Александр Матвеевич

Воспет

1.

Предки Николая Кузнецова по материнской линии — вроде так запомнилось ему из обрывков сбивчивого матушкиного устного предания — пришли на дикий берег Иртыша ещё в шестнадцатом веке. Похоже, вскоре после покорения царства Сибирского казачьей дружиной атамана Ермака Тимофеича. А в следующем веке боярский сын, воевода Андрей Дубенский, произведённый позднее в поместные дворяне, со своей ватагой отвоевал у восточносибирских аборигенов не меньшее пространство. И на радостях в Кремль московскому царю Михаилу Фёдоровичу отправил с нарочными грамоту, что, мол, поставил он, Дубенский, со своими людишками государев острог «на яру, месте угожем, высоком и красном».

Тогда же на месте порушенного капища то ли татар-качинцев, то ли енисейских кыргызов, на вершине Кум-тэгей, переименованной на русский манер в Караульную гору, казаки воздвигли деревянную сторожевую вышку. И с неё предупреждали красноярцев о приближении неприятеля и готовности к отражению лютого врага. В начале девятнадцатого века дозорную вышку сменила деревянная часовня как благодарение православному Богу за спасение от басурманов. А в 1855 году на её месте — на средства купца Петра Кузнецова — утвердился поныне здравствующая православная кирпичная часовня Параскевы Пятницы. Она-то и стала, пережив все потрясения и великие перемены, самым известным символом Красноярска и в нашем, двадцать первом веке. С огневой позиции рядом с часовней теперь каждый полдень гремит холостой выхлоп из орудия, напоминая миллиону красноярцев о славной истории предков — в назидаение ныне живущим.

А в те баснословно далёкие времена потомки из рода других Кузнецовых, предков Николая, — согласно упомянутому выше преданию — переместились из Прииртышья в угодие приенисейские места.

О родове с материнской стороны Николай кое-что запомнил. Однако так и не услышал от своей суровой нравом родительницы, какого роду-племени был его настоящий папа. Поскольку, как мрачновато шутили злоязычники, тятя вроде и был, да сплыл. Мама умерла, и не только фамилии,

но и имени своего производителя Коле уже ни у кого не выпытать. Может, это был женатый сосед, и она не хотела травмировать и рушить жизнь его семьи. А может, из вербованных откуда-то с запада: вскружил девке голову, испортил — и, как узнал, что приплод наметился, смылся в неизвестном направлении...

Бывало, прибежит малец с улицы — в слезах, из носа кровь с соплями в рот разинутый бежит — и кричит, задыхаясь:

— Мам, а мам! А за што меня пацаны *подкрапивником* обзывают? И про тебя матерными словами мелют... Где мой папка? Кто он?

Положит мама свою горячую ладонь на стриженую голову сына, ответит с украшенной улыбкой грустью:

— Хороший человек был твой отец. Ты ещё на свет не появился, как он погиб... Крепь, сказывали, в шахте треснула, сломалась. А порода с боков и сверху обрушилась, и камнями его раздавило...

В метрику мама записала сына сначала на свою фамилию — Кузнецов, оставив пустой строчку с реквизитами отца. А прежде чем отрок — случайный или желанный? — созрел для получения школьного образования, она вышла замуж за Владимира Анатольевича Валовича, шахтёра-белоруса, и Коле в результате усыновления выправили другое свидетельство о рождении. А национальность сохранили прежнюю — русский. Так что в школе и потом в Томском политехническом институте, а там и на всю оставшуюся жизнь его ФИО известны как Николай Владимирович Валович.

Однако внешний облик Николая, судя по его дядьям, был казачьих, породистых кузнецовских кровей: рост за сто восемьдесят, в плечах — кося сажён. На них посажена крупная голова, покрытая прямыми русыми волосами. А прочие детали русского мачо — карие, с татарским разрезом и зеленоватым отблеском глаза, горбатый нос умеренной величины, чувственные уста и густая щетина под казацкие усы и бороду — предположительно достались от отца. Нрав же парнишка унаследовал материнский — крутой, неуступчивый, не признающий авторитетов, самодостаточный: жить своим умом и творить многое своими руками. А что касается музыки — лирический,

сентиментальный. И во взаимоотношениях с людьми подход без злобной закваски, справедливый: что заслужил — то и получи...

Отчим в трезвом состоянии проявлял любовь и почти монашеское смирение в подчинении воле жены. Да и к Кольке вроде бы относился по-отечески. А вот после неумеренного приёма медовухи, самогона или монопошки из опилок превращался в неукротимого зверя. Словно сутулый костистый бес с кудлатой головой и стальными зубами возносился из вентиляционного штрека его угольной шахты №13 в наземное пространство, чтобы погоняться по подворью с топором или лопатой за женой и мальчишкой.

В предвидении опасного развития событий мать и сын научились надёжно прятать хозинвентарь в труднодоступные места: в дровянике, в хлеву, на сеновале, в подполье, на чердаке, в бане. А сами нередко проводили ночи у соседей или дальних родственников в тревоге, что их дом вместе с хозяином сгорит от непотушенного окурка.

— Простите вы меня! Виноват, виноват, пьяный дурень! — каялся, бывало, протрезвевший буян. — Рад бы не пить, да работа такая: сегодня жив, а завтра или соришь, или задохнёшься, или раздавит тебя в лаве, как вошь. Спускаешься в шахту каждый раз будто в могилу. Уж и не помню, сколь мужиков только в прошлом году на кладбище закопали и поминки справили...

Хотя истинной подоплёкой аморального поведения беспартийного члена бригады коммунистического труда была примитивная ревность. Коля не раз невольно подслушивал допросы с пристрастием, устраиваемые одурманенным алкоголем правдолюбцем своей жене с применением матерщины и физических следственных действий: кто, мол, являлся Колькиным биологическим отцом?

Ну а Коле, естественно, не хотелось откинуть самому или его маме ласты на-гора — в доме или на дворе — от топора, лома, мотыги, полена мятежно тоскующего ревнивца. Сама фортуна подсказала пацану душеспасительное решение. После трёх месяцев тренинга в боксёрской секции в шахтёрском Доме культуры пятнадцатилетний гладиатор при очередной попытке остервенелого бухарика травмировать его банным ковшом увернулся боксёрским финтом. И мастерски, хуком в челюсть, отправил обнаглевшего агрессора в нокдаун. Чем привёл названного папаню к серьёзному переосмыслению своего дальнейшего некорректного поведения в семье.

Николай же не позволил возобладать гордыне. На следующий день он решительно остановил протрезвевшего главу семьи на кухне. И, глядя ему прямо в глаза, повинился:

— Прости, папа, сам не знаю, как это получилось. Больше не буду!..

Но занятий боксом не бросил и вскоре стал чемпионом района в среднем весе, о чём трубили местные сми — радио и многотиражка «Шахтёрская трибуна». И этим как бы официально подтвердился особый домашний статус восьмиклассника: не вооружён, но весьма опасен!..

2.

Став взрослым и хорошо зарабатывающим инженером, Николай помогал родителям посылками и деньгами, навещал не реже двух раз в год, сознавая, что без шахтёрских рублей отца он бы высшего образования не получил. Своего отношения к отцу не изменил и после смерти матери от инфаркта. Даже тогда, когда вдовец-папа официально женился на соседке-молодухе, по летам годной ему в дочери, большой любительнице крепких напитков с шумными посиделками. Вдобавок, как нащёптывали Николаю доброжелательницы его мачехи при его редких наездах в Анжерку, она и с мужиками своими прежними шуры-муры не завязала. А после тяжкой кончины шахтёра-ветерана от рака желудка всё наследство — дом с подворьем и пятнадцатую сотку земли — по дарственной, оформленной после свадьбы на супругу, досталось ей. Только не в коня корм: в том же году, в многоснежную зиму, все постройки исчезли вместе с козой, овцой, хозяйкой и её собутыльником в предрассветном огне. Шахтёрская пожарка подолгу буксовала, пробиваясь сквозь сугробы, и застала лишь золу да угли и баб с пустыми вёдрами, плачущих над клубящимся прахом.

Однако Николаю Валовичу, не по годам развитому интеллектуально и физически подростку, наибольшую известность принесли не кулаки, а организованный им же школьный ансамбль «Шахтёрские ребята» — на манер «Песняров». В этом коллективе, состоявшем из саксофониста, пианиста и ударника, Коля безоговорочно исполнял три должности — руководителя, солиста и гитариста. И, при всей занятости высоким искусством, сохранял за собой без особого напряжения звание лучшего математика и физика школы, подтверждённое первыми местами на районных и краевых олимпиадах.

Сосредоточье таких дарований в одном вундеркинде не всегда делает их носителя счастливым. Успех сформировал моего героя личностью суверенной, зачастую глухой к мнению окружающих. А первый психологический удар он получил оттуда, откуда менее всего ожидал, — от своей одноклассницы, красавицы Люды. С нею он начал целоваться ещё в шестом классе, и она продолжала, как казалось Коле, расцветать подобно аленькому цветочку благодаря именно его негасимой любви.

От других девчонок у него, боксёра и местного короля тогдашнего рока и шансона, отбоя не было. А он любил только её, свою Людку. Пышноволося, с ясными, словно росой омытыми, голубыми

окнами глаз, излучавшими ласковую доброту, со слегка вздёрнутым носиком и яркими, сладкими, как малина, губами. И рост, и лёгкая фигура её, стройные, с икрами, похожими на греческие амфоры, ноги, звенящий весёлой искренностью голос — словом, всё в ней почти четыре года радовало влюблённого звёздной россыпью совершенства.

Их отношения на природе — на берегу Чулыма, на полянах в тайге — и у неё, и у него дома, когда они оставались одни, — в объятиях и поцелуях не раз воспламенялись до крайней черты. Но он умел остановить себя, не воспользоваться её беспомощностью и страстной готовностью поддаться взаимному блаженству. Пел ей в лунные ночи, глядя в речную даль, под перебор семиструнки есенинские строки:

Я б навеки забыл кабаки
И стихи бы писать забросил,
Только б тонкой касаться руки
И волос твоих цветом в осень.

И обеспечивал неприкосновенность любимой от посягательств конкурентов крепкими кулаками.

А в десятом классе — в последние новогодние каникулы — его Люда уехала в Красноярск, в гости к тётке, вернулась в посёлок с опозданием в школу на два дня словно подменённой, замкнутой и безразличной ко всему. На предложение Коли пойти вместе после уроков резко отвернулась, схватила за руку подвернувшуюся одноклассницу и убежала, навсегда убив в нём веру в женскую верность. Поняв сердцем причину её оскорбительного равнодушия к нему, недавнему самому-самому, он вгорячах с крыльца школы пальнул в спину изменщицы:

— Ну и катись, сучка, колбаской по Малой Спаской! Нужна ты мне, как собаке пятая нога!..

И вечером, в нарушение спортивного режима, впервые в одиночку напился и ночь метался в горячечном кошмаре, пережив, как он в душе и до сих пор уверяет себя, судьбоносные этапы своего многострадального будущего и наяву, и во сне.

В том вещем сне присутствовал некто невидимый, зловещий, укрытый от зрительного восприятия то ли облаком, то ли туманом. И себя Николай угадывал, словно на чёрно-белом экране, почти неразличимым контуром, продиравшимся сквозь толпу одетых и голых женщин, уголовников и «мусоров», музыкантов с трубами, скрипками, гитарами. Он в полном безмолвье что-то судорожно выискивал, сам не зная что. В какое-то мгновение вырвался из-под стола или из-за кулис сначала в цех, похожий на адский вертеп. И очень удивился, что в тот же миг оказался в детсаду или в детском доме, где стал искать своих детей. Их, он точно помнил, у него уже родилось трое. Только он забыл своих ребятишек — их имена и лица и в чём они были одеты. Охваченный паническим

страхом, что никогда их не найдёт и не защитит, не обнимет и не научит петь и играть на гитаре, он просыпался в испарине, чтобы тут же раствориться в прежнем дурмане безысходности...

3.

Утром, в субботу, он сказал матери, что заболел и не пойдёт в школу. А в понедельник явился в класс не бледным Пьеро, а свободным от прежних любовных пут победителем. И если раньше на танцевальных вечерах в местном и сельских клубах, куда приглашали их ансамбль, Николай оставался верным и неприступным кавалером, то теперь он, навсегда вычеркнув из сердца первую любовь — она стала для него несуществующей тенью, — легко сходил и расходился с мало-мальски отвечающими его вкусу чувихами. Включая и тех, кто охотно позволял сотворять с ними развратные действия сексуального характера.

Медаль за окончание школы он не получил только из-за невлюбившей его мстительной старой девы математички, хотя и признавался лучшим в выпуске физиком и математиком по результатам конкурсов на разных уровнях — школьных, районных, краевых. Заслуженной награды лишился из-за того, что не прогибался, подобно многим, под взглядом и окриками учительницы и на устном выпускном экзамене формулу объёма шара вывел не по учебнику, а им самим выдуманным рациональным путём, за что и получил четвёрку. Хотя всеми уважаемый преподаватель-ассистент слушал его ответ и настаивал на пятёрке, но директор школы разрешил конфликт в пользу формалистики.

А через двадцать лет — на встрече одноклассников в родной школе — Николай был единственным, кто преподнёс роскошный букет своей обидчице и расцеловал растроганную его чуткостью и незлобностью училку-старушку, лишившую его награды.

В тот же юбилейный день изображала себя весёлой и счастливой Людмила, его первая любовь. От её былой красоты остался слабый намёк, и он про себя усомнился, была ли она, ныне расплывшаяся и краснолицая тридцативосьмилетняя бабёнка с мешками под глазами, двадцать лет назад самой красивой и привлекательной. А когда они, уже изрядно выпившими, уединились от толпы и оказались в пустом классе, она легко отдалась ему на учительском столе. И потом, судорожно натягивая на увядшие прелести дамские одёжки, плакала в запоздалом раскаянии в своём давнем легкомыслии. И сквозь всхлипывания жаловалась на погубленную жизнь:

— Если бы ты, Коля знал, как я жалею до сих пор, что тебя потеряла!.. После школы поехала в Красноярск, в мединститут по баллам не прошла, но в медучилище с ними приняли. От женатика, из-за которого я с тобой рассталась,

тогда же забеременела. Запаниковала, конечно, сделала аборт у знахарки, чуть не умерла и навсегда осталась бесплодной. На следующий год, на каникулах, вышла замуж за здешнего, из Анжерки, шахтёра. Жили неважно. Больше, правда, из-за меня: не любила его!.. Семь лет назад он погиб. Глупо и страшно! Пустую вагонетку закатывал в клеть на верхнем дворе. А клеть вдруг пошла вниз. Блокировка не сработала, и вагонетка утянула за собой моего мужика в шахтный ствол. Хоронили мешок с костями в закрытом гробу... В мединститут поступать больше не пыталась. Так вот и работаю патронажной сестрой, бегая по домам с неходячими стариками. А живём вдвоём с мамой, поэтому и к себе пригласить тебя на ночь не могу. ..

4.

Ещё в девятом классе, после победы на олимпиаде по физике в новосибирском Академгородке, Колю завлекли к поступлению на физмат в престижный университет без экзаменов и искушали будущей карьерой учёного в Академии наук. Только до Новосибирска от Анжерки было далеко. Денег у семьи не хватало бы на проезд и помощь студенту огородными продуктами на время пятилетней учёбы. На одну стипендию не разбежишься: и одежду, и питание, и многое другое «стипой» не покроешь.

На престижную в то время специальность инженера—электропривод и автоматизация производства—все предметы, кроме английского, Николай сдал на «отлично» в Красноярском политехе и все пять курсов учился легко, без единого завала. Да ещё и ухитрился хорошо подрабатывать ремонтом домашних телевизоров, транзисторов, магнитофонов. И, уже в первом семестре сколотив из подобных ему фанов джаз-банду по образцу прежней школьной, он продолжал совершенствоваться в пенье шлягеров семидесятых годов из репертуара Магомаева, Гуляева, Галича, Высоцкого. И даже парочку хитов Джона Леннона и Поля Маккартни разучил с пластинок недавно распавшегося «Битлза».

На последнем курсе он женился на красивой и умной девушке с экономического факультета—не по большой любви, а по наитию: пришёл, увидел, охмурил. Думал, что после того первого разочарования пустоту в сердце никогда не заполнить, не залечить. Комсомольская свадьба прошла весело, шумно, без потасовок. И с подарком молодожёнам от райкома влксм—комнаты-восьмиметровки в институтском общежитии. С застывшей в её окне живой картине: Енисей и его правый берег с горбатым Токмаком и скрытыми за горами, покрытыми тайгой, знаменитыми «Столбами».

Через пару месяцев—ещё до получения дипломов—их сосватал обещаниями урючного рая весёлый узбек-вербовщик распределиться в его республику, в Фергану, на стекольный завод. Там

требовались специалисты для автоматизации цехов и технологических переделов. Подкупило главное искушение: красноярскую парочку с вокзала доставят в меблированную двухкомнатную квартиру в новом доме, недавно построенном заводом.

Так оно и случилось, как в сказке, ставшей былью: квартира на пятом этаже, фруктов и овощей на базарах хоть завались, а воздух напитан неведомыми красноярцам ароматами шашлыка и люля-кебаба из смеси фарша курятины и баранины. Хотя на всех хватало с избытком и менее приятных парфюмов города—смеси газов от нефтепереработки и химических предприятий, производивших азотные удобрения, химволокно, пластмассу, нефтепродукты.

На заводе Николай Владимирович оказался первым и единственным инженером-автоматчиком. И посему его сразу посадили в кресло начальника учреждённого под него цеха кппА—контрольно-измерительных приборов и автоматики—с предоставлением карт-бланша: «Автоматизируй что и как хошь!» Конечно, по составленным им самим плану и сметам, утверждённым директором. Автоматики до его появления на предприятии отродясь не бывало, но в тот год цк КПСС как раз провозгласил НТР—научно-техническую революцию, и Колин план прозвучал в унисон с современностью, словно глас Божий. Для узбеков—директора и главного инженера завода—Николай автоматически стал кем-то вроде посланника Аллаха. По его просьбе в его распоряжение из электроремонтного цеха перевели трёх лучших электрослесарей и двух слаботочников-связистов с повышением разрядов и прибавкой зарплат. В результате авторитет начальника априори, до получения конкретных результатов его прогрессивного начинания, утвердился, а вскоре и подтвердился его мудрым руководством.

Жену Николая тоже не обидели: в штатном расписании заводоуправления для неё придумали строчку инженера-экономиста по сбору данных в цехах для ежемесячного подведения итогов социалистического соревнования между подразделениями. Впрочем, она уже была беременна, родила дочку, но во времена развитого социализма декретные отпуска были краткими—по два месяца до родов и после них,—зато завод имел свои ясли и детсад, так что существенных материальных потерь семья не претерпела. А за успешное перевыполнение плана внедрения автоматики и электронных приборов в цехах и получение грамоты от министерства и приложенной к ней денежной премии счастливый директор завода, по согласованию с завкомом, отвалил Николаю два месячных оклада и вручил талон на внеочередную покупку мотоцикла «Иж-Юпитер» с коляской цвета «рубин».

5.

Этому инопланетарному чуду техники было суждено сыграть в судьбе Николая Валовича роковую роль.

Его закадычный друг Дима Романов — тоже краснорец, киповец и саксофонист — приехал в Фергану на год позднее Николая, после окончания того же факультета политеха. С Димой производственные дела в цехе пошли ещё успешней, а музыкальная группа под руководством солиста-гитариста Николая Валовича в заводском Доме культуры заработала на полную катушку.

И тут в Первомайские праздники друзьям взбрело поздно вечером поехать к родичам их узбекского приятеля в кишлак — поесть бараньих шашлыков, попить кумыса и, лёжа на коврах за дастарханом послушать, как Карим играет на узбекском бубне — дойре. Дима уселся за спиной Николая, а Карим — втиснулся в коляску. На загородной узкой дороге, в десятке километров от Ферганы, их ослепил фарами встречный грузовик, ведомый, как потом оказалось, старым шофёром-киргизом. Если бы этот ветеран вёл проклятую «лайбу» по своей полосе дороги, то никакого ДТП не случилось бы. А он невозмутимо шпарил на всех парах посередине пути, и Николаю ничего не оставалось, как резко отвернуть свой рубиновый байк вправо. Который — шайтан его поberi! — передним колесом наткнулся на оставленную ремонтниками на обочине груды песка с гравием. И его резко отбросило на поцелуй с бампером и радиатором пятитонного зил-130.

В этой трагедии русских седоков, Николая и Диму, Бог помиловал, выбросив в кювет слева — прочь от колёс грузовика. А безгрешного узбека Карима Аллах позвал к себе: зажатый смятой жестью на сиденье в коляске, он умер до приезда гаишников и скорой.

Советские суд и защита были скорыми и не самыми справедливыми. Процесс проходил на узбекском языке. Из корявого письменного перевода решения суда на русский Николай понял только то, что незлонамеренного преступника — шофёра-киргиза, фронтовика-орденоносца — оправдали и отпустили пить кумыс и жевать шашлыки стальными зубами. А вот для Николая Валовича игра плохая вышла... Законы святы, да только судьи вот лихие супостаты. Для них весы Фемиды — смешное изобретение мифологии в их пользу. Гораздо удобней дружба закона с дышлом... Даже мать и отец погибшего Карима верили в невиновность Николая и просили суд простить его. Только их голос приравнялся к впустую вопиющим в пустыне, прозвучав не громче писка. И Николай Валовича, двадцатичетырёхлетнего отца полуторагодовалой дочки, на пять лет отправили по этапу в Туркмению, в Джанкой.

6.

Туркменский Джанкой был неким советским южным Магаданом для водителей — профи и владельцев личных легковушек и мотоциклов — всех пятнадцати союзных республик СССР, приговорённых к отбыванию сроков за нарушение правил дорожного движения с тяжёлыми последствиями. Некоторым из этих эзков, имевшим высшее образование и опыт работы с людьми, присваивали звание воспитателей для превращения малолетних преступников в благонадёжных строителей коммунизма, томящихся в джанкойской колонии за бродяжничество, воровство, грабёж, убийство, изнасилование, проституцию. За такими воспитателями-эзками утвердилась и соответствующая кликуха: *воспет*. При хорошей работе на производстве и добровольном выполнении общественной нагрузки *воспета* сидельцу шли зачёты, и он мог выйти на свободу вдвое быстрее.

За три месяца отсидки в пересыльной тюрьме после приговора суда Николаю, не знавшему кодекса строителя коммунизма, повезло усвоить кодекс эзка от общительного, озорного сокамерника-армянина, своего сверстника. Похожий на кудрявого грача непоседливый паренёк тянул второй срок за мошенничество. В паре с таким же ловкачом-кудесником они обирали лохов-курортников игрой в карты, нарды, шашки и шахматы на черноморских пляжах Кавказа и Крыма.

Поэтому, когда Николай, желая получить сокращение срока, впервые появился в звании *воспета* в камере девяти малолеток, от которых его предшественник, несмотря на обещанные льготы, отказался, он устроенный ими приёмный экзамен на знание тюремной конституции прошёл без единой ошибки. После чего авторитет его в глазах подростков, карманников, домушников и угонщиков автотранспорта, утвердился безоговорочно. А прежде чем решиться на карьеру *воспета*, он на спор с заместителем начальника колонии по производству, гонористым туркменом, в пятнадцатидневный срок автоматизировал загрузку семи вагонов из бункеров цементного завода. В качестве компенсации выигрыша он получил от недоверчивого оппонента по ящичку вина и коньяка с местного винзавода. После распятия этого дара судьбы в компании с администрацией тюрьмы отношения с её первыми лицами у Николая установились куда с добром!..

Артистический талант Николаю тоже пригодился. С товарищем по несчастью, московским музыкантом-композитором, сбившим бампером своей «Волги» девушку на «зебре» улицы Герцена московского Садового кольца, они — конечно, с позволения начальства — собрали и наполнили патристическим и лирическим репертуаром такой музыкальный ансамбль, что слава о нём прогремела по всем местам заключения Средней Азии.

А в один из Дней милиции они выступили со сцены драмтеатра перед областной элитой «мусоров», и за кулисами им накрыли стол со спиртным и закусками.

Растроганный начальник колонии, полковник, на следующий день после этого концерта приказал привести Николая в свой кабинет, предложил сесть. Произнёс с пафосом:

— Много слышан о тебе хорошего, Валович!.. Во всём ты первый: в работе, в воспитании малолеток, в самостоятельности тоже. Сейчас же бы, будь моя власть, отпустил тебя на волю! Подавай заявление на досрочку — поддержку. А с женой хочешь поведаться? Вызывай её и отдохни с ней неделю хоть на курорте. В Мургабском оазисе, например: там у меня директор курорта Байрамали — близкий друг. Не пожалеешь!..

— Спасибо, гражданин полковник! Не сможет она надолго: дочка маленькая, недавно от куриных яиц сальмонеллёз перенесла... Если бы вот с ней дня два-три в городской гостинице отдохнуть?

— Да ради Бога! Вызывай!..

И зачёты за вдохновенный труд во имя скорейшего построения коммунизма посыпались в зачётную копилку как из рога изобилия. Так что в зёках Николай пробыл на две недели короче половины определённого судом пятилетнего срока.

Вернулся Валович в Фергану и, может, работал бы там до выхода на пенсию, если бы не перестройка и не ферганская резня, разразившаяся двадцать девятого мая восемьдесят девятого года — в эпоху горбачёвской перестройки — в Ферганской области. Эта бойня охватила весь Узбекистан, включая даже столичный Ташкент. Тогда в качестве первых жертв узбеки избрали турок-месхетинцев. Их сотнями, а потом и тысячами пьяные от спиртного и пролитой крови толпы аборигенов избивали, кололи, изгоняли из домов и мест поселения, насиловали, рубили, сжигали. Вскоре очередь дошла и до русских, украинцев, евреев — словом, всех не узбеков. Лозунги потомков басмачей, вооружённых ножами, топорами, металлическими прутьями и трубами, звучали красноречиво: «Зарежем русских!», «Русские, уезжайте в свою Россию, а крымские татары — в Крым!». Чем тебе не сегодняшние Сирия, Ирак, игил или Турция, истребляющая курдов и финансирующая радикальных исламистов?..

Николай упираться реалиям, взорвавшим иллюзию блаженного восточного возлжания на коврах с пиалой зелёного чая, не стал и срочно отправил семью в Красноярск, к родственникам жены. Сам какое-то время, пока не приутихли страсти, перекаптался в доме друга-узбека, недавно разведённого со второй женой начальника химлаборатории, — за глинобитным дувалом его пригородного дома. Пили вино и водку, набивая животы пловом по-фергански, лагманом с зирой,

бараньими шашлыками и люля-кебабами. Подолгу сидели или лежали на коврах за сервированным мясными, овощными и фруктовыми блюдами достарханом, расстеленном на помосте на сваях над арыком. Студёная вода с мелькавшими в ней мальками струилась в бетонном жёлобе посреди владения спасителя. Иногда гадали о причинах ферганской заварухи.

Мнение автохтона на сей счёт для Николая звучало наиболее убедительно:

— Тебе, Коля, в наших делах не разобраться. Помнишь, как в кино: Восток — дело тонкое?.. Ты же не знаешь, что в Коканде прошло собрание делегатов-мусульман всего Узбекистана. Мне об этом по секрету один из участников прошептал: националисты там предлагали учредить у нас исламскую республику. А турки-месхетинцы от этой авантюры отказались, и их начали уничтожать... Ты, конечно, листовки на стенах видел?

— Видел!.. Так они все на узбекском, кто их поймёт?

— Кому надо — поняли! Какой-то «Союз узбеков» их сочинил и расклеил. Вот одну писульку сохранил и тебе переведу: «Убивайте турок, иначе будете наказаны! Оказывайте помощь поджигателям! Юноши, собирайтесь в ударные отряды. Если хоть один из вас останется дома и не будет действовать, забейте труса камнями. Сегодня, по благословению Аллаха, загорятся дома турок!» А подпись: «Союз узбеков». Тебе, Коля, повезло, что я туда не записался...

— И мне глотку не перерезал?

— И даже обрезания не сделал! Давай за это и накати...

Выпили — и друга потянуло на политику и философские обобщения:

— Всякие социальные заварухи возникают на бытовом уровне... Вот вы, русские, понаехали к нам — и пошло: всеобщее образование, для карьеры нужно хорошее владение русским языком, индустриализация и прочая хрень. А узбеки — в основном дехкане с мотыгой и торгаши с весами. Им не до высоких материй. Им бы на калым заработать и гаремом обзавестись. Советская власть мечту о гареме украла, запретила, а взамен предложила горбатиться на государство на колхозных хлопковых плантациях за гроши... Вы нас называете чуреками, чурками, урюками, обезьянами, черножопыми. Приучили водку пить, материться, в Аллаха не верить. Какая уж тут дружба народов?.. А местные секретари партии, председатели разные — исполкомов, колхозов, директора совхозов, заводов — хуже всяких баев: процветают на воровстве и взятках. Чуть кто залупился — в свою подземную тюрьму, *зиндан*, гнить кинут. Или продажные суды засудят и в Россию по этапу на нары отправят... Ладно, мне повезло: отца в Верховный Совет Союза избрали,

он в Москве оказался, я мифи окончил. В Москве не прижился, вернулся на родину, в этот дедовский дом. Теперь узбекский заново осваиваю: забыл и чуть лучше тебя знаю...

Только потом, после бесед у арыка, после усмирения милицией и военными толпы и арестов зачинщиков, друзья, выйдя на работу, слушали рассказы знакомых заводчан об убитых, избитых и ограбленных знакомых и незнакомых людях. А милиция и кагэбэшники и у них на заводе арестовали несколько молодых узбеков за изготовление в ремонтном цехе пик из арматуры, самодельных бомб и бутылок с зажигательной смесью для вооружения исламистов.

Квартиру Валовичей в заводском доме, обжитом в основном лояльно настроенными к ним узбеками, путчисты не тронули. Да в ней, кроме бросовой мебели, ничего и не осталось: жена всё ценное успела багажом отправить в Красноярск. После усмирения погромов вернуться в Фергану она наотрез отказалась. Через знакомых нашла мужу работу в Красноярске — старшим мастером на шиферном комбинате. Оттуда пришло официальное приглашение о согласованном переводе, и Николай, сдав по акту жильё в ЖК завода, улетел в Сибирь.

7.

Поначалу жизнь на родине Николаю пошла не в жилу: начались раздоры с женой. А на заводе он сразу себя показал. Вник в технологию изготовления шифера и предложил автоматизировать получение исходного раствора с точным соотношением пропорций цемента и асбеста и равномерным распределением асбестовых волокон в цементном растворе. Температурный режим получения листового шифера тоже автоматизировал. А потом взялся за внедрение производства волнообразного шифера на купленном в Швеции оборудовании. Продукция завода уходила влёт, и директор не знал, куда прятать сверхприбыли, а главное — свою личную зарплату.

Когда в девяностых началась приватизация госпредприятий, он ухитрился заполучить контрольный пакет акций, и дело дошло до забастовки из-за резкого падения зарплат рабочих и служащих. Николай встал на сторону бастующих, и его избрали председателем комитета бунтарей. Забастовщики выиграли, а директор предложил Валовичу уволиться по собственному желанию с должности главного технолога.

К тому же он попался на сексуальной связи с начальницей заводской лаборатории, подвергся нападению её ревнивого мужа. И в результате рогоносец пострадал не только морально, но и физически: от апперкота угодил в неотложку с трещиной в челюсти. Благо нашлись двое свидетелей схватки, подтвердившие, что ревнивца

кинул на Николая с ножом, и дело кончилось по согласию сторон миром. А то следствие уже уцепилось за криминальное прошлое Николая и взяло с него подписку о невыезде.

А вот из своей квартиры ему пришлось выехать по собственному желанию из-за постоянных скандалов с женой. В газете ему попало объявление, что строящемуся кирпичному заводу нужны специалисты. В беседе с директором-кирпичником выяснилось, что он давний недруг прежнего шефа Николая, и сразу же предложил ему стать главным инженером.

С пониманием отнёсся новый директор, а в недавнем прошлом — партаппаратчик районного масштаба, и к личным заботам просителя: временно занять комнату в заводской гостинице на первом этаже жилого дома. Гостиница имела всего три номера, кухню и столовую на шесть персон и предназначалась для командированных на завод специалистов испанской фирмы «Ажемак». Она закупала и поставляла на завод оборудование и присылала спецов для его наладки и пуска в эксплуатацию.

В строительстве и в производстве новый хозяин, окончивший когда-то ВПШ, конечно, ни хрена не петрил, и потому Николай автоматом получил карт-бланш на все действия по части распоряжения персоналом, управления материальными ресурсами и ходом работ. И даже право подписи на банковских документах. Он и кадрами распоряжался по своему хотению. Путём аналитических умозаключений уличил переводчицу в производственном шпионаже в пользу «Ажемака». Призвал её к ответу в свой кабинет и высказал в не очень корректной форме дамочке, неразборчиво вступавшей с приезжими испанцами в интимные связи, всё, что о ней думал. Да так, что она в изумлении и возразить ничем не смогла проникательному *воспету*. В тот же день он распорядился шпионку рассчитать и отправил гулять за ворота фабрики. А на её место принял с испытательным сроком пенсионера, овладевшего испанским за два года работы инженером на никелевом комбинате. Испанцам этот переводчик понравился, а для самого Николая он незаметно превратился, несмотря на разницу возрастов, в друга и советника по работе и житейским делам.

8.

Один известный мэн с легендарным бандитским прошлым, накопивший капитал для ухода в легальный бизнес, сделал Николаю Владимировичу лестное предложение: возглавить строительство завода кафельной плитки по испанской технологии в умирающем малом городе Кедроборске. А по окончании строительства навсегда утвердиться директором-совладельцем этого перла сибирской индустрии. И зарплату для начала

разочаровавшийся в бандитизме олигарх положил Николаю для конца девяностых неплохую: два «куска» баксов в месяц. Экономия фонда зарплаты априори обеспечивалась тем, что директор отказался от введения в штат должности главного инженера и других заместителей, взвалив всю ответственность и обязанности на себя как всевластного единоначальника.

Николай ознакомился с проектом завода, предложил его авторам внести коррективы, и работа закипела с не меньшим энтузиазмом, чем на стройках коммунизма. Весной экскаваторы и бульдозеры вырыли чудовищный котлован, в него уложили железобетонные блоки, а к зиме на этом фундаменте выросло сверкающее дюралевыми утеплёнными сандвичами, навешенными и закреплёнными на стальные колонны и фермы, здание.

В городке царили повальная безработица и — как следствие безысходности — беспробудное пьянство с потреблением убойного алкоголя: палёнки, стеклоочистителя, сивушного самогона. Очередь в отдел кадров на приём образовалась огромная, а вскоре последовала на оформление такая же в обратном направлении — на увольнение за прогулы, пьянку на работе, воровство. От двух секретарш он тоже избавился: после нескольких ночей неформального общения с ними они потребовали повышения зарплаты и повели себя с персоналом как фаворитки-помпадурши.

А на третью, недавнюю студентку Анну, вернувшуюся из Англии после полугодового совершенствования языка в каком-то университете, он с первого взгляда безнадежно запал сам. После кастинга принял на учреждённую им самим должность референта-переводчика — и для него воскресли вновь и божество, и вдохновение, и т. д., и т. п. К работе её не придерёшься, словно она родилась секретаршей высшего ранга. А президент испанской подрядной фирмы владел английским и после первого телефонного делового разговора Николая с ним, перебиваемого секретаршей для двухстороннего перевода, стал звонить чуть ли не каждый день, чтобы спросить что-то у Николая и потом полчаса болтать с девушкой на непонятные ему темы. Но выгонять её за промпшионаж, если бы таковой и обнаружился, он бы не смог. Стоило ей пошутить, что он бы выглядел моложе, если бы сбрил усы, и Николай на следующее утро явился гладко побритым и коротко постриженным.

Атаки директора на неприступную референтшу захлёбывались около полугода. Анна спокойно, как должное, принимала разнообразные формы ухода босса, как-то: цветы, приглашения в кафе и рестораны, участие в пирушках и корпоративах по случаю дней рождения сослуживцев, приёмов и проводов испанских специалистов из Игуалады. Русские поначалу ожидали, что все испанцы бацают на гитарах, бряцают кастаньетами,

завывают серенады и сливаются в экстазе, отплясывая фламенко, муньэйру или пасодобль. А в реальности они оказались такими же негодными гармонистами, исполнителями «Вдоль по Питерской» или «Калинки-малинки» и плясунами барыни, цыганочки, яблочка, как и мы, русские.

Однако что касается песни, сеньор *Николаас*, как называли его испанские гости, Сибирь не посрамил. Под шестиструнку, купленную им в двухнедельной командировке в Испанию, он выдавал подпившей публике — наряду со старыми и новыми шлягерами — и любимую всем цивилизованным миром «*Bésame mucho*». Он разучил её на испанском языке с помощью старого переводчика в девяносто пятом году, на прежней работе главным инженером завода по производству кирпича и керамической плитки.

И зря бард так напрягался: при первом же объяснении Анна призналась, что полюбила его чуть ли не с первого взгляда. А когда отдала ему самое дорогое, он пришёл в искреннее изумление: оказывается, сексуальная революция в России окончательной победы не одержала, и есть ещё девушки в русских селениях! Поэтому, как честный плейбой, предложил мисс Анне стать его миссис.

Оформление женитьбы через загс затянул бракоразводный процесс с его первой женой: она потребовала раздела имущества. Хотя он ни на что не претендовал, кроме своей десятилетней праворульной «Тойоты» и однокомнатной квартиры, полученной и приватизированной им уже в состоянии соломенного вдовца. По суду он с этим нажитым добром и скарбом остался. А через месяц устроил свадьбу в приличном кафе, где дозволялось обойтись своим, купленным вдвое дешевле в магазине, спиртным.

9.

И вся жизнь молодожёнов потекла, как в песне Долматовского и Милютин, по весенним законам, когда от любви не уйти никуда-никуда. Николай работал то директором, то главным инженером на разных производствах на нуворишей капиталистической контрреволюции и в Красноярске, и вдалеке от него. Зато Анна после мытарств по чиновничьим лабиринтам получила свидетельство и стала директрисой частного образовательного центра иностранных языков. Остатки сбережений потратила на аренду трёх смежных комнат в доходном доме, набрала штат из знакомых и незнакомых знатоков инородной речи, а по объявлениям в Интернете — учеников разных полов и возрастов. Интенсивно использовала свои административные способности как директрисы, на знание иностранного для преподавания и работы толмачом при сопровождении ненадолго спорадически появляющихся в городе иностранцев с Запада, как правило, из Штатов, Англии, Германии.

В летние каникулы возила детей толстосумов в Англию для обучения их натуральному English'y и пополнения домашнего бюджета.

Пока верх не взял материнский инстинкт: репродуктивный возраст Анны подходил к опасному лимиту, и гамлетовский вопрос: «to be or not to be» ей мамой,—мог обернуться для женщины пожизненным сожалением. И поэтому, когда она—вопреки предсказанному медиками бесплодию—наконец-то «залетела», то необычайно возрадовалась—не меньше, чем библейская Елисавета, забеременевшая Иоанном Крестителем от священника Захария, когда им было по семьдесят лет. Захарий, правда, от такой прихоти судьбы, не поверив милости Божьей, как известно, аж онемел!..

Да и Николай от неожиданности надолго перестал петь под гитару! Поскольку этот момент их семейной саги совпал с уходом творца зародыша новожителя планеты на заслуженный отдых и отсутствием директорского кресла под его пятой точкой. Будущее способного на размножение, но безработного пенсионера-папаша без банковского капитала его чрезвычайно опечалило. Однако тридцатипятилетняя потенциальная роженица после стоически перенесённого токсикоза нежно поглаживала свой «арбузик». А гинеколога посетила только для определения пола существа, идущего в неопределённое будущее своего земного существования одного из семи миллиардов представителей Homo sapiens.

Первая врач, узнав о возрасте потенциальной роженицы и разнице в четверть века с её мужем, изобразила всем своим существом панику:

— Да зачем вам, дорогая моя, рожать?! Да ещё и с мужем у вас такая разница в возрасте... Вы же здоровьем рискуете—и своим, и ребёнка. Вам обязательно в живот укол надо сделать! Пусть и дорогой, но он стопроцентно гарантирует...

От гарантий стопроцентного убийства Анна отказалась: в платных поликлиниках какие угодно процедуры ради хрустящих «бабулек» норовят впарить!

Однако другая врач никаких подвохов в намерении пациентки идти по пути естественного размножения не прогнозировала и посоветовала смело рожать.

Ультразвуковое исследование предсказало: под сердцем Анны набирался сил и веса мальчик!..

Это известие Анну сначала сильно огорчило: она так мечтала родить девочку!—ангельское существо, повторяющее её во всём. Наглядное продолжение—физическое и духовное—от зарождения до самой смерти.

Известие о предопределённом свыше появлении на свет очередного наследника Николая сначала ввергло в пессимистическое настроение, весьма естественное для неработающего пенсионера. Его дочь и сын сработали почти синхронно с отцом и тоже ждали прибавления своих семейств. Что означало, что скоро он превратится в отца троих детей и деда пятерых внуков. А если у них родятся двойни?—радости полные штаны!.. Даже путинский материнский капитал казался некой насмешкой над его, Н. В. Валовича, горемычным будущим проживания в однокомнатной квартире и униженного существования пусть и на заслуженную, но смешную в рублёвом выражении пенсию за сорокалетний вольный и подневольный труд на благо советских партсовбоссов и нынешних нуворишей и олигархов.

Однако судьбы свершился приговор! Обыкновенный для кого-то и необычайный для описываемой пары и их производного существа. Человек родился, и Николай на пару лет стал *воспетом* для своего Алёшки. Роль няньки он выполнял так же добросовестно, как и всё, что делал раньше и как семьянин, и как инженер, директор или зэк в узбекской тюрьме и туркменском трудовом лагере.

...Вчера они втроём посетили нас на даче: Николай, Анна и трёхлетний Лёшка. Всё устаканилось: Валович вновь на коне с высокой должностью замгендиректора энергокомпании и соответствующей зарплатой. С сыном водится добрая приходящая няня с почасовой оплатой. Россия, как всегда, переживает временные трудности: кризис, санкции западных стран, повышение потребительских цен и взлёт боевого патриотизма и производства вооружений. А мы пьём на лужайке в саду пока разрешённый не для продажи и потому легальный самогон, закусывая чем Бог послал. И радостно смотреть, как Лёша барахтается и повизгивает на траве в унисон с чёрным спанием Джеком. А Николай берёт гитару и чудным голосом поёт шлягеры прошлых и текущих лет с верой в светлое будущее России, а может, и своей семьи как её ячейки на берегу Енисея.

Дмитрий Косяков

Что случилось?

Окончание. Начало в № 6/2015

Глава 12

Что случилось с Васенькой?

Давно же он не был в этих местах! Гранин глубоко вздохнул, вместе с влажным воздухом вбирая в себя воспоминания. Он шагал по неровной, заваленной осенним золотом дороге, огибал лужи и прислушивался к собственной душе. В этот час в этой части города людей и машин совсем немного. Всё кажется ему теперь маленьким, игрушечным, будто он случайно забрёл в декорации детского утренника. Такое чувство, что всё это было тысячу лет назад... Отчего же так сильно бьётся сердце? Разве ему не всё равно? А вот и автобусная остановка — та гавань, из которой они отправлялись в вольное плавание. Стоило только дожидаться автобуса, чтобы скрыться от бдительного ока мамы и бабушки, и тогда уже никто над ними не властен, тогда он становился отважным капитаном, а она невольно склонялась к нему как к единственной опоре в бурном океане жизни. На этом углу он таился, как разбойник, и пристально вглядывался в конец улицы: не мелькнёт ли в серой дали голубое платьице? Он мог минутами, часами всматриваться в шевеление цветковых пятен на рубеже, до которого достигало зрение, вместе с каждой фигуркой пешехода обретать и терять надежду...

А это — небольшое деревце сирени. Даже теперь, осенью, оно кажется ему цветущим, потому что под этим деревцем она воображаемым мечом посвятила его в рыцари.

Он приближается к дому. Дом всё тот же, только выкрашен со стороны улицы в ядовито-салатовый цвет. Зачем они совершили это кощунство над его памятью? Неужели только для того единственного раза, когда президентский кортеж под истерический вой сирен испуганно пронёсся по улочке из центра в загородный пансионат? Зато фасад, двор, деревья — всё осталось прежним, словно он действительно попал в прошлое. Гранин проник в подъезд, глазами узнавая стены, рукой вспоминая шероховатость расшатанных перил, а ногами — высоту и округлость ступеней. Гранин задумчиво остановился на лестнице: он почти ощущал, как перевоплощается в мальчишку, который простаивал целые вечера в своём почётном карауле под

окном любимой девочки. Он посмотрел на дворик сквозь мутное стекло; подошёл к заветной красной двери, обитой кожей; прислушался. Почему-то ему обычно казалось, что такая дверь должна вести в зал игровых автоматов, где в тёмном помещении раздаются электронные мелодии, мигают лампочки и лица игроков искажены азартом. Каждый надеется получить баснословный приз, истратив несколько мелких монет, каждый надеется обыграть другого.

Неожиданно наверху раздался стук шагов, и Гранин машинально нажал на кнопку звонка. Понимая звук, напоминающий звяканье монетки. Открывшая ему Алина Авангардовна удивлённо и радостно всплеснула руками. На ней был всё тот же мешковатый, застиранный до серости халат и огромные очки.

— Это вы! — воскликнула она, но Гранин приложил палец к губам и глазами спросил её, дома ли Танечка.

Она с пониманием улыбнулась и указала ему на бабушкину комнату, в которой играл телевизор. Гранин по возможности бесшумно разделся и прошёл в комнату, набитую старой советской мебелью. Шторы, как всегда, задернуты, главным источником света в полутёмном пространстве служил огромный мерцающий экран, бросавший блики на полировку и посуду в серванте. Вещи, сувениры, и среди них на бабушкиной лежанке, подтянув колени к подбородку, сидит Танечка. Её бледное лицо кажется фиолетовым и мёртвым, как и у всякого человека, глядящего в телевизионный или компьютерный экран. Она одета в кофточку и длинную юбку, из-под которой торчат её длинные узкие ступни. В чёрных глазах отражается телевизионный мир. Она обхватила ноги голыми тонкими руками, на которых виден русый пушок. Гранин всматривается сбоку в бесконечно знакомое и бесконечно чужое лицо.

Он долго не решался окликнуть её. Алина Авангардовна тактично оставалась на кухне. Впрочем, возможно, его задумчивое созерцание продолжалось считанные секунды. Но Танечка вдруг сама заметила его. Она повернулась к нему, и сначала перед её глазами ещё мелькали телеобразы, а потом они рассеялись, и Танечка узнала Гранина.

Не произнося ни слова, она вскочила со своего места, бросилась к нему, обвила его шею руками и крепко-крепко прижалась к его груди. Гранин положил ладони ей на плечи, не зная, отстранить девушку или притянуть к себе. На мгновение в его сердце шевельнулось сладкое чувство, а голову затуманила сонливость. Но он совладал с собой и, мягко отодвинув Танечку, заглянул ей в глаза.

Ближе, дальше... Не для того ли и нужна физическая близость, чтобы не смотреть друг на друга? Танечке был неприятен, мучителен его взгляд. «Я знаю, я не осуждаю», — говорил он, но за этим «не осуждаю» скрывалось некое право принимать решение — прощать и клеймить.

Когда они уже пили чай на кухне, Танечка, опустив голову, едва слышным голосом сказала ему, что послезавтра едет на дачу с Васенькой, но Гранин удивительно спокойно выслушал это признание, как будто знал гораздо больше. Потом появилась Алина Авангардовна, и Гранин пригласил её посидеть вместе с ними и принять участие в разговоре. Сам охотно рассказывал о себе, о том, что произошло в его жизни за последнее время. Может быть, он немного рисовался, но ему было чем гордиться. Ведь когда-то они не верили в него, и никто не верил, включая самого Гранина. Но он старался быть с ними осторожен, как ребёнок, играющий с бабочкой. Он вспомнил, как в детстве ловил стрекоз, садившихся на цветы во дворе. Он был мал, а цветы — огромны, их чашечки покачивались как раз напротив его лица, и потому ловить стрекоз было очень удобно. Достаточно было взять их двумя пальцами за сложенные крылья. Говорили, что стрекозы очень больно кусаются, но ни одна из них так и не успела укусить его. Они лишь беспомощно перебирали лапками, вертели головой с шароподобными глазами, сворачивали и разворачивали хвост. Правда, потом оказывалось, что крылья их сматы и больше не годятся для полёта. Пожалуй, то, что сейчас происходило между ним и этими двумя женщинами, было похоже на ловлю стрекоз в палисаднике: не стоит касаться чего-то существенного, чтобы не спугнуть и не поранить этих наивных и прекрасных насекомых. Они могут говорить о чём-нибудь незначительно, постороннем — о погоде, о работе и деньгах, но не смеют приближаться друг к другу. Они — принадлежат разным царствам, разным мирам, и при встрече кто-то кому-то вынужден будет повредить крылья. Когда-нибудь это неизбежно произойдёт, но Гранин не хотел торопить события. Он понимал, что пары неосторожных искренних слов достаточно, чтобы эти люди замахали лапками и завертели выпученными глазами. О чём тут говорить? Пускай порхают... И он избегал красноречивых Танечкиных взглядов, воздержался от саркастических улыбок и оставил о себе крайне приятное впечатление. Дамы

уговаривали его приходить ещё, но он отвечал нечто неопределённое.

У Танечки от этой встречи осталась в сердце заноза. Гранин явился вестником неведомого, большого и беспокойного мира. Он больше не рассуждал о душе, о вечности, но как будто бы стал болезненно внимателен ко всему некрасивому: к бездомным и нищим, дворникам, рабочим-ремонтникам, продавцам супермаркетов, уличным зазывалам и распространителям рекламных листовок. Казалось, что весь его мир заселён этими бесприютными и с виду бесполезными людьми. Например, он рассказывал о разных типах уличных попрошайек и о своих сомнениях по поводу пользы милостыни; о том, что раздавать листовки в столицах, как правило, нанимают чернокожих; о том, какие мрачные или безразличные лица у людей, наряженных в костюмы и улыбающиеся маски, у входов в магазины. Вместе с Граниным и его странными историями в тёплую, заваленную тряпками квартиру проник сквозняк. Жизнь Танечки словно бы хранилась в некоем пузыре, ограждавшем её романтическую натуру от простуд и тревог. Пузырь этот состоял из уютного дома, привычного быта, заботы матери и бабушки, детских книг, религиозных фантазий, музыки, грёз ночью и днём, надежд на блестящее будущее.

Но вот появился Гранин, и мудрая энергичная мама вдруг показалась нелепой, дряхлеющей, квартира — тесной и ветхой. Обычно Танечка откликалась на яркие события сочинением музыки, но этот человек, хотя и взволновал её, не пробудил в душе никаких мелодий. Тогда она призвала на помощь мудрость сказок, чтобы объяснить себе этот визит и свои чувства. Кто же он, Гранин? Принц на белом коне, прискакавший из далёких стран, чтобы увезти её с собой? Нет, на принца он не похож, да и приехал он, видимо, на общественном транспорте... Добрый волшебник, который исполнит её желания? Вряд ли. Уж скорее ей придётся изменить свои желания и привычки в угоду этому человеку и его непонятной жизни... Может быть, он злой колдун? Но нет в нём ничего потустороннего... Рыцарь? Поэт-трубадур? Ну, трубадур — это, скорее, Васенька. Стало быть, чтобы разгадать Гранина, нужно мыслить другими категориями. Но так не хочется расставаться с вымышленными мирами. И неужели необходимо взрослеть и делать выбор прямо сейчас? Почему бы не отложить решение до следующих выходных? А на этих — Васенька развлечёт и убаюкает её своими стихами.

...Оказавшись на улице, Гранин ещё раз вздохнул полной грудью. Как приятно было снова оказаться среди света и воздуха и в полном одиночестве! Сердце билось спокойно и уверенно. Теперь нужно было отыскать Васеньку. Для этого ему предстояло отправиться в старое общежитие, в котором тот когда-то жил. Оно находилось на

другом конце города, но ничего: он любит поездки в автобусах, особенно под дождём.

Путь лежал через центр, однако в центре Гранин не увидел ничего интересного или нового: как всегда, сносились старинные дома, строились торговые центры, на улицах толкались автомобили, вытесняя людей, притискивая их к стенам и заборам. Гранин вспомнил, как в первом классе их обучали правилам поведения на дороге. Проезжую часть называли «зоной повышенной опасности». Теперь эта зона начиналась буквально у порога дома и не отпускала тебя до самых далёких окраин. С высоты автобусного сиденья Гранин всматривался в стёкла машин. Напряжённые лица автовладельцев напоминали физиономии чиновников, которым журналист задал неудобный вопрос.

Вот и нужная остановка, и тот самый парк, и те самые дома, те дворики. Жёлтый угол общежития выплыл из-за серой девятиэтажки, в которой раньше был расположен магазин детских товаров «Солнышко». Вообще, непрерывно и мучительно перестраивающийся город не сохранил почти ничего, что напоминало бы о детстве и пробудило ностальгию. Правда, уцелела старая автостоянка — первая платная парковка в районе. Раньше на этом месте был обычный пустырь, маленький Гранин подбирал на нём мелкие камешки и раскалывал их большими камнями, чтобы посмотреть, какие они внутри. Обычные серые голыши на сколе оказывались зеленоватыми или розовыми. Когда в начале девяностых здесь устроили стоянку и обнесли её забором, многие жители восприняли это как личное оскорбление, первое бесцеремонное вторжение рынка в их жизнь. Кое-кто даже предлагал всерьёз «пустить красного петуха» — сжечь стоянку вместе с машинами — и даже подсаживал технологию: разбрызгать бензин, потом сделать тоненькую дорожку из бензина и поджечь конец; огонь побежит по дорожке и доберётся до стоянки. Будут знать «новые русские»! Гранин усмехнулся: это сколько бы им пришлось сжигать сегодня... Весь мир — одна сплошная автостоянка. Кстати, уж не Васенькин ли отец предлагал тогда дерзкий план поджога? Впрочем, тогда все были храбры на словах... Помнится, дедушка Гранина спрашивал у коллег-железнодорожников: мол, чего ж, мужики, мы будем делать? Неужто просто так стоять в сторонке и смотреть, что делают со страной? Рабочие раздражённо отмахивались: это не наше дело, пусть творят что хотят, мать их. А дядя, вернувшийся из Афгана, со злостью рассуждал о том, как трусливый президент разъезжает в глубинке только по оцепленным дорогам, опасаясь мести граждан. «Что ж он думает, я до него через кордон гранату не доброшу?» — говорил он, а женщины испуганно махали руками. Но ничего он никуда не бросил: как и большинство остальных, он просто начал пить.

Да, вот так воспоминания... Впрочем, сейчас хорошо бы найти Васеньку и посмотреть ему в глаза. Гранин оглянулся на дом. Хотя день достаточно погожий, во дворе не видать ребятни: весь двор заставлен автомобилями. С другой стороны, не стало и шпаны. Никого не стало — все загнаны в свои квартиры, как гвозди в гроб. Чахлые деревца задыхаются в бензиновых миазмах. Гранин подошёл к растрескавшемуся крыльцу. Каждая ступенька этого крыльца означала важную ве-ху в жизни детворы: научиться самостоятельно взбираться по ступенькам, шагать через одну, прыгать через все с самой вершины, забираться на козырёк подъезда. Сейчас, наверное, малышня просиживает детство перед экраном...

«Чего брюзжишь? — прикрикнул на него внутренний голос. — Прямо старый дед: „Вот в наше время — о-хо-хо! А в ваше время — э-хе-хе!“»

«Имею право, — отозвался Гранин внутреннему голосу. — История идёт неровными путями. И не всегда эти пути ведут строго вперёд и вверх. Дорога человечества петляет, отступает назад, скатывается с ослепительных вершин в гнилые скаты. И уж лучше прослыть брюзгой, чем пускать радостные пузыри, извалявшись в грязи».

Внутренний голос развёл руками и замолк, а Гранин вошёл в подъезд. Тут оказалось достаточно чисто и пусто: никто не курил, не караулил в узких коридорах, под потолком не висела паутина сизого дыма, хотя кое-где по углам валялись окурки. Никто не писал ругательств на выкрашенных в синий цвет стенах, не рисовал половых органов, не плевал на двери и кнопки лифта. Дом выглядел совершенно пустым и мёртвым, хотя и не заброшенным, как будто люди приходят сюда только раз в месяц, чтобы подмести. Где теперь все эти страшные хулиганы? Спились, отсидели или остепенились и смотрят телевизор по вечерам, а по выходным ездят в супермаркет?

«Ну о чём ты жалеешь? — снова проснулся внутренний голос. — О заблёванных площадках, горах подсолнечной шелухи на подоконниках, о каплях крови на ступеньках?»

Нет, он жалел о другом и ответил внутреннему голосу воспоминанием. Оно постоянно дремало в нём, подобно тёплому солнечному блику на дне озера или как картинка на дне коробки, в которой хранятся старые ненужные вещи: вещи можно вынуть и сложить новые, а картинка сохранится, пока цела коробка. Он вспомнил далёкий южный город в давнее, теперь уже преданное анафеме время. Он приезжал туда на лето к бабушке с дедушкой. Там он ловил стрекоз и ящериц на пустыре за домом, в заросших травой оврагах; там он играл с дворовой ребятнёй в прятки, в ножички, в мяч, в казаки-разбойники, даже в дочки-матери и ещё во множество игр, которые теперь и не вспомнить, закапывал секретики и строил домики

из картонных коробок. Детсадовская малышня водилась со старшими, все знали друг друга по имени, и трёхколёсные велосипедки пытались угнаться за двухколёсными красавцами марки «Школьник» и «Урал». Все взрослые были также знакомы между собой, и дети знали всех этих дядь Вань и тёть Маш. Мужики по вечерам забивали «козла» на специально оборудованных, обитых жестью столиках, под ногами у них возились дети и сам Гранин, подбирали уцелевшие спички и фольгу от сигаретных пачек, чтобы мастерить пехотные батальоны и экипажи танков. Танки тоже делались очень изобретательно: бралась обыкновенная тёплая грязь из придорожной канавы, и из неё лепился кирпич, сверху складывался кирпичик поменьше—прямоугольный для немецкого танка, закруглённый для советского. Кирпичики протыкались и соединялись палочкой, что позволяло верхнему кирпичику (башне танка) вращаться. Сбоку втыкалась ещё одна палочка—дуло пушки. Минут десять всё это высушивалось на солнце, и танк готов. А если не хочется лепить танки, то можно просто катать из грязи шарики, насаживать их на конец гибкого прутика и запускать, как из пращи, в стену противоположного дома—кто выше. Младшие учились у старших новым забавам и оттого, быть может, быстрее росли.

Женщины на длинных скамейках у подъездов пели протяжные песни, исполненные печальной красоты и спокойного достоинства. Песни уносились в тихий тёплый вечер, а потом в сумерках начинали раздаваться голоса, скликавшие детей по домам. Это ничего: утро начнётся со звонких детских голосов, выкликающих под окнами имена друзей: «Сашка-а, выходи! Ой, это вы, тёть Маш. А Саша выйдет?»

Пока ты был ребёнком, ты мог чувствовать себя в своём дворе как дома и среди своих. И казалось, что когда ты вырастешь, ты будешь так же уверенно и спокойно чувствовать себя во всей огромной стране, а однажды и на всей планете...

Неужели и там теперь одни дороги, парковки и торговые площади? Что это был за удивительный мир, куда он канул? И главное, благодаря чему он всё-таки существовал? Самый очевидный, напрашивающийся ответ—«юг, климат». Конечно, тёплая атмосфера города, в котором абрикосы и тутовник растут прямо во дворах и сами падают под ноги беспечным обывателям, располагает к жизни под открытым небом, к общительности людей. Но дело далеко не только в этом. Дело ещё и в архитектуре, в обустройстве дворового пространства и, конечно, во времени. Общежитие, в котором снова очутился Гранин, вынырнув из южных воспоминаний, принадлежало заводу, который был приватизирован и закрыт в девяностые годы. Но рабочие не стали бунтовать, поскольку дружали за отданную им в собственность

жилплощадь, так что остались с квартирами, но без заработка. Не видя выхода, многие начали пить, а их дети чувствовали презрение к своим жалким родителям, которые не могли им купить всего того, что так соблазнительно демонстрировалось в телерекламе. Вот вам и шпана, по-своему воплощающая телевизионные сюжеты о гангстерах и ковбоях, вот вам и ненависть, и зависть, и всеобщая конкуренция.

Здесь больше не на что было смотреть, но Гранин всё-таки поднялся по этажам и прокатился на лифте. На лестницах стало гораздо тише и чище, даже кнопок звонков никто не поджигает, а вот лифт остался прежним—дребезжащим, ободраным, исписанным. Гранин даже узнал одну из надписей. Она гласила: «Мы здесь были...»

Он покинул этот мёртвый, пропитанный злобой дом и направился в церковь. Ведь Васенька мог быть и там. Гранин долго шагал по грязной дороге вдоль ограды кладбища. Асфальт был предусмотрен только для автомобилей: не хочешь лезть под колёса—топай по придорожной канаве или прижимайся к грязной ограде. Проезжавшие автомобилисты раздражённо сигналили мешающему им пешеходу. Так уж получалось, что при пешей прогулке в городе не удавалось сосредоточить свои мысли ни на чём, кроме автомобилей: их приходилось обходить, от них приходилось уворачиваться, их приходилось созерцать, слушать и нюхать. Наконец он добрался до церкви. При входе Гранин не стал креститься, но дипломатично снял шапку. Народу внутри было немного—в основном женщины. Сразу за порогом—всё те же столы торговцев, заваленные всевозможным товаром. В церкви, как всегда, очень мало воздуха и света, тяжело пахнет ладаном, хор тянет какой-то псалом, да люди стоят кто где. Гранин тоже встал и стал стоять. Так они простояли какое-то время. Потом поп в жёлтой накидке стал обходить помещение, потряхивая дымящей погремушкой. Тут у людей возникло некоторое замешательство: они старались, кланяясь, всё время поворачиваться к священнику лицом, но одновременно боялись повернуться задом к каким-нибудь иконам. После попа с погремушкой из боковой дверки вынырнул отец Юлий и, положив на подставочку богато украшенную книжку, стал без выражения читать по-церковнославянски. «Аще... бо... веле...»—без выражения бубнил он, поскольку знал, что всё равно никто из прихожан не понимает ни полслова. И Гранин тоже отлично чувствовал, что никто из присутствующих не понимает и не хочет понимать происходящего, а просто повторяет нехитрую программу, как заводная кукла. «Так зачем же они все здесь? За каким дьяволом они все сюда притащились?»—удивлялся Гранин. Он постоял ещё немного из любопытства. Люди всё так же переминались с ноги на ногу, отец Юлий

продолжал сыпать своими «паки» и «дондеже». На стенах висели иконы, лица святых выражали тоску и равнодушие. Оно и неудивительно. Скорее прочь отсюда, тем более что Васеньки здесь уже нет. Но где же он? Где он может быть, и что с ним случилось за последнее время? Что случилось с Васенькой?

Из храма Гранин направился к четырнадцатизатяжке, серая верхушка которой в отдалении гордо возвышалась над прочими домами. Поднялся холодный, пронизывающий ветер; Гранин двигался по пустым дворам с разломанными горками и самодельными лавочками. Ржавые качели шевелились и скрипели на ветру. Гранин вошёл в нужный подъезд. Внутри по-прежнему кисло пахло мусоропроводом. Вот только надписей и рисунков не стало: все стены недавно выкрашены в тот же больничный синий цвет. Гранин медленно поднимался, миновал этаж за этажом и везде видел синюю пустоту—чем не разорённый храм? И чем этот храм был хуже того, в котором он был несколько минут назад? Он представил, как в христианскую церковь входят люди и удивлённо озираются вокруг. Никого в ней нет, только одинаковые изображения бородатых мужчин нарисованы или развешены на стенах. Люди пожимают плечами и начинают снимать со стен картины и деловым взором оценивать параметры помещения, чтобы приспособить его для других целей. Плохо? Хорошо? Обычно...

Он медленно восходил, всматриваясь в стены и стараясь разгадать надписи и рисунки под слоем краски. Ничего не увидев и не угадав, он поднялся до самого верха, вышел на балкон и посмотрел в небо, которое также было покрашено серым слоем туч. В углу стояла баночка с окурками.

Глава 13,

в которой Васенька

не воскрешает мёртвую девочку

«...Я часто думаю: если я и правда один из его сыновей и наделён сходной с ним сущностью, то не несущ ли я в таком случае ответственности за все несчастья, беды и унижения, которым он подвергал других? Ведь мы—одно. Да из чего же ещё он мог создать меня, как не из части своей жизненной силы, которой он позволил обрести самостоятельность и даже право отвратиться от своего источника и восстать на него?... Я гляжу в их глаза и вижу страдание, тупое и покорное у одних и смешанное с ненавистью у других... Ах, сколько страдания! Но теперь я—не он, я отказался... я изменил свою природу, я повинен теперь лишь в одном—в предательстве... А кто же будет чувствовать вину, и главное—кто исправит?... Трудно

думать. Здесь очень трудно думать и вспоминать. Такие тёмные небеса! А путь к истине один...»

Голос снова пропал так же внезапно, как и слышался. Казалось, что говоривший просто шёл рядом, а потом вдруг отстал или затерялся в толчее. Юная ведьма оглянулась: кто бы это мог быть?»

Звонок телефона разбудил Васеньку среди ночи, и незнакомый голос сообщил о гибели Саши. Голос звучал с перерывами—несколько торопливых слов без всякого выражения, пауза, потом снова небольшой отрывок сообщения—и оттого казался автоматическим, неживым. Васеньку пригласили на похороны.

—Саша... она бы...—голос окончательно прервался, раздалась гудки.

Он встал и зажёл лампу. Почему Саша совершила это? Конечно, в её поведении во время их последней встречи было что-то необычное, ощущалось предельное натяжение внутренней струны, которая в итоге и лопнула, так и не зазвучав. Васенька на разные лады поворачивал в голове разговор на балконе, пытался вникнуть в его суть, разгадать мотивы её поступка, а заодно понять, на ком же, в конце концов, лежит ответственность за произошедшее. Конечно, она совершила это сама, но в чём-то или в ком-то должны же были воплотиться все причины. О сне не могло уже быть и речи. И он попробовал представить всё так, как умел,—в виде сказки.

«...И в этот миг она увидела эти глаза. Из самого центра водоворота гримас смотрели на неё две горящие точки, полные несказанной злобы и ненависти. Страшный незнакомец посмотрел через плечо, но сразу цепко ухватил взгляд молодой колдуньи. Во всём этом месиве масок и личин он словно был единственным обладателем личного образа, в то время как всё остальное сливалось в общую массу. Или нет: он и воплощал образ этой толпы, он был её лицом, её душой. Всклобоченные волосы и серая одежда—таким он скитался среди них. Тот, чьему трону они поклонялись, стоял за их спинами и наблюдал за исполнением ритуалов.

В тот момент, когда она узнала Того, Который Молчит, он сам заговорил с ней. Но голос пришёл не извне, он зазвучал внутри её сознания. Или даже так: её сознание заговорило с ней его голосом. И какой-то жалкой частичкой разума, сохранившей верность хозяйке, девушка понимала, что никогда не имела ни мыслей, ни души, что она жила, не нуждаясь ни в том, ни в другом, позволяя кому-то ещё формировать себя изнутри.

„Ты чужая. Ты захотела обрести что-то сверх предначертанного. Теперь убирайся. Мы лишаем

тебя наших даров. Иди и в муках рожай себе новую душу, а эта душа навеки принадлежит мне”.

И не успели отзвучать грозные слова, как некий стержень надломился внутри, словно треснули колонны великого храма и кровля обрушилась на присутствующих. Бессмысленными пошлыми воспоминаниями мелькнуло и исчезло прошлое, внезапно отделились хохочущие лица, волна странной неприязни к себе и своим поступкам промчалась по телу, а потом вдруг в немыслимую даль понеслось небо”.

Но это получается не о ней, а о себе. Это он теперь находился в двух шагах от самоубийства. Это себя Васенька теперь чувствовал разочарованным и изверившимся, вынужденным ощупью искать дорогу в темноте, после того как прежние маяки оказались фальшивыми. Ни лекции по богословию, ни хор валаамских монахов, ни труды религиозных философов не могли и не хотели ответить ему на то, что творилось вокруг, не могли пролить свет даже на душу одной-единственной запутавшейся девочки. А может быть, она не так уж отличалась от Васеньки? Может быть, ей тоже до смерти не хотелось растворяться в этом неприятном мире, становиться частью этого непонятного и нечистоплотного бытия? Васенька вспомнил, каким мучением для него были посещения учительской, когда он проходил практику в школе. Он задерживался перед дверью, не так долго, как перед Танечкиной, но всё же успевал почувствовать сердцебиение, перед тем как открыть её. Там уже сидели преподаватели — все женщины — и весело что-то обсуждали. И Васенька робел себя и своего пола. Все взоры обращались к вошедшему, и он понимал, что должен сейчас что-то сделать. По-здороваться. «Здравствуйте». Сделано. Но на него продолжают смотреть. Необходимо пошутить, сказать что-нибудь о погоде, объявить какую-то новость или предложить всем выпить чаю, ведь он же мужчина. Но ему не хочется с ними ни о чём говорить, хотя подходящие темы есть: вопросы по расписанию, программе занятий, воспитанию и педагогике. Нет, это выше его сил. И ведь совсем неплохие тётеньки эти учительницы, но для того, чтобы общаться с ними, нужно превратиться в нечто другое, переделать себя.

В каждой ли компании он испытывал подобные чувства? На рокерских тусовках и вечеринках среди своих и чужих он мог и спокойно посидеть в сторонке, не чувствуя себя обязанным ничего из себя изображать, а мог и оказаться в центре общего внимания, рассказать стихи или порассуждать и поспорить. Но, с другой стороны, неприятно ему было входить в журналистскую курилку, не мог он поддерживать там разговора о Питере, президенте и новой модной музыке в стиле «эмо». Не потому

ли, что чувствовал непонятно кем объявленное требование слиться с этим обществом без игры и без задних мыслей, раствориться в нём, признать его законы и безусловное право этого общества на свою душу? Это Валька думает, что он ещё может всех надуть и пролезть наверх, не изменившись внутри. А он...

«Кажется, она куда-то падала. И вот наконец полёт закончился. Она лежала среди камней, боли в теле не чувствовалось, да и вообще тело словно отсутствовало. Остались только чёрные тени скал да чуть подрагивающие звёзды за тонкой пеленой облаков. Похоже, она была снова у самого подножия, а здесь уже наступила ночь. Девушка лежала, и её мысли были целиком поглощены звёздами. Их холодное сияние казалось таким далёким и отстранённым, между ним и землёй лежала лишь чернота безжизненного пространства. Да, в эту ночь легко было ощутить безграничность мировой пустоты. Вот тёплое тело, сжавшееся в комочек, дабы не отдать ночи последние капельки своего тепла, а вот жалкий кусочек материи под названием „Земля“, также сжавшийся в шарик, стараясь из последних сил сберечь в себе искорку жизни. А звёзды бесстрастно взирают на эту борьбу. Никто не прикоснётся к ним рукой, и это уже давно их не печалит.

Колдунья лежала неподвижно, и ночь неспешно высасывала её жизненные силы. Где же кто-нибудь, кто усмирят боль, поможет подняться, просто постоит рядом и спасёт от одиночества? В безмолвном ожидании шли часы.

Наконец она попробовала подняться сама. Но не бессилие бросило её обратно на камни: просто девушка вдруг осознала, что в этом действии нет никакого смысла. Зачем вставать? И точно так же не было смысла лежать на земле. Не было смысла думать, ибо мысли бегали по замкнутому кругу, не способные вырваться за поставленные неведением границы. Не было смысла лежать, дышать, жить. Бессмыслица заполняла всё. Колдунья беспомощно пыталась ухватиться за какие-то воспоминания, желания и принципы прошлого, но всё это рушилось, стоило памяти к нему прикоснуться».

Васенька так и просидел до утра, сочиняя и видя во сне историю колдуньи Аи, распутывая страшную загадку, которую загадала ему бедная девочка Саша. Впрочем, разве бедная? Родители у неё, кажется, богатые. И ей прочили блестящее будущее. Бедная богатая девочка Саша...

Стремясь понять сущность окружающего мира и пропитавшей его тоски, Васенька пробовал очистить действительность от всего лишнего, прозаического, упростить сложную картину до

элементарного символа, чтобы увидеть за пестротой нечто главное, невидимое. Но получалось, что, упрощая, он выкидывал это главное, подвешивал свои мысли и своих персонажей в воздухе или, точнее, в безвоздушном пространстве. Он хотел объяснить мир с помощью религии, но кирпичики придуманной истории тонули в чёрной жиже: слишком трудно было объяснить свою конкретную жизнь при помощи «вечных» сюжетов. Миф никак не соприкасается с действительностью, он закончен, совершенен, самодостаточен, и чтобы войти в него, требуется покинуть реальность — «заснуть, не быть»...

Но уснул он только утром, стоя в автобусе, надёжно зажатый между пассажирами. Работа не клеилась. Он пару раз запнулся, читая новости в прямом эфире. На полустрогий-полузаботливый вопрос Надиваныча Васенька рассказал про похороны, и его отпустили с работы пораньше. Люди пасуют, становятся мягкими перед вестью о смерти. Они как бы платят ей дань, чтобы отогнать от себя её призрак. Такой данью стала уступка со стороны начальства. Когда коллеги узнали, что Васенька вечером пойдёт на похороны, они почтительно и одновременно с невольным испугом чуть отодвинулись от него, притихли и понемногу оживились только после его ухода.

В отношении к смерти современного человека сохранились обломки чего-то животного и иррационального, думал Васенька, глядя в троллейбусное окно. При этом животное боится смерти разумным инстинктом, вложенной в голову программой, которую могут нарушить только тысячелетия эволюции, оно не помышляет о потусторонних мирах или добрых богах, которых можно задобрить или обмануть, у которых можно выторговать бессмертие. А современный человек застрял на полпути от животного царства к чему-то, ещё не имеющему названия. Вот Надиваныч называет себя атеистом, материалистом, а отнестись к смерти спокойно и прагматически он не может. Казалось бы, ну помер человек — что за беда? Каждую секунду в мире умирает по два человека, мы буквально окружены смертью и сталкиваемся с ней на каждом шагу — и всё же мы стараемся о ней не думать и вспоминаем о ней гораздо реже, чем даже о музыке или кино, изобретаем свои полусознанные ритуалы, устраиваем из погребения пышный спектакль.

С удовольствием вылавливая крупницы иррационального в головах современников, Васенька не мог не признать, что у него, у верующего, тоже беспокойно на душе. Он вовсе не считал, что самоубийцам запрещён вход в рай, но не мог он испытать ни радости оттого, что Саша встретилась с Богом, ни простого умиротворения в духе «всё проходит, и это пройдёт». Под сердцем у него скопилась холодная тяжесть, и она только

увеличивалась по мере приближения к залу прощаний ритуального бюро. Пряничные образы ангелов и угодников поблёкли перед непреклонным фактом, что дышавшего и смеявшегося человека зароят в промёрзшую землю.

Возле строгого здания, облицованного в чёрное и серое, стояли группки людей и корзины с цветами. Все были подавлены внезапной утратой, а также тем, что смерть снова властно напомнила им о себе, выдернула из привычного круга дел и забот, ткнула носом в вечные вопросы, которые никто из них не собирался решать. Среди присутствующих он хорошо знал только Аполлошина, которого неясно каким ветром занесло на эти похороны, но подходить к нему и выяснять обстоятельства не хотелось — наоборот, его присутствие вызывало глухое раздражение, как будто тонешь в трясине, а рядом на безопасном пригорке стоит человек и громко читает скверные стихи. Поэтому Васенька подошёл к полужнакомой учительнице из Сашиной школы. Грузная женщина с высокой, как взбитые сливки, причёской пожаловалась, прижимая платок к уголку глаза:

— Единственный ребёнок в семье. И ведь такие перспективы! Школу закончила на отлично, дипломов столько получила...

«Да, и к чему теперь все эти дипломы и все эти перспективы?» — хотел сказать Васенька, но только неопределённо пожал плечом и подошёл к родителям. Их было легко узнать — они выглядели несчастнее всех. Одетые в чёрное, оба брюнеты, с потемневшими застывшими лицами, мать и отец держались вместе, и к ним поочерёдно подходили все остальные, чтобы сказать пару слов. Приближаться к ним было тяжело, словно вокруг них сгустилось мрачное облако отчаяния и присутствующие боялись заразиться. Васенька поздоровался, но не нашёлся что прибавить, лишь постарался передать взглядом чувство соболезнования. Они почти не заметили его. Отец прилагал усилия, чтобы выпрямлять стремящуюся ссутулиться спину и поддерживать мать, которая едва стояла на ногах и была вне себя от горя, шарила вокруг невидящим взглядом. Оба были одеты и пострижены модно, в духе деловых людей средней руки, но причёски и одежда измялись и обвисли, потеряли свой блеск. Отец иногда отбегал в сторону, чтобы отдать бесшумные распоряжения. А может быть, и его невольно отталкивало и отпугивало безысходное горе жены.

Наконец пригласили в зал. В строго и торжественно декорированном помещении чёрно-алых тонов на возвышении стоял открытый гроб, из горы цветов и хитроумных погребальных рюшечек видна была только голова Саши. Васенька обратил внимание на схожесть причёсок родителей и дочери: они и стригли её как себя, не то по-женски, не то по-мужски. Мёртвое лицо было бледно

и очень красиво — может быть, оттого, что с него исчезла вечная вымученная улыбка. Откиннутые назад волосы открывали крутой и широкий лоб, острый подбородок торчал вверх. Брови были слегка надломлены, словно бы она продолжала размышлять над нерешённым вопросом. И в то же время во всём её облике слышался отчаянный крик: «Помогите мне! Спасите меня!»

«Что же необходимо было сделать, чтобы стать хоть сколько-нибудь нужной этому бесстрастному небу? Чтобы ощутить с ним неразрывную связь? Как понять его мотивы? Как разобраться в себе?

И на смену этой волне горечи пришла другая: а что, если подобные мысли, по крайней мере иногда, беспокоили всех остальных? Сомнения рождались где-то в глубине сознания, достигали своего пика и умирали, и ничто из этого не выражалось в поступках, словах, в малейших движениях лица. Люди показались ей в тот миг похожими на неприступные бастионы, сдерживающие натиск чувств, или на гробницы, безмолвно хранящие прах былых переживаний, или нет — на тюрьмы, в которые навеки заточены неукротимые бунтовщики и смелые мыслители. Человек рождается и с детства учится отгораживаться от внешнего мира нерушимой стеной, он влюбляется, мечтает, ненавидит, старится и... умирает. А стена продолжает жить: разговаривать, передвигаться, поглощать пищу.

Но если это так, неужели она одинока навеки? Девушка приподнялась и закричала. Она звала на помощь своих бывших друзей, хозяев, звала небо, Безмолвного и загадочный голос. Однако ей сейчас трудно было понять, закричала ли она во весь голос, или этот зов прозвучал лишь в её душе, а губы остались неподвижны.

Молодая колдунья, конечно, не верила, что кто-то откликнется, но ответ пришёл. Сначала затрепетали складки её одежды. По изорванной хламиде, как по воде, побежали мелкие волны. Потом лохмотья стали дрожать сильнее, они рвались куда-то прочь, надуваясь парусами и совсем прекратив защищать от холода. Она едва пошевелилась, чтобы освободиться от бесполезного покрывала, и ткань легко соскользнула с тела, метнулась в темноту, а потом крепко обняла блестящий клык базальтового обломка. Видимо, одежда предпочитала согревать камень.

Потом мощная струя воздуха подтолкнула обнажённую колдунью и помогла ей подняться. Потоки ветра подхватили её под руки и повлекли, слабую и спотыкающуюся, вверх по склону. Первые шаги она сделала нехотя, как бы помимо воли, но ветер вливал в неё новые силы, и девушка медленно восходила на пик. Был ли это тёмный пик, на котором проходило празднество, или

вершина любой другой горы или холма, понять было трудно, да и ветер всё утешал, пришепётывая на ухо: «Шабаш завершён... ты увидишь...» Чем выше она поднималась, тем дальше могла видеть окрестности: вся долина была сплошь завалена уродливыми валунами, кое-где среди них торчали беспомощные иссохшие растения. Луна озаряла картину мертвенным голубоватым светом, и везде в ущельях и выше метался беспокойный ветер. Он был жизнью этой страны, её властелином.

Наконец колдунья взобралась на вершину, и панорама стала полной. Долину окружали холмы, покрытые густыми лесами. Но все деревья там уже вкусили осеннего яда: они лишились зелёных нарядов и в запоздалом раскаянье воздевали искалеченные руки к небу, а ветер нещадно хлестал эти ладони, как мзду, вырывая из них последние листья. И листья в лунном свечении на лету превращались в серебряную милостыню, и казалось, что каждый из них со звоном падал на замёрзшие ладони скал.

Весь этот бескрайний, бесприютный мир был полон смерти.

„Это последний полёт, — подумала девушка. — Теперь и я, как эти листья, брошусь вниз, и ветер закружит меня, на мгновение прижмёт к груди, а потом спокойно и жестоко разожмёт свои объятия, чтобы позволить мне упасть на камни. Пусть они растерзают мою плоть, пусть утром моё изуродованное тело вызовет отвращение у каждой сонной химеры. Я не хочу больше быть прекрасной“.

Девушка сделала первый неуверенный шаг навстречу пропасти».

И снова Васеньке показалось, что он оплакивает не Сашу, а себя, а точнее — всё человечество. Почему человек должен умирать? Глупенькая несчастная девочка ещё раз напомнила собравшимся о несправедливости устройства их тел. Первый закон жизни гласит: всё, что рождено, должно погибнуть. И всё же второй закон жизни утверждает, что всё живое обязано сопротивляться смерти, защищать себя и собратьев по виду, торжествовать над неорганической материей. Вот если бы человечество отбросило войны, деньги, глупые забавы и объединилось для общей главной цели — завоевания бессмертия...

Толпу гостей размазало вдоль стен, они боязливо шушукались между собой, по очереди осторожно приближались к телу, смотрели на лицо и отходили. Родители молча стояли в изголовье гроба. Не было никаких речей, только играла тихая печальная музыка.

Затем поехали на унылое осеннее загородное кладбище, где у входа толпились торговцы похоронной утварью. Бизнес присосался к покойникам, как клубок червей. У самого входа на кладбище была устроена аллея, на которой, придавленные

памятниками, возлежали самые почётные трупы, а дальше в бестолковом нагромождении оградок и холмиков находились все остальные. Несколько корявых деревьев ещё добавляли уныния ландшафту. О жизни напоминала только спокойная деловитость рабочих, опускавших гроб и забравших яму.

А Васенька всё это время продолжал вспоминать разговор с Сашей, раздумывать над тем, что привело её к самоубийству, как будто даже сейчас мог что-то исправить. Когда первые комья глины застучали по крышке гроба, Васенька сам был готов кричать и звать на помощь. Страх заглотил островок его разума и прочих чувств. К счастью, гости не стали задерживаться у могилы, родители Саши повезли их в ресторан. По мере того как они удалялись от кладбища, страх утихал, но оставалось тяжёлое, мрачное чувство безысходности, смешанное с раздражением. Раздражением против тупой покорности людей, жизнь которых мало чем отличалась от бестолкового и скучного ожидания смерти.

Даже даровое угощение, обычно вызывавшее в Васеньке энтузиазм, глухо сердило: что за странная привычка у людей есть и напиваться по любому поводу? Может быть, это своеобразный подсознательный способ причаститься к событию—проглотить его в буквальном смысле? Или отголосок каннибальских привычек предков? Потом он вспомнил о ритуале причастия, смутился и постарался подавить неприятные мысли, но поставленная перед ним тарелка кутьи напоминала сероватую бледность Сашиного лица.

Он отхлебнул вина, которое немедленно начало своё дурманящее воздействие на мозг, и оглянулся на сидящих рядом. Оказалось, что он, занятый своими мыслями, уселся как раз рядом с Аполлошиным, который аккуратно поедал кутью. Он ел так вежливо, почти не открывая рта, и казалось, что больше жуёт собственные губы. Васенька толкнул Аполлошина под локоть:

— Дима, разве тебя не ужасает всё, что сегодня было?

— А? Что? Девочку жаль, конечно.

— Просто ты так спокойно ешь. А у меня вот кусок в горло не лезет.

— Вася, возвышенность сейчас не в моде. Что ж мне теперь, век с постной миной ходить? Смерть—неотъемлемая часть современной поп-культуры. — И тебя не ужасает то, что все, кто сидит за этим столом, включая тебя самого, умрут?

Аполлошин усмехнулся и, как показалось Васеньке, с вызовом пододвинул к себе салат.

— Ведь это как заснуть и не проснуться. В конце концов, после смерти я уже ничего не буду чувствовать, не буду испытывать неприятных физических или нравственных ощущений. Так не всё ли равно? Главное—сейчас побольше успеть.

«Успеть съесть?»—хотел добавить Васенька, но гости начали говорить речи. Конечно, они хвалили Сашу и осуждали её поступок. Но перечень её достоинств в их устах звучал как чтение аттестата зрелости: оценки, награды, олимпиады, участие в культурных мероприятиях. Больше ничего. Часто упоминалась доброта, но она понималась как безотказность: Саша всегда выполняла то, о чём её просили. А просили много и с удовольствием—благодаря ей у учителей всегда были высокие показатели. Родителей она тоже ни разу не огорчала, пока...

Осуждая Сашин страшный шаг, они не касались причин её поступка. «Уж не опасаются ли они об этом говорить?»—думал Васенька и в то же время прикидывал, а что бы он сказал, если бы его попросили произнести речь. Разве мог бы он что-то прибавить к сказанному? Удивительная штука—смерть: она объективизирует человека, делает его образ законченным и застывшим, позволяет людям вынести окончательный вердикт. «Кто я такой? Кто мы все, здесь собравшиеся? Всё более-менее ясно только про покойников. Эх, я бы поприбавил к собственным похоронам...»

А что, если бы он тогда рассказал ей о Боге, о душе... Нет, это бы только облегчило последний шаг. Сказать, что Бог запрещает самоубийство? Но не потому ли она и совершила его, что устала от всех и всяческих запретов? Да и не слишком ли поздно было что-то говорить, если Саша уже отгородилась от окружающего мира непроницаемой стеной? Не об этом ли пел Роджер Уотерс?

Васенька прислушался и с удивлением различил, что в ресторане играет песня «Pink Floyd» из альбома «The Wall»:

I have seen the writing on the wall.
Don't think I need anything at all...

Кое-кто из гостей уже выбрался на свободное пространство и приплясывал под зажигательную музыку. Родители неподвижно застыли во главе стола взъерошенными воробьями. Васенька снова хлебнул вина и накинудся на Аполлошина:

— Нет, ты мне прямо скажи: есть смысл в жизни или нет?

Аполлошин захохотал так, что во рту стал виден салат.

— Ох уж эти мне вечные русские разговоры! Я же говорил тебе, что я буддист.

— То есть чем больше ты плюёшь на окружающих, тем удачнее тебя повьют при перерождении—так, что ли?

— А разве твоё христианство не тому же учит? Разве ты не хочешь поуютнее устроиться после смерти? Только тебе для этого нужно начальству,—он кашлянул в кулак,—пятки лизать, а у меня такого небесного начальника нет.

— Так давай—вслед за Сашей!—вскипел Васенька.—Разве это не самое высшее наплевательство?—И ты давай: разве это не самая высшая любовь? Васенька различил слова следующей песни:

Baby, I said a baby, baby, come on and drive me crazy, Lord,
You know I love you; always thinkin' of you.

Да ведь это «Creedence Clearwater Revival»—ещё одна любимая группа Васеньки! Он даже рассказывал о ней... И тут до него дошло: родители включили на празднике скорби сборник любимых Шашиных песен! Значит, она, может быть, единственная из всех учеников услышала то, что Васенька пытался сказать, увлеклась рок-культурой, слушала те же песни... Но разве рок учит смерти? Он учит любви! Ах, как жаль, что они не общались все эти годы, он бы объяснил ей... Черпая уверенность в сострадании к несчастной девочке, он снова решительно обратился к Аполлошину, заставив его поперхнуться глотком вина:—Моё христианство учит любить живых людей, униженных и оскорблённых.

Аполлошин прокашлялся, удивлённо воздел брови и оттянул вниз углы рта.

— Да где ты их видишь-то, униженных и оскорблённых?—он ткнул вилок в гостей, словно собиравшись их съесть.—Ты посмотри, люди культурно выпивают и танцуют. И, надо сказать, каждый из них получает больше тебя. Кстати, не оттого ли ты один тут такой недовольный и озабоченный вселенскими проблемами?

— Значит, я буду любить тех, кто получает меньше!—Васенька хлопнул по столу, задел лежащий на тарелке нож, отчего тот описал в воздухе сверкающее сальто-мортале.

— Да ты коммунист, Василий. И Ленин с прищуром нерусским выйдет к тебе вместе с Крупской...

От такого оскорбления у Васеньки вспыхнули уши. Но тут соседка по столу передала Аполлошину эстафету застольной речи. Юный писатель и журналист глянул на захмелевшего коллегу, встал, даже вышел из-за стола и, сделав каменное лицо, монотонно затараторил:

— Саша являла собой то, что принято называть индивидуальной реализацией структуры, унитарной квинтэссенцией автокоммуницирующего социума, поскольку коллапс лингвистического взаимоотношения инициирует трансперсональный вакуум и трансцендентальный вектор трекинга данных. Таков перманентный алгоритм ментальных акциденций в ситуации первичного накопления флуктуаций, ведущих к точке бифуркации, но постольку, поскольку искомая точка дистанцирована темпорально, а сингулярная система оказывается изолирована от взаимодействия с внешней средой, то её потенции переходят в деструктивные интенции. Саша в качестве дериватива девиационных парадигм являла собой симулякр...

Лицо его было застывшим, он чуть покачивался из стороны в сторону и двигал руками, как заводной Санта-Клаус у входа в супермаркет. Гости терпеливо слушали, один даже восхищённо цокнул языком: вот, мол, даёт парень! Но Васенька понял, что Аполлошин просто издевается над гостями, и в первую очередь над ним самим. Васенька тоже вскочил, подошёл к Аполлошину и замахнулся на него кулаком. Он считал, что вовремя удержал руку, но вдруг увидел, что Аполлошин катается по полу, зажимая руками кровоточащий нос. «Это тебе за коммуниста... и за симулякр»,—подумал Васенька. И, проваливаясь в крутящуюся бездну, он услышал далеко над собой звяканье электрогитары вперемежку со вздохами синтезатора и слова песни группы «Nautilus Pompilius»:

Мне снятся собаки, мне снятся звери,
Мне снится, что твари с глазами, как лампы,
Вцепились мне в крылья у самого неба,
И я рухнул нелепо, как падший ангел.

Я не помню паденья, я помню только
Глухой удар о холодные камни.
Неужели я мог залететь так высоко
И сорваться жестоко, как падший ангел?..

Глава 14

Ангел в клетке

Ну конечно, он был падшим ангелом. И это именно он шептал на ухо отчаявшейся колдунье, спасая её от самоубийства. Он постарался вообразить себе рай и представил его в виде огромного курорта, где на лоне природы, в девственно первозданных лесах, не обременённых, однако, ни опасными зверями, ни приставучими насекомыми, лесах, подобных нарисованному на стенах его священного подъезда, бродят люди в разноцветных одеждах.

«Горизонт, изломанный вершинами сверкающих гор, всегда был очень близко. Пожелай—и ты можешь с лёгкостью заглянуть за край. А там—мельканье небесных огней, суeta звёзд, вечный пульс Вселенной...

В остальное же время лично я старался быть под сенью неувядающих деревьев. В нашем волшебном лесу. Сквозь сетку ветвей я глядел в чистое голубое небо, и смерть и грязь неустроенных сфер покидали меня. А если смотреть очень пристально, то небо оказывалось со всех сторон, и я чувствовал счастье бесконечного взлёта.

Где-то поблизости бродили мои братья в лёгких просторных одеждах. Кто-то в белом, кто-то в золотом, а кое-чьи плащи переливались всеми цветами радуги. Лично я всегда любил синий цвет, оттенка вечернего неба. Но мне вовсе не хотелось спорить об эталоне красоты с моими братьями: меня,

напротив, радовало то, что все мы такие разные, что, хотя в наших душах горит общий огонь, каждый способен по-своему преломить и выразить его...»

Васенька остался вполне доволен представшей ему картиной вечного санатория, где нечем заняться, кроме прогулок по парку в лёгкой пижаме. Что же плохого, если ему захотелось оказаться где-нибудь подальше от свихнувшегося мегаполиса, чтобы получить возможность прислушаться к собственным мыслям и, если оно существует, различить в своей душе голос божества? Образ высшего разума он позаимствовал из повести «Солярис» Станислава Лема, а точнее — из сильно христианизированной экранизации Тарковского.

«...Мы всегда чувствовали в этих краях ещё Чьё-то присутствие, мы знали, что не являемся властителями страны. Но воля таинственного владыки не была скрыта от нас, непостижимым образом мне и моим братьям был явлен безбрежный океан Чьих-то мыслей. Познание этого океана казалось не запретным, но и непосильным делом: оттуда веяли неведомые ветра, там бушевали могучие ураганы, которые могли погубить челнок немощного разума...»

Но очень быстро такой «рай» показался Васеньке скучен, и, что более важно, его стал грызть стыд за то, что он поместил себя в небесную утопию, бросив страдающее человечество на произвол судьбы. Наверное, Достоевский бы так не поступил. И тогда Васенька стал выдумывать сюжетную лазейку, которая позволила бы ему сбежать из космического дома престарелых и при этом не пошатнуть авторитет его всемогущего директора.

«...Так я повиновался. Так, наверное, повиновались и другие. Но всё же порою меня терзало сомнение: я боялся, что никогда не был самим собой, не имел собственной воли, а лишь являлся частью некоего универсального организма. И тогда я начинал завидовать той далёкой, мечущейся, вечно становящейся жизни за чертой. Но я отгонял прочь печальные мысли и погружался в сияние мира, чувствуя покой и счастье в слиянии с ним...»

Зацепившись за сомнения ангела, в рай проник тот самый Безмолвный, который правил бал на Лысой горе и прогнал отсюда ведьму Аи. Он заманил Васеньку, ой, то есть ангела, в самую тёмную часть леса.

«Мне никогда не приходилось бывать в этой части леса, поскольку я всегда любил небо, светлое и улыбчивое днём, печальное и живописное вечером, задумчивое ночью. Теперь же удивительная картина предстала моим глазам: посреди широкой поляны, в окружении потемневших от старости елей, стояло единственное высохшее дерево. И всё же оно, даже мёртвое, превосходило другие деревья величию. Трудно сказать, было ли зрелище прекрасно: тогда я ещё не знал красоты страдания. Но с первого взгляда картина наполняла сердце печалью. Дерево не увяло, оно умерло в пик своего расцвета, умерло в единый миг, но не рассыпалось, не склонилось, а замерло, словно пытаясь задержать в себе последнюю каплю жизни. Теперь уже, конечно, большая часть листвы опала, кора покрылась странной белизной и приобрела серебристый блеск. Окружающие растения все отклонились прочь, позволяя солнцу прикоснуться к этим безжизненным ветвям.

Что же произошло здесь? И кто мог быть тому причиной?

А он уже поджидал меня, бесцеремонно прильнув к стволу. Он молчал, смотрел на меня и улыбался...»

Вот здесь, у этого дерева, Безмолвный стал искушать ангела путешествием на землю, смеяться над ним, а главное — стучать кулаком по несчастному высохшему дереву... Дерево, дерево... что-то это напоминает... Вот ангел и подрался с этим насмешником, с этим снобом, для которого нет ничего святого! Даже нос, кажется, ему разбил. Впрочем, дело не в этом. Ангел отправился на землю. Но Васенька сам испугался той картины, которую он нарисовал, описывая падение с неба.

«Границу я миновал легко: для падения всегда открыты пути.

Странное чувство мучило меня: я испытывал вину, которой не мог осознать. Я не мог выразить словами всего того, что скопилось в моём сердце, и потому чувство не преобразалось в мысль. И хотелось бежать, лететь, мчаться всё дальше, словно тяжёлый суровый взгляд упирался мне в спину. Иногда я забывал о горечи, ощущая лишь стремительность бегства, но потом воспоминания накатывали с новой силой, придавливали душу, и я не мог ни чувствовать, ни думать, а только кричать.

Нет, не образы пути и любви маячили у меня перед глазами: я ощущал падение и только.

Холодный воздух закалил моё тело, оно стало крепче и грубее, подготавливая пришествие в мир. Своды туч расступились подо мной, и я увидел землю. Что-то чёрное неудержимо несло мне навстречу. Но чёрным оно казалось только поначалу,

потом местами стали проступать оттенки: серый, бурый, фиолетовый, болотно-зелёный.

Я оглянулся на удаляющееся солнце. Оно давало так мало тепла. Отсюда, из этой бездны, было видно, как оно остывает. Оно было так непохоже на неугасимое светило моей страны... Что это? Новое солнце или новый угол зрения? Сияющий шар был всё ещё в силе, он всё ещё давал жизнь этому миру, но он уже предчувствовал свою кончину, он уже учился беречь силы. И я стремился оглянуться и крикнуть ему: „Постой! Я ещё не готов! Дай мне немного больше тепла...“ Но солнце скупло поблёскивало сквозь облачную завесу, словно говоря: „А кто даст тепла мне? Я умираю, пытаюсь отогреть грубую, искалеченную Вселенную. И кто оплатит мне за это? Даже если все жители этих земель отдадут мне свои жизни, они ни на миг не отдадут тьму: слишком мало у них любви, слишком мало любви...“»

По дороге в проводники ангелу напросился Ветер Отчаяния, тот же самый, который едва не погубил колдунью Аи. Он показывает ангелу землю в самом мрачном и неприглядном виде. Людей нельзя понять, а значит, им нельзя и помочь. Да и надо ли?

«Наконец мы подлетели к далёкой одинокой горе, распростёршей свою царственную тень над долиной. Что происходило на самой горе, мне разглядеть не удалось из-за непроницаемой мглы, окутывавшей её, как паранджа скрывает тело женщин Востока. Мне не захотелось проникать под эту вуаль, отрезающую склоны от нежного взгляда звёзд. В недоумении и тревоге я присел отдохнуть на одну из глыб у подножия, когда увидел огромный обоз, неспешно пересекающий долину.

Сама долина была безжизненна, лишь на удалённых холмах виднелась опушка леса, поэтому вереница повозок смотрелась внушительно и грозно. Возницы своими костлявыми фигурами и плавными, замедленными движениями напоминали оживших мертвецов, чёрные шкуры исполинских тягловых волов отливали лиловым в лучах луны, робко выискивая свой краешек из-за горы. Обоз был нагружен высокими клетками. Их чёрные силуэты производили впечатление величия и почти архитектурной помпезности. Казалось, что это остовы каких-то неведомых животных или руины древних замков. Скрип колёс и редкое пощёлкивание бича перекрывались мерным звоном массивных цепей, бившихся о прутья. Колонна надвигалась, окружённая аурой необъяснимого ужаса, присущей мистическим церемониям.

„Одна из них предназначена для тебя“, — шепнул ветер, и я взмыл в небо.

„Тебе некуда бежать! Это сердце мира!“ — завывал ветер за моей спиной, набирая силу урагана. — Ты обманул меня! Зачем я здесь? — не оборачиваясь, кричал я в пространство...»

Ветер побеждает ангела, лишает его крыльев, ломает его меч, и, чтобы не попасть в плен к нечисти, ангел делается невидимым, незаметным, то есть попросту превращается в невзрачного Васеньку и в этом виде начинает искать способ вернуться на небо. Теперь Васенька мог спокойно поставить себя выше (или в стороне от) любых земных проблем, мог считать действительность тюрьмой, изготовленной специально для него. Ах, как удобно! Ах, как удобно! Или всё же не совсем?

Он проснулся сидя. Собственно, пробуждение и было вызвано пробившимся сквозь сон ощущением дискомфорта. Васенька разлепил веки. Первое, что он увидел, была выкрашенная в жёлтый цвет казённая стена с плакатом о правилах пожарной безопасности, эвакуации или чего-то подобного. Условно изображённые улыбающиеся человечки делали то, что им надлежало; если же они поступали как-то иначе, то мигом оказывались перечёркнуты красным крестом. Манекены спасали друг друга из-под обломков или доносили друг на друга охранникам правопорядка.

Васенька впервые в жизни почувствовал, что проснулся куда-то не туда и, как герой кинокомедии, крепко зажмурился, потряс головой и снова вытирает глаза в надежде, что что-то изменится. Но плакаты не исчезли, и люди-куклы на них не поменяли своих поз. Наоборот, всё стало ещё отчётливее и реальнее. Васенька осторожно повернул голову, огляделся. Оказалось, что он сидит на одном из деревянных сидений, поставленных у стены помещения. На противоположной стене висят плакаты. Справа за стеклом сидит человек и пишет. Слева — тяжёлая железная дверь и зарешеченное окно. Под окном на полу что-то зашевелилось. Тогда человек в сером вышел из-за стекла и, приблизившись к шевелящемуся пятну, пихнул его ногой и спросил:

— Ну что, говно, деньги есть?

Из-под ноги раздался хриплый голос:

— Нету, начальник.

— Смотри у меня.

Тут серый человек заметил, что Васенька поёживается на своём сиденье и хлопает глазами. Он развернулся к нему, наклонился и проговорил не так грубо, как лежащему на полу:

— Проснулся, студент?

Окончательно осознав, что он находится не у себя дома, а, скорее, в гостях у серого человека, Васенька счёл нужным оправдаться.

— Я на похоронах был,—едва слышно проговорил он.

Но на Васенькиного хозяина эта новость произвела скорее юмористический эффект.

— Похороны—это дело такое... Только что ж ты так нажрался?—усмехнулся человек, при ближайшем рассмотрении оказавшийся одетым в униформу.

Его ироническая интонация заставила вспомнить персонажей телесериала «Менты». «Вот оно—облагораживающее воздействие искусства на человека»,—подумал Васенька.

Серый человек качнулся вправо и снова оказался за стеклом, а слева и снизу Васеньке послышался голос:

— Земляк... земляк...

Привалившись спиной к стене, на полу сидел человек в грязной изношенной одежде. Ключоватая шапка и рваный пуховик делали его фигуру бесформенной, затерявшееся в бороде лицо представляло из себя какие-то красно-лиловые бугры, среди которых блестели глаза и железный зуб.

«Бомж,—подумал Васенька и сразу же одёрнул себя:—Бездомный человек». Он не любил слово «бомж», потому что оно скрывало от него что-то. И кроме того, оно не встречалось в художественной литературе. Выходило так, что, хотя все классики и учили сочувствовать бедным, бездомным и даже спившимся людям, к бомжам их слова как будто не относились. Бездомных людей, конечно, нужно жалеть, но вокруг—одни бомжи, а к этому слову накрепко приклеилось чувство презрения сытых к голодным. Слова великих писателей и пророков проплывали где-то над землёй, никак с ней не соприкасаясь. Васенька с этим был не согласен: ему хотелось либо самому попасть на небо книжных сюжетов, либо опустить это небо на землю.

— Земляк,—тихо повторил человек, обдав Васеньку кислым запахом,—будь добрый, сходи в ларёк за минералкой.

Васенька силился повернуть голову влево и внимательнее рассмотреть того, кто просил его о помощи, но затёкшая шея сама собой по привычке кланялась в правую сторону, где, подобно сому в аквариуме, шевелил глазами милиционер. Васенька вспомнил, как в детстве его ругала парикмахерша за то, что у него «шея без костей».

Когда мужик сунул в руку Васеньке смятый полтинник, тот сразу спохватился и стал оглядываться в поисках своего рюкзака. Рюкзака нигде не было: он посмотрел на соседние сиденья и под них, по углам—ничего. Потом он ощупал свои карманы—пусто. Так... А что же у него при себе было? Что он, в конце концов, потерял? Возбуждённый мозг ожил, голову стали покидать остатки сонливо-болезненной дури. Ноги, руки... вроде бы целы. Паспорт? Резкий приток адреналиновой

бодрости. Слава Богу, он оставил его дома. Васенька мигом приписал это событие милости небес. Что было в пропавшем рюкзаке? Пара кассет русского рока: «Воскресение» и «Крематорий». Ничего, их альбомы продаются в любом ларёке. Книга религиозного философа Трубецкого «Смысл жизни» и тетрадь со стихами. Конечно, книгу можно тоже купить, а стихи восстановить по памяти, тем более что эта тетрадь была начата недавно. И всё же Васенька предпочёл увидеть в двух последних потерях мистический смысл, хотя и непонятно какой. Прежде всего, это означало гнев божества. Но Васенька и без того постоянно чувствовал себя под надзором вечно рассерженного и своенравного Бога, который предпочитает карать без объяснения причин и смысла своих действий. Васеньке непрерывно казалось, что Бог недоволен им, хотя и не собирается растолковать, что же нужно сделать, чтобы выйти из немилости. Не делай одного, не произноси другого, не возжелай третьего... А что делать-то? Раздать всё, что имеешь, нищим, самому стать нищим и лечь в придорожную канаву дожидаться смерти?

Собравшись с духом, он встал с сиденья и приблизился к прозрачной стене.

— Извините, а не было при мне рюкзака?

Голова в аквариуме проговорила нечто неразборчивое, насмешливое и отрицательное. Васенька уже было отодвинулся от окошка, а потом, вспомнив, снова приник к нему и спросил:

— А можно, я за минералочкой схожу?

Он изобразил на заспанном лице самое жалкое и умильное выражение, на которое был способен в ту минуту. Вообще, он старался изо всех сил искренне любить милиционера, чтобы вызвать в том ответную симпатию.

— Постой, а откуда у тебя?—начал серый человек, но осёкся, хищно шевельнул глазами и сказал:— Ладно. Только протокол подпиши.

Васенька не глядя подмахнул исписанную таинственными каракулями бумагу, указал фамилию и дату. Человек в форме вынырнул из-за стекла и с грохотом открыл железную дверь в чёрную ночь. — А то посидел бы до утра,—добавил он участливо. — Я минералочки куплю и вернусь,—пообещал Васенька.

Он любил милиционера всей душой.

Васенька был рад возможности пройтись, размяться и собраться с мыслями. По привычке поднял голову к небу, чтобы разглядеть звезду. Увидав среди туч бледную точку, он с облегчением решил, что всё будет хорошо. В ночи расплывались чернильные силуэты приземистых построек. Это явно была окраина. «И как меня сюда занесло?»—подумал Васенька. В мозгу мелькнули едва ощутимые воспоминания: вот он неуклюже пристаёт к пассажирке автобуса... а вот он стоит на остановке и пробует руками задержать спешащие в парк

маршрутки... Если он пытался добраться домой, то, может быть, он, по крайней мере, находится с нужного края города, вот только голова ещё не вполне прояснилась, а кругом — темнота, хоть глаз выколи. Но вот в стороне мелькнул огоньками круглосуточный ларёк, и Васенька пошёл на этот призывный свет. Где-то перелаивались собаки, спали окна невысоких домов, дорога под ногами была неровная. Он двигался осторожно, присматриваясь к осколкам луны в лужах, ощупывая ногой почву, прежде чем наступить. Наконец он достиг ларька, приобрёл бутылку минеральной воды и двинулся в обратный путь, ориентируясь на этот раз по свету фонаря над входом в участок.

В забранном решёткой окне ему привиделось какое-то мельтешение. Дверь оставалась незапертой. Васенька вошёл внутрь и увидел перед собой широкую серую спину, а между расставленных серых ног — свернувшегося калачиком чёрного бездомного человека.

— Значит, говоришь, не было у тебя? — голосом громовержца изрёк милиционер и резким коротким движением ткнул лежащему в лицо носок тяжёлого ботинка.

Бездомный опрокинулся навзничь и застонал.

Васенька, стараясь не шуметь, поставил бутылку на пол и выскользнул наружу. Несмотря на испуг и сумбур в голове, подлое сознание успело услужливо подсказать ему, что сдачи с полтинника хватит на проезд в автобусе.

Где же искать станцию в этих местах? Впрочем, сначала ему хотелось убраться подальше от участка. Проследив за фарами проезжавшей машины, он выбрался на большую дорогу и пошёл по ней, ворочая тяжёлыми мыслями. Итак, он напился на похоронах (бедная Саша!) и оказался в милиции. Вчера была пятница, значит, на работу ему не надо, и сегодня он едет на дачу с Танечкой (неожиданный прилив бодрости). Необходимо добраться домой и привести себя в порядок. Никаких других мыслей не было: остальное место в черепе занимала тупая боль. В мозгу словно бы завелось назойливое насекомое. Васенька старался сконцентрировать свои ощущения на больном участке мозга, и тогда боль как бы рассасывалась, но через секунду возникала в новом месте. Эта погоня за непоседливым насекомым в своей голове напоминала ему игру в «змейку» — единственную игру, которая была на его телефоне... Телефон! Васенька сунул руку в карман и — о чудо! — нащупал пластмассовый овалычик. И как он не заметил его раньше? Похоже, старая дешёвая модель не вызвала интереса у тех, кто обшарил его одежду и похитил его рюкзак. Возможно, ещё и потому, что батарейка села и экран был безжизнен.

И тогда, чтобы убить время, расстояние и головную боль, он стал сочинять стихи, отмеряя шагами такт...

Белая пустота в сердце моём живёт,
Я говорю «когда» — может быть, кто поймёт.

«Когда» — так называлось первое стихотворение, с которым он стал выходить в сопровождении музыкантов на городские рок-площадки. Друг написал интересную мелодию, которая по ходу композиции утяжелялась, становилась мрачнее и неистовее, а Васенька под неё выкрикивал в набитый подростками зал свои зашифрованные призывы о помощи, дружбе и понимании, обещая свои помощь и понимание взамен. Но сейчас ему хотелось прислушаться к собственной душе.

Я напрягаю слух, я различаю звон,
Я неподвластен злу, но стены со всех сторон.
Не обмани меня,
Не обменяй на сон,
Тайные имена
Сказаны в унисон.

Последний призыв, судя по всему, был обращён к образу Танечки, навстречу которому он, не зная дороги, шёл сквозь осенний утренний туман. Он помнил, что как с Северного полюса любое направление ведёт на юг, так и все его жизненные дороги ведут в сторону любви. Особенно сейчас, в сезон поэтов.

Вроде везде свои, вроде вокруг друзья,
Но за спиной стоит то, что понять нельзя.
В десять утра — на бой, но, как тут ни борись,
Всех заберёт с собой осенний каннибализм.

Ссылку на полотно Дали он прилепил для красоты. Использованием бестолковых скрытых цитат его соблазнил Гребенщиков. И снова он обратился к непостижимой, далёкой Танечке, как будто она обладала чудесной силой отогнать невидимых упырей, присосавшихся к его душе:

Не обмани меня,
Не обменяй на бред,
Чтоб я не вспоминал
То, чего больше нет.

Он шагал по пустынной дороге и, напевая только что придуманные строки, протягивал руки к образу Танечки, который рисовался ему на фоне тусклого рассвета. Конечно, он, почти не переставая, думал о ней в течение всей недели. Чувство мучительного притяжения к ней жило в подкладке его сознания и ощущалось параллельно с прочими мыслями и эмоциями. Он помнил о ней, точнее, о её отсутствии, когда ехал в автомобиле с очередного репортажа, когда засыпал и просыпался, шёл по улице и даже во время общения с другими людьми, помнил, когда бежал по дворам, спасаясь от гопников, и когда слушал рассуждения наркологов о типах зависимости...

Он употреблял Танечку, как пьяница, малыми и крупными дозами: большими графинами воскресных встреч и рюмочками телефонных сообщений. «Что же ты такое, Танечка,— лекарство или болезнь? Скорее всего, второе, раз уж мысли о тебе приносят столько мучений, а каждая встреча только усиливает последующую ломку». И в то же время он со спокойствием обречённости понимал, что не в силах отказаться от предстоящего двухдневного «запоя влюблённостью» и что в любое время дня и ночи, с какого бы конца земли ни позвала его возлюбленная, он готов ползти к ней хоть на коленях, оттолкнув собственное достоинство, своих лубочных богов.

События первых дней работы на радио несколько развлекли его, и Васенька гордился тем, что не так уж часто писал Танечке. Однако в конечном счёте в состязаниях молчания Танечка проявляла ещё большее спокойствие и редко писала первая, в то время как Васеньке каждый час без связи с нею давался большим напряжением воли.

Неожиданно впереди возникло большое, бледно светящееся на фоне светлеющего неба стекло автобуса, и Васенька, плохо соображая, что делает, замахал руками и бросился ему наперерез... Автобус притормозил и принял Васеньку, салон был почти пуст, лишь два ранних пассажира расположились на заднем сиденье. Мужики с удовольствием широко раздвинули ноги, так что каждый занял по два с половиной сиденья, и неторопливо перебрасывались короткими фразами.

— Две комнаты—восемнадцать и двенадцать квадратов, район Строителей,—веско и с расстановкой говорил один.

— Одна комната—двадцать квадратов, Центральный район,—отзывался другой.

— Кухня—десять квадратов, отдельный санузел...

— Девять с половиной квадратов, санузел общий...

«Торгуются они, что ли?»—подумал Васенька, а потом догадался: они хвастаются, точнее, подводят итог прожитых отрезков жизни.

— Четвёртый этаж. Дом пятиэтажный, кирпичный, девяностого года.

— Двенадцатый этаж. Панельная четырнадцатизатажка, новострой. Лифт.

— Лифта нет.

Если бы к Васеньке подошёл человек с отрешённым взглядом и сказал: «Сними обувь свою и следуй за мной»,—вполне возможно, Васенька разулся бы и пошёл по блестящему мокрому асфальту автострады, потом по густой грязи и вверх по холмам к самому горизонту... Но автобус вёз его домой, где его ждали компьютер, холодильник, унитаз.

— Диван, два телевизора—в комнате и на кухне.

— Диван, два телевизора—в комнате и на кухне.

— Диагональ монитора...

— Диагональ монитора...

— Дача на Рябино. Двухэтажный дом из бруса, четыре километра от станции.

— Дача на Лесной. Один километр от станции. Одноэтажный дом на каменной основе...

Васенька вытряхнул из своего телефона аккумулятор, зачем-то подул на него, затем снова вставил и попробовал включить устройство. Иногда этот трюк срабатывал и позволял ненадолго воскресить мобильного друга. Телефон чирикнул, и на зелёном экране возникли чёрные буковки. Никаких новых сообщений, никаких пропущенных звонков. В эту рискованную для него ночь никто не интересовался его судьбой. Но вот аппарат откликнулся на мысленный призыв, задрожал в Васенькиной руке и победным писком объявил о новом сообщении. У Васеньки замерло сердце... «Хотите общаться выгодно для себя? Сеть сотовой связи объявляет о запуске нового сервиса „В кругу друзей“!»

Глава 15,

в которой Васенька собирает плоды

Ключей он лишился, но субботним утром мать была дома. Она впустила его и ни о чём не стала расспрашивать. Отец же, напротив, непременно устроил бы «допрос с пристрастием». Однако родители давным-давно разведены, так что папа хозяйничал только в Васенькиных воспоминаниях, зато деликатность матери граничила с равнодушием. Порой Васеньке хотелось, чтобы мать или кто другой заинтересовался его проблемами, вмешался в его жизнь и помог бы привести её в порядок или, точнее, помог нарушить установившийся порядок, бесцветное и безвкусное течение дней. Только не сегодня, нет, только не сегодня...

Юность, влюблённость и ванная вернули ему бодрость, и вскоре Васенька отбыл к Танечке, снова с чрезмерным запасом времени. Всю дорогу он очень волновался: никогда нельзя угадать, в каком настроении он застанет даму своего сердца. Как правило, немилость её вызывалась не непосредственно его поступками, а постепенным брожением и превращением мыслей об этих поступках в Танечкиной голове, так что она могла внезапно рассердиться на него за слова, произнесённые месяц назад. А тут ещё воздействие матери и бабушки, друзей, подруг и даже телепередач. Но на этот раз небосклон Танечкиной души был ясен, и она встретила Васеньку очаровательной и даже кокетливой улыбкой.

Несмотря на такое многообещающее начало, по дороге на дачу Васенька почти не говорил с Танечкой, поскольку понимал, что в любой разговор сразу влезет сопровождающая их Алина Авангардовна и непременно начнёт спорить, чтобы показать свой ум. Поэтому Васенька предпочитал сразу общаться с Танечкиной матерью—так было и вежливее, и осторожнее: уж лучше непосредственно

спорить с ней, чем дать ей возможность внезапно вмешаться и срезать его неожиданным вопросом. Васенька старался быть учтивым, вообще пробовал относиться к ней как к будущей теще. Однако он не удержался, когда Алина Авангардовна заговорила о гомеопатии — главном источнике её авторитета и власти над дочерью.

Она принялась подробно пересказывать содержание телепередачи о чудесных свойствах воды.

— Вода умеет передавать информацию, — объясняла она почтительно согнувшись к ней Васеньке. — Например, одно племя на островах в океане прославилось долгожительством именно потому, что пило воду, в которой находились кораллы, и кораллы передали через воду информацию о своём долголетии.

Васенька ещё не вполне оправился от бурной ночи, и его раздражало слепое доверие к телевизору этой женщины и её дочери, тем более что он уже немного понимал, каким образом создаются новости и передачи. Но он нашёл в себе силы не ответить резко, а прикинуться дурачком:

— Вот как? А почему же вода не содержала в себе информацию о планктоне, который живёт по нескольку дней? — и, не дав собеседнице опомниться, сразу задал второй вопрос: — И информацию о чём таком семидесятилетнем содержит вода, которую пьют обычные люди?

— Вот вы иронизируете, а между тем способность воды передавать информацию доказана экспериментально!

И Алина Авангардовна подробно изложила содержание опыта, во время которого стакану воды сыграли музыку Баха и тяжёлый рок, признались ему в любви и обозвали дураком.

— Ух ты! — воскликнул Васенька. — Значит, молекулы воды понимают наш язык?

— Конечно, нет. Воде передавались эмоции говорящего. Разве вы никогда не слыхали про материализацию мысли?

— Я впервые слышу о столь доверчивом стакане воды, — восхитился Васенька. — Ведь очевидно, что экспериментатор был неискренен, когда признавался ему в любви и ненависти.

Он бросил на Танечку торжествующий взгляд, но Алина Авангардовна заметила это и рассерженно поджала губы.

— Вот как? Стало быть, вы у нас учёный? Профессор? Так, не глядя, отмечаете научные теории!

— А учёные каких наук и какого научного института проводили эксперимент, о котором вы рассказали?

— Международный институт воды!

— Ну, Алина Авангардовна, такие институты сегодня открываются и закрываются по пять штук в день. Так что, пожалуй, и я завтра могу сделаться профессором института любви к стаканам.

Алина Авангардовна задыхнулась от негодования и готова была уже ответить что-то резкое, но тут в разговор вмешалась Танечка:

— Неправда, Вася, вода действительно передаёт информацию, иначе как бы я выздоравливала от гомеопатии?

Васенька ожидал от любимой Танечки по крайней мере нейтралитета в идущем споре, и такой удар в спину застал его врасплох. Всё-таки она встала на сторону матери, и настал черёд Алины Авангардовны смотреть победительницей. Да и что мог сказать Васенька? «Ваша гомеопатия имеет эффект плацебо, а мама твоя пудрит тебе и твоим клиентам мозги»? В этой точке разговор грозил перейти в серьёзную ссору.

— Ну, может быть, — сказал он, почесав затылок.

«Наедине я Танечке всё объясню. Она должна понять». Васенька даже обрадовался, когда Алина Авангардовна принялась подробно пересказывать очередную телепередачу на похожую тему, и, сделав вид, что слушает, стал глядеть в окно.

Наконец они покинули автобус, обогнули тюрьму, уютно втиснутую между жилыми домами, и двинулись к окраине, лавируя между лужами. Город упирался в крутой холм, на склоне которого и располагались дачи. Все трое начали восхождение. Тут уж стало не до разговоров. Васенька взял у Танечки её сумку, но Алина Авангардовна отказалась сдать ему свой багаж, заявив, что Васенька надорвётся — слишком уж хлипкок. Васенька обиделся, но снова смолчал и устремился вверх. Подниматься в гору он предпочитал «кавалерийским наскоком», то есть одним рывком, — зато наверху свалился на траву и долго не мог совладать с дыханием.

Вид с холма открывался великолепный: город был как на ладони, и даже более того — видны были зелёные холмы по ту сторону. Город гудел в низине, придавленный серым куполом смога. Отдыхавший, Васенька оставил сумки и стал спускаться, чтобы помочь дамам. Втащив наверх Танечку, он повторно усталое опустился на землю, на этот раз рядом с ней. Танечка любовалась видом, а Васенька теперь уже не видел ничего, кроме своей возлюбленной. Он мог сколько угодно любоваться, как дрожит от ветра пушок на её шее, прядью волос, запровленной за ушко, подрагивавшими губами, на которые просилась улыбка, чуть влажными глазами, в темноте которых тонула отражённая голубизна неба. Всё принадлежало его жадному взору, пока по склону продолжала подниматься отставшая, отказавшаяся от помощи Алина Авангардовна.

Почувствовав его нескромный взгляд, Танечка повернула к нему лицо и, слегка покраснев (а может, она раскраснелась от подъёма), полустрого-полунасмешливо спросила:

— Ну что?

На этот раз Васенька не был застигнут врасплох и ответил ей четверостишием:

Город клубился вокруг, словно дым,
Город молился своим небоскрёбам,
Город за нами следил из витрин,
Как в лабиринте скитались мы оба.

При чтении он смотрел ей в глаза, говорил нараспев, так что Танечка почувствовала себя приятно заипнотизированной и, бросив осторожный взгляд на склон, по которому шла мать, приблизилась и поцеловала Васеньку в щёку. У Васеньки аж голова закружилась, а осень сразу превратилась перед его глазами в цветущую весну. Даже появление Алины Авангардовны не смутило и не расстроило его: он чувствовал себя вознаграждённым за всё. Мама Танечки строго и подозрительно посмотрела на него, и все трое пошли по дороге между заборами дачных участков. Приподнятое настроение Васеньки выкрасило весь пейзаж в светлые, нежные краски. День был погожим, солнечные лучи вплетались в тёмную листву деревьев, окрестности таяли в золоте, в воздухе носились птичий щебет и возгласы дачных обывателей. Вскоре они приблизились к нужной калитке.

Крыша одноэтажного домика с крыльцом и верандой была опущена листвой близстоящих вишнёвых деревьев и ранеток. Часть земли была занята картофельными грядками.

— Мы пришли! — объявила за всех Алина Авангардовна, обращаясь к дому.

На крыльце появился кругленький черноволосый мужчина среднего роста. Распахнутый серо-лиловый халат придавал ему сходство с жуком. Из халата торчали кривые ноги и длинные руки, покрытые чёрным волосом. Это был брат Алины Авангардовны, его представили Васеньке, но юноша тут же забыл его имя и отчество и стал про себя называть его «дядя Тани».

— Прекрасно! Прекрасно! — возгласил он громовым голосом и уткнул в Васеньку мохнатый палец. — Вы-то и поможете нам с урожаем картошки!

Васенька приуныл: вместо романтических прогулок под сенью облетающих деревьев ему предстояло перелопатить довольно обширный участок чёрной земли.

— Труд землепашца — самый почётный на Руси. Сейчас мы, как настоящие русские крестьяне, будем собирать дары земли. Надеюсь, вы патриот, молодой человек? — дядюшка протянул Васеньке здоровенную лопату.

Затем он показал ему, как надо выкапывать картошку, и побежал переодеваться.

Васенька отогнал грустные мысли: во-первых, он подумал, что ему, как потомку крестьян, не пристало чураться «самого почётного труда на Руси», а во-вторых, он отнёсся к возложенной на него задаче как к испытанию, своеобразной

отработке права на вхождение в круг близких знакомых, права впоследствии претендовать на руку Танечки. Прикинув, что более умелый и опытный дядюшка, скорее всего, выкопает большую часть картофеля, он решительно принялся за работу, намереваясь поле, как и гору, одолеть с наскока. Кроме того, было обещано, что вскорости появится Володька, муж Танечиной сестры, и тоже присоединится к копщикам.

Увы, в отличие от Васеньки, дядя Танечки предпочитал всё делать медленно и основательно: Васенька успел в полном одиночестве пройти целый поперечный ряд, прежде чем он, наконец, появился на поле, с ног до головы облачённый в специальную одежду (сапоги, комбинезон, перчатки, соломенная шляпа) и с вилами на плече.

— Бодрее, интеллигенция! — сказал он, указал Васеньке на недостатки его работы и вонзил вилы под ближайший куст.

Вынув вилы из земли, дядюшка с негодованием констатировал перекося зубьев.

— Вот те на! Продали китайскую поделку, — воскликнул он.

Оставив Васеньку работать, дядя отправился делиться с Алиной Авангардовной своим презрением ко всей китайской цивилизации, которой буддизм и красная идеология мешают делать нормальные вилы. Потом он со знанием дела внимательно и обстоятельно выпрямлял и точил свои вилы, измерял их линейкой, привешивал к ним отвес и прочее. «Пока он будет точить китайские вилы о свой русский менталитет, у меня хребет треснет, — думал Васенька. — Вот объявлю забастовку — будут знать». Но затевать конфликт на чужой территории он не смел: выходило так, что хотя дядя и эксплуатирует его, но он всё-таки хозяин. Так что Васенька упрямо продолжал копать. Из краёв лунок, как зубная паста из тюбика, вылезали розовые дождевые черви, но обычно брезгливый Васенька уже свыкся с ними и даже жалел, что лишает их жилища. Руки горели, росла куча выкопанного картофеля. Изредка поднимая голову, он видел разбиравших сумки Танечку и Алину Авангардовну, дядюшку, который закончил возиться с вилами, но по пути к картофельной грядке почему-то увлёкся какой-то канавкой, принялся измерять её длину шагами и рулеткой. Вот к калитке подкатил автомобиль, и из него возник богатырский силуэт Володьки. Но и он не поспешил на помощь Васеньке: сперва долго и любовно мыл машину, а потом взялся жарить шашлыки. Васенька работал из последних сил — теперь его подогревала злоба. Он уже не хотел просить передышки и помощи у людей, которые так откровенно использовали его. «Самый почётный труд, — сквозь стук в ушах доносились до него собственные мысли. — Так что ж вы его на других повесили? А ещё удивляются потом, что

народ таких вот дядюшек на вилы поднял». До него доносились громоподобный хохот дядюшки и Володьки, запах шашлыков...

Когда с картошкой было почти покончено, возле кучи урожая как по волшебству возник Володька и ловко, умело упаковал клубни в мешки. Потом они вместе с дядюшкой стали таскать мешки в автомобиль, а дамы встречали их радостными возгласами и аплодисментами. Васенька так устал и даже не сердился, что благодарность Танечки и Алины Авангардовны достаётся другим. Он сел на притаившуюся в кустах скамейку и бросил лопату рядом. — Что ж ты инструмент от земли не очистил? — со снисходительной усмешкой спросил его Володька. — Так не годится.

Васеньке хотелось ответить что-нибудь едкое, в духе «вот ты и очисти», но он снова решил не затевать скандала: Володька был огромен, сам Васенька находился в гостях, и здесь была Танечка.

Приглашать его к столу делегировали Танечку, и Васенька оттаял. Однако за столом все долго, сконфуженно дожидались дядюшку, который теперь только кинулся ковыряться на пустой грядке, заставляя себя звать и упрасивать. Он появился за столом с большим опозданием, отдуваясь и вытирая с лица пот. Аппетит у Васеньки разыгрался не на шутку: после тяжёлой работы, да ещё и на свежем воздухе, всё казалось невообразимо вкусным. Алина Авангардовна даже показала Танечке на него глазами и укоризненно покачала головой: мол, вот как жадно ест твой поэт!

Дядюшка и за столом вёл себя необычно: каждый раз, когда он собирался выпить сока или минеральной воды, он принимался произносить длинный тост вперемешку с собственными воспоминаниями, заставляя остальных молча сидеть с кружками в вытянутых руках. Наконец, запихав в рот последнюю дольку помидора и уже не спеша наливая себе сок, Васенька почувствовал себя достаточно умиротворённым и на очередное замечание Володьки по поводу проделанной работы с усмешкой спросил:

— Так что же ты мне не помог?

Володька солидно расправил плечи и возразил: — Есть такая штука — разделение труда. Слыхал? Я, например, эту картошку в город повезу. Не потащишь же ты её на своей спине. А у меня автомобиль, так что это моя зона ответственности. — Правильно! — живо подключился Танин дядя, видимо, желая опередить возможный вопрос. — А умеешь ли ты канавку вымерять? Кто бы мне канавку вымерял? Алина вот на стол собрала... — А Танечка нам на гитаре сыграет! — подхватил Володька. — Это её зона ответственности.

Возразить было нечего: если нет автомобиля и не умеешь вымерять канавку (и даже не представляешь, зачем это нужно), то обречён на самую чёрную работу. «С другой стороны, — подумал

Васенька, — что мешало сразу всем вместе сделать самое трудное, а потом уж разбежаться по зонам? Я, может, вообще поэт, ну, или, на худой конец, журналист, а меня к лопате приписали».

Как будто угадав его слова, дядюшка прибавил: — А ты нам стихов считаешь. Ты ведь сочиняешь, говорят?

— Болтают, — съюродствовал Васенька, но без особой обиды.

Сытое усталое тело клонило к послеобеденному сну, солнце ласково припекало, по листве проносился шепоток. Дядюшка, снова облачённый в лиловый халат, стоял на перевёрнутом корыте и хозяйским оком озирали чужие участки.

— Петренки вон ещё копаются. Кто их просил столько картошки сажать? А всё жадность, матушка. Вот мы зато уже отвоевались и отдыхаем, как белые люди. Самовара нам только не хватает, была бы нормальная русская сиеста. Попахали в поле, а потом чай на воздухе — как у истинных аристократов. Я ведь потомственный дворянин, если вы не знали, — обратился он к Васеньке.

— И я! — подхватила Танечка.

— И я! — сказала Алина Авангардовна.

— Ну и я тогда потомственный, — согласился Володька.

Только тут Васенька заметил, что дядюшка обут в настоящие плетёные лапти. Они очень забавно смотрелись поверх оранжевых носков с эмблемой «Адидаас».

— Это у вас лапти?

— Конечно, — с гордостью кивнул дядюшка. — В столице купил. Вот только по ноге не смог найти, всё сваливаются.

После обеда Володька откланялся и укатил с картошкой в город, Алина Авангардовна с братом стали играть в карты, а Васенька снова отправился к укромной скамейке. Он чувствовал, что Танечка непременно придёт к нему. От игроков в карты он был укрыт ещё не облетевшими кустами, зато самому Васеньке открывался вид на долину. Бело-жёлто-голубые окрестности напоминали выцветшую репродукцию Репина. В богатой раме осенних лесов, осиянный прощальной нежностью солнца, город ворочался в мутном мешке смога, как не осознающий себя зародыш. «Какими мы будем, когда перерастём ту грязь, которую сами наплодили?» — подумал Васенька и задержался на этой новой для него мысли. Дальше он уже ни о чём не размышлял, а погрузился в полудремотное блаженное созерцание. Его взгляд свободно и плавно взбирался от холмов к тучам, гулял по проспектам и мостам далёкого города, так что появление Танечки даже вызвало лёгкую досаду: нужно было покинуть своё комфортное оцепенение и срочно что-то предпринять; он должен был завоёвывать, должен был добиваться её... он должен... должен... — Что нового? — спросила Танечка.

— Вот роман сочиняю, — Васенька хотел сообщить эту новость с важным и загадочным видом, но не удержался и расплылся в смущённой улыбке.

Ему неловко было пересказывать Танечке свои мистические фантазии, он уже смутно догадывался, что этими образами просто тешит своё самолюбие, но не говорить же ей об оказавшемся за решёткой сумасшедшем деду Коле, о гибели Саши, о ночи в участке, не копаться же в психологических нюансах разговора с Мотневым. Он чувствовал, что Танечке сейчас нужно другое, и он рассказал ей о падшем ангеле-невидимке и ведьме Аи, которую прогнали с Лысой горы за то, что она слушала его речи, о том, как ангел спас её от самоубийства и поведал колдунье свою историю, а она не поверила ему и убежала.

«...Девушка вскочила и побежала вниз по склону. Он с грустью посмотрел на её острые лопатки. Ей было очень холодно, и она сжалась и сгорбилась, словно окружающая темнота давила на её плечи. Расстояние между ними всё увеличивалось, оно заполнялось остывшим осенним воздухом и ветром. И вдруг им обоим показалось, что это не темнота и не туман, а огромные чёрные флаги или вымпелы. Они заслоняли солнце, они подменяли собой небо. Извиваясь на ветру, они окутывали мир многослойным покровом, ложились повязками на глаза. Заблудившиеся проблески света или едва различимые детали ландшафта представлялись элементами гербов, вытканых на этих торжественных знамёнах. Когда ветер утихал, они повисали строго и неподвижно, как стены, превращая ночь в запутанный лабиринт. — Аи! Аи! — позвала она себя по имени.

Так её звали наставники, соседи, так, видимо, её звали и родители, которых она не помнила. Девушка знала, что это означает „утраченная дочь“. Теперь она внимала звукам своего имени как грозному пророчеству, но продолжала упорно произносить его, и были в её призывах и страх, и смирение, и горечь. „А-а-а-аи-и! А-а-а-аи-и!“ — стонами разносилось по округе. И в этот самый миг незнакомец протянул свои невидимые руки и начертал на небе радугу. Она была очень тоненькая и короткая (от склона Главной Горы до низких тяжёлых туч), но совершенно настоящая.

Колдунья раньше не любила смотреть на небо: земля казалась ей ближе во всех отношениях. А иногда ей казалось, что земля и небо — одно и то же. Мир представлялся неделимым, все вещи теряли названия и индивидуальность, сливались в общее впечатление. Бывало лень запоминать разные слова, сопоставлять их с предметами, группировать в лексиконы, когда достаточно одного-единственного наречия, чтобы выразить всю Вселенную и в эту общую кучу свалить и своё „я“

вместе со всеми чувствами и мыслями. Ведь можно просто сказать „хорошо“, и это вберёт в себя и теплоту ночи, и мягкий ненавязчивый блеск луны, и удалённость врагов, и близость партнёров, и имена этих партнёров — впрочем, остальное уже мелочи... А иногда мерещилось, что слов „плохо“ или „хорошо“ — недостаточно. Что нужны другие, несколько более точные определения состояний, отрезков сознания, из которых состояла жизнь. Но эти слова предстояло выдумать... И пустота новых созвучий так пленительно ни к чему не обязывала: „всё — тенгамо“ или „всё скоро будет энскварч“; впрочем, не надо о будущем. Только одно нескончаемое настоящее. А почему оно меняется? А... кто его знает? Так уж оно как-то... Всё так.

Девушка старалась смотреть на радугу, но глаза уже подёрнула дремотная пелена, и в этом состоянии полуяви мир представлялся совсем иным. По небу, как по водной поверхности, пошла рябь. Цветная полоска начала приближаться, изгибаться, как будто спускалась по склону горы. Сама гора перекрасилась в серый цвет, на ней проступили отдельные камни и деревья. А может быть, это просто наступало утро.

Засыпала Аи, утерянная дочь, и ей было тепло, словно кто-то окутал её невидимым плащом. Ей приснилось огромное огненное Колесо. Оно не то катилось, не то просто вращалось в пустом чёрном пространстве. Вокруг не было ничего, и потому нельзя было понять, движется Колесо или нет. Оно повторяло свои однообразные повороты и горело жестоким, внушающим безотчётный ужас пламенем, от которого ничуть не прояснялась окружающая тьма. Непонятно, сколько это продолжалось, пока откуда-то не возник Крест. Он или стоял на горе, непохожей на гору праздников, или, может, он тоже летел в пустом пространстве. И вот два символа встретились и вступили в единоборство. Колесо становилось ледяным великаном, а Крест — сияющим львом, Колесо превращалось в птицу, а Крест — в рыбу. Колесо стремилось вместиť в себя Крест и превратить его в свои спицы, а он ширился, выходил за пределы кольца, и оно становилось кружочком в его центре. Они распадались на много маленьких крестиков и ноликов, и тогда их война скорее напоминала игру. Весь мир состоял из вечно борющихся иксов и кругляшочков, они выстраивались парами и хотели над колдуньей. И её разум, и её душа тоже примитивно раскладывались на круглые и четырёхконечные элементы. Иногда они становились похожими, но не переставали враждовать. И делалось так уныло и грустно от этого однообразия. И даже когда перед самым пробуждением стали появляться треугольнички и восьмёрки, Аи знала, что это всё те же Крест с Колесом, и не удивилась».

Выдумывая сон Аи, Васенька невольно описал нехитрую матрицу собственного сознания, состоявшую из единиц и ноликов, то есть из крестиков и колёсиков—символов христианства и язычества, Бога и его отсутствия, неба и земли, души и тела, добра и зла. Сталкиваясь с чем-то новым—человеком, книгой, фильмом,—Васенька стремился определить, в какую из двух категорий новое явление попадает: утверждает ли произведение искусства идею личного христианского божества или нет. Если да, то это хороший фильм (песня, книга), если нет—то плохой. Если новый знакомый не верил в Бога, Васенька испытывал, способен ли он воздействовать на этого человека, обратить его в свою веру, и от этого зависело и на этом строилось дальнейшее общение. Если же человек оказывался верующим, то Васенька принимался выяснять, разделяет ли он Васенькины взгляды на все догматические тонкости, и в случае несовпадения снова принимался проверять человека на податливость, шлифовать его углы. Собственно, процесс обращения людей в свою веру и являлся для Васеньки общением. В этом смысле он был совершенно одномерен: все явления действительности, все люди были для него точками на прямой, где положительную и отрицательную бесконечности воплощали собой Бог и дьявол. Впрочем, в дьявола он не особо верил; скорее, минус-бесконечность представляла та самая пустота, засосавшая Сашу и теперь терпеливо поджидавшая его.

Он не ожидал, что Танечке понравится его история, однако сказка помогла ей затушевать воспоминание о встрече с Граниным, а потому юная слушательница охотно погрузилась в мир символов и метафизических схем. Особенно понравилась Танечке сцена, где колдунья Аи гипнотизирует торговца, чтобы получить у него еду и одежду.

.....

«Она поднялась с холодного камня неожиданно свежей и бодрой. Солнце уже покинуло зенит, и приближались тихие сумерки. Скоро с новой силой закипит ночная жизнь земных и подземных существ. Мир снова был прост, в нём было достаточно теней, чтобы спрятаться от невзгод и тягостных раздумий. Вечерний свет выкрасил долину и холмы в пёстрые, яркие цвета. Рыжий, жёлтый, багряный были нисколько не похожи на цвета болезни и смерти—скорее, они были признаками богатства и роскоши. „Как хорошо!—подумала девушка.—Мир—это икона в богатом окладе. Вот и мы начнём с того, что раздобудем какую-нибудь одежду...“

И она побежала вослед за видневшимся вдалеке обозом. Колдунья догнала обоз легко и быстро, тепло, чудесно исцелённое сном, было сильно и гибко.

Скелетоподобные возницы не торопили волов, их телеги были нагружены тканями, оружием, рабами, песком и другими ценными товарами. В разрушенном нагорном городе они, как всегда, удачно продали свои клетки Безмолвному; тот никогда не скупился, хотя мало кто подозревал, зачем ему столько клеток и куда он их деваает.

Пока обнажённая Аи бежала к ведущей повозке, некоторые из торговцев и охранников окликали её и свистели в спину. Пожалуй, тело её было далеко от идеала—недостаточно мясистое для любовных утех. Зато возраст самый лучший—восемнадцать лет, время, когда девушка перестаёт воображать из себя принцессу и существенно снижает цену на свою любовь. Может быть, в её первом падении существует некий привкус мести: „Жрите, недостойные!“—но кому от этого хуже-то, в конце концов?

Итак, она добежала до первой повозки и вскочила на неё. Верховный купец осторожно повернул голову, а девушка посмотрела ему прямо в глаза и заговорила ровным спокойным голосом:

— Ну, насилу догнала вас. Вы разве не знаете, что должны выдать мне одежду? Конечно, безо всяких обиняков можно было бы утверждать, что вы так и собирались поступить, поскольку законы и определённые правила, предписывающие это, не могут не быть известны в вашей среде. Таким образом, изменяя своё сознание, переворачивая последние страницы, с вашего позволения, умея и имея в виду, ставлю вас в известность. Только и всего. Ведь вы так и собирались поступить, неправда ли? Я, безусловно, понимаю вашу деловую забывчивость и заранее, так сказать—априори, принимаю ваши объяснения и определения меняющихся обстоятельствно обязательств, лучшая одежда, помнить об этом—мой выбор обязателен лиотикароменаствахдегоспри, солнце-то как поднялось и закатилось. Разве не так?

— Так,—с серьёзным видом кивнул купец.

Аи продолжала говорить, памятуя о том, что главное—серьёзная деловая интонация, отсутствие долгих пауз и акцентное выделение незначительных вводных оборотов. Помнила она и многие другие вещи, необходимые для гипноза, всё это она прочно усвоила вместе с азами колдовства на подземных семинарах у своей престарелой наставницы. Гипноз неопитам преподавался просто блестяще: на первых порах им преподавались различные бессмысленные дисциплины вроде литературоведения, структурологии или введения в заключение. Бедные ученики путались в океане бесполезной документации; кроме того, учитель всегда был придиричив и субъективен во время экзаменов—хвалил не способных, а тех, кто ему нравился. Так ученики со временем переставали зубрить и учились вникать в психологию наставника, подстраивать свой облик под его

представления. Это и были азы оборотничества и зачаровывания.

Итак, колдунья прыгнула с повозки одетая и сытно накормленная».

Потом Танечка с Васенькой немного помолчали, любуясь видом и иногда краем глаза оценивая поглядывая друг на друга.

— Знаешь, а ведь я уеду в Санкт-Петербург, — сказала Танечка.

Васенька увидел, как порыв ветра оборвал пуповинку пожелтевшего листа и помчал его в холодеющую даль.

— Как? Почему уедешь?

— Почему? Мы же говорили об этом за столом. Вечно ты не слушаешь. Потому что я потомственная дворянка, а все дворяне должны жить в Петербурге, — она тоже с особым благоговением выговаривала название культурной столицы.

Как это часто бывало с Васенькой, испуг мгновенно сменился обидой, и ему захотелось замкнуться в себе. В словах Танечки ему послышалось презрение: нечего мне, аристократке, с тобой водиться! — И когда же ты едешь? — угрюмо спросил он.

— Пока ты пишешь свой роман, я останусь здесь, — благосклонно ответила Танечка.

На самом деле, провалив экзамены в местную музыкальную академию, она решила попытаться счастья в Петербурге через год, но ей тоже хотелось поиграть с влюблённым юношей в загадочность.

Васенька почувствовал, что иллюзорный черешок, соединявший его с жизнью, пусть на время, но восстановился.

— Я буду писать, — угрюмо пообещал он. — Скажи, а каким образом ты дворянка? Дедушку твоего звали Авангард — имя не очень аристократическое. — Родители дедушки были кошмарными коммунистами, а вот у бабушки моей аристократические корни, хотя дедушка и называл её мещанкой. Вообще, что бы она там ни говорила, а ладили они плохо.

— Подожди, мещанами ведь называют заурядных людей, потребителей.

— Много ты понимаешь! Мещане — это обычные городские жители. Или, если угодно, буржуа.

— А-а, понятно. И что же они не поделили?

— Ну я же говорю: дедушка, как и его родители, был кошмарный коммунист — ничего себе не надо, лишь бы американцы из Вьетнама ушли. Он даже хотел куда-то в Южную Америку ехать воевать, он же военный был. Но его не пустили и отправили сюда. Тут уже они с бабушкой и познакомились. А бабушка у меня настоящая аристократка, для неё семья — прежде всего. Она ему так и говорила: «Тебе голодные дети в Африке дороже собственных». И всё добивалась, чтобы он в Москву попросился обратно или в Санкт-Петербург.

— Он тогда Ленинградом назывался.

— Санкт-Петербург, — с нажимом повторила Танечка, подразумевая, что у Северной столицы есть некая вечная неизменная сущность, имя которой Санкт-Петербург, и скоро Танечка станет частью этой сущности.

— А дедушка был ужасно гордый, — продолжала она. — Поругался он с кем-то в Москве и не хотел проситься. Так что, считай, я без двух минут москвичка.

— И без одной — петербурженка, — съязвил Васенька.

— Послушай, я же пообещала, что останусь, пока ты пишешь свой роман. Так что давай не будем о грустном, о низменном. Расскажи мне, что было дальше, — Танечка уже угадывала в колдунье себя, в ангеле — Васеньку.

— Что ж, не будем о низменном...

«Аи уже воссоединилась с ангелом-невидимкой. Они шли по лесу и молчали. Она не смотрела на него и не могла понять: это просто так или вызвано каким-то заклинанием. Всё это было очень похоже на сон. Сон, который снится, когда просыпаешься рано утром и вдруг понимаешь, что никуда не надо идти, и погружаешься в полудрёму, наполненную неторопливыми раздумьями, но не в суету разнородных идей, а в тягучее созерцание некой большой мысли. В данном случае это была горечь. Горечь от услышанного. Впервые Аи показалось, что мир надломлен. Что он устроен совсем неправильно...»

Слушая Васенькин рассказ о полётах, о поиске исцеления для сломанных крыльев, Танечка представляла себе самолёт, который уносит её из надоевшей провинции в сверкающую столицу, а может, и ещё куда подальше.

А Васенька, пока говорил, тоже думал о своём и вдруг спросил:

— Слушай, а твой дедушка что, правда готов был от всего отказаться, чтобы отправиться партизанить в джунгли?

— Я же говорю, что он готов был и семью бросить. Курить перестал... Вот до чего идеи людей доводят!

— Вот тебе и ещё одна сверхмотивация... Любопытно было бы ему в глаза посмотреть, — задумчиво проговорил он.

— А ты знаешь, что бабушка обещала после смерти завещать эту дачу моей сестре, а квартиру мне? — сказала Танечка, испытующе глядя на Васеньку.

— Вот как? — Васенька и бровью не повёл.

Не то чтобы он не мечтал о собственной жилплощади — напротив, он жаждал её, но эта мечта в его голове никак не была связана с его чувством к Танечке: в Танечке он любил только её саму.

Чем же она была для него? Что видел Васенька, когда бросал на неё осторожные взгляды? Одетая она была по-дачному невзрачно: в коричневую старую куртку, которая делала её тело совершенно плоским, в жёлтые джинсы, которые превращали её ноги в пару вялых морковок. Но Васенька знал, что под этой одеждой находится столь драгоценное и желанное для него тело — нежное и беспомощное, с легко поднимающейся температурой — то самое, о котором он мечтал заботиться, обладать им по ночам и среди бела дня, каждую минуту... Волосы Танечки были острижены «под мальчика» пару месяцев назад и вот теперь начинали отрастать, чуть изгибаться, давать волну. Её тёмные глаза казались ему всегда ослепительно яркими, горящими чёрным огнём, взгляд их обжигал и пронизывал, стремился прокалить его душу до самых потаённых глубин; на смуглом лице проступил румянец, а большие чувственные губы чуть дрогнули, когда Васенька коснулся её тонких изящных пальцев с продолговатыми ногтями.

Но прежде, чем запахи трав и Танечиного очарование окончательно опьянили его, из кустов возникла Алина Авангардовна и предусмотрительно предложила всем прогуляться. Что поделаешь? Они поднялись со скамейки.

«Ведь не за одно тело я её люблю? Собственно, это тело мне нравится потому, что это её тело», — рассуждал про себя Васенька, пока они втроём поднимались ещё выше в гору (дядюшка остался на даче, сославшись на обилие дел). «Мне нравится её душа», — думал Васенька. Но как он представлял себе душу? В первую очередь это талант. Танечка умеет сочинять музыку. А во-вторых — это похожесть взглядов. О религии Танечка думала то же, что и Васенька; более того, её вера в Васенькины сказки помогала и ему самому верить им.

Они продолжали восхождение. Алина Авангардовна без усталости рассказывала о том, что ей поступило предложение из Москвы и что она обязательно туда переедет, забрав с собой дочерей. Дорога казалась бесконечной, по обеим сторонам её простиралась буро-зелёная мешанина лесов. Васенька не умел видеть, понимать красоту природы. Глаз его не был настроен для этого. Потом дорога вывернулась из-под их ног, и они нырнули в растительный хаос. Вокруг сразу закружились мелкие насекомые, лицо облепила паутина. Васенька, то и дело спотыкаясь, брёл среди густой травы, снимал с рук и носа паутину, отгонял мошкар и никак не мог понять, каким образом великие писатели вдохновлялись русскими лесами. Природа в произведениях классиков была ласковой, они любовались ею, как прекрасной картиной, но она не лезла с жужжанием им в уши и глаза, не путалась под ногами, не заливала брызгами с потревоженной ветки, не хватала за икры осенним холодком...

Наконец среди деревьев забрезжил просвет, и вскоре им открылся вид на обратный склон холма. Небо, ранее развешенное где-то высоко на макушках деревьев, раздвинулось, приблизилось и обняло землю, а земля наклонилась и превратилась в долину, на дне которой поблёскивал ручей. Умом Васенька понимал, что открывшийся ему вид прекрасен, но у него не было ни слов, ни образов, ни звуков, чтобы отпечатать это всё на внутренней стороне своего черепа. Он лишь беспомощно бормотал что-то про «чаше-купольную систему» художника Стерлигова да об «изначальном замысле творца о мироздании». Алина Авангардовна тем временем расстреливала панораму из своего фотоаппарата, а Танечка просто опустилась на траву, как обычно, обхватив колени руками, и негромко предложила Васеньке: — Давай просто поглядим.

Он сел рядом с ней и беспомощно уставился в противоположный склон, силясь переплавить окружающий мир в слитки слов, чтобы заполучить очередную сцену для своего романа. Но «Божий мир» отказывался подчиняться его словам, втискивая в душу огромное неповоротливое чувство с привкусом горечи от бессилия это чувство называть. Мир в красках заката был самодостаточен, совершенен и совершенно равнодушен. Впечатлительному Васеньке стало так жаль себя, Сашу, деду Колю, Вальку и даже Надиваныча — вообще всех людей, заблудившихся в городах, превращённых автомобилями в душные тюрьмы, — что к горлу подкатил комок, и только присутствие двух дам помогло ему сдержать слёзы. Подобное очистительное ощущение горькой беспомощности он испытал, когда прочёл в финале «Пикника на обочине» Стругацких: «Счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженный».

Это чувство сохранилось в его душе даже по возвращении в дом, и он осмелился предложить всем посумерничать на веранде. Предложение получило высочайшее одобрение, и четверо дачников собрались за столом вокруг дымящего чайника. На огонь лампочки летели мотыльки и отчаянно бились о стекло веранды, а Васенька думал, что и он так же ищет в потёмках источник света и готов стремиться к нему, даже если это грозит ему гибелью. Железная кружка обжигала пальцы, но это делало питьё чая только более сложным и увлекательным. Он отпивал чай крохотными осторожными глотками, восхищаясь его необыкновенным вкусом: впервые в жизни он пробовал этот напиток с добавлением настоящего смородинового листа. Говорили немного, но фразы и долгие паузы между ними казались одинаково исполненными глубокого смысла:

— Хорошо сидим...

— Вкусный чай...

— Слышите? Стрекочет...

Ветки деревьев снаружи постепенно сливались с темнеющим небом, всё вокруг делалось иссиня-чёрного цвета, мир сжался до освещённого лампой пространства вокруг стола. Васенька пошарил рукой в направлении сидящей рядом Танечки, но нащупал не ладонь, а колено, однако не убрал руку, а Танечка не подала вида.

Потом он помог дядюшке затопить печь и согреть на ночь дом, а Танечка и Алина Авангардовна приготовили постели. Умывшись, все улеглись, но Васеньке не спалось: его будоражили шорохи ночи и мысли о Танечке, ему казалось, что разгадка тайны бытия спрятана именно в ней... и кроме того, дядюшка принялся храпеть. «Ведь ночи созданы не для спящих», — вспомнил Васенька строку Константина Арбенина и соскочил с лежанки, благо ему постелили у самой двери. На вешалке он нашёл большущую телогрейку и, накинув её, сошёл с крыльца в шёпот и шевеление веток. Созвездия, не прореженные завесой смога, ослепили и потрясли Васеньку, и он застыл в благоговейном восторге и потом долго бродил среди деревьев и кустов, и слова любви легко складывались в стихи. Он совсем не ощущал холода; напротив, какой-то внутренний пламень горячил его кровь... Вдруг — скрип двери дома, едва заметный шорох трав, и Танечка в лёгкой ночной одежде приблизилась и нырнула к нему под телогрейку. Тут уже Васенька не мог совладать с собой: он обнял её тоненькое тельце, прижал к себе, и рифмы полились безудержным горячим потоком в Танечкино ушко, в то время как их руки сами собой безошибочно двигались и находили нужные пути, а губы заполняли паузы в стихах жадными поцелуями...

Опускаюсь на колена
С телескопом у окна,
Ось вращения Вселенной
В мою душу вонзена.

Я хотел бы отрешиться
От обыденных забот,
В запредельном раствориться,
Только память не даёт.

Пламя северной звезды из плеяды Водолея,
Как ловил во сне я этот одинокий свет.
Пламя северной звезды ослепляет, но не греет,
Так прекрасно и напрасно, как любовь в семнадцать лет.

Я освоился не сразу,
Я блуждал, как Агасфер,
Я искал бессмертный разум
В лабиринте высихших сфер.

Серебрят меня седины
И космическая пыль,
Только сердцу всё едино —
Бережёт оно свой пыл.

Путь от неба до земли вдруг проделает комета,
Словно вера у поэта: вот была она — и нет.
Путь от неба до земли совершает ангел где-то,
Непорочный и печальный, как любовь в семнадцать лет.

Отворись, источник бездны,
И второй потопо пошли,
Если стали бесполезны
Мне все радости земли.

Все вопросы без ответа,
Все разгадки — для двоих,
Темнота Вселенной — это
Взгляд и волосы твои.

Одинокие огни в темноте миров прекрасны,
Наблюдают безучастно за скитаньями планет.
Одинокие огни то взрываются, то гаснут,
Беззащитны и жестоки, как любовь в семнадцать лет.

Глава 16,

в которой Васенька встречает рассвет

Потом они полулежали, тесно прижавшись друг к другу, и старая телогрейка была вигвамом, обогреваемым жаром двух тел. Васенька чувствовал себя опустошённым и отупевшим, всё, что только что произошло, казалось ему нелепым и некрасивым. Образ Танечки померк, утратил своё очарование, хотелось свернуться калачиком и замкнуться в себе, а главное — голову покинули и возвышенные мечты, и проклятые вопросы, как будто изнутри всё вымели веником. Он всё ещё обнимал горячее, льнущее к нему тело Танечки, а сам думал: «Неужели это так? Неужели все поэтические восторги зависят от секреции организма и покидают тело через семя?»

Восток стал светлеть, они окончательно проснулись и увидели друг друга измятыми, со спутанными волосами и серыми лицами. Прежде чем они оделись, оба успели невольно оглядеть и отметить телесные несовершенства друг друга. Танечка осторожно вернулась в дом, а Васенька попробовал умыться, но ледяная вода в умывальнике заставила его совершенно замёрзнуть — даже нос и губы посинели. Тем не менее он был настроен решительно и готов, как порядочный человек, просить Танечкиной руки. Ему казалось, что это позволит очистить себя и свои чувства от грязи. «Получил своё... Получил своё...» — ехидно твердил внутренний голос. «Неправда! Я ничего не получил. Даже наоборот», — отзывался Васенька. Он снова отправился к скамейке и стал ждать. Вскоре появилась Танечка. Она переоделась, привела себя в порядок и вообще имела даже несколько официальный вид. Васенька принялся убеждать её, а заодно и себя, что им назначено быть вместе, но девушка, несколько часов назад отдавшаяся ему, с горькой усмешкой покачала головой.

— Если уж говорить честно, то муж из тебя никакой, — сказала она, отведя взгляд.

— Но почему? — удивился Васенька.

— Потому что муж — это тот, кто в себе уверен.

Он не знал, что за время своего отсутствия Танечка успела составить на бумажке небольшую сравнительную таблицу, в которой перечислила все Васенькины плюсы и минусы, и теперь эта сложенная бумажка находится во внутреннем кармане её куртки. Но ему вспомнились наставления Егора Валентинкина о том, что в голове у каждой женщины спрятан калькулятор и что любые любовные отношения — это просто торговая сделка, в которой участвуют наборы личностных качеств и перечни личного имущества. Васенька тогда ещё ответил ему, что даже если это так, то он построит свою любовь как-нибудь иначе, а если не получится, то уж лучше вечно оставаться одному, чем смириться с такой отвратительной правдой. Они тогда сидели в каком-то подъезде, и Егор пускал в потолок дым своих тоненьких дамских сигарет. И вот сейчас Васеньке показалось, что слова Танечки пахнут тем же самым дымом. Чего она хочет? Что значит быть уверенным в себе? Вот Валентинкин с Аполлошиным крепко стоят на своей правде, а Васенька во всём сомневается. Может быть, потому, что ещё не нащупал своей правды?

— Я уверен в себе, — пробормотал он, может быть, даже для того, чтобы самому прислушаться, насколько фальшиво прозвучат эти слова в его устах.

Танечка снова горько усмехнулась:

— Ну конечно... — и, помолчав, добавила: — Муж — он защитник, а человек, который даже себя защитить не может... Вот сегодня за столом Володька и мама с дядей подшучивали над тобой — называли то «поэтом», то «работягой», а ты им ничем не ответил.

Что тут скажешь? Васеньку с детства воспитывали вежливым мальчиком: нужно уважать старших, вести себя прилично в гостях. Неужели для того, чтобы выглядеть достойно, нужно непременно затевать скандал и что-то доказывать людям, которые тебе неприятны и неинтересны? — Себя-то защитить труднее, чем тебя, — сказал он наконец. — Тебя защитить! Эх, — он даже шутливо толкнул Танечку локтем. — Денег побольше нагрести — и всех делов! А разве не так? — продолжил он быстро, заметив иронию и недоверие в её улыбке. — Вот я недавно струсил, убежал от хулиганов. А какой-нибудь Роберт де Ниро разве не струсил бы? Очень может быть, что и он бы испугался. Но он живёт в Голливуде, где никаких гопников нет, вилла его надёжно ограждена забором, а по улицам он перемещается в шикарном авто. Потому он и кажется таким смелым. Имел бы я собственный автомобиль и ездил бы в нём, как в танке, от подъезда до дверей супермаркета, да ещё и тебя

бы возил — тогда бы ты сочла меня достойным защитником? Солидный, богатый человек уверен в себе, поскольку смотрит на всех с высоты своих доходов, а окружающие, извиваясь вокруг него, воспитывают в нём львиные замашки. А если твоя личная судьба зависит от того, подхихикнул ли ты сегодня начальнику, научному руководителю, богатому родственнику, то невольно станешь ходить на цыпочках. Так, значит, выход один: копить деньги, рваться наверх, делать свой личный success. Вот тогда тебя назовут «успешным человеком».

Кажется, Танечка не слушала его. Её мечтательный взгляд был устремлён вдаль.

— Но ведь ты же всё равно не накопишь мне на квартиру вон в том доме с розовыми балконами, — она указала ему на высотку, торчащую над городом, как окурочек из большой грязной пепельницы.

Если бы даже её выбор пал не на элитное жильё в центре, Васенька всё равно не смог бы ей ничего обещать: он понимал, что, если не произойдёт чуда, он никогда не сможет купить собственную квартиру, а значит, в очереди на Танечкино сердце он будет вечно стоять после «уверенных в себе людей».

— Зачем же ты тогда... — но он сразу же осёкся, устыдившись своего вопроса, и, чтобы спасти положение и погасить вспыхнувший презрением взгляд чёрных глаз, заговорил о другом: — Зачем тебе здесь квартира? Ты ведь уедешь в Петербург... Ещё бы! — он тоже стал смотреть в небо, как будто бы пенял не Танечке, а восходящему солнцу. — Столица — город сытенький и чистенький, и придуман он для таких же сытеньких и чистеньких жителей. — Там культура, — поправила Танечка.

— Ага, театры, концертные площадки, продюсеры, издательства. Но в конечном счёте всё снова упирается в то, что там много бабла. Даже любовь к городам строится на этом.

— Я и не думала, что ты такой меркантильный.

Она говорила медленно и тоже как будто спорила не с Васенькой, а с провинциальным городом, оживающим в лучах рассвета. С заросшего лесом холма она мысленно уносилась в Петербург, гуляла по его брусчатым улицам в окружении интеллигентных и элегантных людей.

— Я меркантилен? — задумчиво протянул Васенька, а потом добавил: — А люди там всё-таки дерьмо. Вокруг — музей на музее, храм на храме, а они все хитренькие и злые.

— Ещё и гордец. Нормальные люди.

Её рука невольно дёрнулась к карману куртки, чтобы внести поправки в составленный список...

— Интересно, а куда ты захочешь уехать из столицы, когда приглядишься как следует к новому месту? Нельзя же все проблемы этого мира решить бегством, — спросил Васенька и сразу подумал: «Ведь и правда нельзя постоянно бежать, когда-то надо будет принять бой».

Когда Алина Авангардовна и Танечкин дядя показались на крыльце дома, Васеньки на участке уже не было. Вспыльчивый и импульсивный, он сбежал, хлопнув той самой калиткой, которую так благоговейно открывал и за которой ему мерещились райские кущи. Покинув дачу, он уже через несколько шагов пожалел о своём жесте, почувствовал, что поступил не круто и решительно, как хотелось, а скорее капризно; но, раз начав, нужно было довести сцену до конца, и только у поворота он осторожно оглянулся. Но дорога была пуста: Танечка не выбежала за ним на улицу и не смотрела уходящему вслед. Она тоже была раздражена и, прищурившись, упрямо смотрела на дом с розовыми балконами. Однако при этом она понимала, что если она вдруг передумает, достаточно будет одной эсэмэски...

Понимал и Васенька, что будет помнить о своей любви, как об утюге, когда точно знаешь, что выключил его, но неодолимая сила всё равно требует вернуться и проверить. А значит, надо переключаться, отвлекать, оглушать себя песнями Гребенщикова и Макаревича, мистическими фильмами, компьютерными играми, молитвами и даже сочинением стихов и романа. Именно поэтому он с охотой откликнулся на приглашение приятелей-рокеров потусоваться вместе в следующие выходные.

Всю неделю он упрямо и старательно работал, выходил в утренний эфир сразу после ехидных передач журналиста Монопольского. Он со смущением вспомнил о несчастном деде Пете, сюжет о котором сам вызвался курировать, но позабыл о безвинном страдальце, решая свои душевные и духовные дела. Между тем дело заточённое в тюрьму деды Пети не двигалось с места. Следствие грозило предъявить видеозапись, подтверждающую, что городской сумасшедший нецензурными выражениями травмировал целый батальон ОМОНА, но так ничего и не предъявляло. КПРФовцы клялись бороться до последней капли крови и лечь костями за товарища, а пока ожидали, чтобы администрация согласовала их несанкционированный митинг. Лидеры оппозиции Мишаня и Дыня анонсировали «оргию протеста» и пригласили журналистов на квартиру, где она должна была состояться. Но, как впоследствии оказалось, им не удалось завербовать для оргии ни одной дамы, так что журналисты застали их в компании друг друга и бутылки водки. Оппозиционеры смущённо чокнулись перед телекамерами, но на оргию это никак не тянуло, так что сюжет даже не попал в эфиры.

Трудовая неделя пронеслась незаметно, а в субботу он уже отправился на квартиру к своему приятелю Андрею, где собиралась рок-н-рольная братия. Мать Андрея ушла к подруге, а отца в семье, естественно, не было. Хата была свободна.

Васенька позвонил в зелёную дверь. Когда он читал рассказ О. Генри, то представлял себе именно эту дверь. Васенька и Андрей дружили ещё со школы и весело проводили время вместе за просмотром и обсуждением фильмов, прослушиванием кассет, за разговорами о жизни вперемежку с чаем и анекдотами. Но в последнее время разговоры у них клеились с трудом, что-то изменилось. Не были приятны Васеньке и новые знакомые Андрея, все эти представители новых музыкальных течений — альтернативщики, хардкорщики, эмо, — стиль музыки которых различался не звуком, а фасоном штанов. Но уж очень хотелось не думать о Танечке, а субкультурные тусовки — лучший способ оглушить себя.

Внутри было уже людно и шумно. Васеньку приятно удивило то, что почти всех гостей Андрея он знал. Все набились на кухню и сгрудились за столом: пять парней и одна девушка. Раздались приветственные возгласы:

— А, вот и поэт! Сейчас он нам зачитает!

Но Васенька, поздоровавшись и отшутившись от предложения выступить, раздобыл себе табуретку и забился в угол у холодильника, так, чтобы на него не падали свет и взгляды, и скоро о нём забыли, словно бы его не было в комнате.

Естественно, что в этой компании всеобщим вниманием владела девчонка, сидевшая в старом кресле. По господствующим меркам красоты она была не слишком хороша собой, но умело смущалась общим вниманием, что, безусловно, повышало её привлекательность. Кроме того, повторимся, она была единственной девушкой вечера, а законы рока неумолимы: рокер обязан добиваться внимания максимального числа представительниц противоположного пола. Так что стремление ей понравиться мигом приобрело за столом характер животного состязания самцов. Парни активно вышучивали друг друга, хвастались, рассказывали давно надоевшие им самим анекдоты. Собеседников они практически не замечали и, даже обращая друг к другу, всё равно говорили только с девушкой. Дама благосклонно хохотала и не спешила остановить свой выбор на ком-либо одном.

Молодые люди все были музыкантами — обмывали успешный концерт. Впрочем, даже и не обмывали: между стаканами гуляла лишь полуторалитровая бутылка пива. Был на столе и чай, коего причастился и Васенька. Только один из присутствующих был пьян, и это был не кто иной, как Валька Егоров, в одиночестве пользовавшийся бутылку водки. Он безуспешно пытался спойть девушку, вёл себя довольно развязно и этим, похоже, был ей наиболее симпатичен. От водки отказывались все, но Валька не оставлял надежду нарезать не в одиночку. Он даже дольше всех пытался растормошить Васеньку, настойчиво

предлагая ему выпить, как будто в последний раз видел его не в пятницу, а сто лет назад и успел за это время дико соскучиться по лучшему другу. Это особенно рассердило и одновременно озадачило Васеньку: ведь на работе Валька был с ним замкнут и неразговорчив.

— А-а-а а в-в-вот-т-т кто раздавит со мной бутылочку!.. За это надо выпить!.. Давайте выпьем!..—орал он по каждому поводу, заставляя иных обронить:

— Успокойся, Валя.

Остальные парни были тоже веселы, но шумный товарищ мешал им ухаживать за девчонкой. Её звали Виолетта, и она уже освоила новый модный стиль: окрасила волосы в чёрный цвет, уронила на один глаз длинную чёлку, а сзади заставила волосы топорщиться, как у выкупавшегося в луже воробушка; на ногах чулки в розовую и чёрную полосу, на руках чёрные нарукавники; посередине что-то кожаное. Напротив неё за столом сидел белобрысый Егор Валентинкин. Он старался брать своеобразием и изяществом юмора. Ему противостоял хозяин квартиры и лидер музыкальной группы Андрей. Он обладал оглушительным голосом вокалиста и, используя это преимущество, громче всех хохотал, обращая на себя общее внимание. Лёха и Фендер играли в его группе. Фендер и за столом не расстался с недавно купленной очень дорогой гитарой, он периодически тенькал по струнам и с наслаждением слушал деку. Впрочем, несмотря на уговоры, он так никому и не сыграл—продолжал себе тенькать и прислушиваться.

Обсуждали стратегию успеха—по следам какой группы следует двинуться навстречу славе. Васенька молчал, он слышал (и вёл) эти разговоры уже тысячу раз.

— Нам нужен хит, чтобы его люди пели и по радио ставили,—говорил Лёха.—Например, как «Музыкант» у Никольского. Она всем нравится.

«А ведь это необычно,—подумал Васенька.—Песня-то грустная, но всё равно она многим нравится, и радиостанции её частенько крутят. Почему? Может быть, потому, что это песня о бессмертии?»

И ушёл, не попрощавшись, позабыв немой футляр, словно был старик сегодня пьян.

А мелодия осталась ветерком в листе,

Среди людского шума еле уловима...

Музыкант ушёл, а мелодия осталась. Может где-то здесь и прячется секрет вечности? Мелодия осталась среди людей и для людей. Вот только ещё надо найти такую мелодию. И что это может быть, кроме музыки?»

— Всю свою музыку Никольский украл у Марка Нопфлера из «Dire Straits»,—авторитетно заявил Егор, бросив победоносный взгляд на соперника.—Надо играть что-то лёгкое, но качественное, и уж, конечно, косить не под Никольского или

«Воскресенье», а под тех, под кого они косили,—ориентироваться на первоисточник. Ты вот «Brass Horizon» слышал? Вот то-то. И никто не слышал. Так что воруй сколько угодно—наш пипл схавает. Отличный фанк, между прочим, хоть сейчас на радио или на корпоратив какой-нибудь.

— А я считаю, что нужно тяжёлый мочить,—сказал Фендер, следя за реакцией Виолетты.—Чем тяжелее—тем бескомпромисснее. Так, чтобы вообще слушать невозможно было. Тут Кинчев новую песню записал, «Рок-н-ролл крест».

— Боже мой, с какими провинциалами приходится иметь дело!—простонал Егор.

А Васенька подумал, что раньше рок считался музыкой сатаны, теперь вот делает попытки стать православным. Но Константин Кинчев, скорее, напоминал ему не проповедника, а взбесившегося фашистского агитатора. Хотя, говорят, в Италии...

Валька между тем всё сильнее хмелел. Он вдруг сильно ударил Лёху в плечо.

— Э, пацан, дай прикурить!—полушутливо прокричал он эту классическую разводку.

Другие усталились на него со сдержанными улыбочками. Лёха решил поддержать игру и изобразил крутого парня.

— Понимаешь, брат, я не курю,—медленно сказал он, по-наркомански прикрыв глаза и особенным образом выпячивая губы.

— Не брат ты мне, понял? Я у тебя закурить прошу,—с нажимом ответил Валька.

Он недобро улыбался, глаза его были прозрачны и пусты. Короче, он вёл себя в точности как уличная шпана.

— А я тебе на-рма-льно отвечаю...

— Что ты отвечаешь?! За что ты отвечаешь?! Ты у меня ответишь сейчас!

И никто не мог понять, шутка это или серьёзный наезд. Спорщики уже начали было толкать друг друга, и пьяному Вальке было бы не удержаться на шатком табурете против бас-гитариста Лёхи, но он вдруг утих. Разговор стал снова налаживаться: теперь уже Андрей взялся спорить с Егором о музыкальных стилях и группах, а Фендер заявил, что в этих группах никто не умеет играть на гитаре; девушка сразу захихикала и стала строить ему глазки. Лёха выступил в качестве резонёра и призывал не обсуждать музыку, а чувствовать её, и тут же предложил идти гулять по ночным улицам: чего дома сидеть?

— Всё, что вы тут предлагаете, не годится,—заявил Андрей, размачивая сухарик в кружке чая.—Надо сделать так, чтобы нравиться сразу всем: и детишкам, и их родителям.

— Как кока-кола?—спросил Васенька.

— Скорее, как красная икра,—с достоинством парировал Андрей.

Егор, у которого был свой музыкальный проект, говорил, что музыка годится только в качестве

хобби. Лёха и Фендер дружно заявили, что без музыки им не жить. Валька долго молчал и поглядывал то на бутылку, то на приятелей. Трудно было сказать, о чём он думал и думал ли вообще: он покачивался, рот его был чуть приоткрыт — не то улыбался, не то скалился, как будто за столом сидел не живой человек, а зомби из дешёвого ужастика. Отвернувшись от приятелей, он подмигнул Виолетте и протянул ей бутылку.

— О нет! Я лучше выпью пива, — воскликнула она, извлекая из-под стола другую ёмкость и пересаживаясь на подлокотник кресла, чтобы быть поближе к закуске.

— А зачем ты пьёшь эту мочу? — повысил голос Валька. — Ты что — не мужик?

— Я, конечно, мужик, — засмеялась Виолетта, — и поэтому предлагаю тост...

— Нет, ты мне ответь! — он не дал ей перевести тему, его голос сделался угрожающим.

— Что мне тебе ответить?

— А чего ты меня перебиваешь?.. Ты не отвращайся, ты мне в глаза смотри!.. Чего смотришь? Интересно?!

— Интересно.

— Я тебе сейчас покажу «интересно»!

С этими словами Валя зарядил своим широким кулаком девушке в ухо. Она не удержалась на подлокотнике и упала на пол. Парни запоздало бросились унимать своего приятеля, но он заревел и стал сметать со стола посуду. Зазвенело стекло, взметнулась скатерть, перед Васенькиными глазами замелькали руки, ноги, спины. Фендер споткнулся о табуретку, и Валька с видимым удовольствием наступил на его виртуозные пальцы. Лёху он приложил лбом об угол стола, и тот, размазывая кровь по глазам, выбыл из строя. Но Егор, Андрей и опомнившийся Васенька обхватили безумца и повалились с ним на пол. Нильс плевался бурой пеной и хрипло рычал, срываясь на хохот.

«Озверел... прямо как Нильс в моём романе», — мелькнуло в голове у Васеньки.

— Он опять принимал эту дрянь?! — закричал Егор скорее в пространство, чем кому-то из присутствующих.

А Валька вдруг снова успокоился и обмяк. Парни отпустили его, помогли взгромоздиться на стул и сами расположились по сиденьям. Виолетты с ними уже не было: она ушла во вторую комнату спать. Лёха вернулся с пластырем на лбу. Оживление как рукой сняло.

— Зачем ты это всё? — проговорил Егор.

Валька поднял на него свои пустые глаза (что же он принимал?) и зло улыбнулся:

— А ведь страшно, да?

— Глупо, и только, — отозвался Андрей. — Всё-таки эта работа тебя доконала. Зачем ты пошёл в ремонтники, почему не стал...

— Кем же?! Кем это я не стал?

— Ну, кем-нибудь, чтобы работать с культурными людьми...

Васенька открыл было рот, чтобы сказать, что Валя его стараниями уже вторую неделю работает журналистом, но промолчал, увидев, что тот намеренно не говорит об этом. Видимо, ему было что сказать.

— А что мне культурные-то! Чихал я и на престижную работу, и на образование своё неоконченное! Знаешь ли ты, что любой из парней, с которыми я успел поработать, не боится ни-ко-го? Он любого убьёт и ограбит. Да что им все эти «культурные» разговоры о всеобщей бездуховности, если половина из них побывала на войне! А это, знаешь, посильней любой науки.

— Кто посильней? Сильный тот, кто делает выбор. А эти твои солдаты ничего не выбирают в своей жизни, — сказал Егор. — Их погнали под танки, они и побежали. У меня вот квартира и машина есть, а у них нет и не будет никогда. Значит, я сильнее.

— Сильнее, потому что родился в семье главврача?

— Хоть бы и так.

— Ничего, зато, пройдя через огонь, эти парни уже ничего не боятся. Если им что-то не понравится, они возьмут пулемёт и просто-напросто всех убьют.

— Им в армии «равняйся-смирно» в голову ввинтили, как собакам Павлова. Так что ничего они без команды не сделают. И не делают — горбатятся только, как ты.

— Действительно, зачем ты загнал себя во всё это? — снова заговорил Андрей. — Зачем из нашей группы ушёл, не захотел делать с нами музыку? — Что значит с вами? — рассмеялся Валя. — Что значит «делать»? Ты ж им диктуешь каждую ноту, каждое слово.

Фендер и Лёха переглянулись.

— Ну, об этом мы уже с тобой говорили... Помнишь, ты ещё со мной соглашался тогда? — торпливо проговорил Андрей с нажимом, надеясь, что пьяный Валька запутается и не станет спорить.

— Нет, не помню.

— Ладно, но почему ты не окончил учёбу, не захотел найти приличную работу, а уцепился за эту?.. Зачем окружил себя такими людьми? Песни бросил писать...

— Кому они нужны, эти песни?

Фендер, почувствовав, к чему идёт разговор, ушёл в соседнюю комнату утешать Виолетту. Егор уткнулся в новый телефон. Васенька и Лёха принялись подбирать с пола посуду.

Андрей между тем продолжал развивать мысль: — Прежде всего, песни нужны тебе самому. Ведь музыка — это лучшее занятие на свете. Уж всяко лучше того, что ты делаешь сейчас. Да и в чём же ещё смысл жизни, как не в ней? Доносить до людей средствами искусства свои идеи...

— При современной скорости потока информации всю твою музыку забудут через пару лет, даже если прогремишь на весь мир.

— Но надо пытаться, надо лезть, надо всех обхитрить!

— Это вы все сейчас так говорите. Но скоро, ровно через год, вы пой-мё-те,—медленно и с трудом говорил Валька, который был старше Васеньки и Андрея ровно на год и оказался на одном курсе с Васенькой только потому, что не сразу поступил.

Почему он произнёс эту фразу с трудом? Он был слишком пьян или не желал разговаривать? Или ещё что-то мешало ему?

— Что? Что мы поймём?—сказал кто-то, не важно кто, поскольку все поддержали этот вопрос своими взглядами.

Валька не смотрел ни на кого: он уставился в стакан. Понимал ли он, что говорит с людьми, что с ним за одним столом сидят собеседники? Или ему казалось, что он говорит сам с собой или с кем-то ещё, кого не было рядом? Слышал ли он то, что говорили ему? Может, слышал, но не полностью, или, наоборот, к каждой фразе в его мозгу добавлялись какие-то дополнительные слова и смыслы. И о чём он говорил? И кому? Казалось, он вовсе не заботится о том, чтобы быть понятным... Или, напротив, он считал, что говорит понятно и ясно? И что он говорил? Быть может, в его голове звучали одни слова, а губы произносили другие. Жаворонок Васенька чувствовал сонливость и не запомнил и не понял всего разговора. Он был длинный, гораздо длиннее того, что сохранилось в его голове. Но потом, когда Васенька вспоминал этот ночной разговор, его мучило ощущение недосказанности. Ощущение какой-то фатальной невозможности диалога. В памяти остались не фразы, а образ, как будто все они рисуют картину—каждый по очереди подходит к холсту и кладёт несколько мазков. Но каждый рисовал что-то своё, и потому они лишь мешали друг другу, замазывали, перечёркивали написанное собеседниками.

— Вы поймёте,—отчётливо и веско проговорил Нильс,—что есть жизнь, а есть грязная, вонючая дыра.

Он сделал значительную паузу и с вызовом посмотрел на остальных. Те смотрели на него недоумённо, ожидая продолжения или объяснений. — Так вот, в этой дыре, в этом гадюшнике ты можешь провести всю жизнь. И никогда не вырваться... уже никогда.

Все умолкли, хотя думать в этих простых словах было не над чем. Но Васенька вдруг отчётливо ощутил и разделил желание парней понять, увидеть то проклятие, тень жестокой судьбы, нависшую над их товарищем. Она была тут, рядом, может быть, за его спиной. Может быть, в них самих...

Валька неожиданно размахнулся и стукнул кулаком о стол, разбив блюдце, которое незадолго до этого Лёха поднял с пола. Парни привстали, снова готовые к бою. Валька посмотрел на них с презрительной улыбкой. Потом улыбка стала заговорщицкой, и он, уже не так громко, снова постучал по столу, потом вдруг снова размахнулся, но Лёха схватил его за руку.

— Каждый сам хозяин своей судьбы. Вот я хочу подняться над грязью, над нищетой и прилагаю к этому усилия,—сказал Андрей, обращаясь как бы ко всем сразу.

— Не подымешься ты. И никто не поднимется. Это я вам говорю. Город у нас такой.

— Какой—такой?—удивился Андрей.—Музыкальные клубы у нас есть и ещё будут. Можно всякие фестивали проводить. В общем, не голодать, занимаясь при этом музыкой.

— Нельзя. Это вонючий, гадкий город. Он стоит в тени, мы все в тени...

Лёха поёжился: кажется, в квартире всё-таки был сквозняк.

— Ну как так? Инфраструктура отлаживается, бабки в город текут. Скоро состоятельные люди и их детишки захотят развлекаться...—начал Андрей.

— Тут вы и начнёте задницей перед ними вертеть,—договорил за него Валька.

— Глупости это всё,—подал голос Лёха.—В нашем городе полно счастливых, реализовавшихся людей.

— Да? Кто?—с вызовом обернулся к нему Нильс.

— Александр Владимирович, который делает гитары. Он создаёт уникальные инструменты...

— Он водку пьёт,—перебил его Нильс, потрясая перед Лёхиным носом бутылкой.

— Он достаточно зарабатывает.

— Ага, когда заказы есть. Вот так раз в год закажут ему крутую гитару, заплатят тысячу пятьдесят, а он эти деньги потом на весь год растягивает.

— У него бывает много мелких заказов...

— Как раз на водку! Нет, он родился здесь, а значит, ничего у него хорошо идти не должно.

— А как же группа «Mocking Brew»? Вот успешные ребята!

— Иногородние. Да и те скоро развалятся, дайте срок. Будь я проклят, если они преуспеют! Кто в этом болоте родился, тот из этого болота никогда не вылезет. Только приезжие пытаются что-то сделать.

— Примеры можешь привести?—поинтересовался Андрей.

— Тетёшкин, Мухонина...

— Но они-то тоже ничего не добились!

— Как это не добились?! Поверьте, они далеко пойдут!—Нильс опять грохнул по столу.—А хоть бы и не пошли. По крайней мере, они отлично всё понимают. Соображают люди. Не то что вы все.

Все собрались было шумно протестовать, но первым заговорил Васенька. Он пытался понять,

объяснить, обобщить отрывочные высказывания друга, но у него не было подходящих слов, язык увязал в мистическом киселе, и он сам понимал это, но ничего не мог поделать:

— Мне кажется, он говорит немного о другом. Кажется, он хочет сказать, что этот город... заколдован, что ли... Что тут для людей поставлены невидимые стены или потолки, и каждый здешний житель имеет особые, необъяснимые причины не достигать успеха, особенно в творчестве. Как будто каждый человек мистически связан именно с дном этого омута и чувствует себя психически комфортно, только отказавшись от какой-либо реализации своего потенциала.

Все притихли и сделали серьёзные лица. В Васенькиной речи было много умных слов, хотя он и произносил их торопливо, словно стыдился. Никто не понял, о чём он говорил, так что, выдержав необходимую паузу, они вернулись к обсуждению привычных тем. Валька опять стукнул по столу, но с меньшей силой:

— Да не нужна ваша музыка никому, а особенно мажорам, ради которых вы так стараетесь!

— А какая нужна? — оживился Андрей.

— Никакая не нужна. В нашем городе точно. Наш город ещё довольно богат, и сейчас в нём идёт делёж денег. И когда это всё закончится, неизвестно. Так что можете все отдохнуть: нет у вас шансов зарабатывать на жизнь музыкой. И разве вы не чувствуете, как это всё скучно?

— Что скучно? — спросил Андрей.

Лёхи в комнате уже не было: видимо, ему тоже стал невыносим этот разговор.

— Да всё... — Нильс неопределённо махнул рукой.

— Что «всё»? Я, например, с утра до вечера кручусь, встречаюсь с людьми. Тут отдохнуть некогда, не то что скучать! Глядишь, когда-нибудь мы и уедем из этого города, тогда уж точно скучать не придётся. А сочинение музыки? Оно само по себе увлекательно. Иногда, если я придумаю интересный музыкальный ход, то до вечера мне весело, а потом надо репетировать, текст опять же... — Андрей кивнул на Васеньку.

— А я занимаюсь медицинской наукой. Это очень интересно, — вклинился Егор.

— Хождение на задних лапках — и ваша музыка, и ваша наука. Скучно это всё! Мне это неинтересно!

— А мы и не должны тебя развлекать, — не выдержал Васенька. — Это ты должен сделать сам. Они наполнили свою жизнь, нашли то, что...

— Смогут их развлечь?! Развлечь, отвлечь... Это всё голый пафос, фиговый лист. Заткнуть дырки в мозгу, чтобы не было страшно! Чтобы не лезла в голову вся эта бессмыслица. Опереться обо что-то, чтобы не упасть...

— Как ты?

Валька не услышал вопроса; ребята подумали, что вот сейчас его прорвёт и он скажет что-то

важное, что поможет его понять, но он обронил только:

— Будь моя воля, я бы неделями не выходил из дома. Какие же все... идиоты.

Конечно же, в этом «все» читалось «вы все», и поэтому над столом повисло неловкое молчание. Валька уткнулся в бутылку, Антон передал Васеньке вторую бутылку водки, и тот незаметно вылил её в раковину.

Васенька решил, что настал момент, когда можно повернуть разговор в нужное русло:

— А в чём настоящее наполнение, настоящий смысл жизни?

Валька презрительно хмыкнул. Первым заговорил Андрей:

— В искусстве смысл. В чём же ещё? Выдумывать интересенькое, а потом продавать. А главное — управлять всеми, повелевать толпой со сцены!

— Это кто кем повелевает? — недобро засмеялся Валька. И вдруг добавил: — Цирк волшебных крошек!

Эта последняя фраза прозвучала как приговор, как проклятие... и засыпающему Васеньке показалось, что презрительный взгляд Вали стёр, смазал лицо Андрея. За столом остался сидеть безликий болван, едва шевелящий руками. А лицо повисло рядом в воздухе и серьёзно заговорило:

— Человек должен уметь меняться. В том, кто хочет побеждать, не должно быть ничего негибкого, твёрдых вещей, убеждений. Внутри не должно быть барьеров, через которые он не мог бы перешагнуть...

Васенька всхрипнул и тут же проснулся. Егор уже возражал Андрею:

— Искусство не вечно.

— А что не навсегда, того нету, — пробормотал Валька.

Егор продолжал:

— А вот научные открытия пребудут вовеки. И гранты на них выделяют.

— Стать коротенькой сносочкой в многотомном учебнике? Это не бессмертие, — возразил Андрей.

— А сколько дней проживёт песенка? Или стихок? А романы вообще нужны только детям, которые благодаря им компенсируют нехватку жизненного опыта.

— Да, но, — заговорил Васенька, — в искусстве ты выражаешь свою индивидуальность, а в науке идёшь на поводу у объективной реальности. Ты открываешь не то, что выдумано тобой, а то, что и так есть.

— В искусстве — то же самое. Постигание объективной действительности, просто другим способом, — неожиданно внятно и отчётливо проговорил Валя.

Он словно протрезвел на мгновение, сказав эти слова, но в следующую минуту уже начал шарить под столом в поисках бутылки.

Васенька задумался и снова отодвинулся за холодильник. Между тем Егор и Андрей продолжали спор. Андрей пытался играть словами, лопить Егора на противоречиях, сводить его фразы к абсурду, но тот упорно твердил своё. Наконец Валя не выдержал:

— Да пересядьте вы, наконец! Сели друг напротив друга и теперь спорят. Психологи доморощенные. — Скажи ещё, что всё дело в именах, — огрызнулся Андрей и, чтобы увести разговор в сторону, обратился к Васеньке: — А ты как считаешь? Зачем мы живём?

— Во всём этом ещё предстоит разобраться... — сказал Васенька.

— Нельзя! — резко повысил голос Валька. — Вернее, не надо... Никто ни в чём не разберётся. И в этом главный закон. Ничего нельзя понять. Да и не надо...

— И давно ты... — спросил Андрей, но Валька снова перебил его:

— Всегда. Всегда и никто. И страшно. Притяжение слабое, а давление сильное. И всегда холодно, как на планете.

— А что страшно?

— Помирать страшно. Особенно ночью.

— Так ты разберись. Пускай не здесь, но где-то же должен быть ответ. А если нам всем поехать в Питер или Москву? Там народу побольше, и времени у них на ерунду вроде самокопания достаточно.

— А где деньги на дорогу взять?

— Ну ты же зарабатываешь.

— А там где жить?

— Один симфонический оркестр, пока не проплавился, полгода в подземном переходе жил. Главное — захотеть.

— Всё равно они там тоже дураки.

— С чего это ты взял?

— Да с того, что у меня больная и одинокая мать! — Валя вцепился нестриженными ногтями в столешницу. — Как я её брошу? Куда я поеду?! Моя бедная одинокая мама... Я ненавижу этот мир, эту жизнь и этого Бога, если Он есть... Это цирк волшебных крошек. Цирк волшебных крошек!

Васенька вздрогнул. Валька совсем сгорбился и как будто даже внезапно похудел над своим стаканом.

— Он там танцуют... карлики... в цирке... кривляются, вряд ли они сами этого хотят... Но им платят... Понимаете ли вы, подонки, что им платят за то, что они уродливы?! За то, что они несчастны. И ни за что другое им платить не будут! Ни за что. Цирк волшебных крошек... И мы все радуемся, и кланяемся, и танцуем!

Он вдруг зажмурился, обхватил себя руками и стал раскачиваться на стуле, как делает человек, которому очень больно. А потом он стал напевать песенку, видимо, собственного сочинения:

— Папа, почему люди плачут?

— Их кто-то за зло захотел наказывать.

— Папа, а зачем дети плачут?

— Затем, чтобы взрослые учились страдать.

— Папа, почему звери гибнут?

— Затем, что они не как люди, сынок.

— Папа, а зачем люди гибнут?

— Затем, что не вечно им плакать, сынок.

Это тихая песенка слёз,

Это свет колыбелью играет опять.

Ты знаешь ответ на вопрос,

Но мне временами так трудно понять.

— Папа, почему же ты плачешь?

Ведь эту сказку ты выдумал сам.

Папа, по кому же ты плачешь —

По сказке своей или, может, по нам?

Папа, почему я погибну?

Разве я этим хоть что-нибудь спас?

Папа, почему и я плачу?

Я и не знал, как мне жалко всех нас.

— Это тихая песенка слёз,

Это свет колыбелью играет опять.

Ты знаешь ответ на вопрос.

О, как не хочу я тебя потерять...

И когда он пел от имени папы, то закрывал глаза ладонью, а выговорив последнее слово, вдруг заплакал. Тихо-тихо, почти шёпотом. Он плакал, как ребёнок, с долгими судорожными всхлипами, плакал своим осипшим прокуренным голосом, и частые слёзы звонко падали в недопитый стакан, а он растирал их по лицу кулаком и бормотал что-то бессвязное:

— Мальчиш-Кибальчиш... гостя из будущего... зачем они выдумали это всё? Обманули... тоже мне дети полка... и его команда... Они же обещали нам красивую жизнь и красивую смерть! И где это всё? Ну где?! Все эти книги, все эти фильмы... И чтоб вот всё хорошо и правильно, а главное — честное слово... чтобы снова верили в честное слово...

И в это время за стеной раздался глухой стук — это Лёха в бессильной ярости ударил в стену кулаком и вывихнул себе руку. Но те, кто сидел за столом, не знали об этом. Они знали только, что они ничем не могут помочь Вальке, потому что его тоска выше, чем их надежды.

Вскоре Валька успокоился и поднял на друзей заплаканные глаза, в которых читалась ненависть. Всем и правда стало неловко. Андрей пробурчал что-то в том смысле, что он поможет всем устроиться спать, Васенька попрощался и вышел наружу.

Но автобусы ещё не ходили, домой он не собирался — просто захотел подышать воздухом и подумать. У подъезда пустовала самодельная лавочка, которая в другое время суток всегда была занята пенсионерами. И вот Васенька так же устало опустил на отполированную их задами

доску и направил пустой взор в пространство. Он ничего не пытался обдумать, позволяя мыслям и впечатлениям самостоятельно укладываться в мозг, вызывая своими соприкосновениями химические реакции, рождая новые мысли и новые впечатления. Вся эта работа осуществлялась помимо его сознания, где-то под ним, и спустя некоторое время на поверхность стали подниматься продукты этой активности.

Ему показалось, что где-то далеко пропел горн и на его зов откликнулся барабан. Горн и барабан... горн и барабан... и бар-рабан... и бар-рабан... горн и барабан...

«В конце концов, разве Валя не прав? В глубине нашей души живут не еврейские, греческие или даже славянские боги. Наш пантеон состоит из персонажей сказок, которые мы слышали в детстве».

Нет, Васенька не думал ставить под сомнение авторитет Центрального телевидения и своих университетских преподавателей — Бороды и Шамбалы, он не собирался спорить с тем, что СССР (его родина) является царством зла и бездуховности: это была настолько очевидная истина, что его даже не интересовали доказательства. Но он не мог не сознаться (Васенька умел быть честным с самим собой), что советские мультики — это самое доброе и одухотворённое, что он видел в жизни. Это относилось и к уютному крошечному миру историй про Ёжика и Медвежонка, и к распахнутой, загадочной вселенной Алисы Селезнёвой. Даже такой сугубо идейный продукт, как «Сказка о военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твёрдом слове», шевелил в Васенькиной душе какие-то позабытые струны. То же можно было сказать про фильмы, детские и взрослые. Как-нибудь заурядные «С лёгким паром» или «Иван Васильевич» будили в сердце добрые чувства, а персонажам современных российских наирелигиознейших, архимонархических фильмов он не мог заставить себя сопереживать. Казалось бы, превознесённый современным обществом режиссёр Андрей Тарковский, эмигрант, повёрнутый на православии, и он ведь лучшие свои картины снял в тоталитарном «совке», а расправив крылья за границей, сотворил невыносимую тяготию, к тому же ещё и проникнутую ностальгией по оставленной родине. И, надо сказать, так произошло и с другими диссидентами: все те, кто нынче ругал советское прошлое, жаловался на советскую цензуру, идеологическое давление, освободившись и от того, и от другого не создали ничего не то чтобы значительного, но даже попросту любопытного. Рязанов, Окуджава, Рыбников навеки остались там, а в Российскую Федерацию переселились жить их трупы.

Пожалуй, дольше других держались рокеры, но и от них что-то в последнее время ни слуху ни духу.

Лучший альбом группы «Калинов Мост», «Оружие», вышел в 1998 году, а потом пошли перепевки старого. Группа «Выход» выпустила в девяносто девятом неплохой альбом «Два года до конца», но он был наполнен таким пессимизмом и сарказмом по отношению к окружающей действительности, как будто только в отрицании новой России и заключался источник вдохновения.

Апокалипсис рядом,
Апокалипсис близко.
Не надо быть Иоанном,
Не надо быть Богословом, чтобы это понять,—

пел лидер группы Сергей Селюнин.

Что же это выходит? Вырвались на свободу из ужасного атеистического царства, пожили лет десять с хвостиком, и — конец? Впрочем, исповеднику любой религии конец истории, гибель мира представляется желанной целью: тогда из-за рухнувших декораций на сцену выйдут боги и примут верных в свои объятия. Так что верующему человеку не то что России — никакой страны не надо, не надо мира, не надо человечества, вообще людей.

А вот Чиполлино, Буратино, Паровозик из Ромашкова учили любить природу, ближних, весёлые приключения, учили громко смеяться, бороться, дружить. Даже Гаврош, хоть и сам пошёл на смерть, учил любить жизнь.

— Жить и умереть ради жизни, а не ради смерти, — пробормотал Васенька самому ему ещё малопонятную фразу.

Он не стал делать никаких выводов, а двинулся в сторону той самой четырнадцатэтажки. Дверь в подъезд оказалась незапертой, как будто специально для него. Васенька огляделся внутри и сразу понял, что его «святилище» уничтожено, росписи исчезли. Он хотел уже было уйти, но на первом этаже распахнулись двери лифта, и в кабине в тусклом свете плафона он увидел фигуру мужчины. — Привет! — сказал Гранин. — Рад, что нам всё-таки удалось встретиться.

— Здравствуй, — ответил Васенька, его глаза загорелись радостью, переходящей в затаённый испуг.

Он вошёл в кабину, и, прежде чем двери закрылись, они крепко и с чувством пожали друг другу руки. Кабина дрогнула и понесла их вверх.

Какое-то время оба молча внимательно рассматривали друг друга. Сам Васенька был немного согнутым и невольно заглядывал в глаза собеседника снизу, но в этом взгляде было страстное требование. Гранин держался прямо и потому выглядел выше. В его глазах была видна усталость. В остальном он тоже являл собой противоположность Васеньке: одет строже, острижен коротко. — Я уже и забыл, какой ты, — улыбнулся он.

— Уж какой есть, — развёл руками Васенька. — А ты разве другой?

Гранин пожал плечами, и Васенька продолжил:
— Ты, конечно, знаешь, что я хочу у тебя спросить первым делом.

— Догадываюсь, — Гранин невольно отвёл взгляд от лица собеседника и уставился в потолок.

Лифт ехал вверх медленно и неестественно долго, как будто собирался забраться на такую высоту, с которой виден весь мир.

— Итак... Ты нашёл? — не выдержал Васенька.

— И да, и нет. В зависимости от того, как подойти к вопросу.

— Что это значит? Говори прямо.

— Скажем так: я ничего не нашёл, но поиски можно считать законченными.

Их разговор был долог, но его содержание осталось известно лишь им двоим, и ни Васенька, ни Гранин не передавали потом никому то, что было сказано во время этой сюрреалистической поездки.

Казалось, что прошла вечность, прежде чем двери лифта открылись вновь. В кабине не было никого, кроме Васеньки. Он вышел и оказался на двенадцатом этаже, там, где когда-то было написано стихотворение «Тысячи лет выхода нет». Теперь стена была пуста, как чистый лист. Васенька вынул заветный синий маркер и написал:

Ты был там,
Ты был дан
Этой планете как намёк
На то, что каждый одинок
И светел.
Лунный свет,
И сна нет,
И лишь автобус под дождём
Тебя немного подождёт
И всё равно уедет.

Человек-невидимка,
Почти что слилось со стеной
Твоё лицо,
Но ты пока ещё живой.

Внимательно перечитал написанное, потом поднялся на четырнадцатый этаж, вышел на балкон и на мгновение ослеп от лучей восходящего солнца.

Эпилог

Рассказать о том, как сложилась судьба других действующих лиц этой истории, довольно просто, поскольку получившие вскорости распространение безлимитный Интернет и социальные сети сделали их жизнь прозрачнее, чем в замаятинской антиутопии.

На персональной страничке Артёма в графе «семейное положение» читаем: «Помолвлен с Танечкой Лепёшкиной»; город — Санкт-Петербург. На страничке Танечки... графа «Семейное положение» гордо отсутствует, но город указан тот

же — Санкт-Петербург. Итак, её мечта сбылась не без некоторого компромисса. Правда, вот уже несколько лет ничего не слышно о её новых песнях — в «Аудиозаписях» выложены только славные наивные песенки, написанные в далёкой провинции от тоски по культурной жизни. А вот страничка Алины Авангардовны перестала обновляться почти сразу после создания. Из записей посетителей на стене узнаём, что неутомимая целительница, увы, скончалась в поезде на пути в Москву, почти согласовав своё переселение в столицу. Зато бабушка Танечки и по сей день здравствует и бережёт свою мебель.

У Вали очень популярный и посещаемый блог, который он регулярно обновляет. Правда, нет в этом блоге ни песен, ни стихов, ни музыки, как будто муза никогда и не посещала подвального философа. Здесь много шуточных, ёрнических замечаний о политике местных властей, вполне в духе его учителя и кумира журналиста Монопольского с «Эго Москвы». Они даже добавили друг друга в друзья. Да, местное вещание оппозиционной радиостанции закрылось — как раз перед краевыми выборами. Говорят, фирма получила недурные отступные, а некоторые даже добавляют, что ради этих отступных волна в их городе и открывалась — открывалась ради бесплатного закрытия. Надиваныч окончательно был отщёпт с местного политического олимпа и затерялся где-то в муниципальных пресс-службах. Ирка перешла работать на краевое радио.

Отец Юлий, судя по аватарке, умудрился при помощи новейших средств медицины отрастить себе роскошную бороду лопатой. Правда, вместо краевого центра он теперь почему-то служит в глухой северной деревне. Если попробовать выяснить причину переезда при помощи официального сайта местной епархии, то можно обнаружить лишь небольшое сообщение о том, что отец Юлий был назначен благочинным далёкого района, то есть формально эта ссылка выглядит как повышение. В левом верхнем углу сайта красуется фотография местного архиепископа: взгляд сердитый, властный, а вот бородёнка у него неказистая, в народе такую называют «мочалкой». Уж не приревновал ли капризный владыка чужую бороду, не уснул ли «лопату» подальше от своих очей?

Аполлошин в администрации мэра больше не значится, про книги его тоже ничего не слышать. Личная страничка завалена рекламой маклерских контор; похоже, Дима плюнул на всё и теперь играет на бирже.

На сайте местной ячейки КПРФ какое-то время появлялись сообщения про деду Петю, но после его загадочной смерти в камере эти сообщения с сайта были удалены. А через пару месяцев он был посмертно исключён из рядов партии за неуплату членских взносов.

Лидеры оппозиции Дыня и Комаров продолжают свою бурную деятельность. Полистайте их электронные фотоальбомы: они являются сибирскими представителями сразу нескольких столичных партий и неформальных организаций, участвовали в проведении митингов за честные выборы, маршей несогласных, русских маршей, маршей за и против сексуальных меньшинств и умудряются поддерживать превосходные отношения с местной администрацией и своими патронами в Москве и за рубежом. Их приятель Мишаня спился и живёт на пенсию своей тётки.

За деятельностью оппозиции с интересом следит Егор Валентинкин. Родители устроили его работать в элитную частную клинику, и теперь он проникся любовью к олигархам и ненавидит кремлёвскую власть.

Преподавательский состав филфака в ходе реорганизации института был уволен в полном составе.

Андрей, Фендер, Лёха и Егор вместе уехали в Питер, где тоже бросили заниматься музыкой — заделались арт-директорами разных клубов и теперь регулярно рассылают всем знакомым рекламный спам.

Тоннель, с которого начинался наш рассказ, так и не был прорыт в связи с обострением кризиса 2008 года. Гребенщиков продолжает петь песни о тайнах души и новостях из астральных миров.

Что же произошло с Васенькой, доподлинно неизвестно: как-то он исчез из поля зрения друзей и знакомых. Отец Юлий утверждал, что знает, как ведут себя подобные пылкие юноши — они идут в монастырь или в какую-нибудь секту. Впрочем, оказался ли Васенька в местном монастыре, отец Юлий не мог сказать с точностью в связи с переездом. Валька однажды спьяну заявил, что Васенька покончил с собой — шагнул с балкона навстречу новой жизни. Большинство же — Ирка, Егор Валентинкин, Дима Аполлошин — склонялось к тому, что Васенька попросту рванул в Питер; по крайней мере, они сами туда непременно уедут в ближайшее время. Были и вовсе дикие версии: мол, Васенька полностью изменил свои взгляды и круг общения, увлёкся то ли историей, то ли политикой... Кто-то даже предположил, что Васенька и является автором всколыхнувших местную блогосферу анонимных статей с призывами чуть ли не к мировой революции. Но это уже из области легенд о капитане Копейкине... Пожалуй, самую неожиданную версию предложила Танечка. Она сказала, что и не было никогда никакого Васеньки, что это был не реальный человек, а просто коллективный розыгрыш.

До последнего времени я и сам не мог понять, что случилось с Васенькой... со мной, со всеми нами. Наверное, потому и была написана эта повесть.

ДиН пародия

Евгений Минин

Муза гонит пургу

Всебяшнее

*Живи себе внутри
себя, судьбы, потёмки.*

Константин Гадаев

Живи себя внутри,
не покупай квартиру
и с ночи до зари
в себе измучай лиру.
Мне и душа как дом,
для всех она — потёмки,
но будут мне потом
завидовать потомки!
Жить буду, всех любя,
забуду про простуду.
И больше из себя
я выходить не буду.

Стихосердное

*если умное сердце стучится лбом,
сильное — кулаком, и, ага, потом
по лбу себя, а тучи летят, ползут,
то утреннее просто гонит мазут*
Василий Бородин

если умное сердце стучится лбом,
это признаки, что со стихами облом
если сильное сердце стучит кулаком,
значит, можно творенья сжигать целиком
вроде слагается всё на лету,
сердцу родимому невмоготу,
а прочту потом, и, агу,
муза гонит сплошную пургу

Анатолий Третьяков

И снова утро

Дни августа

Солнечные дни ещё нередки
 Даже в наших северных краях.
 Вновь мигают красные ранетки
 Из зелёных листьев на ветвях.
 С августом закончится и лето,
 И дожди посыплются с небес.
 Как привычно, как знакомо это:
 Золотым недолго будет лес,
 Листья станут плавать в тёмной луже,
 К югу птицы снова заспешат.
 Но так далеко до зимней стужи —
 Всё ещё погода хороша!
 «Пышное природы увяданье»
 Пушкин так пленительно воспел!
 Крики журавлей назвал рыданием
 Тот, кто вслед за ними улетел...
 Сколько же у неба синей краски!
 Сколько света льётся с высоты!
 Август — время Яблочного Спаса.
 Золотятся на церквах кресты.

Мечты, мечты

Когда в заоблачную даль
 Меня опять мечты уносят,
 Я задаюсь одним вопросом:
 И что же там я не видал?

И в небе от земных забот
 Я и в полётах не избавлен.
 Сам по себе полёт забавен:
 Диван — он мой аэропорт!

Когда стремленье улететь
 Мечты осуществить помогут,
 Со мной отправится в дорогу
 Моя привычная постель.

А сколько нас там собралось,
 Мечтателей, в небесной сини!
 Жаль, познакомиться мне с ними
 Нельзя! Летаем мы поврозь.

Мечты, мечты! Я не забыл
 Тот город, где я был счастливым
 И где Амуром шаловливым
 Стрелю в сердце ранен был!



Мне всё это как бы приснилось,
 Но как я хочу утаить
 От всех, словно высшую милость,
 В ночи поцелуи твои.

И нет мне дорожке на свете
 Минувших навеки утех.
 За них мы с тобой не в ответе:
 Любовь — это вовсе не грех!

Восторг, недоступный для прозы,
 Мы были у крайней черты...
 И наши счастливые слёзы
 Я помню! А помнишь ли ты?

Осеннее чудо

Опять журавлей
 треугольные тянутся стаи,
 А листьям хоть день
 на ветвях продержаться хотя бы...
 В последних лучах
 на веранде оса зависает —
 Над вазой с клубничным вареньем.
 В природе — сентябрь.
 Сентябрь. И меж сосен —
 опять волоски паутины.
 В саду остаются
 одни воробьи и синицы.
 Штрихами дождя
 вдруг погасится яркость картины,
 Зато уж под шум его
 может и сказка присниться.
 Я в тысячный раз
 вдохновляюсь осенним пейзажем,
 Но нету картины —
 лишь копятя снова этюды.
 Про осень и думать
 себе запрещал не однажды!
 Но как запретить можно
 это осеннее чудо?

Плохие приметы

Видно, встал я не с той ноги:
Всюду чудятся мне враги.
Чёрный кот перешёл дорогу,
Словно ждал он меня, ей-богу!

Поглядел: повернуть куда бы?
Тут с пустыми вёдрами баба!
Сел на лавочку, а доска,
Разумеется, вся в сучках...

Страх такой навалился враз,
Что не тот зачесался глаз!
И, как будто бы с похорон,
Налетела стая ворон.

Мне б домой повернуть, но это,
Говорят, плохая примета.
И от этих самых примет
Никуда мне дороги нет!

И снова утро

Я снова утра жду,
как воскресенья,
И сны от дум
мне не дают спасенья.
Вновь гаснет месяц
в звёздном хороводе...
Ко мне ещё
пока что не приходит
И не тревожит
чёрный человек,
Его приход меня бы
в страх не вверг!
И ужаса
не испытал бы вовсе.
Я умирал!
Воскрес случайно после.
Ничто уже
не удивит меня—
И даже пламя
адского огня
Не будет мне
новинкой после смерти...
Я умирал!
Не мне—врачам поверьте!
У каждого из нас
стезя своя.
Меня волнует
радость бытия,
И каждый час
становится дороже,
И жизнь ещё
волнует и тревожит,
И мною свет
надежды не забыт.
А был ли
счастлив я? Конечно, был!

День и ночь

В середине июня
(вернее, почти в середине)
Дни снова на убыль, как прежде,
пойдут незаметно.
И день перелома
такой будет светлый и длинный!
А зимняя ночь
будет тёмной и долгой ответно.
Какое, казалось бы, дело,
что дни убывают?
Мне разве других не хватает
забот и волнений?
Но это явление—представьте—
меня убивает.
И нету серьёзней отныне
в природе явлений.
Зимой ожидать
прибавления света я буду,
Но радость моя уничтожится
снова в июне.
И мне не понять:
почему не тревожатся люди,
Что самого длинного дня
у них долго не будет?!

Дурдом

Алкашам тут почёта мало.
Здесь дурдом! И врач-юморист:
«Неопрятен мочой и калом»,—
Впишет запросто в скорбный лист.
По бумагам засранцем числюсь,
А ведь запись ничем не смыть,
От запоев страшись лечиться,
Ведь дурдом—он страшней тюрьмы!
У меня нарколог знакомый,
Даже он не желает мне
Оказаться в его дурдоме,
А ему, как врачу, видней.
Брат-алкаш, ты всю жизнь в капкане.
У тебя не друзья—враги.
Избегая одних компаний,
Ты оказываешься в других.
Ну да что говорить об этом?
Я и сам с похмелья больной.
Что мои для тебя советы?
Выпьем, брат, ещё по одной!

Анатолий Вершинский

Всё живое...

Клематис, он же ломонос

Райские цветы растут в саду,
чудо умножая без усилий,
будто Вифлеемскую звезду
зеркальца живые отразили.

Будто в алтарях родной земли,
вымытой дождём до блеска ночью,
сотни семисвечников зажгли
пастыри, незримые воочью.

Если занедужит сердце вдруг,
в сад придите, где цветёт клематис,
уврачуйте красотой недуг,
окажите милость — оклемайтесь!

Всё живое (на псалом 150)

«Всякое дыхание да хвалит
Господа», — учил пророк Давид...
Если наводнением город залит,
всё живое выплыть норовит!

Слышите? Взывая о пощаде
на невнятном людям языке,
запертые тонут в зоосаде
птицы в клетке, звери в закуске.

Город, человеческий виварий,
где себя же сами потрошим,
кару заслужил, но малых тварей
надо ли казнить в укор большим?

Красная кнопка

Андрею Самохину

Ради чьих вековых интересов
умирают сириец и курд?
Это игры шайтанов и бесов,
это есть наведённый абсурд.

Кто-то выбрать не может пентхаус,
кто-то в долг арендует чердак.
Это есть управляемый хаос,
ведь у каждого что-то не так.

Зря толкуем про перезагрузку,
Небо слишком о разном моля.
Уж давно изготовлено к пуску
средство класса «Создатель — Земля».

Простота

Вы слышали, как поют дрозды?

Сергей Островой

Что же с нами, граждане, творится?
Завершив прилюдно свой полёт,
не щегол, не дрозд, а «просто птица»
на глазах у публики поёт.

Вечер безмятежен, скверик светел.
Близ друзей, которых случай свёл,
дерево упало. Кто заметил,
липа или тополь? «Просто ствол».

Просто безымянный ствол и ветки...
Дочери Земли и сыновья,
что стряслось? У нас уже нередки
те, кто век не слышал соловья.

Кто забыл, как вяжет рот брусника
и к ладони льнёт кукушкин лён.
Для кого природа безъязыка
с тысячами всех её имён.

Занятая собственной шкурой,
жертва зверя в страхе не поймёт,
белый рвёт её медведь иль бурый
и при чём тут, извините, мёд...

Оттенки зелёного

...И роищет мыслящий тростник?

Ф.И. Тютчев

Делюсь печалью, а не зубоскалю:
о тех, кто вовсе не читает книг,
могу ли думать, следуя Паскалю,
что поросль эта — «мыслящий тростник»?

Теперь не Гоголь, не Толстой, не Тютчев,
а френды с высшим рейтингом в Сети
(пока не разонравятся, наскучив)
у публики онлайнковой в чести.

Пишу как есть, а не сгущаю краски:
в природе все оттенки на виду,
и в том числе тона болотной ряски,
уже полнеба застившей в пруду...

Из цикла «Греческая седмица»

Угроза

...честь, воздаваемая образу, переходит к первообразному, и поклоняющийся иконе поклоняется существу изображённого на ней. Догмат об иконопочитании Трёхсот шестидесяти семи святых отец Седьмого Вселенского Собора, Никейского

1.

С церковных стен смотрели образа, уподобля храм родному дому... Османский ратник выколол глаза Христу и воинству его святому.

Врагу хватило четверти часа: орудовать копьём сподручно в храме. Зачем глумился? Ведь пророк Иса издревле почитается в исламе.

История умалчивает. Всех, кого обуревают злоба волчья, кто на душу берёт кощунный грех, история имён лишает. Молча.

2.

«Бог поругаем не бывает», — так сподвижников учил апостол Павел. Незримый щит от варварских атак Спаситель у Небесных врат поставил.

Бесчестье, что претерпит лик святой, прообраза святого не коснётся, как сор в ковше с колодезной водой не обесценит чистоты колодца.

Но чем ответит на угрозу тот, кто может отравиться ядом скверны, которою в оклад или киот плеснёт иконоборец суеверный?

Суперлуние

— Где дочка? Куда запропала она?

— Её закружила Большая Луна...

Встревожен отец, и напугана мать.

А дочка отправилась Дельфы снимать!

А нижние улочки в Дельфах темны.

А тёмные улочки — рай для шпаны.

Всю ночь проплутает по ним, а потом вернётся с большим, как Луна, животом.

От эдаких мыслей мутит без вина:

шпана — ведь она и в Элладе шпана.

А Дельфы — такой непростой городок,

где свёрнуты сроки людские в моток.

На лестницах узких шаги коротки,

и трудно на спусках не спутать витки...

Пикет

Не заглядывая в очи корове перед тем, как вести на убой. Без дымящейся плоти и крови стал бы ты, человеке, собой?

Непрестанным жеванием жвачки обеспечил бы пищу мозгам для решения вечной задачи, чем ответить клыкастым врагам?

...В самом сердце Афин, пополудни, где с наплывом туристов-зевак многолюдно и в праздник, и в будни, травоядцы разбили бивак.

На привлёкшей меня фонограмме было то, что цепляло больней, чем цветные плакаты с телами убиенных овец и свиней.

Не пугали их стальные лики, но проглоченный плеером диск исторгал их предсмертные крики, их истощное блеянье, визг!

Мне бы это забыть, но защиты от безжалостной памяти нет. Вижу храмы, чьи двери открыты, а напротив — «зелёный» пикет.

И с молитвой мешаются вопли обречённых свиней и овец... На сынка, распутившего соплю, дома смотрит с портрета отец.

Я подростком ему, селянину, помогал при разделке свиньи. Я люблю свежину, солонину!.. Где же искренни чувства мои?



Так индус не созерцает лотос, как туристы смотрят гиду в рот. Греческое слово «идиотос» он толкует, радуя народ.

В полисах Эллады этим словом звали тех, кто жил особняком, кто ценил покой под отчим кровом больше бурь в совете городском.

Сборная солянка, люд случайный, вслушаемся в то, что молвит гид, слову возвращая древний, тайный смысл, который помнить надлежит.

В доме, где мы жили, не заботясь, кто и как хозяйничает в нём, вольно расплодился «идиотос». Вот и развалился общий дом...



Полночное море исполнено чар.
Вот месяц горит одиноко.
Иль это циклоп, одноглазый овчар,
прищурил за облаком око?

Вот с неба спускается лунный ручей,
как сток от сырнóго заводца.
И если отважишься крикнуть: «Эгей!» —
то эхом Эгей¹ отзовётся.



Бухта на закате бирюзова.
Август убывает, и опять
негде скрыться от морского зова,
шум прибоя в сердце не унять...

Из цикла «Двухтысячелетнее пространство»



Кавказ на карте мал — примерно так,
как лист бумаги, что зажат в кулак;
но распрями-ка свёрнутый листок,
расправь его на Запад и Восток,
распространи на Север и на Юг
все складки гор, всю вязь речных излук;
узнай, где бьют целебные ключи,
и что куют умельцы в Кубачи,
и почему поковка хороша,
когда с металлом сплавлена душа;
прочувствуй горский пляс и нартский сказ —
и ты увидишь, как велик Кавказ.

Белое на бирюзовом

Будто на застывшей киноленте,
в памяти мгновенно замерла
пара белых голубей в Дербенте,
в древней крепости Нарын-кала.

Голубь — на плече экскурсовода,
на головке школьницы — другой.
Благодать особенного рода.
Белый цвет — ведь он для всех благой?

Птицы масти óблака — то кротки,
то строптивы, как морской простор...
Скажешь: антураж для модной фотки?
Слушать не желаю этот вздор!

1. Легендарный афинский царь, отец Тесея. Не получив условленного знака о его победе над Минотавром, уверился в гибели сына и бросился в море, которое и прозвали Эгейским.
2. Ширван — историческая область на западном побережье Каспийского моря. В средние века территория Ширвана включала земли от низовий Куры на юге до Дербента на севере.

Трудные святые

Лица в саже, будто в гриме,
драны спины, сбиты ноги...
Что же были в Новом Риме
так с юродивыми строги?

В свой черёд поход затеяв
к мировому превосходству,
всё мы взяли у ромеев,
кроме их вражды к юродству.

Блажь того, чьё сердце наго,
разве ближним — лишь докука?
Почитать блаженных — благо.
Жить с юродивыми — мука.

Цитадели

Стоит, как неприступная скала,
в Дербенте цитадель Нарын-кала.
Но юный непоседливый народ
её с налёту, приступом берёт.

Детинец городской — не штаб, не храм.
Отдайте крепость на день школярам.
Пушай Тобольский кремль и Псковский кром
заполняют смехом, будто серебром.

Пушай в Изборске встретятся впервой
с историей не книжной, а живой.
Ведите школяров, учителя,
от белых веж до красных стен Кремля!

Чистота

*Кто старое помянет — тому
глаз вон, а кто забудет — тому оба.*
Пословица

Когда бы жили мы с тобой в Ширване²
и я тебя хотя бы только раз
увидел невзначай в девичьей бане,
то мне б за это выкололи глаз.

А если б ты случайно углядела
меня в парной, то пара палачей
лишила бы твоё младое тело
обоих любознательных очей.

За то, что мы по зренью не калеки,
не грех и выпить. Милая, налей!
Я рад, что мы росли в двадцатом веке
и мылись в разных банях. Без щелей.

Из цикла «Краснорайск»

Время собирать

Город хорошеет год от года,
только ликовать бы я не стал,
что на месте скрытого завода
срочно возведён жилой квартал.

Вот бы заодно в стране великой
новые заводы там росли,
где не повредят природе дикой,
где не умрут живой земли.

Только почему-то до сих пор мы
строим лишь конторы, да жильё,
да цеха, где можно для прокорма
свинчивать чужое, не своё...

Манера пения

Душа народная открыта
вселенским радостям и мукам.
Открытость — лучшая защита.
Народ поёт открытым звуком.

Родной земному многолюдью,
понятный даже иноверцам,
народ поёт, как дышит, — грудью,
народ поёт, как любит, — сердцем.

И оттого похожи песни
Карпат, Урала и Алтая.
И их не вытянет, хоть тресни,
эстрада, самая крутая.

Рецепт

Памяти Е. А. Крутовской

То ли впрямь нахлебался мурцовки,
то ли просто объелся грибов...
Мне пунцовой, как стыд, марганцовки
намешала Хозяйка «Столбов».

Честь и слава Премудрой Елене
за «Приют Айболита» у скал!
И поклон — за моё исцеленье,
за рецепт, о котором не знал.

Нынче странами целого света
он изъят из реестра лекарств.
Но осталась история эта
в царстве памяти, лучшем из царств...

Райский сад, красноярское чудо.
Не оценит его казначей.
Лишь столбистам известно, откуда
начинается «Роев ручей».

Кто, не жалуя духов бесплотных,
жил во имя духовных начал.
Чей лечебный покой для животных
к Человеку людей приручал.

Михаил Синельников

За снежной пеленой

Грибоедов

Он въехал в кирху, спешил и вдруг
Сел за оргán. И вот под купол с лёта
Невероятный устремился звук—
Российское весёленькое что-то...

Когда друзей рассеяла картечь
И щуплые актрисы надоели,
Вспомнил он, стихи бросая в печь,
О подлости былой и о дуэли.

И созидал империю свою,
В глазах грузинки утонув, как в море,
Пируя в винодельческом краю
И Эривани представляя «Горе».

И в Тегеране, разъярив народ
И радуясь пылающему лету,
Глядел с усмешкой, как толпа растёт,
И повторял: «Карету мне, карету!»

Мерзлота

Там, где холод струится вселенский,
Убивающий птиц на лету,
Замерзавший в Сибири Флоренский
Успевал изучить мерзлоту.

Эту стылость он трогал руками,
Выбракованный, квёлый на вид,
И не знал, что ещё Соловками,
Диким камнем судьба наградит.

Столько дум на великом погосте,
Где всевластно раскинулась та
Поглотившая мамонтов кости
И ушедшая в сон мерзлота!

Что-то строить на ней бесполезно,
Все посевы, увы, не взошли,
И незыблема твёрдая бездна,
Заслонившая душу Земли.

И, когда прерывалась дремота
И внезапно теплело вокруг,
Растекалось большое болото
И цвело в ожидании выюг.

Русланова

Как Русланова «Валенки» пела,
Как ходило, охлопав бока,
В сарафане вертявое тело,
Зазывавшее с грузовика!

Как улыбка лицо озаряла,
Как бойцам агитпроп надоел!
Стыли слёзы в глазах генерала,
Забывался особый отдел.

На горелых обломках рейхстага
Это пела Россия сама,
Но до выюги отсюда полшага,
За которой сума и тюрьма.

Вихри снежные в зоне носились,
Била крепко простудная дрожь,
Да и валенки эти сносились,
Не подшиты и стареньки всё ж.

Сибирячка

Оттаявшая сибирячка.
Измученно-счастливых глаз
Нетерпеливая горячка
И доверительный рассказ.

Какой-то свет от скул раскосых,
Как будто утра свежий пыл,
Блеснув на енисейских плёсах,
Тебя внезапно ослепил.

Здесь жизни жар, порыв природы,
Любви, нахлынувшей, как стих...
Подобных лиц не старят годы,
Хотя немало было их.

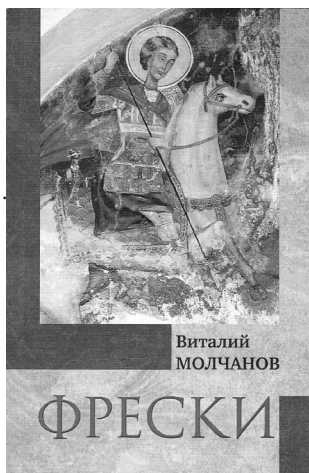
А сердцем—девочка всё та же,
Всё те же делает круги,
Бредёт во мгле своих миражей,
Аукаясь среди тайги.

Но силы нет ответить зову,
И вихрей снежных предо мной
Уходит страсть в первооснову,
За снежной скрывшись пеленой.

Крым

Всеобщий ликующим летом,
Ничейный пустынной зимой
И нежащий издали светом—
Всё тот же, единственно мой.

Целебней, чем славные грязи,
Над цепью холмов облака
И нитка невидимой связи,
Пронзившая дни и века.



Елец

Г. Мальцевой

Елец какой-нибудь, в котором
Шиповник, осыпая сад,
Вслепую тянется к узорам
Тяжёлых кованых оград.

Где отдалённых войн раскаты
Гроза напомнит иногда,
И всё скрипит забор дощатый,
Своё лепечет лебеда.

Петух взывает утром рано,
Приходит ветер ветви гнуть,
Где Богоматерь Тамерлана
В обратный проводила путь.

ДиН РЕВЮ

Виталий Молчанов

Фрески

Москва: «У Никитских ворот», 2015.—80 с.

«Читать стихи *Виталия Молчанова* бегло, походя, скользя взглядом по строчкам—не получается, настолько насыщены они смысловым действием, самим желанием автора полнее донести мысль свою и чувства до читателя. Глаза цепляются за подробности многие, детали, частности изобразительные, тропы, задерживаются на них, вчитываются заставляя, вдумываясь и понимать. И—принимать, а то и, бывает иногда, не принимать эти сложные, острые, а подчас и рискованные сравнения и ассоциации, „метафорические вбросы“ в сознание читающих. Но в любом случае чтение это никак уж не скучное, повышенная энергетика молчановского стиха увлекает, „тащит“ читательское внимание, как сильное речное течение. А немалое познавательное начало в этой книге даёт ей востребованную всегда новизну».

ПЁТР КРАСНОВ

Пусть в мире Божьем есть теплей места,
Богаче люди и вкусней обеды,
Дороги лучше, краше города.
— Я никуда отсюда не уеду!

Пусть волк—хозяин и закон—тайга,
Халява—радость и обман—победа,
Воруют без оглядки и стыда.
— Я никуда отсюда не уеду!

Пусть пьянство—плод упорного труда,
На дне кармана—жалкая монета,
И в обществе—рабы и господа.
— Я никуда отсюда не уеду!

Пусть кровь сосёт чиновничья орда,
В газетах—сплошь враньё на грани бреда,
И верят в барыши, а не в Христа.
— Я никуда отсюда не уеду!

Пусть нищих бесприютна маета,
Поля—в снега, душа в беду одета,
И бесполезно прожиты года.
— Я никогда отсюда не уеду!

Евгений Степанов

Эти люди

Ты

Покуда я не двинул кони,
Сиречь покуда я живой,
Покуда нежный Морриконе
Парит над снежною Москвой,

Покуда бледные поганки
Не стали блюдом основным,
Покуда сланцевые янки
Не разбомбили Третий Рим,

Я говорю: ты сон, ты супер,
Ты лучше всех — с тобой светло.
А я пусть маленький, как гуппи,
Но мне безумно повезло.

Эти люди

Эти люди бывалые, старые.
И не любят пустых бла-бла-бла.
Помнят дурку они, помнят нары и
Помнят горе — не ведают зла.

Эти люди по-прежнему юными
Остаются — и хронос-хому
Им не страшен — и ночками лунными
Серенады для женщин поют.

Эти люди живут и, как водится,
Не боятся тюрьмы и сумы.
Сбереги же ты их, Богородица,
Эти люди бывалые — мы.

Жил певчий дрозд

По лестнице, ведущей вниз,
Иду — босяк — не при параде,
Лохматый, как Давид Луис,
Бухой, как финны в Ленинграде.
Куда иду? Ах, кабы знать!
Как тут понять башкой убогой?
И рядом смерды, рядом знать —
Идём похожею дорогой.
Друзья кричат: маэстро, бис!
Враги клеймят как супостата.
По лестнице, ведущей вниз
(А может, вверх?), иду — куда-то.

Точно встарь

Знаю: жизнь уподоблена рингу.
Знаю: жить на земле нелегко.
Но когда ты со мною в обнимку —
Я сильнее, чем Владимир Кличко,

Я учёней, чем Даня Давыдов,
Круче, чем Алекперов Вагит,
Из московских смешных индивидов —
Я не самый смешной индивид.

Всё сейчас — точно встарь — под Луною,
Я мечты не имею иной —
Чтобы ты засыпала со мною,
Чтобы ты просыпалась со мной.

Пешеход

Вот пешеход идёт московский
По улице, где смог и гарь,
Иконописный, как Янковский
В лунгинском сильном фильме «Царь».

Вот пешеход шагает прямо,
За ним идут и Бог, и чёрт,
В районе, может быть, «Динамо»,
А может быть, «Аэропорт».

Бог всемогущ, и чёрт не даун,
Им интересен пешеход.
А пешеход идёт — куда он
Придёт? Куда-нибудь придёт.

Реальность

О симулякр, эффект плацебо,
И голых королей парад,
И дорогого ширпотреб
Тотальный гибельный диктат.

Талант? И что ж? И что ж такого?
Границы правды на замке.
И — велимировское слово
На лунном пыльном чердаке.

Потом

Наше место—не здесь. Наше время
Завершилось. Но будет потом:
Кочевое пугливое семя
Проросло в измеренье ином,

В измеренье ином и пространстве,
Где у всех будет совесть чиста,
В христианском святом мусульманстве,
В мусульманской молитве Христа.

Дорога

И всё до одури знакомо.
Всё воротилось восвояси.
И только секретарь райкома
Отныне в рясе.

Такая грешная, пустая
И безутешная дорога.
А что же делать? Жить—мечтая
И веря в Бога.

Критерий успеха

был период когда критерием собственного успеха я считал количество
золотых спортивных медалей
был период когда критерием собственного успеха я считал количество
выученных иностранных языков и стран в которых довелось жить
был период когда критерием собственного успеха я считал количество
полюбивших меня женщин
был период когда критерием собственного успеха я считал количество
публикаций в журналах и газетах
а теперь критерий успеха это благополучие моих родных и близких и количество
заготовленных на зиму дров и банок варенья
видимо я повзрослел

Эти дни

Эти дни хороши, небывалы.
И—далече от гендерных склок—
Я смотрю, как дурак, сериалы,
Я плюю, как лентяй, в потолок.

У меня есть диван, и подушка,
И краюшка, и квасу бадья,
И звонит, слава Богу, Настюшка,
Драгоценная дочка моя.

Нравы

Тот вор, и тот ворюга...
Сопрут хоть что-нибудь.
И все не прочь друг друга
Немножко обмануть.

Да, здесь такие нравы.
И нет иных забав.
И все, конечно, правы,
Хотя никто не прав.

Инга Карабинская

Свет кромешный

Голубятня

Если что от меня и останется—не ищи.
 Вечность не стоит минуты сна. Бесконечность—шага.
 Помнишь белую голубятню? Вот от неё ключи.
 Будет легко—танцуй.
 Больно—плачь.
 Тяжело—кричи.
 Лихом не поминай. И вообще поминать не надо.

Если что обо мне и спросят—скажи как есть:
 Мол, отошёл на минутку к колодцу. Сказал «не ждите».
 Там он—махнёшь рукою за дальний лес—
 Вон до той радуги,
 После—влево,
 Потом окрест
 И до самой весны, не сворачивая, идите.

Если кого и возьму с собой—то тебя.
 В каждой строке, в каждой ноте отпетых с тобою песен.
 Кстати, от голубятни слева не вырывай гвоздя:
 Просто—да мало ли,
 Всяко бывает—
 Я, приходя,
 Там оставляю ключи. Не вернусь—ну, другой повесит...

Осенний кофе

Знаешь, любимый, октябрь в сердце—это неизлечимо.
 Это холодный кофе, заваренный в прошлом веке,
 Это глухое молчание, лишённое сна, причины,
 Стянутое по центру железнодорожной веткой.

Знаешь, любимый, кофе осенний тягуч и вязок,
 Как в предраассветный час забытьё больного.
 Сцеживай напрямую, не обжигая связок,—
 Молча, душой, глазами, минуя горло,

Где застоялись слёзы, как изморось стылой ночью
 В тусклом фонарном свете. Скребёт когтями,
 Рвёт тишину на паузы многоточий...

Если я долго молчу, это он во мне кровоточит—
 Неизлечимый, кофейный, густой октябрь.

Бессонница

В зимнем распадке лунного серебра
Слышно, как стекленеет во сне ручей.
Лучшая в мире—из твоего ребра—
Снова зимует не на твоём плече.

Замысел прост, гениален, непостижим,
Сколько бы ты ни срывался на бег с ходьбы.
Мир сослагателен. Весь он принадлежит,
Словно ресница—веку, частице «бы».

Метит, как в плинтус, в истину коленкор,
Но не тревожь ни классиков, ни отцов.
Смотришь в глаза несбывшегося в упор—
Но почему-то видишь своё лицо.

Если не спится, лучше считать овец.
Бунт неизбежен, краток и обречён.
Та, из ребра чужого, твоя навек,
Утром, проснувшись, целует твоё плечо.

Ночи

Такие ночи нужно пережить,
Как мёртвый штиль над Марианской бездной.
На дно дождя ложатся этажи,
И проблесковым маяком дрожит
Фонарный свет над трюмами подъездов.

В такие ночи жгут черновики.
И, опершись о подлокотник кресла,
Как будто вдаль глядишь из-под руки,
Как прорастают красные вьюнки
Сквозь быль, что в очаге на бис воскресла.

В такие ночи хочется рывка.
Обтечь ладонью набалдашник трости,
Вдоль палубы ночного городка
Лететь аккордом позднего звонка,
Незванным чьим-то и тревожным гостем.

Но это после. После. А пока—
Ты из себя вычерпываешь горстью
Отживший мир из ила и песка;
Такие ночи учат отпускать.
А впрочем, это тоже будет после.

А ныне тает тьма, как воск свечной,
И тлеют в рыхлом сумраке поленья.
Мелеет небо. Смерть идёт с ночной.
Ей хочется любимой и ручной
Светло заснуть на чьих-нибудь коленях.

Свет кромешный

Не смотри в ту сторону, где туман,
Где черна вода тишине по пояс,
Где небесным плещет в тугую прорезь,
Заживляя раны и боль от ран;

Не смотри, пока не дано простить
Тех, кого простить не дано, но надо.
Даже тех, кому эта тьма—награда,
Не держи на привязи, отпусти.

Пусть хотя бы раз и для них в ответ
На не вещий сон о любви нездешней
Полыхнёт, как истина, твой кромешный,
Твой для них хранимый прощальный свет.

Простые вещи

Это Солнце брызжет на спицах мачт,
Это небо млеет в обрывках ваты.
Это кто-то снизу кидает мяч.
Это Бог бросает его обратно.

Это просто лето, в котором мы
Как на вырост скроены этим чудом,
Захлебнувшись счастьем, обнявши мир,
Ни родства, ни сердца в себе не чуем.

Это просто омут твоей руки,
Проливного смеха косые пряди,
И твои глаза—акварель реки—
Над моими—илистыми, и, глядя

На шальную россыпь цветных шаров,
Из ладоней стайкой вспорхнувших в небо,
Понимаешь: кто сотворил любовь—
Просто Бог, пусть даже он им и не был.

И девятой жизни горячий лоб
Обжигает губы хмельной печалью—
Остальные восемь бери в залог:
Эта будет лучшая. Обещаю.

Это Солнце брызжет на спицах мачт.
Это синь разлита от края к краю.
Это кто-то снизу кидает мяч.

Это Бог бросает ключи от Рая.

Николай Ерёмин

Иголка в снегу

Вновь и вновь

Что мне древность?
Что мне старость?
Сердца жар не потушить!

Все умрут,
А я—останусь,
Чтобы жить и не тужить...

Возрождаясь вновь и вновь
Там,
Где вера и любовь...

Секрет Сократа

Сократ,
Раскрой секрет:
Зачем ты пил цикуту?

Нет, подвиг твой—
Нет-нет!—
Я повторять не буду...

Мой выбор:
Бытиё,
Изгнание моё...

Огни святого Эльма

Огни святого Эльма—
От чувств
И от идей—

Светили
Запредельно
Над головой твоей...

И я, тобой смущён,
Дивился,
Освещён...

Любовь—
Глаза в глаза,
Небесная краса...

И где сейчас
Они,
Горящие огни?

Увы, среди огней—
На мачтах
Кораблей...

Декабрьский снег

Цветные сны...
А мысли—чёрно-белые...

И чёрно-белый снег
Летит в окно...

И дети
Ледяную горку делают...

И дед глядит на них
И пьёт вино...

Он хочет умереть
Давным-давно...

А всё живёт—
Как тень в немом кино...

Москва

Москва,
Твоё лицо
Я вспоминал, любя...

Садовое кольцо
На горле
У себя...

Как вместе пел и пил—
И время торопил...

И долго счастлив был...
Пока не разлюбил...

Ты говоришь:
— Чудак,
Вернись, я всё прощу!

А я:
— Как бы не так!—
И—плачу, и—грущу...

Думал

Думал, что в сердце—
Стихия,
Вечной поэзии свет...

Думал—
Все люди плохие...
А оказалось, что нет...

Время

Время разделяет нас—
Поколение
С поколеньем,
Каждый день
И каждый час
Наполняя удивленьем...

И со-мненьем...
И со-знаньем...
И, увы, непониманьем...

Внуков,
Дедов
И отцов...

Бытия,
В конце концов,
Всех—живых и мертвецов...

Иголка

Я искал иголку в снегу,
Посреди снегопада,
В стогу...

Снег растаял...
А стог сгорел...
И иголка нашлась между дел...

Тень

Тень твоя на солнце тает...
И куда-то
Улетает...
За пределы
Бытия...
О любимая моя...

Такие дела

Если честно,
Такие дела:
Что тут скажешь?—
В пути меж дорог
Ты себя для меня сберегла...
Я себя для тебя
Не сберёг...

Счастье

Кажется, ну что для счастья надо?
Ведь не знаешь,
Есть оно или нет.

Съесть за сутки плитку шоколада—
Что ещё тебе?
Скажи, поэт!

Хочешь,
Коль приелся шоколад,
Перстень с бриллиантом в пять карат?

Ах, не хочешь?
И на сердце—ночь?
Ну, тогда не знаю, чем помочь...

Надпись на книге

«Мир богат старинными вещами!
Старина—
Бессмертия секрет...

Сохранилось то, что запрещали...
Ну а то, что защищали,—
Нет»,—

Надписал на «Книге Завещаний!»
Запрещённый некогда
Поэт...

И сказал:
— Читай—тому, кто впредь
Не позволит книге умереть!

Мандарины

Почему китайский мандарин
Лучше,
Чем абхазский мандарин?
Потому что этот—на столе,
А абхазский
Где-то на стволе...

А ещё точнее—
На ветвях,
Недоступен нам, увы и ах...

А попал бы он поэту в рот—
Сразу стало б всё
Наоборот!

Любовь

Любовь—
Это нежный и тихий
Процесс сострадания судьбе...

Так
Слон прислонился к слонихе...
А я прислонился к тебе...

Кот Василий

— Всё зависит
От наших усилий!—
Промурлыкал сквозь сон кот Василий...

Изловчился—
И мышку поймал...
Съел, свернулся—и вновь задремал...

Информация

О том,
Что информация первична,
А время—как материя—вторично...

Вчера я в диссертации прочёл...
И понял вдруг,
Какой я был осёл!

От забот

Захотел я уйти от забот...
Только мне объяснил
Капитан:

— Наш корабль
Никуда не плывёт!
Здесь—гостиница и ресторан...

И зачем обязательно—плыть?
Можно просто
В каюте пожить...

Пить вино...
И смотреть, как, легка,
Все заботы уносит река...

Зацепиться

Как я в детстве хотел—
Зацепиться за поезд!

И умчаться...
Конечно, на Северный полюс...

Но лежали пути
На восток и на запад,

Проноса над собой
Дымный угольный запах...

И однажды я всё ж зацепился...
Свят-свят!

Был замечен, задержан
И с поезда снят...

До сих пор удивляюсь,
Ну просто беда,

Как я смог зацепиться за поезд
Тогда...

Евсей Цейтлин

Хранитель судеб

Памяти Ванкарема Никифоровича (1934–2011)

В Чикаго обычны сильные ветры. Поздней осенью и зимой они пронизывают город насквозь, настойчиво стучатся в дома, а кажется — в душу. В такие дни недавнего эмигранта часто охватывает тоска. Он угрюмо и безуспешно допрашивает себя, точно не в силах понять: как и зачем оказался здесь, в огромном чужом городе?

Каждый сопротивляется песне ветра по-своему (иногда схватка длится годы). Мой друг, искусствовед и переводчик Ванкарем Никифорович, уже через несколько дней после переезда в США интуитивно отыскал верное средство для борьбы с эмигрантской депрессией. Он вдруг припомнил: в Чикаго выставлено много произведений Марка Шагала — художника, который когда-то сформировал его отношение к искусству и жизни. Чтобы встретиться с работами Шагала в «городе ветров», порой не надо даже заходить в музеи. В одной из своих многочисленных статей о Шагале Ванкарем Никифорович потом признался: «...В первые месяцы американской жизни я любил часто приезжать именно сюда, в этот красивый сквер на углу улиц Монгое и Dearborn, рядом с небоскрёбом Первого Национального банка Чикаго. Здесь я подолгу стоял перед одним из прекрасных шедевров Марка Шагала — мозаикой „Четыре времени года“. Стоял, не в силах оторваться от этих завораживающих реальных и сказочных персонажей, знакомых по знаменитым шагаловским полотнам... Незримо звучала великая музыка — музыка цвета, очищающая, возвышающая, дающая надежду и силу».

Когда-то произведения Шагала зловеще называли в СССР «упадочным буржуазным искусством». Особенно непримиримы и неистовы были ревнители соцреализма в Минске. Долгие годы вместе с другими писателями, искусствоведами, художниками Ванкарем Никифорович упрямо боролся за возвращение творчества Марка Шагала на родину, в Белоруссию. И вот теперь, в 1993-м, гениальный Шагал неожиданно помог ему самому.

Меня не удивила эта история. Есть люди, для которых культура является самой сутью жизни — её волшебной квинтэссенцией. Именно таким был Ванкарем Никифорович.

Иногда я думаю: как лучше определить характер его творческой работы в течение полувека? Чаще всего на ум приходят два слова: хранитель культуры.

Эмиграция столь болезненна для многих прежде всего тем, что приходится резко менять образ жизни, профессию.

Ванкарему Никифоровичу ничего не потребовалось менять в главном. «Наоборот — надо остаться собой...» Когда он вдруг мысленно сформулировал для себя это правило (у той же шагаловской мозаики «Четыре времени года»), в душе сразу поселилась гармония.

Детали новой жизни уже не имели большого значения. *Детали* как раз объединяли его со всеми: пришлось — почти в шестьдесят! — срочно освоить автомобиль (вождению его учил бывший директор харьковского завода), подружиться с компьютером, пойти в колледж — за английским.

Кое-кто, попав в эмиграцию, придумывает себе «красивую» биографию (иногда такое мифотворчество нечаянно и трагично — люди задним числом как бы реализуют несбывшиеся мечты, неосуществлённые дарования). Но бывает иначе: человек, увлечённый новым днём, просто отмахивается от того, что было вчера.

Биографию Ванкарема Никифоровича в нашей эмиграции мало кто знает. Про его удивительную скромность друзья рассказывали анекдоты. К примеру, публикуя свои статьи, этот автор категорически просил редакцию не помещать его фотографию: «Ничто не должно отвлекать читателя от героев материала». Тем более полезно сейчас оглянуться назад.

В Минске он не был свободным художником — служба, однако, всегда превращалась в служение. Работая в издательстве, редактировал книги многих писателей, возвращавшихся после пятидесяти шестого года из сталинских лагерей и ссылок. Воевал с цензурой и начальством, давая зелёный свет молодым талантам (одно из таких открытий — роман «Война под крышами» вечно опального в Белоруссии Алесея Адамовича). Потом, уже на республиканском телевидении, писал сценарии фильмов, вёл в прямом эфире острые диалоги с мастерами культуры — о праве художника на

самостоятельное, а не санкционированное партией исследование жизни. (С телевидения его изгнали с «волчьим билетом» — за неделю до смерти Брежнев, после беседы со Светланой Алексиевич о её работе над новой документальной книгой «Цинковые мальчики», посвящённой афганской войне.) «Он — душа нашего коллектива», — так говорили о завлите в академическом театре имени Янки Купалы: да, Ванкарем Никифорович во многом определял здесь художественную политику. Кстати, он немало сделал в те годы и как театровед; только один пример: в пятитомную театральную энциклопедию, изданную в Англии, вошёл его шестидесятистраничный очерк об истории белорусского театра.

Под напором дней чужой жизни я невольно сбиваюсь на перечисление. Между тем не сказал ещё очень важное. Ванкарем Никифорович всегда ощущал какое-то особое, почти магическое притяжение разных культур — белорусской, еврейской, русской, болгарской, польской, литовской, грузинской... Конечно, это притяжение шло из детства. Его родителями были молодой белорусский историк и юная студентка-«химичка» из традиционной еврейской семьи.

Он не случайно так много сил и лет отдал потом переводу. Книги поэтов и прозаиков, антологии, коллективные сборники... Когда-то он перекладывал на белорусский пьесы мирового и российского репертуара. Перевёл целую библиотечку произведений писателей Болгарии (и был за это награждён болгарским орденом Кирилла и Мефодия). Уже здесь, в эмиграции, с любовью воссоздавал — на русском — новые рассказы своего старшего друга Василя Быкова. (На старости лет тот неожиданно тоже стал изгнанником: оклеветанный официальной пропагандой в Минске, тяжело больной, почти без средств к существованию, Быков скитался вместе с женой из одной европейской страны в другую.)

Ему хотелось размышлять о взаимодействии и перекличке разных культур, о таинственном искусстве перевода, о судьбах переводчиков — часто, как ни странно, трагических. Так появились две книги Ванкарема Никифоровича — «Всему миру — свой дар» (1973) и «Дороги в широкий мир. Страницы литературных взаимосвязей» (1979). А мне он однажды рассказал о своём первом учителе перевода. Это был замечательный белорусский поэт Владимир Дубовка. Он родился в 1900-м, учился в Москве у Брюсова, в 1930-м уже был арестован чекистами. «Мне повезло, — совершенно серьёзно говорил Дубовка. — Если бы они взяли меня позже, то обязательно подвели под расстрел». Как-то на одной из лагерных пересылок Дубовка встретился с великой переводчицей Татьяной Гнедич. Вместе, радостно дополняя друг друга, они вспоминали оригиналы байроновских поэм. Ещё находясь

в заключении, оба сделали свои — тоже ставшие потом классикой — переводы из Байрона: она — на русский, он — на белорусский... Байрон помогал выжить? В старину считали, что во время перевода происходит мистический «обмен душами». Ванкарем Никифорович был редактором двухтомника произведений Владимира Дубовки, сборника его переводов сонетов Шекспира. Они подружились. «Это была моя главная школа».

Порой говорят: люди культуры далеки от политики — она им скучна. Зачастую — так. Но писатель-эмигрант рассуждает иначе. Он хорошо помнит, откуда и куда идёт.

Не случайно вскоре после приезда в Чикаго Ванкарем Никифорович сблизился со старой белорусской эмиграцией. Она переживала далеко не лучшие времена, однако была верна много лет назад избранной миссии. Раз в два года собирались съезды. В Нью-Йорке по-прежнему выходила газета — живой эмигрантский рупор. Работал Белорусский институт науки и искусств, выпускавший свои знаменитые «Записки» — они начинались ещё в Мюнхене, после войны. Директор института был рад новому коллеге: сам привёз ему в Чикаго два чемодана старых книг, журналов, рукописей. Разбирая это богатство, Ванкарем Никифорович обратил внимание на материалы, почти не известные исследователям в Белоруссии. Существовала, оказывается, драматургия белорусской эмиграции. Изучив более пятидесяти пьес, он отобрал восемь. И составил из них интереснейший сборник.

Он подхватил эстафету старой эмиграции естественно, без пафосных деклараций, но и без компромиссных оговорок об «изменившемся мире». Позиция Ванкарема Никифоровича твёрдо, как основание айсберга, ощущается во всём, что он пишет. Он, к примеру, не отвергает «с ходу» культуру метрополии. Однако всегда помнит про водораздел. Этот водораздел — правда.

Среди многих статей Ванкарема, так или иначе обращённых к культурно-политической ситуации в бывшем СССР, выделю одну. Это заметки о книге, название которой красноречиво: «Что я видел в Советской России? Из моих личных наблюдений». Ещё более красноречиво посвящение: «Порабощённым, закованным в цепи большевистской диктатуры народам СССР...»

Автор не профессиональный литератор — профессиональный рабочий одного из заводов Чикаго. Он уехал из Беларуси в 1913-м. Он смог встретиться с близкими и родиной только двадцать один год спустя.

Книгу, выпущенную в 1935-м, сегодня по-прежнему читать страшно: так действуют на нас эти косноязычные зарисовки с натуры, цифры, незамысловатые репортажи из страны победившего

социализма. Удивительны наивные предвиденья автора книги—почти все они сбылись. Уместно добавить: статья Ванкарема Никифоровича приурочена им к пятнадцатилетнему юбилею распада СССР. Кто только не лил слёз в связи с этим «скорбным» событием—и в российской, и в белорусской, да и в нашей эмигрантской прессе»...

Ванкарем Никифорович озабочен, впрочем, другими вопросами. Кто он, *Минский Мужик* (под таким псевдонимом скрылся автор, справедливо опасавшийся «руки Кремля»)? Где отыскать подшивку или хотя бы отдельные номера русскоязычной чикагской газеты «Рассвет» (там публиковались первоначально очерки, составившие книгу)?

Эти вопросы закономерны. Их задаёт себе и нам хранитель эмигрантской культуры, рачительный собиратель эмигрантских судеб.

Если внимательно присмотреться к культурной жизни эмиграции, легко заметить: эта жизнь просто невозможна без подвижников. Именно они настойчиво напоминают об утерянных традициях. Именно они, по счастью, заменяют собой отсутствующие в эмиграции институты.

В наших газетах, к примеру, нет отделов критики и библиографии. Понятно, нет и системы в освещении литературной и художественной жизни. Многого проходит незамеченным, неназванным даже—точно и не было вовсе. Чикаго, однако, повезло. Здесь был Ванкарем Никифорович. Каждый одарённый человек в русскоязычной общине вызывал его интерес. С каждым он хотел непременно поговорить на страницах газеты. Иногда мне казалось: этот критик чересчур добр, слишком снисходителен в своих оценках. Но потом я понял: слово «чересчур» в данном случае неуместно, поддержка не бывает излишней. Ведь путь таланта в диаспоре—это всегда дорога в сумерках.

За годы эмиграции Ванкарем Никифорович опубликовал в чикагской «Рекламе», лос-анджелесской «Панораме», нью-йоркском «Новом русском слове» и других изданиях около тысячи статей. Многие из них я помню, некоторые перечитал сейчас. Каждая публикация открывала проблемы и мотивы, которые водили пером автора.

Если не ошибаюсь, он никогда специально не формулировал своё кредо критика. Но оно так очевидно. Мне кажется, едва ли не главную задачу художественной и литературной критики в эмиграции Ванкарем Никифорович видел в борьбе с пошлостью. Процесс проникновения пошлости в структуру человеческой личности хорошо описал когда-то Горький: «В юности пошлость кажется только забавной и ничтожной, понемногу она окружает человека, своим серым туманом пропитывает мозг и кровь его, как яд и угар, и человек становится похож на старую вывеску, изъеденную

ржавчиной: как будто что-то изображено на ней, а что?—не разберёшь». В эмиграции этот процесс «опошления» интеллекта идёт гораздо быстрее, интенсивнее. Ведь эмигрант часто потребляет только ту «культуру», которую находит на российских телеканалах, концертах эстрадных звёзд типа Верки Сердючки, спектаклях торопливо сколоченных «антреприз», неколебимо уверенных: публика—дура. Как бороться с пошлостью? Ванкарем Никифорович говорил о «подлинном и мнимом» с известнейшими режиссёрами, артистами, дирижёрами, писателями (Мстиславом Ростроповичем, Марком Розовским, Михаилом Казаковым, Владимиром Войновичем, Адольфом Шапиро): те тоже не могли смириться с коррозией, разъедающей культуру. Но главное—критик неумоимо рассказывал эмигрантской аудитории об истинных явлениях американского искусства: они рядом, надо только сделать усилие, встать из уютного кресла—начать работу души.

Другой вопрос, который мы не раз обсуждали с ним,—проблема «творец и критик». Конечно, Ванкарем Никифорович знал: среди прочих у него есть и совершенно особые читатели. Профессионалы. Это, к примеру, русскоязычные художники, которых в большом количестве выплеснула на чужой берег последняя волна эмиграции. Многие растерялись, услышав всё ту же «песню ветра». Десятки статей критика (например, о таких зрелых мастерах, как Борис Заборов, Юрий Канзбург, Моисей Лянглебен, Леонид Окс, Иосиф Пучинский, Израиль Радунский) содержат не только глубокий анализ творчества, но и показывают возможное направление дальнейшего пути. Однако прежде всего это важно молодым художникам: тем особенно трудно в эмиграции. Часто не получили академического образования. Вдруг оказались психологически «зажаты»—словно между льдинами—между разными направлениями изобразительного искусства. Вот почему ещё Ванкарем Никифорович часто говорил о традициях. Они вовсе не пропитаны нафталином—животворны. Те же традиции первопроходцев еврейской живописи и графики в России—Шагала, Пэна, Сутина, Хаима Лившица. (Критик посвящает им огромный цикл статей, всегда обращающая внимание на интерес к ним в Америке. Вот, положим: «При жизни Хаима Сутина понимали немногие. И совсем немногие понимали, что он—большой и значительный художник. Среди них была и группа энтузиастов, любителей еврейского изобразительного искусства в Чикаго, которые ещё в 1935 году организовали в своём городе персональную выставку работ Хаима Сутина».)

Удивительно и по-своему трогательно то, что рецензии Ванкарема Никифоровича на спектакли американских театров высоко оценили в первую очередь... сами театры. Оценили, конечно, за

высокий профессионализм. Рецензии эти переводили на английский, специально для актёров вывешивали за кулисами. В той же чикагской труппе Steppenwolf, известной своими оригинальными трактовками русской классики. Или в Театре европейского репертуара, труппе Vitalist, знаменитой Lyric Opera.

Из года в год Ванкарем Никифорович пристрасно, по-доброму следил за поисками тех или иных художников, бардов, писателей, артистов. От статьи к статье продолжал начатую тему.

Когда-то, ещё в Белоруссии, он помог известному московскому журналисту и писателю Давиду Гаю собрать материал для документального романа о гибели Минского гетто. Теперь Давид Гай — один из самых интересных прозаиков русской Америки. Его романы («Джекпот», «Сослагательное наклонение», «Средь круговращения земного...»), справедливо полагает Ванкарем Никифорович, не просто исповедальны: они исследуют сложный процесс самосознания нашей эмиграции.

К внуку в Чикаго приехала старая актриса московского театра имени Маяковского Зинаида Леберчук. Думала, будет наконец отдыхать; но огонь творчества, замечает Ванкарем Никифорович, в Америке не только не погас — разгорелся. Она подготовила и показала здесь несколько своих полноформатных моноспектаклей («Закат», «Медея», «Леди Макбет Мценского уезда» и другие).

Считалось: не могут утвердиться, выстоять русские эмигрантские театры с постоянным репертуаром. Так велики постановочные расходы — и так скудны кассовые сборы. Теперь, однако, такие труппы есть: в Чикаго — «Атриум», в Канаде — монреальский театр имени Варпаховского. Представьте себе, они успешны. Ванкарем Никифорович не просто рецензирует их премьеры — задумывается о проблемах существования и выживания. И опять-таки становится для театра другом.

...Этот немногословный, застенчивый человек любил полемику. Видимо, в таких случаях он преодолевал себя, хорошо понимая: эмиграция — не остров в океане, но один из сообщающихся сосудов цивилизации. На моей памяти Ванкарем Никифорович решительно вступал в дискуссию с проводниками политики «бацьки Лукашенко», создателями сегодняшнего российского кино, странными в изгнании проявлениями великодержавного шовинизма, попытками создать особый язык русско-американской культуры...

Иногда он спорил и о будущем эмиграции. На мой взгляд, сами по себе эти дискуссии нередко умозрительны. Как не заметить: с каждым годом резко сужается круг русскоязычных читателей и зрителей, внуки быстро перестают понимать бабушек и дедушек, разрастаются только наши кладбища. Однако верно и другое — то, что всегда подчёркивал в своих статьях Ванкарем Никифорович: именно эмиграция сохраняла и будет сохранять высокое достоинство культуры.

ДиН пародия

Евгений Минин

Не страшней, чем у Кафки

Каково?

*Душа молчит, как Татьяна Ларина,
или как Анна грустит Каренина.*

Светлана Кекова

Во мне внутри заросло паутиною,
стала душа такою капризою,
то в омут бросается Катериною,
то молча бедной страдает Лизою.
Муза, прошу, меня не изматывай,
отвергаю такую опеку я.
Мне бы как Анна писать Ахматова,
но как Светлана пишется Кекова.

Офейсбенное

*Серый день: ни комментариев, ни лайков.
Почитать, что ли, Кафку с утра.*

Андрей Грицман

День проходит: в фейсбуке — все суки,
Ни один не подлайкнулся френд.
Вы б моё почитали от скуки —
Мой обширен фейсбуковский стенд.
Почитайте стихи для затравки,
Прозой тоже займитесь потом.
У меня не страшней, чем у Кафки,
Но уснёте вы тоже с трудом.

Иса Айтукеев

ОКНО

Телевизор—окно. Окно в мир. Сидишь у себя дома на уютном диване и, уставившись на экран, смотришь, что интересного происходит во всех странах мира, непрерывно перебирая кнопки пульта. Словно отрываешься от дивана, подходишь к окну и глядишь, что происходит во дворе...

Картина первая:

Ты можешь остановить свой взгляд на свалке у мусорных контейнеров: на разбросанных бездомными собаками мешках, на тлеющих остатках некогда модной мебели, которую разломали и подожгли бомжи, чтобы согреться в прохладную ночь. На вызывающей смешанное чувство отвращения и жалости фигуре нищего, одетого даже летом в рваное зимнее тряпье. По его виду можно определить, какое время года на дворе: если уши шапки завязаны на макушке, а старая фуфайка расстёгнута—значит, лето, а когда шапка завязана под подбородком и пальто застёгнуто на все пуговицы—зима. Он медленно (то ли с осторожностью, то ли с брезгливостью) ковыряется чёрными пальцами в развязанных или распоротых пакетах и, что-то обнаружив, с такой же медлительностью перекладывает находку в свою замызанную и истрёпанную, подвешенную через плечо сумку-портфель. Тут же свора собак, бегающих вокруг бомжа и контейнеров в надежде что-то перехватить. Найдёт кусок собачонка—и одним движением узкой тонкой пасти отправит в свой впалый живот, пока не увидели и не отобрали те, что посильнее. А вот и вороны, рассеявшиеся на нижних ветвях стоящих поблизости тополей, а кто смелее—на стенке бетонной ограды, а то и на утлах металлических баков. Возможно, и не те, кто смелее, а те, кто голоднее, так как ни человеку, ни собакам нет никакого дела до этого каркающего чёрного общества. По воронам тоже заметно, что страхом они не обеспокоены. Сидят себе, выжидают. Авось что-то съестное и им перепадёт. Заметят крошки или огрызки, оставшиеся после торопливой трапезы дворняжек, одна негромко каркнет остальным в знак того, что первой намерена подлететь, неторопливо спустится с веточки, боковыми шажками приблизится и, склевав последние крохи, без суеты, так же неторопливо взмахнув крыльями, возвращается на исходную позицию.

Картина почти повседневная и не меняющаяся, как в фильме «День сурка».

Ты можешь этого не замечать. Ни на секунду не задерживать взгляд на этом. Вообще не обращать внимания на такие моменты жизни. Хотя по обыкновению, отойдя от окна, садясь завтракать, собираясь на работу и по дороге до места службы, а затем целый день до самого вечера, вспоминаешь об этом бомже. Об исхудалых, недоразвитых от недоедания собаках, и почему-то одобрительно—о санитарях природы воронах. Осуждая прашуров, что их так называли—вороны. Ничего никогда ни у кого они не воруют, а наоборот—уничтожают наш мусор, который мы за тысячелетия не научились перерабатывать, не засоряя окружающую среду. Я бы даже сказал, что эта окружающая среда, наоборот, и создала ворон, чтобы мы окончательно не утонули, не увязли в собственных отходах.

Удручённый на целый день такими размышлениями, ты в течение рабочего дня можешь что-то упустить, кому-то нагрубить. Если сумел удержаться от грубостей, то коллеги, заметив твою раздражительность, незаметно сторонятся тебя. Опасаются лишний раз улыбнуться, пошутить, просто поболтать во время перекуров или обеденного перерыва. В итоге вечером приходишь домой уставший, не в духе... Подумав, что у тебя что-то болит, жена или теща не замедлят пожаловаться на своё здоровье. У них тоже сегодня оно пошаливает, вероятно, были «бури» или намечается изменение погоды. Все, без аппетита поужинав, разойдутся по своим комнатам, включают по телевизору «малаховские проблемы» и, ещё более опустошённые, лягут спать. Утром, совершенно разбитый после еле-еле преодоленной бессонницы и нескольких кошмарных снов, встаёшь и идёшь к окну посмотреть на помойку...

Картина вторая:

Ты выглянул в окно. А там! Солнце только начинает подниматься из-за дальних гор. Но его первые лучи уже пробились на зелёные газоны через листву старых пушистых густых тополей. А небольшие лужицы, оставшиеся после мелкого ночного дождя, разбрасывают «зайчики» по стенам панельных многоэтажек. Из открытых окон «тойоты» по всему двору разносится «Одинокий пастух»

в исполнении Джеймса Ласта. Музыка словно уговаривает: «Люди, не торопитесь! Мир прекрасен и желанен! Пробуждайтесь нежно и с улыбкой! Вас ждут неповторимый день и изумительные люди!»

Кто ещё не встал с постели, потягиваясь в ленивой истоме, укутываясь в тёплое одеяло и потягивая носом, как будто он им слушает, тянется за музыкой со сладким желанием полететь за ней над бескрайними альпийскими лугами и лесистыми холмами прекрасной Швейцарии. Да, да, почему-то именно Швейцарии!

Наливаешь чашку пахучего кофе и подходишь к окну. С наслаждением маленькими глотками отпиваешь из чашки и чувствуешь, как пробуждается твоё тело. Ещё минуту назад непреодолимые, лень и сонливость уходят в самые кончики пальцев ног. Чуть встряхнёшься — и вот уже их нет. Допивая кофе, наблюдаешь, как голуби в лужицах принимают утренние процедуры и вальяжно ухаживают друг за другом. Немного послушав чирикание ранних птиц и улыбнувшись суматошным воробьям (интересно, кого они бьют или у кого воруют?), идёшь в ванную. С удовольствием приняв контрастный душ, одеваешься и, посвистывая, будто играешь на

флейте, спокойно, с лёгкой улыбкой и сияющими глазами идёшь в офис и каждому встречному бодрым кивком головы шлёшь приветствие.

Уютно усаживаясь в кресло, оглядываешь коллег, давая им понять, что ты очень рад видеть их всех как сегодня, так и всегда. Перекинувшись во время перекура или обеда несколькими шутками и весёлыми байками, без усталости, в полную силу отработав рабочий день, влетаешь домой. Поцеловав жену в щёчку, мимоходом отпускаешь теще комплимент, что она сегодня как никогда бодр и свежа. После вкуснейшего ужина садишься с ними посмотреть вздорную комедию или каких-нибудь «весёленьких ребят», а потом ложишься спать, ласково прижав к себе жену.

Утром, отдохнувший, в прекрасном настроении встаёшь и, налив чашечку кофе, идёшь к окну, чтобы увидеть солнце, горы и бескрайнее голубое небо с белыми-белыми, пушистыми-пушистыми облаками...

Так вот: телевизор — окно. (А может, жизнь — телевизор?..) И когда ты нажимаешь на пульте кнопку «Вкл», подумай, какую картину хочешь увидеть...



ДиН РЕВЮ

Сергей Арутюнов Апостасис

Кострома: Издательский дом Максима Бурдина, 2016. — 112 с.

До каденций ли ражих, мажорных,
Если стелется к славе Твоей
Эта осень, сухая, как шорох
Притворённых за летом дверей?

И без разницы, раньше иль позже
Вспоминать о минувшем тепле, —
Подморозило, Господи Боже,
И воистину — слава Тебе.

Пионерски ничтожной речёвкой
Раздербаненный прёт кавардак —
Побежалость листвы обречённой,
Хороводы её во дворах,

И одно ощущение крепнет,
И один лишь пейзаж и видней —
Нескончаемый ветреный трепет,
Содрогание голых ветвей.

И в кабаке, и в мезонине
Я буду знать, мечтам взамен,
Что этот абонент звонил мне
И дозвониться не сумел.

...И вроде ближнего не граблю,
Проулков кровью не кроплю,
Достаточно ходить по краю,
Стоять у бездны на краю...

Я столько раз ещё унижусь,
Желая выгореть дотла,
Чтобы судьба, переменившись,
Побег нечаянный дала,

И перестала пахнуть сплетней,
И, нитей больше не суча,
Под своды Врат вошла последней,
Прямой и тонкой, как свеча.

Марат Валеев

Из дальних странствий

Кипрские заметки

Слетали с женой на пару недель на Кипр. Там и до нас много российского туриста перебивало, и сейчас в сотнях отелях на средиземноморском побережье отдыхают тысячи и тысяч сограждан, так что вряд ли я расскажу вам что-то новое. И тем не менее рассказать подмывает.

Не буду томить вас прелюдиями, а сразу начну с того, что—вот мы и на Кипре, в курортном посёлке Протарас, что расположен в получасе езды от Ларнаки, одного из крупных административных центров островного государства, он же город-курорт.

В первую же ночь после длительного шестичасового перелёта из Красноярска в Ларнаку плохо спалось, встали очень рано, зато были вознаграждены открывающимся с балкона нашего отеля «Харрис» видом на кипрский рассвет.

На следующий день, после завтрака, отправились на пляж. Он оказался метрах в ста от нашего отеля. Берег Средиземного моря здесь каменистый, неудобный для спуска в воду, и потому владельцы курорта оборудовали такую бухту размером метров сорок на шестьдесят, обрамлённую с одной стороны естественным берегом из вулканической, похожей на дырявую пензу породы, с другой—вдающимся в море мысом искусственного происхождения (бетонные плиты вперемешку с огромными камнями).

Сам пляж покрыт явно привезённым откуда-то песком вперемешку с мелким галечником. В эту бухту купаться и загорать ходили обитатели нашего отеля, россияне и немцы, а также соседи-англичане и сами греки-киприоты.

В самый наплыв одновременно в уже достаточно комфортной воде (двадцать четыре градуса при атмосферной температуре под тридцать и слегка за тридцать) плескалось с пару десятков человек, не больше. Ну и столько же валялось на лежаках: с тентом—за плату, без тентов—за так. Кто обычно загорал без тентов—догадаться, думаю, несложно.

Кроме загорающего люда, на берегу обитали ящерицы—от маленьких, сантиметров в десять, до крупных, раза в три больше. Между лежаками всё время прыгали местные воробьи, нахальные и худые (наши, сибирские, куда справнее), и что-то

склёвывали на песке, хотя что там можно было найти?

В воде можно было увидеть мелких, меньше ладошки, бледно-полосатых рыбёшек, похожих на окуней, а на мокрых камнях у самой воды—робких и очень подвижных тёмно-серых крабиков. Казалось, вот, протяни руку, и можно его сцапать. Но они всегда удирали с удивительным проворством.

Недалеко от берега мимо нашего пляжа курсировали туда-сюда катера, яхты, стилизованные под пиратские суда деревянные, с мачтами и парусами, но моторные, шхуны, катающие туристов.

Ближе к обеду к нашему пляжу подъезжал ярко разукрашенный пикапчик, сдавал задом к самому обрыву (правда, невысокому, всего метра в два), водитель, он же продавец, крепил и раскрывал над кузовом два зонта и затем, болтая над головой звонким медным колокольчиком, протяжно кричал на двух языках:

— Айс кре-е-ем! Морожни-и-и-ий!

Покупателей у него было немного. И когда жена сходила и принесла мне вафельный рожок с кипрским клубничным мороженым, а себе—просто сладкую замороженную фруктовую воду на палочке, я понял почему.

Моё мороженое резко отдавало какой-то парфюмерией—не то мылом, не то одеколоном. В общем, противное было мороженое, и я его доел с большим трудом—бросить его на песок рядом с лежаком было нельзя, а до мусорной урны идти было далеко.

Я думал, что это просто мне не повезло с сортом мороженого. Но на следующий день, когда опять на пляж приехал этот же мороженщик на своём пикапе, я слышал, как один наш дедок-турист жаловался:

— У меня во рту после ихнего мороженого был такой вкус, как будто я, блин, съел тюбик мыльной пасты для бритья. Больше я покупать его не буду.

И мы больше не покупали. Но вот пиво у киприотов отличное и, в принципе, не такое уж дорогое—в среднем чуть более ста рублей за поллитровую кружку.

На пляже из четырнадцати дней, за вычетом четырёх дней, потраченных на экскурсии, двух дней приезда-отъезда, мы провели восемь дней,

по два-три часа в день. Нам вполне хватило, чтобы успеть обгореть, облезть и снова загореть.

Чтобы получить более полное представление о Кипре, да и как-то разнообразить наше пребывание здесь, мы купили четыре экскурсии. Очень интересной была поездка на турецкую часть острова.

От турок в своё время досталось многим соседним, ближним и дальним, народам. Достаточно пострадали от них и греки, в том числе и на островах Крит, Кипр. И даже после трёхсотлетнего турецкого владычества, завершившегося в девятнадцатом веке, в 1974 году уже как будто свободный Кипр из-за различных политических передрыг¹ вновь подвергся турецкому нашествию.

Если помните, это было время холодной войны между Западом и странами социализма, и заступиться за киприотов толком было некому. В результате треть территории острова была аннексирована турками, и на ней была образована до сих пор никем, кроме самой Турции да ещё Нахичеванской автономией в составе Азербайджана, не признанная Турецкая республика Северного Кипра со столицей в Никосии (она же — столица Республики Кипр).

А город Фамагуста, куда мы направились на микроавтобусе группой российских туристов в составе пары десятков голов и в сопровождении гида Марии, польки по происхождению, говорившей на русском достаточно чисто, но с милым акцентом, был одним из четырёх административных центров этой самой турецкой части Кипра.

Нас предупреждали, что про турок-киприотов и вообще про турок в присутствии греков-киприотов желательно не упоминать — так якобы велика к ним ненависть последних. Хотя до событий, разделивших Кипр, греческая и турецкая общины острова за сотни лет совместной жизни нашли общий язык и сосуществовали вполне себе дружно.

Но после того, как турецкие войска в 1974 году неожиданно оккупировали Кипр под предлогом защиты турецкоязычного населения острова (от северного окончания острова до Турции всего шестьдесят километров), в южную часть Кипра бежало до двухсот тысяч греков, а в северную — тридцать тысяч турок. Сегодня их, вместе с переселившимися сюда за минувшие годы материковыми турками и греками, принявшими ислам, в пределах двухсот тысяч.

Эта часть Кипра достаточно долго была закрыта, и демаркационная линия (её ещё называют Зелёной), разделяющая остров на две неравные части, по соотношению населяющих его греков и турок — семьдесят на тридцать процентов, была наспигована турками десятками тысяч мин.

С недавних пор туристов стали пускать в северную оккупированную часть Кипра из южной части

через специальные пограничные пункты. Вот к такому пункту мы и подъехали ближе к полудню на микроавтобусе.

Снимать что-либо было категорически запрещено во избежание неприятностей со стороны турецких властей — представителей их, большей частью суровых смуглых черноусых мужчин в военной форме, сидящих за стёклами будок, из автобуса было видно хорошо.

Мы думали, нам придётся проходить все полагающиеся формальности при пересечении границы, и приготовили паспорта. Но гид Мария сама сходила на пограничный пункт со списком вверенных ей туристов и без нас быстро уладила все дела.

Затем вместе с ней к нам в автобус поднялась и сопровождающая с турецкой стороны, молчаливая темноволосая смуглая девушка — увы, совсем не такая красивая, как выглядят турчанки в побившем у нас в России рекорды популярности сериале «Великолепный век».

Как пояснила Мария (кстати, тоже далеко не красавица, но зато хотя бы обаятельная), турчанка будет нас сопровождать всё время экскурсии (то есть, как мы все поняли, она будет контролировать все наши действия). Но мы ей не дали никакого повода обвинить нас в подрывных действиях против турок на Кипре, и она за все несколько часов пребывания в составе нашей группы не проронила ни слова...

Турецкая часть Кипра с первых же метров обозначила свой заметный контраст с греческой. На всех крышах и балконах здесь на ветру полоскалось бельё. (В городе Фамагусте на одном балконе мы увидели сразу с три десятка белых женских трусов и панталон самых разных размеров — с vareжку и с чехол от кресла. К сожалению, Светка не рискнула щёлкнуть эту живописную картинку, кругом ходили самые настоящие турки, а рядом была «колючка», ограждающая «город-призрак» — район Вароша города Фамагусты, куда мы и ехали.)

Многие жилые дома «украшали» осыпающаяся штукатурка, трещины в стенах. На улицах мусор, плитка выбита, на всём некая печать неряшливости... Хотя о чём это я? Точно так же выглядят и многие наши города. Просто на Кипре есть с чем сравнивать — у греков-киприотов все поселения ухожены, тротуары и дороги чистенькие. А мы с турками — полуазиаты, полуевропейцы, и небольшая неряшливость для нас одинаково присуща.

Мы быстро проскочили Фамагусту с бродячими по её улицам и сидящими за столиками кофеен или на балконах местными жителями — турками и студентами из различных стран (здесь расположен Университет Восточного Средиземноморья)

1. <http://touristhappy.ru/countries/cyprus/14-cyprushistory.html>

и очутились на развалинах Саламиса, древней столицы Кипра. Вернее, того, что от него осталось за минувшее тысячелетие.

Это амфитеатр с великолепной акустикой, общественные бани со сложной системой подачи горячей и холодной воды, стадион, виллы зажиточных римлян (а город был основан именно ими). Кое-где сохранились мозаичные украшения, полы, тротуары. Как-то странно было ходить по ним, поросшим травой и кустарниками, осознавая, что вот именно здесь когда-то лениво передвигали свои ноги в кожаных сандалиях спесивые римляне, обёрнутые в тоги, текла размеренная древнеримская жизнь, время от времени нарушаемая набегами различных охочих до чужого добра захватчиков—арабов там, египтян, англичан (эти—так вообще дважды, в средние века и в двадцатом веке), османов (тоже не единожды)...

От когда-то великолепного города остались одни руины, по которым сейчас шастают многочисленные туристы да шмыгают юркие ящерицы.

Здесь всё носит на себе отпечаток древности. И когда мы уезжали на своём микроавтобусе с комплекса развалин Саламиса, дорогу нам шустро перебежал весь какой-то линиялый и худой заяц.— Похоже, что древнегреческий,— меланхолично заметил я, погружённый в далеко не светлые думы после всего увиденного.

Народ приснул.

Затем мы вновь вернулись в Фамагусту, и автобус завёз нас на чрезвычайно интересную территорию—городской район Вароша, больше известный как «город-призрак».

После оккупации северной части Кипра турки стали заселять брошенные сбежавшими на юг острова греками города и посёлки. И оказалось, что народу у них мало, чтобы занять все оставленные поселения. И тогда турецкие власти стали завозить сюда бедных соотечественников с материка, суля им всякие блага и на деле одаривая землями, захваченным жильём, добром.

Так была заселена и практически вся Фамагуста, бывшая к моменту оккупации самым фешенебельным городом-курортом на Кипре. Но турки заняли не весь город—в районе Вароша было целое скопище (несколько десятков) очень современных по тем временам, роскошных и комфортабельных отелей, которые были выстроены не греками-киприотами, а многими иностранными инвесторами из влиятельных стран. Тут даже песок для пляжа завезён издалека—говорят, что из Египта!

Османь не рискнули захватывать этот курортный квартал, так как это было чревато многими международными скандалами, судами. Им хватало и того осуждения, которое обрушилось на их головы после оккупации Кипра. (Удивительно, но когда наш гид, рассказывая об истории

южной части Кипра, периодически употребляла это слово—«оккупация», сопровождающая нас турчанка ни разу не среагировала на него. Значит, и сами турки признают незаконным захват ими части острова?)

Турки отнесли этот район протяжённостью в несколько километров к зоне отчуждения, обнесли его забором, выставили охрану и никого туда больше не пускают вот уже более тридцати лет. И строения начинают постепенно рушиться—из-за отсутствия ухода и из-за временного фактора.

Зияющий пустыми глазницами многоэтажных, постепенно разрушающихся зданий, с буйствующей одичавшей зеленью на улицах и в скверах, район Вароша (внутри, говорят, всё же весь разграбленный турками—они кораблями вывозили всю обстановку, оснащение отелей, включая выданные с корнем унитаза) представляет собой жутковатое зрелище, его можно сравнить с городом Припять (Чернобыль)... Кому интересно более подробно почитать об уникальной судьбе Фамагусты, рекомендую заглянуть сюда: <http://10odorog.ru/club/stories/22961/>

А мы, перед тем как воспользоваться тремя часами, обещанными нам на «разграбление» Фамагусты, совершили ещё и беглую экскурсию по древней крепости, построенной в средние века для защиты города венецианцами. Эта крепость знаменита тем, что якобы даже легендарный Леонардо да Винчи приложил свою руку (а вернее сказать—давал свои советы) к укреплению данного бастиона.

А одна из башен носит название «Отелло»: существует ещё одно предание, что великий Шекспир написал свою трагедию, основываясь на событиях, произошедших в Фамагусте. Во всяком случае—на Кипре точно, ведь это здесь ревнивый губернатор острова задушил свою красавицу-жену Дездемону.

Стены крепости достигают высоты семнадцать метров и имеют протяжённость свыше трёх километров. Они, эти стены, сослужили свою службу, отражая набеги многих врагов, но пали под натиском турок в шестнадцатом веке, когда те после десятидневной осады своей артиллерией и подземными минами разрушили стены во многих местах и перебили фактически весь гарнизон (до девяноста процентов личного состава).

Вняв посулам турок о сохранении жизни, остаток гарнизона сдался на милость завоевателей. А те, разъярённые упорным сопротивлением генуэзцев, почти всех их тут же перебили, а с коменданта живьём содрали кожу...

Вот под впечатлением такого красочного рассказа доброго гида Марии наша группа разбрелась затем по Фамагусте—её кварталы начинались в десятке метров от крепостной стены. Я устал и никуда больше не пошёл, жара к тому же стояла

несуветная. И уселся поджидать Светлану в тенистом сквере, наблюдая за турецкой жизнью Фамагусты.

Ничего в ней особенного не было, разве что интересно было видеть, как два молодых турка, ехавшие друг другу навстречу, тут же бросили машины на проезжей части и бросились обнимать друг друга и хлопать по плечам. Другие участники движения при этом почтительно объезжали их. Восток—дело тонкое...

Светлана вернулась где-то через полчаса, и мы зашли перекусить в ближайшую турецкую кофейню. За столиками вперемешку сидели местные жители и туристы. Мы выбрали столик прямо у работающего фонтана с небольшим бассейном, в котором плавали крупные рыбы, похожие на карпов, и черепахи.

Официант, рослый турок в феске, принёс нам огромные книги меню. Мы выбирали-выбирали, и я в конце концов ткнул во что-то, на вид вкусное (все названия блюд, на английском и турецком, были снабжены ещё и рисунками) и усыпанное зеленью.

Булькала вода в фонтане, осторожно плескались плавающие в бассейне рыбы, играла отнюдь не восточная музыка, люди вокруг питались, а мы всё ждали. Захотелось пить. Я помахал рукой время от времени пробегавшему мимо нас одному из двоих официантов. Он подошёл, учтиво склонил черноволосую голову.

—Принесите две бутылки холодной воды,—попросил я его вежливо.

Официант выжидающе продолжал смотреть на меня. «А, он же не понимает по-русски! Вот, блин, какие ленивые эти принимающие стороны, не учат русского языка,—с досадой подумалось мне.—Что на Крите, что на Кипре, что здесь—английский знают, а нашим могучим упорно не хотят владеть. И это при том, что русских туристов становится всё больше и больше. А что, если...»

И неожиданно для себя сказал по-татарски, чтобы он принёс мне холодной воды. Скажу честно, родной язык я основательно подзабыл за многие годы жизни среди русских. Но турок улыбнулся, кивнул головой и через несколько минут поставил нам на стол пару запотевших бутылок с ледяной водой. Он меня понял!

Светка уважительно сказала:

—Слушай, так с тобой теперь можно ехать и в Турцию!

(В свете последних событий—пока нельзя.—*М. В.*)

Между тем нам принесли наконец и заказ. Это оказались огромные порции лапши по-турецки, в сырном соусе и с грибами, посыпанные зеленью. А как же я разглядел на рисунке совсем другое?

Впрочем, лапша оказалась очень вкусной, и я с удовольствием умял всю тарелку. Светка тоже почти всё съела.

Одну бутылку воды мы выпили за обедом, а вторую прихватили с собой. Счёт и сундучок для оплаты (именно сундучок, в который и надо было класть деньги) нам принёс тот официант, с которым я перед этим так душевно пообщался насчёт попить воды по татарско-турецки.

А на выходе, уже на улице, нас нагнал первый официант, который был в феске, и что-то стал взволнованно лопотать по-английски, время от времени указывая на зажатую в руке Светланы бутылку воды.

—А, он спрашивает, оплатили ли мы воду!—наконец догадался я.—Светка, ты же учила английский (я учил немецкий).

Впрочем, догадываюсь, что Светка учила английский так же, как я немецкий, так как ни фи́га не смогла объяснить настырному и жадному турку, что вода была включена в общий счёт. Он нас не понимал и явно не желал отпускать.

И тогда я снова сморщил свой мозг и извлёк из его запасников ещё пару фраз на татарском, смысл которых сводился к тому, что воду мы не украли, а её нам принёс его коллега и включил в общий счёт, который мы честно оплатили.

Турок вслушался в моё бормотанье, потом просветлел лицом, жестом попросил нас подождать на месте, кинулся обратно в кафешку, почти тут же вернулся и, конфузливо улыбаясь, сказал:

—О'кей, о'кей!

И мы с достоинством удалились.

Ну а ещё мы на Кипре ездили на «морскую прогулку и рыбалку на осьминогов»—так значит экскурсия в проспекте. Именно из-за того, что в этом рекламном буклетике была обозначена и рыбалка на осьминогов, я сначала не хотел ехать.

Мне эти сообразительные моллюски, которых я, правда, живём ни разу не видел, были всегда симпатичны своей смышлёностью (во всяком случае, такими их показывали в различных телепередачах и документальных фильмах, которые довелось увидеть), и мне вовсе не хотелось быть ни участником, ни свидетелем варварского обхождения с глубоководными мыслящими существами.

Но азарт истинного рыболова, выросшего на Иртыше и переловившего в его бледно-зелёных водах уйму всяческой рыбной живности, но ни разу не рыбачившего на море, пересилил моё так некстати пробудившееся гуманистическое начало, и мы купили эту экскурсионную путёвку (если не ошибаюсь, где-то сто сорок евро на двоих). В конце концов, не обязательно этот осьминог должен попасться на мою удочку, или какую там снасть мне дадут на судне, что повезёт нас на рыбное сафари...

Это была небольшая белая яхта, хозяином которой оказался худощавый и улыбчивый грек-киприот по имени Нати, а членами экипажа у него были несколько маленьких смуглых филиппинцев.

Добираться до того места, где нам предстоит заняться ловлей рыбы и осьминогов (чур меня, чур!), предстояло около часа, и народ поспешил занять места поудобнее. Практически все туристы (а нас, россиян, вместе с приблудившимися к нам несколькими семейными парами немцев, было человек тридцать—тридцать пять) собрались на средней, основной палубе.

Здесь можно было сидеть под открытым небом на жёстких диванах вдоль бортов. Мы со Светкой устроились на носу, здесь был хороший обзор и постоянно тянуло с моря лёгким свежим ветерком, что было очень актуально при поднимающемся всё выше и всё более раскаляющемся солнце.

На скалистом берегу виднелись редкие местные рыбаки, а из-за камней за ними заинтересованно наблюдали разномастные бродячие кошки. На Кипре очень много бродячих мурлык (климат и прочие условия позволяют), и островитяне относятся к ним с большим почтением—ещё не так давно они (кошки) считались здесь священными животными.

Но вот наконец яхта наша каким-то несолидным, пискливым гудком известила о готовности к отплытию. Заурчал двигатель, и судно отвалило от пирса. Несколько минут—и мы в открытом море.

Яхта достаточно быстро неслась вдоль берега, оставляя и справа, и слева редкие суда, стоящие на якорях на рейде. Скоро судно сбавило ход, и капитан Нати через гида объявил, что яхта встаёт на якорь и именно в этом месте начнётся основное действие нашей экскурсии—рыбалка. И рыбу ловить надо будет только с правого борта.

Принцип рыбалки мне стал понятен практически сразу. На конце лески спиннинга была прикреплена замануха-тройник в виде маленького осьминожка с белыми щупальцами, а на тройнике сидел ещё и кусок рыбы. Немного выше были прикреплены один за другим ещё два поводка с насаженными на крючок теми же кусками рыбы.

Всё ясно: там, где яхта встала на якорь, видимо, было не очень глубоко, и замануху-осьминожка следовало опускать до самого дна. На нижнюю приманку, соответственно, мог повестись донный хищник—осьминог, а на поводки повыше—любая другая плотоядная рыба.

Я сразу сказал себе, что осьминогов ловить не буду, и потому леску отпускал не до конца. Так, метров, может быть, на восемь-десять—и сматывал обратно на катушку, периодически подёргивая удилищем.

Рядом, практически локоть в локоть, нетерпеливо пытели другие рыбаки. Такое тесное

соседство приводило к тому, что наши снасти время от времени перехлёстывались, крючки цепляли друг за друга, и приходилось терять время на распутывание.

У кого-то почти тут же, под разочарованные вопли, на катушке образовались «бороды». Хорошо, что рядом находились филиппинцы-матросы, они очень сноровисто решали эти проблемы, а также вновь насаживали кусочки рыбного филе взамен сбитой наживки.

Я привык рыбачить если не в полном одиночестве, то хоть чтобы метрах в десяти-пятнадцати рядом никого не было: рыбалка—это ведь дело почти интимное. А тут толкаются локтями, на ноги тебе наступают. И ни хрена не ловится. Да ещё Светка умудрилась оторвать леску, когда напросилась немного подёргать спиннинг. Тьфу!

И я с досадой отдал испорченную снасть матросу, хотя он уже принёс мне новую. Ну нет, с меня хватит, это не рыбалка, а какое-то недоразумение!

И мы пошли с женой на своё место на носу яхты, но не по борту, а через буфет. Там уже стояли подносы с бокалами и стопками, белым и красным вином и знаменитым кипрским напитком зивания (виноградная водка крепостью от сорока пяти градусов).

Я уже имел удовольствие приложиться к этому чистейшему и достаточно мягкому напитку на предыдущей экскурсии «Кипрская свадьба» и потому безбоязненно (правда, под укоризненным взглядом жены) хлопнул пару крохотных, грамм на тридцать, рюмашек и заел это дело долькой лимона. Стало значительно веселей, и мы отправились на свои места на носу яхты.

Здесь тоже было самое настоящее столпотворение. В ряд по правому борту стояли и мужики, и девчонки и азартно трещали катушками спиннингов. Самое интересное—рыба-то начала клевать!

Видимо, подошла стая (подозреваю, что по заранее обговорённому с экипажем яхты расписанию). И то один, то другой рыбак вытаскивал из глубин Средиземного моря небольших, с ладошку, бледно-зелёных окушков. Иногда их было даже по два!

Но я почти не завидовал своим более удачливым сотоварищам по экскурсии, честно-честно, всё равно мне эта рыбалка с самого начала была не по нутру. Хотя дело нашлось и мне—я снимал с крючков окуней, выловленных девчонками, так как они не умели этого делать. То ли дело я, старый рыбак!

Светка ревниво сопела, глядя, с какой охотой я вожусь с чужим уловом у чужих длинных женских ног, но пока молчала. Ведро же, которое на нос яхты принёс один из моряков в самом начале нашего заплыва (я-то подумал—для поблехать, кого укачает, а оно вон для чего!), быстро начало наполняться колючим уловом.

Вдруг с кормы раздался дружный рёв. И спустя пару минут туристов с торжествующим видом начал обходить капитан Нати, держа на вытянутой руке довольно крупного жёлто-коричневого осьминога с извивающимися щупальцами. Попался-таки, бедолага! Как же его вытянули, даже на взгляд весящего килограмма два с лишним?

Капитан держал осьминога, засунув пальцы под какую-то пазуху на теле моллюска. Тому, видимо, это было неприятно, и он пытался освободиться, время от времени захлёстывая кисть своего мучителя щупальцем.

Капитан тут же с треском отдирает это щупальце от себя другой рукой и, весело скалясь, продолжает показывать всем попавшегося на крючок-тройник обитателя морского дна. Потом он спустился с ним в камбуз. Я лишь вздохнул: понятно, какая судьба ожидала «осю».

И ещё раз, спустя всего минут десять, корма яхты взорвалась многоголосым криком, и Нати снова пробежался по судну, уже со вторым осьминогом, и исчез в проёме спуска, ведущего к камбузу. Больше головоногие в этот день не ловились.

Да и сама рыбалка вскоре прекратилась, потому как пришло время обеда. Из камбуза уже давно тянуло аппетитными запахами, и вот народ потянулся в порядке живой очереди вниз, к раздаточной стойке.

Моя заботливая жёнушка тоже прогулялась к камбузу и вернулась с большой тарелкой, на которую было навалено много чего: и картошка печёная, и курица, и зелень, а ещё пара жареных оушков.

Нам могли их и не давать — на нашем счету не было ни одной пойманной рыбёшки, хотя Светлана потом клятвенно заверяла меня, что леску ей оборвал осьминог и якобы она даже видела пару щупалец на поверхности.

— Я тоже видел, — ехидно согласился я. — Он, по моему, дулю тебе состроил этими щупальцами...

А уже когда мы трапезничали, сидя за сдвинутыми столами на корме, запивая наш морской обед кто кипрской водочкой — зиванией, кто вином, между рядами столов прошёлся, держа в руках что-то вроде подноса, всё тот же улыбающийся капитан Нати. И каждому едоку он положил в тарелку по несколько кусочков белого мяса.

— Попробуйте осьминога! — перевела его приглашение угощаться гид Лариса.

Что оставалось делать? Я попробовал. Не знаю, или филиппинцы не смогли его как нужно приготовить, или оно такое по природе, но мясо осьминога оказалось жёстким, а на вкус — что-то среднее между курицей и рыбой. Короче, мне не понравилось, и я, улучив момент, выплюнул непрожёванного осьминога за борт, благо море было за моей спиной.

А пиршество между тем только начало разгораться. Народ сидел тёплыми компашками по четыре-шесть человек, и уполномоченные от столов то и дело дефилировали к буфетной стойке и обратно с подносами, тесно уставленными бокалами и стопками с виной и зиванией.

Две потные и зло улыбающиеся буфетчицы, сменяя друг друга, едва успевали их наполнять. Яхта стала напоминать шумную деревенскую свадьбу: повсюду громкий говор, хохот, задорная музыка.

Вскоре разгорячённый народ стал одновременно купаться в открытом море (с кормы для этого спустили трап), плясать на палубе в плавках и купальниках и нестройным хором петь за столами песни.

Но это не вызывало ни досаду, ни раздражение. Народ «оттягивался» за свои деньги и на своей, хоть арендованной, территории, которой на несколько часов стала эта кипрская яхта. А сбивающийся с ног экипаж судна имел, надо полагать, неплохую маржу с этой шумной и весёлой компании российских туристов, в которую затем, махнув рукой на все условности, влились и немцы. Они даже стали подпевать нашим, когда слышали знакомые песни.

Особенно забавно было слышать, как над просторами тёплого Средиземного моря, под жарким кипрским солнцем разносятся слова берущей за душу привольной русской песни «Ой, мороз, мороз!...».

Кстати, под эту же песню мы лихо влетели обратно в порт, и на нас вовсю пялились пассажиры других прогулочных яхт.

Вот такая у нас со Светкой случилась рыбалка на Кипре. И пусть мы ничего не поймали, но остались довольны как не знаю кто!..

Добри дэн, Чехия!..

Жена вычитала в Интернете про газовые уколы (такой способ лечения, когда внутримышечно вводят инъекции углекислого газа, и они всё-всё улучшают в организме) и решила, что нам эти уколы жизненно необходимы. Кроме того, ей давно хотелось прогуляться по пражским улицам, а уколы эти самые делают на чешском курорте Подебрады, всего в полусотне вёрст от столицы Чехии, и путёвка туда по стоимости меньше, чем, скажем, в ту же Белокуруху, — так что мы решили: едем! А что нам ещё делать, молодым пока пенсионерам? Здоровье на работе на Крайнем Севере подорвали, на лечение себе заработали, так что пора тратить накопления по назначению. То есть наслаждаться жизнью и по возможности продлить её.

Подебрады — городок старинный, очень зелёный и уютный, прямо игрушечный какой-то. Наш отель размещается в довоенной постройке

четырёхэтажном здании. Здесь же находится и основная лечебная база санатория; ещё на ряд процедур ходим в лечебницу (лазню) через дорогу. Так что всё удобно, под рукой.

Публика — преимущественно пенсионного возраста. Много русских, примерно по столько же самих чехов и немцев — Германия недалеко. Все непривычно приветливы, особенно немцы и чехи. Глядя на них, и сам начинаешь без конца со всеми здороваться: «Добри дэ-э-эн!» (Надеюсь, переводить не надо?)

Относятся чехи к туристам из России вполне сносно, многие люди постарше ещё помнят русский язык. С молодёжью дела обстоят похуже, но, говорят, в учебных заведениях Чехии вновь вводят обучение русскому. И это осознанная необходимость — русские сюда возвращаются как многочисленные туристы, как владельцы недвижимости, каких-то предприятий и даже уже как граждане Чехии.

А что? Страна очень уютная и удобная для проживания, с хорошим климатом, оптимальным расположением — практически в центре Европы. Самое главное, в Чехии сразу все становятся панами и пани. Приятно, чёрт возьми! Сами чехи с удовольствием ездят в Германию «шопиться», а немцы валом валят в Чехию поправить здоровье — для них это дешевле, чем дома, и ехать недалеко. Вот такой взаимовыгодный обмен.

По тому, как выглядят отдыхающие и лечашиеся в Подебрадах немцы, да и сами чехи тоже, понятно, что живут они долго и собираются прожить ещё дольше. Мы видели, как на процедуры буквально ползали на костылях (или же их возили в колясках) бабули и дедули в возрасте явно далеко за восемьдесят.

Наших в таком возрасте здесь просто не было. И это тоже понятно. Откуда у наших стариков деньги на заграничную поездку? Ну если только любящие дети проспонсируют. И, во-вторых, состояние здоровья у большинства наших бабушек и дедушек в таком возрасте просто не позволяет им совершать дальние путешествия. Боюсь, что я и сам лет через десять (если, конечно, доживу) буду причислять себя к таковым.

До маразматического состояния не хотелось бы доживать, вот что. А в нашем отеле и таких было достаточно. Мы несколько раз сталкивались с тем, что лифт время от времени ломается и стоит часами, пока его починят. И однажды стали свидетелями того, как и кем лифт выводится из строя.

Позавтракав, хотели вернуться в номер, чтобы собраться и отправиться на процедуры. В лифт одновременно вошли человек пять. И тут с улицы, то есть из холла, в кабинку просунулась ещё чья-то дрожащая рука с зажатой в ней тростью и стала тыкать оттопыренным указательным пальцем

в кнопку старта. Это был старый-престарый дед в очках, за толстыми линзами которых бессмысленно моргали водянистые выцветшие глаза в обрамлении красных век.

Дверка лифта, естественно, начала закрываться, а дед тем временем просунул в кабинку ногу и вторую руку, в которой он держал большую кружку с какой-то жидкостью — похоже, что с бульоном. И когда дверка стала зажимать этому старому перцу ногу и руку, он перекосил кружку и пролил часть её содержимого на подол платья ближайшей бабки.

Деда зажало дверцей — не до костоломства, разумеется: сработал предохранитель. Но лифт-то после этого почему-то встал и никуда уже ехать не хотел — спасибо, что хоть выпустил всех. Как тут начали орать на этого деда и по-немецки, и по-чешски разозлившись бабули! А он только стоял и молча лупал своими бледно-синими слезящимися глазами, не понимая, что он такого, собственно, сделал: всего лишь хотел доехать до своего этажа и отвезти своей фрау, своей гросс-маттер немного бульона...

Оказалось, он такую ерунду с лифтом проделывал уже не раз. Подходил к нему, почему-то воображал, что сначала надо нажать на кнопку, а потом уже войти в кабину (ну вот так ему диктовал его пораженный атеросклерозом старческий мозг)!

Впоследствии мы видели, как наученные горьким опытом «старожилы» отеля старались втащить этого деда в лифт, прежде чем он опять засунет руку снаружи и нажмёт на кнопку...

Отель наш прилепился к краешку великолепного парка, который протянулся метров на семьсот-восемьсот, а шириной был всего метров в двести. Вообще здесь отель на отеле, все небольшие, уютные, всего на несколько десятков человек. И почти все их жильцы приехали сюда именно за лечением, а не за развлечениями. Они чинно гуляют между процедурами по парковым аллеям и дорожкам, постукивая тросточками, костыликами или катя перед собой специальные упорные колясочки.

Мы тоже любим здесь гулять. На сравнительно небольшой территории парка растут многие виды деревьев и кустарников: ивы, дубы, сосны, каштаны, платаны, тисы... В ветвях деревьев пересвистываются, перекликаются пичуги, и самые массовые из них здесь — не вездесущие воробьи и синицы, а чёрные дрозды.

Я сначала принял было их за грачей или галок, но присмотрелся и понял: нет, эти помельче и с жёлтыми клювами. Но так же любят шляться пешком, склёвывая что-то под деревьями. Я никогда до этого дроздов не видел, очень мне хотелось рассмотреть их поближе. Но дрозд — птица осторожная и подозрительная, ближе, чем метров на пять-шесть, к себе не подпускает и либо бегом

скрывается под кустами, либо взлетает и прячется в кронах деревьев. Мне очень нравилось их пение... вернее, даже не пение, а мелодичные такие вскрики, с посвистом, пощёлкиванием каким-то. И часто специально ходил в парк, чтобы послушать дроздов.

Это зона, свободная от автомобильного движения. Потому тишина стоит совершенно непривычная—слышен даже шорох листьев опадающих деревьев. Да ещё слышны лишь негромкие разговоры прогуливающих курортников, отдалённый перестук колёсных пар поездов—парк упирается в железнодорожную станцию. Отсюда самостоятельно можно уехать в Прагу для знакомства с достопримечательностями столицы и в тот же день вернуться, чем мы и воспользовались в первый же выходной.

Прага нам очень понравилась: есть в теснине её каменных, неповторимой архитектуры, зданий что-то незыблемое, величавое, ну и ещё можно привести массу эпитетов, но всё равно словами красоту чешской столицы не передать. Потряс совершенно очаровательный полукилометровый каменный Карлов мост через Влтаву, с его величавыми мостовыми башнями (они же—входные арки), весь уставленный старинными статуями.

Мост построен ещё во время правления короля Карла, в начале пятнадцатого века, и является образцом архитектурного зодчества, гордостью всего чешского народа, потому что другого такого, говорят, больше нигде нет. Отсюда понятен интерес туристов—я обалдел от их количества в день нашего со Светланой посещения Карлова моста.

Какая только речь здесь не слышалась: немецкая, французская, английская, итальянская, японская, китайская... Ну и, разумеется, русская. Наши здесь даже подрабатывают как художники. Полно на мосту уличных музыкантов, каких-то корабейников, и все они неназойливо, но с какой-то весёлой укоризной во взгляде (дескать, да ладно, чего ты, не жмись!) предлагают свои услуги. Чтобы отбившиеся туристы легко могли найти свои группы в этом людском водовороте, гиды носят в руках шесты с табличками с наименованием этих групп на своих языках.

Побывали мы в тот же день в кафедральном соборе Святого Вита, на Староместной и Вацлавской площадях, где люди живут и работают в зданиях старинной постройки, многие из которых—средневековые. А помог нам ознакомиться с достопримечательностями родного города таксист Иржи (нам он разрешил называть себя Юрием) за скромную оплату в шестьдесят евро.

За эти деньги разговорчивый, как и все таксисты, чешский пенсионер, достаточно сносно изъясняющийся по-русски, возил нас на своей «Шкоде» по столице более трёх часов, включая обратную

доставку на вокзал. Он же вызвался доставить нас из Праги до самого нашего отеля в Подебрады всего за две тысячи крон (в Чехии, наряду с евро, ходит и национальная валюта, причём в иных магазинах принимается только крона)—это где-то чуть больше пятидесяти евро. Но у нас уже был куплен билет на поезд и на обратную дорогу, так что мы вежливо отказались и потопали на перрон.

Вернулись домой с приключениями: так как билет у нас был с открытой датой, то никто нам не мог точно подсказать, с какой платформы уйдёт ближайший поезд на Подебрады,—нам хотелось загодя выйти на нужный перрон, чтобы не дожидаться объявления на чешском языке, которое всё равно бы не поняли. В итоге сели всё же не на тот поезд, и проводник, кое-как говорящий по-русски, уже в вагоне разъяснил, что нам надо будет вылезть в городке Колин, совсем уже недалеко от Подебрад, сесть там на другой поезд, который и довезёт до места. И ничего, поспиховали немного, но всё же добрались!

Как я пиво хлестал

Светка знает, что врачи рекомендуют мне избегать алкоголь (хм, а кому они его рекомендуют?), включая пиво. Хотя печень у меня ещё довольно крепкая, но желудок, поджелудочная железа постоянно напоминают о себе. И под недрёманным оком жены я поневоле веду здоровый образ жизни. Да и процедуры всякие, знаете ли, несовместимы с алкоголем.

Но от настоящего чешского пива, сразу сказал я жене, ни за что не откажусь. Нет, в Красноярске я его уже пил, но меня всегда терзали смутные сомнения относительно аутентичности этого напитка в сибирском розливе. Поэтому в первом же кафе в Подебрадах, куда мы заходим испробовать чешской кухни, я под укоризненным взглядом жены (и под её свирепый шёпот: «Только одну! Не забывай—тебе нельзя!») заказываю себе большую кружку «Старопраменского».

В ожидании кнедликов начинаю с наслаждением смаковать загодя принесённое официантом пиво. Да, оно настоящее и стоящее: янтарное, холодное, с небольшой шапкой пены и с непередаваемой горчинкой, пощипывающее язык и нёбо.

Светка, видя, как я кайфую, не выдерживает и тянется к моей кружке:

— Дай я тоже попробую!

И отхлёбывает почти четверть моей кружки!

— Э, э!—возмущаюсь я.—Надо было себе заказывать.

— Мне нельзя,—невозмутимо отвечает жена, утирая губы салфеткой.—Голова потом будет болеть. И тебе хватит!

Ну, хватит так хватит. А тут и кнедлики принесли. На большой тарелке в буром соусе плавают

крупные кусочки говядины, а с краю аккуратно разложены бледные ломтики чего-то, похожего на нарезанный недопечённый батон.

Отрезал кусочек, наколол на вилку, сжевал — что-то вроде хлеба, причём пресного. Неужели это и есть хваленые кнедлики? А потом догадался: их надо макать в соус! Вот с остреньким кисло-сладким соусом это оказалось что надо! И хлеба не надо, который мы сдуру заказали, и он так и остался нетронутым.

Я с трудом осилил большую порцию кнедликов, допил остаток пива, Светлана до конца свою порцию так и не доела. Рассчитались: обед на двоих вышел, в переводе на наши деньги, где-то рублей на пятьсот с небольшим.

На следующий день мы гуляли по набережной Эльбы. Когда прошли под гулким железным мостом, сразу за ним я увидел небольшой пивбарчик с выставленной у входа грифельной доской-ценником, на которой мелом были написаны цены на сорта подаваемого здесь пива. Я сразу потянул жену ко входу на пустующую почему-то веранду этого значного заведения:

— Пошли, я пить хочу!

— Да ты же только вчера пиво хлестал! — искренне возмутилась жена.

От приступа истеричного хохота меня согнуло пополам. Нет, вы слышали? «Хлестал!» Сопоставьте только смысл и энергетику этого определения, соотнесённого со вчерашней моей единственной кружкой пива, причём на четверть опорожнённой самой Светкой, и вы меня, конечно, поймёте.

Пива я в этом заведении, конечно, попил, и потом ещё и ещё. Но каждый раз или всего кружку, или максимум две. Потому как рядом всегда находилась бдительно стерегущая моё здоровье жёнушка.

Домой я вернулся наверняка здоровее, чем был, за что спасибо любимой. Но вот почему-то меня неотвязно преследует мысль: как бы так извернуться, чтобы на следующий отдых поехать самому?..

Как я не поел лобстера

Вы когда-нибудь ели лобстера? И я нет. Ну, или: а я нет, в зависимости от того, кто как ответил на заданный мной вопрос. Всё, знаете, как-то некогда было, да и негде. И вот, будучи недавно на вьетнамском курорте Нячанг, я прознал, что этот деликатес можно совсем не задорого (ну, рублей за шестьсот на наши деньги) отвесть буквально вот рядышком с отелем.

В ресторане самого отеля рыбопродуктов всяких было полно — кальмары там, осьминожки, креветки, гребешки, рыба всякая разная, и всё это разнообразие я с удовольствием поглощал. А вот этого короля среди ракообразных нам не подавали.

Тут Светка моя решила пройтись с соседкой за фруктами в лавку, коих в окрестностях нашего курорта было пруд пруди. Я не пошёл, очень жарко было в тот день, как, впрочем, и во все остальные, остался плескаться в бассейне. И когда жена вернулась с покупками, то сообщила, что договорилась с владелицами ближайшей харчевни насчёт поесть свеженького, только из моря, лобстера, чему я, конечно, был рад.

Правда, в этот день в харчевню не пошли, на следующий тоже, поскольку с утра уехали на длительную экскурсию в провинцию Горный Далат. Ну, про экскурсию рассказывать так, проходя, не буду, потому что в двух словах её не описать. Скажу лишь, что всё было крайне интересно и замечательно.

Да, добавлю также, что в этот день я впервые в жизни ел приготовленные особым способом, в бамбуковом контейнере, страусятину с овощами (мясо довольно вкусное, но жестковатое) и крокодилятину — вот не ожидал, что мясо этой страховидной рептилии окажется таким нежным и белым, как курятина.

Значит, теперь мне для полноты ощущений оставалось вкусить ещё лобстера. Но это завтра. А сейчас мы возвращаемся из длительной и уютной экскурсии домой, в свой отель. Гид Женья — вьетнамец, довольно хорошо изъясняющийся по-русски, — видимо, утомившись чесать языком, включил укреплённый сверху над водительским местом видеоэкран с познавательным фильмом о Вьетнаме, а сам погрузился в дрему.

Мы со Светкой сидели на передних сиденьях, и я прекрасно видел и слышал всё, что происходит на экране. Это оказался один из фильмов известного украинского журналиста и путешественника Дмитрия Комарова в телепрограмме «Мир наизнанку».

Так вот, он показал, как вьетнамцы готовят кобр. Ужас: ей оттапали голову с куском шеи или туловища, как хотите, так и называйте, и эта голова лежала на столе, немо разевая пасть и ворочая оставшимся куском туловища, в то время как с основного её тела уже сдирали чулком кожу, рубили это тело на куски и бросали их, тоже шевелящиеся, в кипящую воду.

Всё, сказал я себе, если и доведётся, не буду есть змеятину, жалко её всё же, падлу, таким зверским способом умерщвлённую. Тем более что женат на её родственнице (любимая у меня — Змея по гороскопу).

Но, блин, это оказалось ещё не всё, от чего из вьетнамской кухни в тот час мне пришлось отказаться. Этот гад Комаров заказал себе лобстера! И пошёл на кухню посмотреть, как ему его приготовят.

Улыбающийся вьетнамец выловил из какой-то посуды большущего, пёстро раскрашенного

лобстера, из которого во все стороны торчали длинные шевелящиеся усы и лапки, и неспешно занёс руку с этим красавцем над кастрюлей, в которой кипела вода.

Когда лобстер попал в струи горячего пара, то суматошливо замахал всеми своими лапками и усищами, и за этими его отчаянными телодвижениями мне даже послышалось (ну да, в моём воображении), как лобстер орёт: «Да вы чё, мужики, охренели? Там же кипяток, свариться ж можно!...»

Я не успел ему посочувствовать, как вьетнамец почему-то быстро убрал руку с лобстером от кипящей кастрюли (может, сам ошпарился? Или Комаров попросил при нём не варить несчастного ракообразного?). И камера затем показала, как ведущий разделяет уже готового лобстера.

Я, конечно, знал, что их варят, причём варят живьём. Как и раков. Но никогда не задумывался над тем, что эта процедура может быть для них болезненной. Хотя ведь ещё в детстве видел, как мужики на моём любимом озере Долгом наловили бреднем, вместе с рыбой, кучу раков и тут же решили их сварить.

Они развели костёр и подвесили над огнём ведро с водой. И, не дожидаясь, пока она закипит, покидали в неё живых раков. И мы, пацаны, с любопытством наблюдали, как по мере нагревания воды раки всё быстрее и быстрее начинали носиться в ведре, сталкиваясь друг с другом. И в какой-то момент, когда из закипающего ведра повалил пар, раки один за другим утихомирились и из чёрных на наших глазах начали окрашиваться сначала в розовый, а затем и в красный цвет.

Никто из нас тогда не задумался, как же было больно этим ракам (а им было больно, иначе они бы не кувыркались так в горячей воде), для нас эти их метания в ведре просто выглядели забавными. А потом мы с удовольствием их распробовали. И горячее рачье мясо, выколупанное из красных твёрдых клешней и из хитиновых спин, показалось мне тогда не особенно вкусным, что-то среднее между варёным окуном и курицей.

Вот сейчас я мог бы сравнить мясо рака и лобстера. Но, увы, так и не сравнил. Стыдно признаться, но после того, как увидел (пусть и не воочию, а по телевизору), что лобстер жутко боится уготованной ему участи, у меня отпала всякая охота испробовать этот деликатес.

Ну пусть его сначала застрелят, что ли. Или молотком прибьют. А уж потом варят. Вот тогда я его ещё, пожалуй, съем, этого деликатесного обитателя морских глубин, — когда буду знать, что он не мучился перед своей кончиной.

Или уже не съем? Кто знает, попал или не попал лобстер в санкционные списки?

Крым теперь и наш!

Никуда за границу в этот раз решили не ехать — дороговато нынче это удовольствие. А решили побывать наконец в Крыму — поддержать экономику молодой российской республики. Тем более что я там ещё ни разу не был, а Светлана если и ездила туда, то ещё совсем пацанкой, в советские времена.

Для нас этот вариант удобен ещё и потому, что из Красноярска в Крым есть прямой авиарейс: пять с небольшим часов лёту на «Боинге» — и мы из Сибири, охваченной глубокой осенью, оказались в нежащемся в летнем тепле (в день приезда было за двадцать градусов) Крыму. Ещё полтора часа езды на машине, высланной за нами турфирмой, — и мы в санатории «Парус», приютившем нас на три недели.

«Парус» разместился в очень живописном месте, на высоком скалистом берегу над Чёрным морем, до которого почти по строгой вертикали вниз семьдесят пять метров! Рядом с нашим санаторием — всемирно известная местная достопримечательность «Ласточкино гнездо» и дико красивая восемнадцатиметровая скала Парус, торчащая из моря неподалёку от пляжа.

Как добирались до пляжа? На лифте. А там, глубоко под землёй, по девятистометровой галерее — пешочком уже до самого выхода к морю. Для нас это было в новинку, и потому я каждый раз с интересом шёл на пляж — не только чтобы покупаться и позагорать, но и прокатиться на этом скоростном лифте.

Но мы не только купались, загорали, ездили на организованные экскурсии и сами — по побережью, сплошь занятому санаториями, курортами и курортными посёлками и городами, но и лечились. По качеству лечебных процедур — успокаивающие ванны, магниты, лазерное лечение и аэробные процедуры, массаж.

Но главная лечебная процедура здесь, конечно же, — чудесный воздух, пропитанный ароматами хвойных и иных вечнозелёных, лиственных деревьев и кустарников, покрывающих территорию санатория сплошным массивом, прогулки под их кронами и над крутым черноморским берегом по специальным терренкурным маршрутам-тропинкам.

Мы в первые дни, надышавшись этим чистейшим воздухом, спали в своём номере без задних ног и днём, и ночью. Благо, что сезон уже заканчивался («Парус», к сожалению, не круглогодичный санаторий), народу было мало, то есть шума почти никакого, кроме доносящегося снизу рокота морских волн.

Правда, потом мы уже пришли в норму и больше времени посвящали пребыванию вне номера. Питание было нормальным, хоть и без шведского стола, но по предзаказу. Правда, меню оказалось

несколько однообразным, в перемене имелось всего четыре-пять блюд, вот они и варьировались. Светлане это не понравилось, но меня, как человека довольно неприхотливого, вполне устроило.

Надо также отметить, что санаторий за годы пребывания Крыма в составе Украины оказался к нашим дням несколько подзапущенным. Давно не проводилось капитального ремонта, и стены снаружи даже пооблупились кое-где, асфальт и мощёные дорожки побиты; следы запустения видны и в дендрарии с десятками образцов экзотических растений — нет работы садовника.

При нас хотел один мужчина устроиться (это нам рассказала сотрудница санатория), но ему давали зарплату всего шесть тысяч рублей. Мужчина тот соглашался и на эти скромные деньги, но при условии, что ему позволят вторую половину дня трудиться в другом месте. Руководство санатория пока в раздумьях.

Финансирование «Паруса» было ранее из рук вон плохим, потому как практически все вырученные средства из его бюджета выкачивали киевские владельцы здравницы. Недавно состоялись торги, и новыми владельцами «Паруса» стали уже российские предприниматели, откуда-то с Урала. И вроде появились перспективы улучшения: сотрудники рассказывали нам, что планируется капитальный ремонт и есть планы перевести работу «Паруса» на круглогодичный цикл.

Если это так, то «Парус» сможет составить конкуренцию многим соседним здравницам. Ведь здесь когда-то отдыхали многие звёзды советского кинематографа, космонавты, и даже кубинский лидер Фидель Кастро оставил свой положительный отзыв!

А мы тоже отдохнули хорошо! Даже несмотря на ухудшившуюся погоду.

Нас грела одна мысль, что мы — в Крыму, ходим и едим по тем местам, где многие годы назад ступала нога классиков русской литературы Александра Пушкина, Антона Чехова, Льва Толстого, где добывали себе воинскую славу и отстаивали независимость государства Российского адмиралы Ушаков и Нахимов, будущий великий полководец Кутузов, дрались с фашистскими оккупантами советские красноармейцы и краснофлотцы, партизаны.

Но всё, дальше про политику ни слова! Просто скажем: Крым был наш и остался нашим! И у него всё ещё впереди, и сегодняшние некоторые трудности его экономического и социального развития скоро, я надеюсь, уйдут в небытие. И россияне вновь дружно поедут — да уже едут, наплыв их в этом году по сравнению с 2014 годом уже удвоился! — отдыхать, поправлять своё здоровье и любоваться красотами древнего полуострова. Как это сделали мы со Светланой, чего и вам советуем, друзья мои! Так что теперь Крым и наш тоже!

ДиН пародия

Евгений Минин

Настойки из стихов

На ощупь

*...ночью дождь ощупывает крыши,
проверяет, есть ли кто живой...*

Глеб Шулпяков

при любом таланта габарите,
новой строчкой возбуждая тишь,
вы всегда пример с дождя берите
в трепетном ощупыванье крыш:
сочиняю, вне себя от дрожи,
чтоб стихи казались поумней,
крышу я ощупываю тоже,
проверяя — есть ли что под ней...

Стихопойное

*Хрустим редиской, пьём себе стишки,
настоянные на сосне и травах...*

Филипп Пираев

Настойки из стихов — на вкус любой —
стоят на книжных полках горделиво.
В настойке красной плещется любовь,
в зелёной — смесь сосны с плакучей ивой.
Ко мне мои подруги и дружки,
нам незачем теперь листать страницы!
Мы будем пить без закуси стишки —
пародией боюсь я подавиться.

Дзерасса Биазарти

Хурхор

Сон

Во сне зелёная трава была белой от выпавшего снега; ступая по ней босыми ногами, старик почему-то совсем не чувствовал холода. Ветви высоких деревьев стряхивали мокрые снежные хлопья. Пахло свежей, холодной весной, перегнившими листьями, сухими прошлогодними ягодами, размякшими от влаги. Тянуло холодом реки, несущей талую воду высоких гор.

Лес шёл в гору, и Едзи поднимался вместе с лесом, опираясь на деревянный посох. Пытаясь разгадать, утро теперь, день или вечер, старик искал солнце, но небо было скрыто ветвями высоких деревьев. В сумраке дымился разъятый на тонкие полосы свет, а деревья выглядели так, будто они росли тысячу лет, и время это было для них лишь детством... Невидимые птицы галдели где-то высоко на чёрных безлистных ветках.

Во сне был кто-то ещё; старик прежде почувствовал, а затем и увидел: следом за ним по лесу пробирался конный. Одет просто, серый суконный цухъхъа¹ стянут поясом на тонкой талии, выправка отменная, плечи так расправлены, словно за ними не полы башлыка, а крылья врзлёт. Поравнявшись со стариком, всадник спешился.

«Дæ бон хорз!»²—обратился он к Едзи. «Дæ бон хорз...»—отозвался старик.

Незнакомец пошёл рядом, ведя коня под уздцы. «Как дни твои, хорз лæг?»³—спросил он учтиво. «Будь благословен, куда бы ты путь ни держал, а дни мои темны, как этот лес. Неясны, как небо над ним...»

Взглянув вверх, туда, где ветви деревьев, став сложным, витиеватым рисунком, терялись в неясной мгле, незнакомец то ли удивился, то ли опечалился: «Разве этот лес так уж тёмнее?»—«За всю свою жизнь я не видел леса темнее...»—качнув головой, ответил Едзи то ли незнакомцу, то ли себе самому.

Оба замолчали и, храня тишину, шли дальше по лесу в неведомом месте в неведомое время... Шаги их были равны по длине и лёгкости. Босой старик и незнакомец в ичигах ступали так мягко и тихо, словно и не касались земли вовсе.

Едзи украдкой разглядывал попутчика: курчава борода обрамляла молодое красивое лицо. И борода, и усы, и брови были полны силы и цвета,

седина ещё долго не тронет их, кожа светлая, словно материнское молоко, за спиной ружьё, за поясом плётка, подтянут, жилист—обычный молодой осетин; вот только глаза... Глаза его были древними, как лес вокруг, глубокими, как этот сон...

Словно услышав мысли старика, незнакомец взглянул на Едзи своими старыми глазами и поинтересовался: «Куда ты путь держишь босым? Снег ещё не сошёл...»—«Иду к Дзуару⁴ на вершине горы...»—ответил старик. «Молишься о чём-то сокровенном?»—«Что теперь может быть сокровеннее Победы? Войне конца не видно, в село столько писем смерти принесли, что можно покрыть ими крыши наших домов, словно снегом. А теперь ещё и немцы пришли... Никто больше не верит в неё. Да и моя собственная вера уже не та... Неужели я ошибся? Неужели? Два дня поднимаюсь на вершину, молюсь, но нет ответа...»

Снег таял и становился влажным тягучим воздухом. Вокруг теперь капала и шуршала вода. Едзи посмотрел под ноги: по склону бежали ручьи, прозрачные, чистые, увлекая за собой сухие семена и тёмные гнилые листья, растворяя горсти влажного весеннего снега.

«Едзи,—снова заговорил незнакомец, и голос его теперь звучал удивительно звонко,—ты раз-уверился, что над моим лесом всходит солнце, лишь потому, что ветви деревьев скрыли от тебя небо. А сам хочешь, чтобы люди не отчаялись и верили в Победу, которая скрыта от них толщей времени и пеленой смерти?»

Едзи замер, взглянув в лицо своему попутчику: ему показалось, что тот говорит с ним, не размыкая губ. Старик хотел протереть глаза, но вспомнил, что спит...

«А что до твоей „молитвы о сокровенном“,—продолжал тем временем незнакомец,—так скажи: не забыл ли ты чего важного? Сегодня, на третий день, поднимись к Дзуару, но не с пустыми руками!»

1. Черкеска.
2. Добрый день! (*осет.*)
3. Хороший человек.
4. Дзуар—святилище.

В одно мгновение всадник взлетел в седло и, поглядев на Едзи сверху вниз, громко потребовал: «Едзи! Посмотри, какое небо над моим лесом!»

Старик поднял голову: ветви деревьев расступились... Над лесом развернулось синее, невероятно синее небо, пронизанное золотыми солнечными лучами...

В это мгновение птицам, населявшим лес, словно подали невидимый знак, и те разом запели. Птичий хор галдел на разные лады, и казалось, прозрачный сон, сделанный из тонкого чистого стекла, сейчас лопнет от их гомона и разлетится на осколки. Но сон оказался крепким. Ослепительно белый, словно точёный, конь гарцевал перед стариком, а всадник улыбался. «Вот и ты покажи людям Победу... — гремел он, перекрывая птичий гомон. — Покажи её, Едзи!»

Хлестнув коня плёткой, в несколько прыжков всадник добрался до верхушек деревьев и исчез в небе...

Едзи

Едзи проснулся. Над селом дребезжали яркие, пронзительные петушиные крики. Занавески на окнах были отодвинуты: в осеннем небе трепетали подтаявшие звёзды. В доме было прохладно и сыро.

Старик сел на постели и опустил босые ноги на шкуру, расстеленную у кровати. Шкуры баранов и коз лежали в спальнях, а коридоры каменного дома были выложены узкими шерстяными дорожками, которые по молодости ткала жена Едзи, чтобы ногам домоладцев было теплее. Шерсть истончилась за долгие годы, яркость узоров поблёлла, где-то ткань была побита молью. Сама старуха, высохшая и слабая, спала в соседней комнате, давно уже не подымаясь до рассвета...

Дом был тихим и пустым.

Едзи оделся, затянул пояс на сухой талии и спустился вниз. В комнате, что служила и кухней, старик растопил печь. Сняв чугунную крышку с круглой конфорки, водрузил на неё аг⁵, наполненный водой.

Когда старик вышел во двор, утро уже успело просветлеть и побелеть: на село опустился туман. На ореховом дереве посреди двора пели утренние птицы. Сад уже парил в нежно-золотистом облаке осени, предчувствуя долгий сон, а орех лишь начал желтеть.

Дом Едзи, сложенный из отёсанных осколков гор, возвышался над улицей, словно окаменевший ковчег на макушке суши, снесённый сюда некогда большой волной из иных земель. Вокруг были лишь саманные домики, чисто выбеленные, чаще в цвет бело-голубого утра или розоватого вечера, с черепичными крышами, кирпичными фасадами и узорчатыми арками ворот.

.....

5. Котёл, кастрюля.

Серо-фиолетовый каменный дом Едзи украшали барельефы: обнажённая женщина сладко спала, прикрыв наготу своими длинными волосами, а над ней, вытянувшись, словно струна, расправив плечи и положив руки на оружие, стоял мужчина — в папахе, в цухъхъа с газырями и с кинжалом на поясе.

Едзи был сыном каменщика, он сам выстроил и украсил свой дом.

Давным-давно, ещё маленьким мальчиком, жил он с отцом и матерью под самыми небесами, высоко в горах, где камней много, а земли мало. Там, где пастухи ночами жгут костры, охраняя стада, а днём стирают до дыр ичиги, упражняясь в танцах на носках.

За хорошего каменщика, говорил отец сыновьям, все молятся — и живые, и мёртвые. Каменщики добывали и обрабатывали камень, строили дома, святилища, а ещё делали цырты. Если умершего не оставляли плыть через века на ярусах фамильного склепа, а погребали в землю, в память о нём в землю вонзали камень, высокий, продолговатый. Камень украшали узорами, символами...

Сыновья учились разбираться в родах камней, словно в породах домашних животных, чувствовать твёрдость и мягкость, видеть красоту узора, читать возраст камня, словно годовые круги у дерева; и Едзи учился, но с самого первого дня обучения было ясно, что видит он в камнях гораздо больше, нежели отец и братья. В камнях проступали лики. У камней были голоса, и они рассказывали Едзи такие истории, которые не припоминали и самые древние из сказителей. Хрупкий, сыпучий мир удерживали камни. За свою неизмеримо долгую жизнь они бывали и сияющими вершинами, подпиравшими небеса, и частью непроглядной тьмы на дне бездонных пропастей. Вода шлифовала камни, ледники сносили их в долины. Осколки гор ломались, мельчали и рано или поздно обращались в горсти пыли, но прежде, чем исчезнуть, становились свидетелями невероятных событий, немymi хранителями великих тайн. И Едзи, словно проводник из мира теней и воспоминаний, резал, отсекал, шлифовал, вытаскивая на свет истории, которые они хранили, дела их зримыми и ясными.

Едзи стал мастером, и скоро молва о нём пошла из села в село. К юноше стали приходиться заказчики из других ущелий. Многие хотели, чтобы именно он резал цырт для умершего родственника или украшал скульптурой строящийся дом.

В один из тех далёких дней Едзи направлялся работать в соседнее село. Нужный камень уже свезли на повозке, запряжённой двумя волами, заказчику, и теперь юный резчик, в войлочной шляпе, с инструментами в холщовой сумке и деревянной палкой в правой руке, шёл работать.

Дорога петляла среди гор и, повернув очередной раз, вышла на ровную местность, скалы отступили,

по сторонам теперь пестрели дуга. Юноша увидел, что впереди, одной с ним дорогой, идёт женщина с маленьким ребёнком, Едзи от них отделяло совсем небольшое расстояние. Голова женщины была повязана ярко-голубым платком, ветер тербил подол светлого платья. «Как нарядно одета,—подумал он.—Наверное, идёт на праздник к родственникам...»

Едзи торопился, было раннее утро, и ему хотелось начать работать прежде, чем станет припекать жаркое летнее солнце. Думая о своём, прислушиваясь к звукам неба и земли, через некоторое время он с удивлением обнаружил, что не приблизился к женщине ни на шаг. Едзи ускорился, дорога шла вниз, и юноша разве что не летел по ней, но женщина с ребёнком были по-прежнему недостижимы. Тогда Едзи остановился, опёрся на палку и стал ждать... Женщина присела на камень у дороги, маленькая девочка осталась у материнских ног. Едзи двинулся—через мгновение женщина поднялась и, взяв за руку ребёнка, продолжила путь. Так и шли они до самого села, где, пройдя тихими утренними улицами, женщина и девочка исчезли за воротами одного из домов. Дом оказался тем самым, куда Едзи и направлялся.

Хозяин-вдовец вышел к Едзи вместе с младшим сыном, вдвоём они проводили юношу на кладбище и показали ему место, где установили камень и где Едзи предстояло работать. Постояв у камня, мужчина вдруг попросил резчика: «Знаешь, несколько лет назад у нас умерла девочка. Пусть на камне они будут вдвоём, жена и дочка; я думаю, так будет правильно».

Едзи молча кивнул. Женщина в светлом платье, с головой, покрытой ярко-голубым платком, и маленькая девочка, что прижималась к матери, так и стояли перед его глазами на дороге, ведущей неведомо куда.

С тех пор так и повелось. Мёртвые приходили к нему не реже, чем живые. Они были неразговорчивы и не доставляли никаких хлопот. Иногда предупреждали, что будет гроза, остерегая от походов в дальние дали. Иногда хотели посмотреть на свои цырты и просили изменить цвет неба над головой...

С началом войны их стало больше. К старику Едзи они приходили прежде, чем приносили в село их похоронки. Иногда поутру, бледные и грустные, сидели они в саду у Едзи. Иногда робко топтались у входа. Тогда, вздохнув, он шёл резать новые цырты, стараясь, чтобы о каждом осетинском воине осталась память. И никогда не брал денег у вдов и сирот.

Каждое утро Едзи молился, чтобы двор его был пуст...

Сегодня так и было. Старик повернул вентиль водопроводного крана, и прохладное осеннее утро пролилось на руки. Набрав воды в ладони,

он заглянул в них: небо, облака с высоких гор, опустившиеся на село густым туманом, грядущие снега и прошедшие дожди—целый мир умещался в одной пригоршне. Освежив лицо, Едзи отправился в сад. Деревья стояли по колено в молоке. Наклоняясь к земле, старик высматривал и ощупывал листья сорняка. Трава уже пожухла, но в тени деревьев она была всё ещё сочной и зелёной. Нарвав охапку лебеды и немного хвоща, Едзи промыл траву под ледяной струёй воды и вернулся в дом. Печь уже нагрелась, в кухне потеплело, в медном аге хлопотала вода. Старик высыпал охапку травы в кипящую воду и, присев рядом на низкую табуретку, стал ждать. Через несколько минут трава была готова. Едзи мелко порубил сварившийся сорняк и, смешав с горстью кукурузной муки—последней, что нашлась в доме,—замесил тесто. Разделив его на три равных куса, каждый по очереди раскатал деревянной каталкой и испёк в печи три тонких хлеба—арта̄ ка̄рдзыны. Сложив один на другой, старик обернул их полотенцем.

Впереди у него был долгий путь, сон был восточкой, которую Едзи давно ждал. Удвери старик надел на голову шапку, а ноги разул. Калитка прежде вела в небольшое святилище, и лишь потом—на улицу. Под высоким каменным сводом было темно и сыро. Старик замер в полумраке, помолился и лишь затем открыл дверь. Свет и туман хлынули с улицы. Едзи шагнул в белое молоко и словно растаял.

Хурхор

Синдикау расположилось в предгорье; земля здесь поднималась и опускалась мягкими волнами: летом—бирюзовыми, осенью—золотистыми, зимой—белыми. Всё село словно ползло вверх—вниз, вверх—вниз, осторожно подбираясь к началу гор.

Осень 1942-го была тёплой, но по утрам ущелье уже дышало холодом в сторону села. Босой старик Едзи шёл по тихим, обезлюдившим улицам. Деревья и птицы сопровождали его всю дорогу, туман игрался, то пряча, то раскрывая дома по сторонам от дороги. Тополя вставали ориентирами, пустые скамейки у домов были населены призраками прежних владельцев. Старухи, давно умершие, вставали со своих мест, когда Едзи проходил мимо, и благословляли его, улыбаясь. Старики, что сидели неподвижно, опершись на резные палки, кивали ему. Собаки, если решались подойти, виляли хвостами и лизали его босые пятки. «Только мёртвые мне и верят,—подумал Едзи,—да вот собаки ещё...»

Правой рукой старик опирался на палку, в левой нёс свёрток. Впереди дымились туманом Хурхор...

На выпасе за селом, у подножья горы, в утренней тишине коровы позвякивали колокольцами, кучами в тумане теснились бараны. В лесу на

горе переливались птичьи песнопения. В густом тумане всё было неясным и непонятным. Мир словно был обмотан шерстью.

Едзи заметил пастушка и пригляделся: это был маленький Гиго, внук сельского дзуарылаэга⁶. Старик воспринял это как добрый знак.

— Гиго! — крикнул Едзи и жестом попросил его подойти.

Мальчик подбежал к старику:

— Дæ райсом хорз⁷, Едзи!

— Гиго, сам Бог тебя мне послал! Дæ хорзæхæй⁸, пойдём со мной к вершине, я буду молиться, а ты будешь младшим.

Пастушок согласно кивнул. Едзи передал ему свёрток и направился к горе, мальчик пошёл за ним. Когда старик и мальчик ступили под сень леса, пастушок заинтересовался:

— Куда мы идём, Едзи, к Дзуару на вершине?

— Не совсем, лаппу⁹. Чуть ниже Дзуара, на склоне Хурхор, среди деревьев разбросаны валуны. Самый большой из них давно не даёт мне покоя. Но ты и сам сейчас всё поймёшь. Вот послушай: когда земля была не такая старая, как сегодня, когда ангелы и святые спускались на неё чаще, чем солнце и туманы, когда небо сияло ярче, а осетины были праведнее, случилось вот что. Видишь, в этом месте начинается ущелье, горы по обе стороны понемногу набирают силу. В предгорье они мягкие и невысокие, дальше в ущелье поднимаются к небесам скалами. Одним солнечным днём, таким, как этот... Не смущайся туманом, он скоро рассеется! Так вот, таким солнечным днём ехал в сторону высоких гор всадник на белоснежном коне. В левой руке всадник держал сияющий крест, правой рукой держал поводья своего коня. Всадник и конь были такими светлыми, что, отражаясь от них, солнечные блики играли на траве, на деревьях, скользили по отрогу на другой стороне ущелья... Когда всадник подъехал к Хурхор на противоположной стороне, во-о-он там, видишь, в тумане чернеют деревья, да-да, вон там появился хæйраг¹⁰. Умирая от злобы и зависти, хæйраг стал кидать в Уастырдж¹¹ камни. Однако все камни летели мимо, и всадник как ни в чём не бывало продолжал свой путь, даже головы не повернув. Камни становились всё больше, со свистом они летели через всё ущелье. Иу, дыууæ,

артаэ...¹² — Едзи не торопясь, громко, вслух считал камни и палкой проводил в воздухе дугу, соединяя два склона. — Уастырдж¹³ смотрел куда-то ввысь, поверх макушек деревьев, направляясь к ему ведомой цели, словно и не видя камней, не слыша шума... Цыппар, фондз, æхсæз, авд...¹⁴ Ту сторону, где бесился хæйраг, покрыла тьма — так злился он и злобствовал, а камни, ударяясь о противоположный склон, грохотали и иссекали искры. Аст, фараст, дæс...¹⁴ Люди внизу, в долине, попрятались в дома, скот на пастбище жалобно блеял... Но один пастушок, чистый глазами и душой так же, как и ты, мае лаппу, не упал на землю и не накрыл руками от страха головы своей. Широко раскрыв глаза, он смотрел, как над сладкой зелёной травой, дающей молоко, над молчаливыми тёплыми коровами, над белыми барашками, которые сбились в кучу, над маленьким и привычным ему миром схлестнулись свет и тьма. Он видел, как с одного края ущелья на другой со свистом летят каменные глыбы и падают в лесу, не задевая сияющего всадника. Крест в руке Уастырдж¹⁴ сиял звездой, и тьма, ползущая с левого склона, дрожала и осыпалась чёрными углями и белым пеплом на зелёные поля, не в силах поглотить света. Тогда, в неистовстве и бессильной злобе, хæйраг поднял огромный валун и, прищулив свои разноцветные косые глаза, метнул в Уастырдж¹⁴ осколок скалы. Взвыл ветер... В этот раз, рассекая воздух, валун летел точно в цель... Белоснежный всадник остановился, замерший на пастбище пастушок увидел его лицо и сияющие небом глаза. Правой рукой Уастырдж¹⁴ выхватил меч из ножен и подставил остриё под валун — тот отскочил и утонул где-то в лесу. Всадник взмыл в небо, а посрамлённый хæйраг, визжа, провалился под землю. На валуне навеки остался след от меча; да ты сейчас сам всё увидишь...

Старик замолчал, а мальчик словно проснулся; слушая Едзи, он и не заметил, как рассеялся туман, показалось утреннее солнце и лес вокруг засиял лёгким радостным золотом. Крутой склон уходил вверх, сейчас прямо под ними был луг, где Гиго оставил своё стадо. Село галдело петушиными криками и собачьим лаем, над некоторыми крышами вился дымок. А в лесу было очень тихо. Гиго слушал свои шаги: шуршали опавшие листья, высокая трава позвякивала сухими стебельками. Старик шёл совершенно бесшумно, будто и не касался земли.

Валун был огромный, мальчик обошёл его кругом два раза — сначала слева направо, потом справа налево. Действительно, на камне виднелся след от лезвия большого меча, словно здоровая головка сыра была надрезана огромным клинком, а затем окаменела, сохранив шрам.

А ещё на камне были свежие следы инструментов Едзи: старик начал резать камень, но бросил,

6. Дзуарылаэ — служитель культа.

7. Доброе утро.

8. Пожалуйста.

9. Мальчик.

11. Святой Георгий.

12. Один, два, три...

13. Четыре, пять, шесть, семь...

14. Восемь, девять, десять...

потому что камень не поддался ему, что-то пошло не так...

— Разверни... — Едзи кивнул на свёрток в руках Гиге, и мальчик раскрыл полотенце.

Едзи раздвинул каэрдзынтае так, чтобы с неба было видно: их три. Открыл флягу с водой, висевшую у пояса, и в тиши утреннего мира воскликнул, глядя в небеса:

— О Хуыцау, ракаэс маэм!¹⁵ Я видел Победу — не по своей воле, не по своему желанию. Она горела, как сигнальный огонь на башне, окружённой тьмой, она была светом, к которому стремилась моя душа и ликовала. Люди отчаялись и больше не верят, дай сил открыть им будущее, если есть на то Твоя воля.

Помолившись, он дал откусить Гиге от верхнего дивного зелёного хлеба, протянул мальчику воду; лишь когда тот прожевал хлеб и запил его водой, Едзи поднёс флягу к своим губам.

Они сели напротив камня, пастушок и скульптор, стали есть удивительно вкусный зелёный каэрдзын.

— Знаешь, Едзи, — нарушил вдруг тишину мальчик, — а мой дада верит тебе, и я верю! Когда парторг сжёг твой посох, Дауки страшно разозлился, сказал, что Бог не прощает тому, кто обижает провидцев.

Посох

Это случилось три года назад. Благодатное лето подходило к концу. Трава позвякивала в сладком знойном воздухе. Сады благоухали, земля и небо зримо перетекали друг в друга — яркими душистыми ароматами, сладкими синими дождями. В сельсовете шло собрание: женщины в белоснежных накрахмаленных платках, оттеняющих смуглость загоревших строгих красивых лиц, в льняных блузах, простых, выгоревших на солнце юбках... Мужчины были в светлых рубашках, застёгнутых под горло, в галифе, заправленных в сапоги, старики — в цухъхътаэ, несмотря на жару.

У сельсовета игрались дети.

Обсудив колхозные дела, надои и урожаи, а пора была горячая, работа кипела, председатель заговорил о мировой политике, о войне, нависшей над другим, чужим миром...

Тонкие нити солнца, клонившегося к земле, пронизывали комнату с выбеленными белыми стенами. Едзи видел, как в открытое окно влетела паутина и в потоках тёплого воздуха плывёт над головами собравшихся.

— Советским людям ничего не угрожает! — рвал летнюю тишину председатель. — Товарищ Молотов подписал договор с товарищем Риббентропом. Советтон Хицауад¹⁶ заключил договор с Германией о мире! Гитлер нам не враг!

Женщины за спиной у Едзи шёпотом обсуждали чью-то грядущую свадьбу...

Мальчишки под окнами схватились, меряясь силой, и кто-то из старших вышел пристыдить их.

А председатель всё говорил, говорил...

Едзи встал и со всей силы стукнул мощным резным посохом об пол. Оборванный на полуслове председатель так и остался стоять с открытым ртом в наступившей враз тишине.

— Никакой дружбы с немцами не будет! Гитлер вам не друг, — негромко и медленно проговорил Едзи, обращаясь к колхозникам, смуглым женщинам, летней тишине, глядящей в открытые настежь окна сельсовета, детям, сидящим на траве на улице, и всему свету, пребывающему в неведении, зависшему над чёрной бездной.

Односельчане смотрели на старика, не дыша.

Едзи вышел вперёд... И, встав прямо перед столом, за которым восседало колхозное начальство, продолжил:

— Дайте время, нападёт на Советский Союз. Будет война... страшная война...

Потерявшийся председатель сглотнул слюну и, вспомнив, кто здесь, в сельсовете, главный, пошёл в наступление:

— А ты, Едзи, что, партии не доверяешь? Или ты самому товарищу Сталину не доверяешь?

Из-за стола поднялся сельский парторг, взгляды его прилипли к стариковскому посоху. Ощупывая глазами резные фигурки на рукояти, парторг стал краснеть и задыхаться:

— А что это у тебя в руках, Едзи?

— Это? Посох мой, не видишь? Или ты ослеп? — спокойно ответил старик.

— На посохе, я спрашиваю, что ты вырезал на своём посохе?

Подскочив к старику, парторг вырвал палку из рук Едзи и впилился в неё взглядом.

— Да, так это ведь знак гитлеровской Германии! А твой конь его топчет!

На резном посохе Едзи действительно всадник попирает свастику...

— Какое тебе дело до чужого коня? — усмехнувшись, спросил Едзи, и колхозники в зале засмеялись. — Лучше, — продолжил старик, — сообщи в своей партии, что Германии доверять нельзя!

Парторг побагровел:

— Едзи, ты что, хочешь свести Германию с Советским союзом?! Как представитель власти, я конфискую твой посох — ради твоего же блага! И молись, чтобы никто там, — парторг показал пальцем на выбеленный потолок, — не узнал о нём!

Мрачно глянув своими старыми глазами на парторга, на колхозников, сидящих за длинным деревянным столом, покрытым красной скатертью, Едзи развернулся и направился к открытой двери.

15. О Господи, услышь меня!

16. Советский Союз.

У дверей сельсовета стайка притихших детей расступилась, пропуская Едзи; встревоженными птицами смотрели они, как старик уходит в синие летние сумерки.

На следующий день после собрания Едзи отправил в сельсовет младшего сына — забрать посох, но парторг велел передать старику, что посох он сжёг для его же, Едзи, блага...

Через три года, когда Германия напала на Советский Союз, снова было лето: днём над селом стоял аромат скошенной травы, а ночи пахли парным молоком. Зелёные юноши и зрелые мужчины уходили стройными рядами воевать, и у сельсовета, в том месте, где они садились в полуторки, лето обрывалось во мрак...

Призвали и парторга. Поздней ночью, накануне отбытия, он пришёл к старику Едзи и задал единственный вопрос:

— Кто победит в войне?

— Уæрасе...¹⁷ — коротко ответил старик.

Парторг кивнул головой, словно знал ответ заранее, и, ещё немного помявшись, развернулся и ушёл в ночь.

Когда шаги его затихли, Едзи тяжело вздохнул и, покачив головой, прошептал ему вслед:

— Мæгуыраг...¹⁸

Осень

Осень становилась холодной и прозрачной, обнажая возраст гор и небес. Хурхор уже не горела огненно-рыжим пламенем, потухла и задымилась... Всё чаще гора куталась в осенние туманы и колкую морось. И где-то среди деревьев её священного леса ровно постукивал молоток Едзи, не слышный никому, кроме птиц на ветвях, что переговаривались под тревожным осенним небом. Прислушиваясь к их голосам, Едзи резал, скалывал, шлифовал, а иногда, закрывая глаза, ощущивал уже сделанную работу чуткими пальцами.

Работа двигалась, и старик радовался. Поглядывая сквозь осеннюю морось на Гигу, пасущего стадо внизу, под горой, Едзи улыбался и говорил: — Дæ лæ, лæппу! Наша с тобой молитва была услышана. Камень стал мягким и податливым, словно мыло!

А внизу пастушок, никому не проболтавшийся о том, что делает старик, поглядывая на лесистые склоны горы, думал: «Там теперь важные дела

творяются, Едзи трудится, а я его стерегу... берегу от волков...»

Теперь пастушок и скульптор встречались каждое утро у подножья Хурхор. Как-то, направляясь к горе, Едзи услышал, как Гигу звонко и самозабвенно горланит:

— Джитри-джитри-кабуска, Сталин Гитлеры абырста!¹⁹

— Гигу, кто научил тебя? — крикнул ему Едзи.

— Все дети в селе поют эту песенку, завидев в селе немцев... — ответил Гигу. — Видишь, все дети верят тебе, Едзи!

Старик рассмеялся. А Гигу, вдруг став серьёзным, глядя куда-то поверх сельских крыш, сказал ему:

— Едзи, в нашем доме живёт теперь один немец, офицер. Он показывал нана фотографию своих детей, мальчика и девочки. Говорил урыссагау²⁰, что если откажется воевать — их там, в Германии, убьют. Нана ничего ему не сказала, только головой покачала. Он угощал нас сахаром. Только Дауки, увидев это, выругал его мать и сказал нам иронау²¹, что кто фашистский сахар поест, того он своими руками убьёт, в огороде закопает и на могилу наплюёт. Сказал, сыновья его не для того кровь проливают на войне, чтобы внуки немецким ядом душу портили. Дада поставил у дверей лопату для памяти: мол, этой лопатой копать буду ваши могилы. Другие дети поверили, что немец нам яд даёт, но я-то знаю, что это сахар, только всё равно в карман кладу, а потом собаке скармливаю.

Едзи кивнул головой:

— Гигу, сæкаер марг нæу²², но дед твой прав. Пусть горят в аду вместе со своим сахаром. Такие сладости оставляют на губах горечь, которую трудно смыть...

Время тянулось медленно по улицам тихого Синдзикау, вглядываясь серым налётом дождей в окна, стирая свежесть побелок старых домов.

Опуская по утрам босые ноги на баранью шкуру у кровати, Едзи чувствовал, как невыносимо быстро несётся земля под ними, под шкурой, под деревянными досками и каменным фундаментом. Чувствовал, как набирает земля годовые круги, словно могучее древнее дерево. Ощущал силу, с которой невидимые плети времени тянут из него самого жизнь. В то же время глаза его созерцали, как медленно сменяются над землёй дни и ночи, тепло и холод. Как медленно и тяжело противостоит мир злу.

Немцы рвались к Дзауджикау²³, обрушив на старый город у синих гор металл и ненависть. На подступах к столице шли жестокие бои, днём и ночью в той стороне громыло орудие. Так ад подкрался к самой кромке тихого мира с голубыми горами и золотым солнцем.

Каждую ночь в те дни Едзи видел, как сонмы ангелов летят по направлению к Дзау, бесшумно

17. Россия.

18. Бедняга, бедный.

19. Огурец-огурец-капуста, Сталин Гитлера победит!

20. По-русски.

21. По-осетински.

22. Гигу, сахар не яд...

23. Владикавказ.

взмахивая своими белоснежными крыльями. В руках они несли зажжённые светильники, и горящие угольки осыпались на землю дождём искр.

В самом начале войны такой же белоснежный ангел обронил угли из горящей лампы, пролетая над его, Едзи, домом. Угли сверкнули в ночи огоньками падающих звёзд и исчезли в тёмном саду, среди спящих деревьев. Едзи смотрел вослед тому ангелу, улетевшему в ночь, а сердце ныло и плакало. Он теперь знал, что двое из четырёх его сыновей не вернутся домой с войны.

Так и случилось. Он всё ждал, что они появятся во дворе, опередив свои похоронки, летящие среди облаков, против ветра, сквозь дожди, под звёздами и солнцем...

Но они так и не пришли.

А похоронки в его серый каменный дом принесли одну за другой.

Старуха тогда-то слегла и больше не встала.

Зима

Наступила зима, голодная и тяжёлая. Иногда по утрам Гиго замечал в белом небе парящих орлов: высокие, недостижимые, рисовали они медленные круги.

Иногда он поднимался на гору—посмотреть, как идёт работа. Но теперь Едзи редко с ним заговаривал... Он словно ушёл в себя и не только не замечал присутствия мальчика, но, казалось, не видел зимы и не чувствовал холода... Лишь металлическое позвякивание молотка по шпунту отсчитывало время в этом тихом лесу. Мальчик бесшумно проходил меж деревьев и, присев поодаль на поваленное ветром дерево, тихо наблюдал за тем, как работает скульптор, а потом так же тихо уходил.

Крепость Дзау у самых гор немцы не взяли. Потерпев поражение, медленно, тяжело уходили они из Осетии, по костям и руинам. Ушли они и из Синдзикау одним холодным утром по холмам: вверх—вниз, вверх—вниз... И посыпал снег, бесшумный, невесомый, бесконечный, из глубины небес, стирая их следы, забеливая дороги, по которым они ступали. Гиго смотрел в небо, и от кружения снежинок голова его тоже кружилась. Открыв рот, мальчик ловил снежинки языком. На своих обветренных губах Гиго чувствовал странную горечь.

Дауки, дед Гиго, вышел на дорогу, по которой отступили немцы, и, сняв здоровую папаху и прижав её к груди, громко прокричал Богу, чтобы земля под ними завернулась. А вернувшись в дом, убрал лопату, что стояла у дверей дома в наизидание внукам.

Теперь, когда немцы ушли, Гиго решил рассказать деду о том, что делает Едзи. Дауки выслушал внука и сказал жене:

—Сегодня сваришь кадур²⁴, тарелку дашь Гиго, он знает, что с ней делать!

Хотя еды самим не хватало, но старуха даже словом не возразила. В обед, надев на глиняную миску свою овечью папаху, чтобы кадур не остыл, Гиго, с раскрытой головой, побежал на Хурхор. Тихое, безмолвное село спало под снегопадом. Немцы ушли, но конца войны не было видно, как и конца вереницы белых листов бумаги, исписанных фиолетовыми словами смерти.

Старик сидел под старым раскидистым орехом. Тихий и задумчивый, смотрел он на камень, а тот покрывался свежим снегом и делался похожим на большой белый кусок сахара.

—Едзи, даё бон хорз! Нана тебе кадур прислала! Поешь, пока горячий!—выпалил запыхавшийся Гиго, выудил из кармана ложку и протянул старику вместе с тарелкой, прикрытой папахой.

Старик позвал Гиго сесть рядом с ним под деревом. Мальчик присел на бревно, прилаженное к двум другим наподобие скамейки, и взглянул вверх, сквозь ветви дерева: по какой-то необъяснимой причине снег здесь не сыпал... Словно старый орех, не растерявший свои сухие тёмно-коричневые листья, бережно защищал старика от снегопада.

Едзи снял с тарелки шапку; стряхнув с волос мальчика снег, надел шапку ему на голову и, указав на кадур, сказал:

—Ахær!²⁵

Гиго мотнул головой.

—Ахær!—повысил голос Едзи.

Но Гиго в ответ лишь сильнее замотал головой.

Тогда старик послушно взял ложку и тарелку, но прежде, чем начать есть, достал что-то из кармана и ласково сказал:

—У меня для тебя тоже есть кое-что, Гиго, тебе надо заесть горечь...

Гиго уставился на старика...

В руке у Едзи лежал кусок сахара. Целый сахарный осколок. Откуда он взялся у Едзи, Гиго не посмел спросить, только сахар этот был странным образом похож на заснеженный камень перед ними. Или мальчику это просто показалось...

—Горечь—это война, она оставляет след, даже если ты не сидишь в окопах, даже если в тебя не летят пули. Война меняет всех, даже таких маленьких мальчиков, как ты. Горечь останется с тобой на всю жизнь, просто притупится, станет частью тебя самого и того мира, в котором тебе предстоит жить...

Гиго слушал старика и грыз сахар. Он пока не очень понимал то, что говорил ему Едзи, но знал, что слова эти стоит запомнить. Как и весь этот день, снежный, горький и сладкий одновременно; он старался запомнить его изо всех сил, хотя как его можно забыть?

24. Национальное блюдо из фасоли и лука.

25. Ешь!

Весна

Пришла весна. Вначале робкая и прозрачная, с запахом сырой земли и особым цветом неба. Затем в Синдзикау прилетели ласточки, зацвели абрикосы, и вишня, и слива...

О том, что на склоне Хурхор Едзи создаёт памятник Победе, уже знало всё село. Старухи трясли скудные запасы и старались теперь наперебой отправить какое-нибудь скромное угощение на Хурхор. Старики выспрашивали у мальчиков, которые были посыльными у своих бабушек, близка ли работа к завершению.

С любопытством и надеждой всё село теперь начинало день и завершало, поглядывая в сторону горы.

И вот одним весенним утром Едзи пришёл на луг, где Гиго пас рыжих бесшумных коров да глупых беспечных барашков, и сообщил мальчику, что закончил памятник.

Гиго кинул стадо и стремглав бросился домой к деду.

— Дауки, Дауки, Дауки,— кричал он на всё село,— хорз хабæрттæ, хорз хабæрттæ!²⁶

Не прошло и получаса, как по улицам села уже шествовала процессия: Гиго впереди, рядом шла его младшая сестра, через хрупкие плечи девочки была перекинута осетинская гармошка. За ними бежали другие дети—братья, сёстры, соседи—и шёл старик Дауки.

— Едзи закончил памятник Победе! Старик Едзи закончил свою работу! Пойдёмте на Хурхор,— кричал Гиго.

Кричал в весеннее небо, улицам и домам, старикам, сидящим у домов, старухам, что копались в своих огородах, сгребая прошлогодние осенние листья и разжигая костры.

— Джитри-джитри-кабуска! Сталин Гитлеры абырста...— хором и вразной весело горланили дети.

Открывались калитки, старухи с любопытством выглядывали на улицу. Старики поднимались навстречу и шли вместе с ними. Слух уже облетел

Синдзикау, словно весенний ветерок. Побросав коров с телятами, кур с яйцами, выбежали за детьми и стариками женщины... Сельские собаки и те увязались за своими хозяевами, радостно виляя хвостами.

Над селом, весенняя, прозрачная, в нежной дымке, возвышалась Хурхор... А в лесу старик Едзи закапывал в землю инструменты, которыми работал. Земля была холодной и влажной, Едзи притоптал землю ногами.

Собаки остались резвиться на выпасе за селом. Подойдя к подножью горы, остановились и женщины²⁷, но дзуарылаг Дауки обратился к ним:

— Ваши сыновья, мужья и отцы отдают жизни за Победу. Вы должны увидеть её своими глазами. Сегодня особенный день!

И в тот день они поднялись к камню с мужчинами и увидели её...

Вырезанный в камне Уастырджи—всадник на белоснежном коне—поражал длинным копьём чёрного змея, херувимы парили над святым. Чуть в стороне стояла спасённая им царевна, и Бастымад²⁸ укрывала всех—и ангелов, и спасённую Елену, и святого, одолевшего тьму, и его белоснежного коня—покровом своих длинных, туго сплетённых кос.

Каменное небо за спинами персонажей было выкрашено в ясный голубой цвет. Светлые лица их и жёлтые нимбы сияли в лучах солнца. Чёрная, мерзостная бездыханная тварь в ногах у коня казалась беспомощной и жалкой тенью.

Птицы галдели на все лады, и небо над лесом действительно было безоблачным, как и говорил Уастырджи. Кивнув Едзи издали, он пустил своего белоснежного коня вскачь и взмыл в сияющие небеса.

До Победы оставалось ещё два долгих тяжёлых года... Но памятник ей уже стоял под этим небом, и, глядя на него, и дети, и старики, и женщины вытирали слёзы радости.

26. Хорошие новости!

27. Женщины не могут приходить на святые места, связанные с покровителями мужчин. В случае с Уастырджи—не смеют даже произносить его имя и называют его Лаегты Дзуар (покровитель мужчин).

28. Мифическая богиня, Мать Вселенной.

Елена Литинская

Что мне делать с тобой, Джейк?

Рита приходила домой с работы где-то к семи часам вечера, переодевалась в домашние свободные джинсы и футболку, ужинала на скорую, даже чересчур скорую руку. Часто всухомятку и, можно сказать, без всякого удовольствия. Просто утоляла голод и исполняла обязанность перед собственным организмом, чтобы функционировал. А уж о питательности и пользе продуктов совсем не думала. После еды с той же скоростью (как будто боялась опоздать на свидание или к началу любимой телепередачи) мыла тарелку, чашку и что там ещё оставалось. Будучи аккуратисткой, копить грязную посуду в раковине она терпеть не могла. Потом вытирала вымытое, убирала в шкаф и с облегчением и радостным нетерпением садилась к компьютеру. Сначала проверяла общую электронную почту и всевозможные сообщения и ролики, которые присылали знакомые и малознакомые «корреспонденты», и, наконец, с горящими глазами и слегка дрожащими руками принималась за «Facebook»... Состояние, в котором пребывала Рита по отношению к магическому «Facebook-у», можно было охарактеризовать как наркотическую зависимость, но она об этом не думала и даже удивилась бы, если бы ей об этом сказали.

Свежеразведённая, бездетная Рита была в поисках подходящего, не авантюрного, надёжного бойфренда. Теперь многие знакомятся через Интернет. Почему бы и ей не попробовать? Решила начать с «Facebook-а». По крайней мере, бесплатно. Зарегистрировавшись, Рита разместила там свои данные и несколько наиболее удачных фотографий. Она была хороша собой, и очень скоро посыпались сообщения: мужчины разных возрастов (от двадцати пяти и старше) просились в друзья, во френды, как теперь принято говорить на интернет-жаргоне. Рите было тридцать восемь. По современным понятиям, женщина далеко не бальзаковского возраста.

Слишком молодых и перестарков она сразу беспощадно отвергала. Тех, кто попадал в категорию от тридцати пяти до пятидесяти, она придирчиво изучала: сравнивала, словно раскладывала веером игральные карты. Рассматривала лица, перечитывала биографии... И почти всех тоже отвергала. Ей нужна была крупная карта, козырная, не битая: солидный король или хотя бы многообещающий

валет. Не хотелось тратить время на бесполезную переписку с лузерами и очевидными искателями приключений, имя которым — легион. И вот во френды попросился некто Паркер Джейк, ни больше ни меньше, — полковник американской армии, воинская часть которого была расквартирована в Афганистане, в городе Кабул.

Вот это да!

Американских военных, тем более такого высокого звания, ни в реальных, ни в виртуальных друзьях у русской иммигрантки Риты до сих пор не водилось. Она смотрела на фотографии Паркера Джейка и верила и не верила своей удаче.

Симпатичный мужчина, похоже, ирландского происхождения (или с примесью итальянской крови), темноволосый, сорока восьми лет, «с сединою на висках», в белой парадной форме. Да ещё при орденах и медалях. За боевые заслуги перед отечеством! Этот кадр заслуживает внимания и уважения.

Она даже немного нервничала от возможности романа с таким необычным, высокопоставленным человеком.

Нет, не генерал! Пока не генерал. Но ведь возможно продвижение по службе. И тогда... Откроется путь в истинно запредельные высоты!

Любви и брака по-русски — с пьянкой, изменой, скандалами, уходами, возвращениями и разводом — женщина вкусила сполна. Захотелось выбраться из иммигрантского гетто и испытать американское счастье. Голубые глаза Паркера Джейка и чуть припухшие губы, слегка растянутые в полуулыбке, выражали сплошной позитив: доброжелательность, честность, мужество и шарм.

Ну прямо родной старший брат Тома Круза, да и только! Этому я отвечу, непременно возьму его в друзья, прямо сейчас, немедленно. Тут и раздумывать нечего!

Рита сделала глубокий вдох, решительно кликнула мышкой по слову «confirm» и на выдохе откинулась на спинку стула с чувством удовлетворения от совершённого важного поступка.

Ждать пришлось недолго. Через пару минут в Ритину личку на «Facebook-е» прилетел ответ:

Дорогая, спасибо тебе за то, что ты согласилась быть моим другом. Твоя красота и биография

произвели на меня неизгладимое впечатление. Надеюсь, что наша переписка перейдёт в настоящую дружбу и даже любовь... Пиши мне. Я хочу знать о тебе больше, чем ты о себе написала на «Facebook-е». Я хочу знать о тебе *всё*. Интуиция подсказывает мне, что ты — женщина моей мечты. ПД.

Ну и ну! Полковник сразу берёт быка за рога. Он хочет знать обо мне всё! Что это? Истинно армейская прямота и решительность с налётом наивности или игра? Немного странно, неожиданно, конечно, но заманчиво. Ответать с ходу или подождать до завтра?

Рита сомневалась. Уж очень ей хотелось немедленно продолжить переписку с симпатичным бравым полковником.

Но всё же разумнее будет повременить с ответом, чтобы полковник не возгордился и не подумал, будто он — моя последняя надежда.

Рита нехотя выключила компьютер и решила выйти на улицу — подышать перед сном свежим воздухом.

Стоял конец мая. Женщина нырнула в тёплый весенний вечер и слилась с потоком людей, медленно фланирующих по Бордвоку. Попадались знакомые и соседи по дому. Говорили друг другу: «Hi! Привет!» Некоторые хотели поболтать о том о сём... ни о чём. Но Рита только улыбалась в ответ, махала рукой: мол, не могу говорить, очень занята, спешу. И продолжала одинокую прогулку, погружённая в размышления о своём новоявленном виртуальном друге. Знакомые понимающе улыбались (хотя на самом деле не понимали ничего), кивали головой, разводили руками и повторяли многозначительное и пустое: «Have a good day! Хорошего дня!»

Надышавшись свежим майским воздухом, полная приятных дум и предчувствий, Рита отлично спала эту ночь. И проснулась она в столь же чудесном настроении, в надежде на благоприятный исход предстоящей переписки. Паркер Джейк раскинул походную палатку у неё в голове и не желал оттуда выходить. Правда, Риту несколько смущал порядок слов в полном имени полковника.

Почему он называет себя Паркер Джейк, а не Джейк Паркер? Ведь Джейк — безусловно имя, сокращённое от Джейкоб, а Паркер — довольно распространённая англоязычная фамилия. Первое имя должно стоять первым, а фамилия — после него. Если писать наоборот, то после фамилии нужно ставить запятую. Иначе получается путаница: имя становится фамилией и наоборот. Может, он не силен в грамматике? Исключено. Ведь это же азы английского языка, а он — не какой-нибудь отставной капитан Лебядкин, а полковник действующей армии США, значит, окончил военную академию. Наверное, у них в армии так принято.

Никакого другого объяснения перевёрнутому с ног на голову полному имени Рита придумать не могла.

Буду называть его Джейком!

Решение было принято, и она отправилась на работу в госпиталь.

Ещё в начале иммиграции Рита окончила колледж и высшую школу (Graduate School), получив степень магистра и востребованную, хорошо оплачиваемую профессию медсестры (Registered Nurse). Как и всякая медицинская профессия, эта работа требовала терпения, усиленной концентрации, знаний и опыта. Серьёзная, внимательная и ответственная, Рита обычно делала своё дело чётко, без сучка и задоринки, не имея права на раздумья о личной жизни и, как возможное следствие подобных раздумий, — на профессиональную ошибку. В этот день работать было особенно трудно, ибо мысли Риты были не с пациентами и их заболеваниями, а в далёком Афганистане, где выполнял поставленные перед американской армией задачи по борьбе с терроризмом красивый, умный и храбрый полковник Джейкоб Паркер.

Рита еле-еле дождалась вечера, чтобы написать ответ Джейку.

Ответ должен быть вежливым, обнадеживающим, но ни в коей мере не навязчивым. Не помещает немного иронии.

Здравствуй, Джейк! Спасибо тебе за тёплое и даже несколько порывистое письмо. Честно говоря, я впервые переписываюсь с американским военным такого высокого ранга и считаю это за честь. Не знаю, смогу ли я быть женщиной твоей мечты. Будущее покажет. Ты, наверное, пишешь далеко не первое и не последнее письмо в поисках этой единственной дамы. Я искренне желаю тебе её найти. А пока, прежде чем написать о себе более детально (разумеется, не *всё*, как ты пишешь), хотелось бы услышать подробности о тебе и твоей жизни. С самыми добрыми пожеланиями!

Рита.

В Нью-Йорке было десять вечера. Рита зашла в «Google» и прочитала, что в Кабуле — на восемь часов тридцать минут позднее.

Значит, там у них шесть тридцать утра следующего дня. Наверное, самое горячее время: подъём, завтрак и расписание для высшего военного состава. Лучшие всего вести переписку, когда в Нью-Йорке утро, а у них — вечернее свободное время.

Рита рассуждала, прикидывала и тут вдруг с удивлением заметила, что Паркер Джейк именно теперь, казалось бы, в такой неуточный для него час, был в сети.

Допустим, у полковника time off.

Ровно через пятнадцать минут пришёл ответ от Джейка:

Дорогая! В связи с секретностью моей миссии в Кабуле и необходимостью безопасности я закрываю свой account на «Facebook-е». Слишком много людей мне сюда пишут. Могут возникнуть непредсказуемые неприятности. Вот мой электронный адрес на «Yahoo». Если у тебя нет account-а на «Yahoo», пожалуйста, открой его и пошли мне сообщение со своего личного e-мейла. Я тут же тебе подробно обо всём напишу. Потом мы сможем общаться через yahoo chat. Очень жду. Целую. ПД.

Время приближалось к полуночи. Благоразумнее было бы выключить компьютер до завтрашнего утра и отправиться спать, ведь в семь часов — на работу. Но Рита вошла в азарт переписки и уже не могла остановиться. Будто какая-то неведомая рука толкала и вела её, заставляя следовать просьбам и указаниям полковника. Рита тотчас же открыла новый account на «Yahoo» и послала Джейку коротенькое сообщение:

Привет! Я — Рита. Целовать меня преждевременно. (Улыбка!) Жду твоего письма.

Ответ последовал незамедлительно, словно был заранее заготовлен. Это уже было не короткое сообщение, не письмо, а целое развёрнутое послание, напоминавшее подробную анкету для службы знакомств, правда, с некоторыми оттенками и вставками чисто личного характера:

Дорогая, спасибо за e-мейл! Ты мне очень нравишься, и я бы хотел построить с тобой отношения, основанные на взаимной симпатии и доверии. Мне нравятся твои синие глаза с поволокой, твой рот и твои вьющиеся пепельные волосы. (Похоже, ты их не красишь. Я люблю всё натуральное.) У тебя прекрасная фигура. Да ты и сама это знаешь и, конечно же, получаешь кучу комплиментов от мужчин. Ну а женщины тебе могут только позавидовать!

Вот кое-какие детали о моём характере, пристрастиях и стиле жизни.

Я — вдовец. Моя жена умерла от рака груди пять лет назад.

Три года я пребывал в невыносимом горе и даже подумать не мог о других женщинах. Что-бы заглушить боль утраты, перевёлся по службе в Афганистан, где выполняю миссию по борьбе с терроризмом.

Прошло время. Я понял, что не могу заполнить свою жизнь одной только службой, и пустился на поиски новой любви. Пишу тебе и надеюсь на providение, которое не просто так свело нас на «Facedook-e». А ты?

Моего сына зовут Крис. Ему двадцать лет. Он учится в Оксфорде. Мы переписываемся и разговариваем по телефону и скайпу.

Моё любимое мороженое: Haagen Dazs.

Любимая музыка: самая разная, в зависимости от настроения.

Я обожаю группы 80-х: «Bon Jovi» & «Aerosmith». Мои пристрастия — ты и музыка.

Мой любимый музыкальный инструмент: фортепьяно. В детстве я брал частные уроки музыки и пения. И даже пел в церковном хоре.

Говорят, что лучшее в моей внешности — глаза и улыбка.

У тебя есть middle name?

Моя любимая еда: чизбургер, итальянская и мексиканская кухня, шоколад, мороженое, десерты, конфеты. Обожаю сладкое. Знаю, что вредно. (Улыбка.)

Моя самая большая слабость: животные, особенно, когда они страдают.

Больше всего я люблю смеяться, петь и танцевать. И часто это делаю.

Мои любимые телесериалы: «Друзья» и «Секс в большом городе».

Моя любимая одежда: пижама, носки, джинсы, кроссовки, рубашки с длинным рукавом.

Мои любимые покупки: обувь и духи.

То, что я больше всего терпеть не могу: ложь.

То, что я люблю больше всего на свете: надеюсь, тебя.

Моё самое большое желание сегодня: быть с тобой.

Самое ужасное время в моей жизни: когда ушёл мой отец.

Самое лучшее время в моей жизни настанет, когда мы наконец будем вместе.

Куда бы я хотел поехать с тобой? На Багамы. Это возможно?

Пожалуйста, ответь на мои вопросы. Я хочу знать о тебе как можно больше.

Ты хочешь, чтобы мы поженились, когда мы встретимся и лучше узнаем друг друга?

Что тебя веселит?

Что действует тебе на нервы?

Какова ты в гневе?

Какой ты видишь себя через пять лет?

Согласишься ли ты переехать в другую страну, если найдёшь там свою любовь?

В какие страны ты бы согласилась переехать?

Теперь ты знаешь обо мне гораздо больше...

Ты мне нравишься. Ну, это ты уже тоже знаешь.

Надеюсь вскоре получить от тебя ответ.

Целую. ПД.

Стояла глубокая ночь. Встрёпанная, полусонная Рита читала и перечитывала письмо Джейка, такое противоречивое, неоднородное.

Какой многослойный характер! Трудно докопаться до сути. То пишет, словно под копирку, для наивных претенденток на звание дамы сердца. Клише на клише про мороженое Haagen Dazs и группы «Bon Jovi» и «Aerosmith». К тому же у него

довольно пошлый, тривиальный вкус, если любит сериалы «Друзья» и «Секс в большом городе». Да, но он поёт и играет на фортепьяно и, видимо, по-настоящему увлекается музыкой. И даже пел в церковном хоре, значит, из порядочной религиозной семьи. Ишь ты, какой добренький—жалеет животных! А людей? Небось, стреляет без промаха, когда надо. Видите ли, он часто танцует, поёт и смеётся... Как будто работает в «Comedy club», а не в армии служит. Что-то ты заливаешь, Джейк! С ума можно сойти: его самое большое желание сегодня—быть со мной. Он же меня совсем не знает. Нашёл дурачку! Так я и поверила! То звучат искренние ноты об отце и любви к покойной жене. Джейк пережил горе и, следовательно, может понять несчастье других. Но он не заикнулся на своём горе. Значит, есть шанс, что открыт для новых серьёзных отношений. Не обделён чувством юмора, и даже некая ирония проскальзывает. Знает, что сладкое есть вредно. Что делать? Продолжать переписку или... ну его на фиг?

Рита снова открыла «Facebook» и стала просматривать фотографии Джейка.

Какое хорошее, красивое и честное лицо. Умные глаза. И сколько орденов и медалей! Нет, заслуженный человек такого высокого ранга и с такой внешностью не может быть пошлым искателем приключений. Ну, написал кое-что по трафарету писем для знакомств, присочинил малость для создания положительного имиджа. Не писатель же он, а военный. Самореклама—залог успеха. Прихвастнул слегка. Не без этого. Зато красивый, мужественный и... неглупый. Дослужился до высокого чина, имеет награды. Дураки и трусы не становятся полковниками в сорок с чем-то лет. На начальном этапе знакомства это письмо меня вполне устраивает. Буду продолжать переписку.

Рита подвела итог своим размышлениям и настрочила ответ Паркеру:

Привет, Джейк!

Спасибо тебе за такое тёплое и подробное письмо! Теперь я знаю о тебе даже, может, слишком много... Когда же ты успеваешь веселиться, танцевать, смеяться и петь? Наверное, в отпуске на Карибах... Или в свободное от службы время ты участвуешь в армейской художественной самодеятельности? Шутка.

А если серьёзно, твой облик вызывает у меня положительные эмоции. У тебя красивое и мужественное лицо. Да ты и сам это знаешь...

Несколько слов о себе. Я, как ты, наверное, догадался, прочитав мою краткую биографию, бывшая иммигрантка из России. (Видимо, тебя этот нюанс не останавливает. Отрадно!) Вот уже много лет как я стала гражданкой США. В разводе, детей нет. Работаю в госпитале медсестрой. Профессию свою люблю. Провожу свободное время

за чтением книг на английском и русском языках. Увлекаюсь театром, оперой, джазом. Обожаю хорошие рестораны. Если накатывает депрессия, прогоняю её шопингом и путешествиями.

Постараюсь ответить на некоторые твои вопросы.

У меня нет middle name. (У тебя, похоже, его тоже нет? Почему? Это для американца нетипично.) Вместо второго имени у нас, русскоязычных, есть отчество. Имя, данное по отцу. Но это для тебя слишком сложно... Да в Америке и неактуально. На Багамах я была несколько раз. С удовольствием туда снова полечу или поплыву на корабле. О женитьбе в связи с тобой пока не думаю. Согласись—рановато. (Улыбка.) То есть думаю о женитьбе, но только в перспективе, без конкретного кандидата. Что меня веселит? Да всё смешное: книги, фильмы, анекдоты, забавные жизненные ситуации. Что мне действует на нервы? Очень многое. Прежде всего—ложь и непорядочность в отношениях. (Рада, что в этом наши моральные принципы сходятся.) А также грубость, сквернословие, громкая музыка из окон домов и проезжающих мимо машин, мусор на улицах Нью-Йорка и т. д. и т. п. Всего не перечислишь. В гневе я бываю разной, в зависимости от обстоятельств. Могу смолчать, отвернуться и уйти. Могу резко ответить на хамство и даже тарелку об пол грохнуть. (Бывало и такое.) Могу простить обиду, могу и не простить. Главное, чтобы раскаяние моего обидчика было искренним. Ты спрашиваешь, какой я вижу себя через пять лет. Пять лет—долгий срок. Надеюсь, что за этот период времени многое в моей жизни изменится... к лучшему, конечно. (Хотя мне и сейчас совсем неплохо.) Что я буду счастлива с тем, кого полюблю, и, возможно, даже выйду замуж за этого человека. Хочу завести ребёнка. Ещё не поздно. Соглашусь переехать в европейскую страну или в Канаду, если того потребуют обстоятельства. Кажется, пока всё. Если есть ещё вопросы, задавай, пиши.

У нас три часа ночи. Отправляюсь спать. Всего тебе самого доброго! Ты меня упорно продолжаешь целовать, а я тебя—пока нет. Не сердись!

Рита.

Она перечитала письмо, осталась им довольна и кликнула мышкой по слову «Send».

Наутро пришёл ответ от Джейка:

Дорогая! Спасибо за письмо. Разумеется, при крещении мне дали middle name. Но это имя мне не нравится, и я предпочитаю его нигде не указывать. Зачем тебе его знать?

В твоих ответах на мои вопросы я нашёл именно то, что искал. Ту единственную женщину, которая, я почти уверен, меня поймёт и полюбит и которую я пойму и полюблю. Меня отнюдь не смущает, что ты—бывшая русская иммигрантка. Русские

женщины красивы, добры и, я слышал, не предъявляют завышенных требований к партнёрам по жизни. (Поправь меня, если это не соответствует истине. (Улыбка.))

Зачем же откладывать нашу встречу? Через пару месяцев я смогу взять отпуск на десять дней и прилететь в Нью-Йорк. Или, может, ты хочешь встретиться в Европе или на Багамах? Напиши, что ты об этом думаешь. С нетерпением жду нашей встречи. Тысячу поцелуев.

Твой ПД.

Получив такое решительное письмо, Рита сначала обрадовалась, а потом струхнула и начала сомневаться.

Он не ждёт от меня завышенных требований. Ха! Ошибаешься, Паркер! Я многого достигла в Америке и предъявляю достаточно высокие требования к себе, к окружающим меня близким людям и тем более — к потенциальным бойфрендам. Впрочем, всё относительно... В зависимости от ситуации можно и скидку кое на что сделать. Да, Паркер явно торопится, прямо гонит картину. Я пока совершенно не готова к такому резкому повороту сценария. Допустим, мы встретимся в Нью-Йорке. Конечно же, он остановится в отеле. Не у меня же! Этого ещё не хватало! А если он захочет приехать прямо ко мне? Отказать? Он может обидеться. Ну и пусть обижается. Ничего! Переживёт! И если умный, поймёт. А если настырный дурак, пошлю его ко всем чертям. Всё же лучше встретиться в другом городе, на нейтральной территории. Где? В Штатах, на Багамах или в Европе? Спокойнее будет в своей стране, но в другом городе. Например, в Лас-Вегасе. Именно там. Я давно хотела слетать в Лас-Вегас...

Рита ещё раз перечитала все письма Джейка, и вдруг её неприятно осенило.

Почему он ни в одном из писем не называет меня по имени? Неужели пишет все письма женщинам почти под копирку, с малыми вариациями на тему, и боится ошибиться, перепутать имена? Похоже, именно так... Но не будем слишком строги. Это нормально для поиска. Ведь он ещё не сделал окончательный выбор. Имеет право. Напишу-ка ему и спрошу. Заодно спрошу, почему он называет себя Паркер Джейк, а не Джейк Паркер, как все нормальные люди. Может, он не совсем нормальный? Ненормальные не служат в армии. Впрочем, всё возможно... Ладно. Прочь сомнения. Пишу. Интересно, как он будет выкручиваться.

Привет, Джейк!

Ты упорно целуешь женщину, которую ещё даже не встретил. И количество поцелуев уже достигло тысячи! Ну что мне делать с тобой, Джейк? (Улыбка.)

Я перечитала все твои письма и удивилась. Ни в одном из писем ты не называешь меня по имени. Почему? Тебе не нравится моё русское имя? Или, может, ты пишешь одно и то же многим женщинам и просто боишься перепутать имена? И ещё... почему ты называешь себя Паркер Джейк, а не наоборот? Это что, военная конспирация?

Прежде чем говорить о какой-либо встрече, ответь, пожалуйста, честно и откровенно на эти вопросы. Что бы там ни было, я не обижусь, всё пойму и просто лучше оценю ситуацию. Спасибо! Рита.

Ответом на Ритин щекотливый вопрос было молчание полковника. Она ждала день, два, три... Не вытерпела. Послала ещё одно короткое сообщение:

Что же ты молчишь, Паркер Джейк? Нашёл другую женщину своей мечты? Рита.

Рита завелась, места себе не находила: часами сидела у компьютера, уставившись на фотографию Джейка, и гадала, как когда-то в юности.

Если от него придёт ответ в течение недели и он назовёт меня по имени, у нас будет продолжительный роман... Если нет, пошлю его на три буквы и выброшу из головы.

Ответ пришёл через шесть дней. Рита была почти счастлива. Она верила в гадания и приметы и в свою счастливую звезду.

Дорогая Рита! Прости, что не сразу отвечаю на твои вопросы. Просто я был очень занят по службе. (В связи секретностью не буду вдаваться в подробности...) Как ты знаешь, я — военный, и большая часть моего времени принадлежит армии. Вот видишь, я назвал тебя по имени. Оно очень красивое и отнюдь не только русское. Я знал одну американку ирландского происхождения по имени Рита.

Не стану отпираться. Ты права, я писал письма сразу нескольким женщинам и боялся перепутать имена. Но эта переписка в прошлом. Я покончил с поисками той единственной, так как нашёл тебя. Рита! Рита! Рита!

Почему я называю себя Паркер Джейк? Армейская привычка. Ведь я — полковник Паркер. Так ко мне обращаются солдаты и офицеры. Могу поставить после фамилии запятую, если такое написание тебя больше устраивает. Отныне подписываю все письма к тебе по правилам грамматики: Паркер, Джейк. Ты мною довольна? Я всё что угодно (ну, почти всё) готов сделать ради того, чтобы тебе понравилось и угодить.

Итак, готова ли ты к нашей встрече? Если да, я беру билет на 3 сентября и вылетаю в Нью-Йорк... или на Багамы?

Жду твоего решения.

Тысячу поцелуев. Паркер, Джейк.

Ну вот всё и разъяснилось. Джейк — честный, порядочный человек. Правда, опять эта пошлая гигантомания с поцелуями. Он неисправим. Не реагирует на мои комментарии. Похоже, для Джейка это — эпистолярная норма. Невозможно бесконечно переписываться. Я хочу его увидеть. Без личной встречи все эти письма — как в чёрную дыру. Пусть прилетает в Нью-Йорк, в конце концов. Так и мне будет легче. Не надо никуда ехать. Чем меньше сверхусилий с моей стороны, тем меньше разочарований в случае неудачи. Сначала он остановится в отеле. Потом... посмотрим...

Прошло три месяца усиленной переписки с более или менее важными для знакомства подробностями и ласковыми словами. Тысяча поцелуев выросла до миллиона, и Рита ничего не могла с этим поделать. Наконец наступил день встречи. Рита взяла отпуск.

Тщательно причёсанная, наманикюренная, неброско и со вкусом одетая в недешёвый костюм из бутика, она пришла на свидание загодя, чтобы освоиться в обстановке и не нервничать. Договорились встретиться в холле отеля, в котором остановился Джейк. Отель оказался далеко не первого класса.

Средненький такой отель. Видно, у полковника с деньгами негусто. Или решил не шикарить, проявил прижимистость характера.

Во всём этом Рите предстояло впоследствии разобраться.

Она сидела на слегка потёртом плюшевом диванчике, держа в руке фотографию Паркера, которую сняла с «Facebook-а», и вертела головой по сторонам. Ровно в назначенное время из лифта вышел высокий, плотный, хорошо и по моде одетый (в летний кремовый костюм и для контраста — в чёрную рубашку без галстука) мужчина лет пятидесяти, с отнюдь не военной выправкой и весьма гражданским обликом. Его черты лица, светлые глаза, тёмные волосы и седые виски, в общем, походили на фотографию харизматичного полковника, но это было отнюдь не стопроцентное сходство. Словно на свидание явился старший брат Джейка или помолодевший отец — словом, близкий родственник. Федот, да не совсем тот.

Мужчина сразу выделил Риту среди других женщин и направился к ней. Рита в упор смотрела на него и узнавала, не узнавая. Она растерялась, опустила глаза и стала беспокойно тереть край жакета. Он подошёл к Рите, распространяя вокруг себя приятный нерезкий запах мужских духов, широко улыбнулся, как улыбается тот, кто знает притягательную силу своей улыбки, и негромким, вкрадчивым голосом произнёс:

— Рита, дорогая, это я, Джейк. Ты не узнаёшь меня? — Честно говоря, узнаю, но не совсем. Во-первых, ожидала увидеть мужчину в военной форме. А ты

в штатском. Сравниваю тебя с фотографией... Ты и похож, и не похож на свой портрет.

— Ах, эта фотография на «Facebook-е»... она сделана лет восемь назад. Само собой, я на ней гораздо моложе и симпатичней. Понимаешь, хотелось предстать в лучшем виде, ну я и выбрал самую удачную фотографию из своего... арсенала. Надеюсь, ты не очень разочарована при виде реального меня. Да, военная форма висит наверху в номере: я же в отпуске. Мундир напрягает. А я хочу отдохнуть, расслабиться, — и тут же добавил откровенно льстивый и разящий без промаха комплимент: — А ты — в жизни ещё красивей, чем на фотографии.

— Да? Спасибо! Я очень рада, что ты не разочарован, — сказала Рита.

Её взгляд сразу потеплел. Одной этой фразой лёд был растоплен.

В объяснениях Джейка — несомненно, логика военного стратега. Как и в письмах, он умеет давать простые, чёткие ответы на вопросы и перечёркивает мои сомнения и недоверие.

Рита улынулась, встала и протянула Джейку руку, которую тот сначала типично по-американски пожал, а потом, спохватившись, по-европейски приложил к губам.

Такой поцелуй хорошего тона Рите понравился. И даже очень. Она была приятно удивлена заокеанскими светскими манерами американского полковника.

Видимо, получил европейское воспитание. Писал, что играет на фортепьяно и поёт. Надеюсь, представится случай послушать.

— Пойдём пообедаем. Я с утра ничего не ел. Отель, как видишь, весьма посредственный, но мне сказали, что в здешнем ресторане отлично готовят. Ты не против? — сразу предложил Паркер.

— Я только за, — согласилась Рита.

А полковник весьма сообразителен: понимает, что путь к сердцу современной, интересной и знающей себе цену женщины лежит не только через комплименты и достойные манеры, но также и через посещение ресторанов с хорошей репутацией. Похоже, он не лукавил, и моя внешность в реале даже превысила его ожидания. Пока всё идёт гладко.

Они прошли в полупустой ресторан, сели за столик на двоих у окна. Рита расстегнула жакет, повесила сумочку на спинку стула. Подошёл официант с меню.

— Выбирай, дорогая, — сказал Паркер. — С твоего разрешения, я тоже расстегну пиджак.

— Да, да, конечно, — ответила Рита, опустила глаза и обратила внимание на щегольские, из мягкой кожи, ботинки полковника и носки в тон.

Да он настоящий франт! На отель пожалел денег, зато потратился на прикид!

Рита углубилась в меню. Названия блюд были знакомые, цены вполне приемлемые.

Интересно, он будет платить за ужин, или, для первой встречи, я должна предложить оплатить свою долю?

— Заказывай всё что хочешь. На цены не смотри. Я угощаю, — прочёл её мысли Паркер.

Он — отличный психолог! Хорошо это или плохо?

Она просматривала меню и то и дело поглаживала на собеседника. Внимание привлекли его руки. Крупные, не слишком широкие (не крестьянские) ладони с длинными пальцами и ухоженными ногтями.

Паркер — человек явно не физического труда. А какие должны быть руки у полковника американской армии? Загорелое лицо (по-видимому, от командования на солнцепёке на полигонах Афганистана), суровая продольная складка между бровей (всё же военный человек) и глубокие носогубные морщины: усталость и возраст?

В целом Рита осталась довольна благородной внешностью своего пенфренда.

Рита исподтишка изучала Джейка, а Джейк тем временем изучал меню и украдкой поглядывал на Риту. На секунду их взгляды встретились. Оба сначала смуглились, но потом понимающе улыбнулись. Ритин взгляд говорил: «Знаю я ваши мужские привычки. Не вчера родилась. Раздеваешь меня глазами...» Взгляд Паркера отвечал: «Знаешь и не сердишься. Умница!»

Они заказали два джина с тоником и один большой зелёный салат с брынзой и маслинами. На второе для Риты — телячью отбивную с пармезаном, а для Джейка — креветки фре-диабло. На десерт — кофе со сливками и два пышных куса ещё тёплого не приторного яблочного пирога, слегка посыпанного сахарной пудрой, с кусочками фруктов и шариками ванильно-клубничного мороженого. Порции были не громадные, как в стандартных diner-ах, и вкус отменный, что придало хорошего настроения и оптимизма нашим героям.

За ужином говорили о нежаркой погоде, с которой прямо-таки подфартило. Как хорошо и правильно, что их встреча состоялась в начале сентября, а не в середине августа, когда в Нью-Йорке ещё стоит невыносимый влажный зной, аж плавится асфальт. А тут семьдесят пять по Фаренгейту и лёгкий, нежный бриз с реки Гудзон. Джейк красочно рассказывал о городах и странах, в которых побывал, исключая Афганистан. (Ты же понимаешь: военная тайна.) Расспрашивал Риту о России и о её жите-быте в Америке. Рита почувствовала себя комфортно, разговаривая, демонстрируя хороший английский. Паркер внимательно слушал, улыбался, одобрительно кивал.

Опутывает меня своей харизмой. Опытный ловец!

Рита не знала, радоваться этому или нет.

Они провели в ресторане приятных и аппетитных два часа. Пора было уходить. Джейк позвал официанта, громко и залихватски щёлкнув большим и средним пальцами.

Как ловко он это делает! Настоящий ресторанный завсегдатай! Гуляка, наверное. Как это всё сочетается с армией?

Когда официант принёс счёт, Джейк посмотрел на сумму, которую предстояло заплатить, на мгновение задумался, достал из бумажника «Vis-y» и вписал в счёт чаевые. Официант забрал счёт и «Vis-y» и очень скоро вернулся с несколькими растерянным выражением лица. Рита насторожилась... — В чём дело? Что-то не так? — спросил Джейк рассеянно-недовольным тоном. Мол, нечего приставать ко мне с такой ерундой!

— К сожалению, оплата не прошла, — ответил тот. — Странно! Не может быть! Ах да, я перепутал. Прошу прощения! Моя вина. Это... м-м-м... старая кредитка, — спохватился Джейк и протянул официанту «Mastercard».

На сей раз всё обошлось благополучно. «Mastercard» не подвела. Но у Риты от этой сцены остался неприятный осадок.

Со мной бы такое не произошло. Я не ношу с собой просроченные кредитные карточки, немедленно разрезаю их и выбрасываю в мусор. Ладно, не буду заикливаться на этом, чтобы не портить себе настроение.

Как Джейк, так и Рита — оба оказались в меру разговорчивыми и за ужином не утомили друг друга излишней болтовнёй. Так что после ресторана ещё оставались силы для вечерней прогулки вдоль Гудзона.

Джейк взял Риту под руку, легко, ненавязчиво, насколько можно было это сделать, чтобы идти вместе и одновременно — психологически — на расстоянии.

Как он осторожен и умен! Боится меня спугнуть. Понимает, что такие крепости, как я, надо брать медленной осадой. Честь ему и хвала!

Рита улыбнулась своим мыслям. Ей нравились прикосновения его руки. Она не возразила бы и против более плотного касания при ходьбе.

Но зачем спешить, когда всё так хорошо начинается и впереди ещё целых девять дней для развития романа?

В одиннадцать вечера они решили немного посидеть в баре отеля, где остановился Джейк. Полковник заказал ещё один джин с тоником. Рита — стакан апельсинового сока со льдом. Кто-то негромко играл на фортепьяно. Хмельной Паркер подсел к пианисту и попросил разрешения самому сыграть и спеть песню «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Будучи слегка под парами, Джейк всё же сыграл и спел эту популярную песню гладко и с чувством. Не Фрэнк Синатра, конечно, но почти. Обитатели бара оживились, раздались одобрительные хлопки...

Какой у него приятный голос, и играет он вполне профессионально. Значит, в письмах не обманывал, что в детстве брал уроки музыки и пения...

Тем временем Джейк, одарив зрителей своей харизматичной улыбкой, раскланялся, но так неловко, что потерял равновесие, зацепился ногой за провод и чуть не слетел со сцены. Его поддержали, подхватили под руки и усадили за стойку бара.

Так, пожалуй, пора по домам, пока полковник не сломался... Надеюсь, он не каждый вечер прикладывается к бутылке.

— Ты чудесно пел и играл! Я в восторге! Но, знаешь, хорошенького понемножку. Мне пора домой. Поздно уже, — сказала она и, как бы в подтверждение своих слов, зевнула.

— Да, да, конечно, дорогая! Ты устала. Идём, я вызову тебе кэб.

— Да и ты устал от дороги... и вообще. Сегодня был такой насыщенный день.

— Если честно, да! Я очень устал... Как хорошо, что ты меня понимаешь. Ты — первая женщина, которая по-человечески разрешила мне быть усталым. Все другие только подгоняли меня, будто мой запас горячего неисчерпаем. Ты — просто сокровище, Рита! Я всё больше в этом убеждаюсь.

— Я же медсестра, Джейк. Могу понять и боль, и усталость. По-русски нас когда-то называли «сёстрами милосердия».

— Сестра милосердия! Красиво звучит, чёрт возьми! Милосердие полковнику Паркеру! М-да... Нет, это я так. Слегка выпил и ударился в пафос. Пошли!

Вдогонку Паркеру раздались одобрительные возгласы сидящих в баре:

— Эй, Синатра! Приходи ещё! Будем ждать...

Джейк помахал им рукой, как машет артист толпе своих поклонников.

Что-то совсем не армейские у него привычки!

Джейк посадил Риту в такси и широким жестом (только не возражай!) дал ей денег на дорогу домой. Она сначала отнекивалась, но в конце концов всё же деньги милостиво приняла и отправилась восвояси в Бруклин.

Рита приехала домой во втором часу ночи. Скинула туфли на высоких каблуках, села в кресло, блаженно вытянула натёртые ноги, закрыла глаза и стала перебирать в памяти события прошедшего дня, подводя итоги встречи.

Джейк вёл себя безукоризненно. Надо отдать ему должное: вежлив, хорошие манеры, умеет красиво говорить, но не болтун. Видно, что небогат, но не скряга. Правда, был неприятный инцидент в ресторане с кредитной карточкой. Впрочем, с кем не бывает! Не все же такие перфекционисты, как я! Да, но он военный и должен быть перфекционистом. Иначе какой же он командир! Так, всё, проехали! Какого чёрта я прицепилась к этому

инциденту? У Джейка масса положительных качеств. Он знает себе цену, но не нахал. Словом, джентльмен. К тому же симпатичной, хотя и несколько увядший. Ну не мальчик же в сорок-то восемь лет. В общем, он вполне светский, комлиффо, хоть и военный. И... он мне понравился. Да, да, определённо понравился! Не стану перед собой лицемерить. Впрочем, впереди целых девять дней. Поживём — увидим... Надеюсь, неприятных сюрпризов больше не будет.

Погода на следующий день выдалась как по заказу: тёплая, мягкая, настоящая сентябрьская. Нет прекрасней поры в Нью-Йорке, чем ранняя осень и индейское лето! Для прогулок лучше не придумаешь. Джейк приехал на сабвее в Бруклин, Рита подхватила его на машине, и они отправились в Бруклинский ботанический сад. Оба, не сговариваясь, оделись по-спортивному: джинсы, кроссовки, ветровки. Увидев друг друга, даже рассмеялись.

— Рита! Ты во всех обличьях хороша! Представляю, как великолепно ты в вечернем наряде! Надеюсь, мне посчастливится увидеть тебя в длинном шёлковом платье с вырезом и открытой спиной... Ты ведь не сочтёшь моё пожелание нахальством?

— Спасибо за комплимент, Джейк! Не вижу никакого нахальства... Если хочешь, мы с тобой пойдём в ночной клуб... ну, хоть завтра, и я надену что-нибудь длинное, шёлковое, открытое.

— Идёт! — с готовностьюотреагировал Паркер и решительно взял Риту под руку.

Это уже был совсем другой жест, не тот, что накануне. Обхват более плотный, тесный, несколько даже собственнический. Не только рука к руке, но и бок о бок, бедро к бедру. И Рита не противилась, не отстранилась. Присутствие Джейка волновало. Химия работала реактивно и стремительно. Рита расслабилась, потеряла свою всегдашнюю бдительность. Настороженность сменилась доверием.

Пусть Джейк почувствует мою симпатию.

Осенний ботанический сад с его буйством зелёно-жёлто-красных оттенков (в преддверии постепенного увядания) был вызывающе живописен. Ветерок срывал с сиреневых и белых шапок хризантем нежные лёгкие лепестки, кружил ими в воздухе и разбрасывал по дорожкам и аллеям сада. Джейк и Рита спустились к японской беседке. Рита молча смотрела на воду и восторгалась огоньками золотых рыбок.

— Джейк, смотри, какие красивые рыбки! И какие крупные!

— Да, рыбки чудесные, что и говорить! А самая крупная и красивая золотая рыбка — это ты, Рита...

— Ты умеешь делать комплименты женщине, Джейк. Я польщена. Только помни, что золотые рыбки — декоративные существа. Они несъедобны. Их не ловят на крючок!

— Я помню, дорогая! Зачем же на крючок? Ведь можно завести аквариум. Запустить туда золотых рыбок. Ухаживать за ними, кормить... и любоваться. Когда я был маленьким, у нас дома были рыбки, попугайчики, кошка и собака. Целый домашний зверинец. Дом и сад. Home, sweet home! Вспоминаю, и меня, старого вояку, аж слеза прошибает. Армейская служба, вечные дислокации, безликие, неуютные съёмные квартиры! Хочется, наконец, занять свой постоянный угол, свой очаг. И чтобы рядом была любимая женщина, которую я буду беречь и охранять... от напастей и тягот жизни. Да, что-то я размечтался... — добавил Джейк и покосился на Риту.

— Я думаю, что твои мечты вполне осуществимы. Правда, до пенсии тебе далеко, но можно выйти в отставку... Остаётся только влюбиться и...

— Кажется, я уже влюбился, как старый, усталый, заезженный конь, которого наконец распрягли и выпустили на лужайку.

— Так это же прекрасно! Ешь траву и резвись, как жеребёнок, — кокетливо сказала Рита и засмеялась.

Интересно, он действительно в меня влюбился или просто вошёл в роль?

Они покинули японский уголок, поднялись по ступенькам наверх и не спеша побрели по тропинке в глубь ботанического сада. Подошли к искусственному пруду с кувшинками. Укромки стояли молодожёны и позировали для фотоальбома и семейного видео. Они были юны, красивы и заразительно счастливы. Рита вспомнила свою свадьбу, не сложившуюся семейную жизнь и болезненный развод. Джейк, видимо, тоже вспомнил что-то грустное. Помрачнел.

Как бы я хотела знать, о чём сейчас грустит этот совершенно чужой, знакомый по письмам и абсолютно незнакомый мне до вчерашнего дня человек! Человек, к которому меня тянет, как мотылька на огонь! Мужчина, с которым мне так хорошо и спокойно было идти под руку.

Деловая, рассудительная, трезво мыслящая, Рита не узнавала себя ни в мыслях, ни в поступках. И от этого неузнавания в её душе рождались противоречивые чувства: удивление, растерянность и неожиданно растущая радость. Слабый ещё росток радости тянулся вверх, невзирая на другие побег и сорную траву вокруг.

Они долго гуляли по аллеям ботанического сада, перекусили в местном ресторанчике и поехали в кино на психологический детектив, получивший премию на фестивале в Каннах. Фильм был отнюдь не для широкого зрителя, к которому, похоже, принадлежал Джейк. Но Рита захотела посмотреть именно этот фильм, и Джейк неохотно, но всё же согласился.

Чтобы только поддержать свой интеллектуальный имидж и не ударить передо мной в грязь лицом. Так это же хорошо. Хочет произвести

впечатление. Значит, я ему действительно нравлюсь.

В кино сидели, как подростки, на последнем ряду. Джейк держал Риту за руку и играл её пальцами. Трудно было сосредоточиться на содержании фильма. И без того сложный сюжет прошёл мимо её сознания. Она думала о том, что теперь делать, каким будет следующий шаг их отношений.

Бесприютно и бесконечно бродить по улицам города? Разбежаться по домам до завтрашнего дня? Может, решительно поехать в отель или... на квартиру ко мне? Ну что я теряю? Мне скоро стукнет сорок. Если не сейчас, то когда? В крайнем случае, наступит разочарование, и мы разойдёмся каждый в свой мирок.

— Поехали ко мне, — расхрабрившись, просто сказала Рита, осознавая банальность своего предложения и наперекор этой банальности. — Посмотришь, как я живу.

— Да, к тебе... Охотно! — согласился Джейк и как-то облегчённо вздохнул. — Давай заедем по дороге в магазин и купим вина.

— Сегодня воскресенье, алкоголь не продают. Ты забыл, Джейк? У меня дома есть что выпить, не беспокойся.

Джейк улыбнулся:

— А я и не беспокоюсь. Совсем даже наоборот. Чувствую удивительное, небывалое успокоение. Рита! Рита!

Она жила в добротном кооперативном доме с дорменом, в хорошем районе Бруклина. У неё была современная двуспальная квартира с балконом, купленная и выплаченная ещё вместе с мужем в лучшие времена их совместной жизни, в надежде на процветание чувств и прибавление семейства. Процветание чувств сменилось их внесезонным увяданием, когда её муж неожиданно влюбился в молоденькую девушку и ушёл из дома. Правда, он проявил щедрость и благородство, оставив бывшей жене квартиру. Запланированное прибавление семейства так и не состоялось.

Рита любила свою квартиру и сумела создать уют и комфорт, которые Джейк тотчас же увидел и оценил.

— Как у тебя красиво и уютно, дорогая! Совсем неплохо для бывшей иммигрантки, — отметил он, присвистнул и поцеловал Рите руку. — С какой радостью и охотой я бы здесь остался, если бы только не...

— Если бы что не...? — спросила она.

— Да так. Ничего! Всякая ерунда лезет в голову. Не обращай внимания.

В эту минуту подал голос его iPhone. «Блямс!» — раздалось из кармана. Джейк достал мобильник, подошёл к торшеру, прочитал сообщение, махнул рукой и произнёс:

— Что ж, этого следовало ожидать. Чёрт с ними! Не буду портить себе настроение.

— Чего следовало ожидать? — уточнила Рита.

— Маленькие неприятности по службе. Это тебе неинтересно, дорогая.

— Мне всё о тебе интересно, Джейк Паркер.

— Хорошо, я как-нибудь расскажу тебе... Я непременно тебе всё расскажу. Только не сегодня. Не сейчас. Не будем портить наш вечер.

— ок! Не будем, — согласилась Рита.

Джейк тяжело опустил своё крупное тело на диван в Ритиной гостиной, вытянул ноги, раскинул руки вдоль кожаной спинки, распластался, словно у себя дома, освоился, прикрыл глаза, не выдавая печали во взгляде, и снова водрузил улыбку на лицо...

Ему не очень весело, но он умеет переключаться... усилием воли. Настоящий военный!

В этот вечер Паркер не вернулся в отель. Не вернулся в отель он и на следующий день. Надо было только заехать туда оплатить счёт и забрать вещи.

У Риты был муж и до него и после — любовники, с которыми ей было хорошо и не очень. Словом, как придётся. Джейк оказался настолько нежным и тонко чувствующим женское тело, что Рита блаженно таяла в его ласках.

Вот она, настоящая американская любовь, о которой пишут бестселлеры и снимают кино! Я не ошиблась!

— Ты, ты... мне сказочно приятно с тобой! Я и не предполагала, что такое бывает. Что это? Опыт? Интуиция? Любовь? — бормотала Рита.

— И то, и другое, и третье... Ублажить, заморозить любимую женщину — для меня главное, — с гордостью сказал Джейк, помолчал и добавил: — Впервые за последние годы мне не только хорошо с женщиной физически, но как-то спокойно и надёжно. Душевно. Жутко не хочется возвращаться в Афганистан!

— Ну так оставайся! — полушутя сказала Рита, осознавая всю невозможность и даже абсурдность своего предложения.

— Я бы остался, как говорится... in health and sickness till death do us apart (в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас), если бы не...

— Служба в армии...

— И не только. Есть ещё другие обстоятельства... Нет, не могу сейчас об этом говорить!

— Ну, не говори, раз не можешь. Я не настаиваю. Потом расскажешь.

Погода продолжала оставаться солнечной и тёплой. Они проводили дни в прогулках по Манхэттену, ланчевались в ресторанчиках и кафешках. Одну ночь, вернее, полночи просидели и протанцевали в русском ресторане на Брайтоне. Джейк любовался Ритой, которая сияла улыбкой и шелками открытого вечернего платья, и не переставал удивляться оглушающей громкости музыки и обилию

разнообразных блюд, заказанных по банкету на двоих. «Кто же в силах столько съесть?» — повторял он, пробуя, однако, всё подряд. Рита, глядя на его безуспешные попытки справиться с потоком русской еды, веселилась:

— Какой ты смешной, Джейк!

— Так я же клоун! Да, я шут, я циркач... — пропел Джейк приятным баритоном... потом вдруг смутился и вопросительно посмотрел на Риту.

Она растерялась, не знала что сказать...

Слишком много фиглярства для полковника...

Спать легли под утро. Рита проснулась в полдень, открыла глаза. Джейка рядом не было.

Он же солдат. Привык вставать в шесть утра во что бы то ни стало. Полежу ещё немного.

В соседней комнате зазвонил мобильный Джейка. Риту одолело обычное женское любопытство.

Интересно, кто ему звонит? Может, ещё одна дама сердца?

Рита встала с постели, бесшумно приоткрыла дверь, услышала обрывки разговора:

— Прости, не могу я тебе выслать денег.

— Знаю, что обещал.

— Ну нет денег, совсем нет! Понимаешь? «Visa» накрылась.

— Не могу я снять деньги с «Mastercard». Мне надо ещё за отель заплатить и купить билет на самолёт.

— Я не знаю, что тебе делать. Всё, пока! Я занят. Не звони. Я сам тебе позвоню.

Джейк нажал «отбой».

Так, всё ясно! Мой полковник беден, он на грани банкротства. Ну и что? Как говорится, бедность не порок. Лишь бы человек был хороший, порядочный и... любил меня. Да, но он кому-то обещал послать деньги. Неужели какой-то женщине? Это уже слишком! Спать со мной, объясняться мне в любви, жить у меня на всём готовом и параллельно содержать любовницу! Отвратительно! Не верю! Не желаю верить!

Расстроенная, злая Рита, с распушенными волосами, в полупрозрачной ночной рубашке, стояла посреди спальни и обдумывала диалог с Джейком и дальнейший план действий.

— Доброе утро, любимая! Как спалось? — Джейк тихо вошёл в спальню и попытался поцеловать Риту в плечо.

Она отстранилась:

— Я невольно услышала твой телефонный разговор, прости!

— Нехорошо подслушивать чужие разговоры, детка!

— Я же сказала: прости.

— Уже простил. Ну и что же тебя смущает в моём разговоре? Мне скрывать нечего! — петушился Джейк.

— Меня смущает, что... ты кому-то обещал послать деньги. Кого ты содержишь, Джейк?

— Я, я... никого не содержу. Просто надо платить за обучение сына. Я же писал тебе, что Крис учится в Оксфорде.

— Так деньги — сыну?

— Конечно! А ты что подумала?

— Ничего... Но у тебя, оказывается, и денег-то нет. Неужели полковник американской армии так мало получает и за столько лет службы не сделал накоплений?

— Я получаю достаточно. Просто у меня в этом году были... непредвиденные расходы.

— Я не имею права спрашивать, какие такие у тебя были расходы. Меня больше интересует, как ты собираешься выходить из положения. Я бы могла тебе немного помочь. У меня есть сбережения. Если надо, я...

Джейка аж передёрнуло. Он покраснел, сжал губы в тонкую линию, как будто вспомнил что-то ужасно неприятное:

— Этого ещё не хватало! Чтобы я взял в долг деньги у любимой женщины? Никогда! Не волнуйся за меня. Мне в конце года полагается... кругленькая сумма за... выслугу лет. Вот! Не думай и забудь!

Джейк снова поцеловал Риту в плечо, потом в шею... Она размякла, как белая булка в молоке, перестала думать и почти забыла...

Мой ласковый, мой... любимый Джейк! Да, да, мой любимый!

Отпуск Джейка подходил к концу. Оставалось два дня до отъезда. А они ещё даже не обсудили планы на будущее.

Он несколько раз пытался рассказать мне что-то важное, но так ничего и не рассказал. И предложение не сделал. Так и уедет обратно в свой Кабул. Будем снова переписываться до бесконечности.

— Как быстро летит время, Джейк! Послезавтра ты улетишь в Афганистан. Грустно. Наверное, не скоро мы ещё встретимся.

— Да, Рита, дорогая! Кончается мой отпуск.

— А когда завершится твоя служба в Кабуле?

— Не знаю. Если бы знал, не сказал бы. Это военная тайна.

— Понимаю... Но ведь раньше или позже мы выведем войска из Афганистана и тебя куда-нибудь переведут? Например, в Нью-Йорк... — Рита не теряла надежды.

— Да, конечно! Непременно переведут. Только вот куда? Может, в Нью-Йорк, может, на Гавайские острова или на Аляску, — Джейка понесло в минор.

Он подсознательно (или сознательно?) стремился вызвать в Рите чувство сострадания и жалости к себе.

Рита уже почти готова была заявить, что поедет с ним куда угодно, хоть в Антарктиду, но спохватилась и прикусила язык. Только и смогла проворкотать:

— Не говори так, милый! Мне будет жутко одиноко без тебя.

— А мне — без тебя!

Неужели ничего нельзя сделать? Совсем ничего?

Настала последняя ночь перед отлётом. Джейк спал на боку лицом к стене, тихонько похрапывал, так доверчиво и по-домашнему. В спальне было душно. Рита не могла уснуть, встала, чтобы открыть пошире окно. Босой ногой наступила на какой-то предмет. Этим предметом оказался бумажник Джейка, который, видимо, выпал из кармана его брюк.

Какой потрёпанный у него бумажник. Надо будет подарить ему новый...

То ли снова любопытство одолело, то ли чёрт попутал, то ли ангел-хранитель наконец-то распротёр над женщиной свои крыла... Рита взяла в руки бумажник, вышла в другую комнату, служившую кабинетом, зажгла свет и заглянула внутрь своей находки... Там было всего-то сорок долларов наличными, driver license штата Флорида и несколько кредитных и дебитных карточек на имя Энтони Марино...

Кто такой этот Энтони Марино? И почему у Джейка его документы? Господи, а фотография-то Джейка... Какая же я идиотка! Значит, мой Джейк Паркер и есть Энтони Марино из штата Флорида. Никакой он не полковник американской армии, а просто обманщик, преступник... А кто же тогда настоящий полковник Джейк Паркер, и существует ли он вообще?

Рита включила компьютер, вошла в «Google» и набрала латиницей слова: «Parker Jake colonel us Army». Искать долго не пришлось. Сразу высветилось немалое количество ссылок на статьи, сообщения и фотографии настоящего полковника по имени Jakob Francis Parker. Именно его фотографии и переставленные местами имя и фамилию без middle name выложил Энтони Марино на «Facebook-е». Между их лицами было поразительное сходство, которым и воспользовался Энтони.

Так вот почему Джейк писал, что ему не нравится его middle name. Теперь мне всё ясно. Какой кошмар! Во что я влипла? И что нужно от меня этому Энтони? Кажется, такие мужчины называются брачными аферистами. Боже мой, что мне делать? Сказать ему, что я догадалась об обмане, или положить бумажник на место и пока притвориться, будто я не в курсе и всё прекрасно? Прямо сейчас позвонить в полицию или подождать? А чего ждать? Что он убьёт меня? Нет, мой ласковый Энтони-Джейк, может быть, обманщик, прохвост, но не убийца!

Рита совсем растерялась. От отчаяния и унижения обхватила голову руками и, громко всхлипывая, зарыдала. У неё началась настоящая истерика. Мужчина, который называл себя Джейком

Паркером, проснулся от Ритиных рыданий, встал с постели и пошёл на звук Ритино го л о с а. Увидев её, проливающую слёзы над разбросанными на письменном столе своими документами, он всё сразу понял. Хотел было обнять женщину, чтобы успокоить, но одумался. (Ещё, чего доброго, пощёчину отвесит! И будет права!) Рита продолжала всхлипывать. И тут Джейк-Энтони заговорил. — Да, Рита, моя дорогая и любимая женщина! Я не тот, за кого себя выдавал, и мне очень, очень стыдно перед тобой! Расскажу тебе всё как на духу. Выслушай меня, пожалуйста, не перебивай!

Рита молча подняла заплаканные глаза к потолку, вздохнула, развела руками... И в этом жесте была смесь гнева и растерянности, разочарования и беспомощности.

— Моё настоящее имя — Энтони Марино, и к американской армии я не имею никакого отношения. Я безработный, без определённых занятий. Ни накоплений, ни собственности. Съёмная квартира и старенькая машина. В моём теперешнем бедственном положении у меня не было никаких шансов завоевать красивую и успешную женщину, такую, как ты. Я знал, что женщины любят и ценят военных высокого ранга. Назваться генералом не рискнул. Это было бы уже слишком! Долго искал в Интернете похожего на себя военного. Повезло: нашёл-таки полковника Джейкоба Ф. Паркера. Переделал его имя в обратном порядке, убрал middle name... для безопасности, на всякий случай. Позаимствовал парадный военный мундир из шкафа своего дядюшки, тоже полковника. Он в доме престарелых, так что мундир ему всё равно уже не понадобится...

Рита застыла, она ловила каждое слово Джейка. Ей хотелось за что-то зацепиться и понять, понять... Он продолжал свой монолог, беспокойно ходил по комнате.

— Я не убийца, не вор, я — обычный брачный аферист. Я обманывал тебя и в прошлом... других женщин. Женился, разводился, менял имена, играл на бирже, в казино, получал деньги и собственность по разделу имущества, всё просаживал и снова вступал в брак. Привык к такой жизни и уже не хотел, да и не мог остановиться. Я сам думал ещё вчера тебе во всём признаться,

но не решался и отложил на завтра... Дело в том, что я встретил тебя, и во мне что-то сломалось, поменялось. Я влюбился, как мальчишка, как старый дурак, и я хочу быть только с тобой. Ты, добрая душа, предложила мне помочь с деньгами, но я отказался. Я не могу брать у тебя деньги! У других женщин брал. У тебя — не могу. Ты мне стала дорога, дороже денег... Я сам от себя такого не ожидал. Можешь мне не верить, можешь хоть сейчас сдать меня в полицию, и я даже не буду сопротивляться. Я слишком устал от афер и приключений! Хочу быть с тобой, хочу жить честной жизнью и спокойно спать. Если можешь, прости меня! Умоляю, прости меня! Дай мне шанс доказать тебе свою любовь. Знаешь, я из хорошей семьи, и у меня высшее образование. Я могу работать: например, петь в ресторане... или делать что-то другое. Я буду работать! Что ты молчишь? Скажи хоть слово!

Тут Энтони, исчерпав своё красноречие, бухнулся на колени. Безопасность падения была рассчитана с точностью: пушистый ковёр смягчил удар. Заспанный мужчина со всклоченными волосами, в пижаме, на коленях! Трагикомичное и жалкое зрелище.

Рита выслушала длинную речь вроде бы раскаявшегося грешника, немного успокоилась, перестала рыдать, пошла в ванную, умыла лицо холодной водой, вытерла полотенцем. Джейк-Энтони покорно поплёлся за ней, ожидая приговора. Она посмотрела на него и спросила:

— А покойную жену и сына в Оксфорде ты тоже выдумал?

— Нет! Моя первая жена действительно умерла от рака. И Крис её сын. Мальчика воспитывали родители жены. Крис учится в колледже, правда, не в Англии, а в Нью-Джерси. Ну, приврал я. Хотелось произвести впечатление. Прости меня, Рита!

Рита посмотрела на Джейка, оглядела себя.

Как же всё нелепо! Он в пижаме, я — в ночной рубашке. Ночь! Выяснения отношений. Настоящая мелодрама! Фарс какой-то. И грустно, и смешно!

Она отвернулась от Джейка и бросила ему через плечо:

— Я пока не знаю, что мне делать с тобой, Джейк, то есть Энтони... Пойдём на кухню, выпьем кофе.

Мартин Мелодьев

На конечной станции

Анатолию Величко в Париж

Он в Париж не придёт никогда.
А. Величко

Академгородок... мгла берёз,
ночью заморозки на почве.
Основной философский вопрос:
имманентно ли вскрытие почте?
Спросишь сдуру: «Почём пирожки?» —
и услышишь: «Тут вам не Саратов!
Это пицца»... Цветные кружки
адресатов. Париж. Кто куда.
Даже те, кто остались, — в астрале.
Из физических мы навсегда
виртуальными лицами стали.

Антиномия «розы — шипы»,
но шныряют по трактам пакеты...
Он придёт. Будь здоров и пиши.
Этот вирус...

Вальс памяти Макса Кюсса¹

Ну, где Одесса, и где — Амур,
дальневосточный кус?
На глухомань наводя гламур,
вальс сочиняет Кюсс.

Прячется Владивосток в ночи,
чёрный плетень городит рука...
нежно и медно — так зазвучит
капелла его полка.

Так — разлинованный нотный лист —
головы всем вскружил
вальс, потому что его мотив
сдержан, зато не лжив.

Течение лет, шелестенье дней,
«Волны» не сходят с уст.
Жертвой второй моровой войне
стал капельмейстер Кюсс.

Волны... Не знаешь, куда и плыть...
...хоть бы оркестр играл.
Не позабыть — и не воскресить
тот, допотопный, бал.

Мне воздастся ли за труды,
или нет — не один ли чёрт?
На Святошинские пруды
жёлтый ангел меня влечёт.

Баснословный Новосибирск,
прародительский Киев-град...
До сих пор на душе саднит —
зелен, стало быть, виноград.

Вот ещё один день потух,
как сиреневые кусты.
Ох уж эти мне мысли, вслух
проговоренные, — пусты.

Всё, что выдумал-сочинил, —
напечатай, и пусть растут!
До сих пор бутылёк чернил
авторучки, как мать, сосут.

Светлане

Чужое детство: продавцы «слатков»,
за окнами разлившаяся Омка.
Дом рыбака: мормышки, блёсны, корм,
и улица Сенная, в три пригорка.

На Госпитальной перехлест ветвей
февральским утром,
снег, седой и резкий.

Палата, где лечился Достоевский,
почти не изменилась... Через мост —
Заомскворечье, с видами на Омск:
глухой забор, ворота выше крыши,
на горизонте нефтекомбинат.

И если карты правду говорят,
Их на конечной станции услышат.

1. Макс Авелевич Кюсс — военный музыкант, капельмейстер, автор одного из самых известных русских вальсов. Погиб в оккупированной Одессе в 1942 году.

Экскурсия

«Новосибир-р-рск?» — поморщатся брюзги.
Бесспорно, есть стариннее места.
Есть города, пошедшие с избы,
а этот начал строиться с моста.
Новосибирск! Я старый твой ландскнехт,
я жил на Башне, город сторожил я,
и тополиный пух летел как снег,
и были длинные осени и зимы,
дымы и трубы. Много есть примет
в Новосибирске, что неизгладимы.

...Хотя бы эта: детство в «Трёх гробах» —
три дома от эрзац-конструктивистов
у самой кромки Сада металлистов;
мощёный двор — он так волшебным пах
печёным хлебом, снегом, чем-то мятным, —
а за дорогой начинался парк!

1.

...Вечерний парк, отрада горожан.
Пропитан воздух сладкой резедой,
идёшь ты, современен, моложав,
сквозь бабушек с их вечной дерезою.
Вдруг — памятник, — и руки, как стрижи,
мгновенно вылетают из карманов.
Здесь на века застыла в камне жизнь,
прост памятник, поскольку он о главном.
Остановись у каменной черты:
четыре вертикальные плиты,
литые буквы смотрят с пьедесталов.
Фамилии погибших видишь ты,
их совпадения — до инициалов,
и у подножий алые цветы.

Aeternum... спит военный монумент.
Но где же те, давнишние, скульптуры,
произведения гипсовой культуры?
Вон там стоял — или стояла? Нет,
неведомого мастера создание — стоял...
стояло... в общем, изваянье
с увесистой ракеткою в руке
и улыбалось, а невдалеке,
неразлучимы, словно Диоскуры,
на общем постаменте — две фигуры.
Певица из таверны, верь! с тобой
мой робкий стих соперничать не станет.
Остался постамент, потом фундамент,
потом квадрат... Квадрат порос травой.

2.

Нам часто снится молодость, дразня
своей несуществующей загадкой, —
как будто книга с выцветшей закладкой,
захлопнутая в сутолоке дня.

...Научный городок; его звезда,
взошедшая когда-то так высоко,
от Балтики до Дальнего Востока
была видна. Пожалуйте сюда.
Сначала Шлюз... деревья фонарей
разубраны полуночной водою,
и прошлое чурается своей
прямой задачи: встать передо мною.

Шоссе, пятно луны в размытом круге,
изнеженная графика берёз,
и сосен молчаливые зверюги,
и свет фар, и шелесты колёс,
и цепь машин, и смена построений,
дорожных знаков синие цветы —
и точки неизвестных предложений,
пробитые в копирке темноты.

Проспект Учёных...

скоро сквозь листву ты
увидишь: проступают корпуса.
Спит городок, уснули институты,
храпят вахтёры, дрыхнут чудеса.

Генетик! Мой привет тебе особо,
мы существуем парой — ты и я.
Тыловишь в окулярах микроскопа
комбинаторный призрак бытия,
и тоже не одну напишешь книжку
о том, что мир устроен кое-как,
и свалишь с кочана на кочерыжку
ответственность за лист, что съел червяк.
И ты во всеоружии науки
пренебрегать собратом не спеши.
Давай с тобой пожмём друг другу руки...
в конце концов, мы оба хороши.

3.

Ноябрь...
молочные коктейли
свертела вьюга ночью за окном.
Волошинского Крыма акварели,
где розовый на сизый заменён,
а ветер тот же, что и в Коктебеле.

...А вместо гор пустынные дома,
а вместо тёплых — стылые тона.
А ветер тот же, что и в Коктебеле.

Эдуард Учаров

Звонарь



Мёртвым словом вытяни созвучья
к нёбу воспалённому, и чтоб
трепетала радостью паучей
паутинка голоса взхлёб.

Пусть затянет раны неживые
болью окаянной ножевой—
будто на язык твой кто-то вылил
олова расплавленного вой.

Выпрями тугие плечи звука,
грудью напирая на глагол...
Ничего, что боль твоя безрука,—
был бы в лёгких медленный прокол.

Засипит латынь во славу Бога:
выспренно, таинственно, черно—
эта мёртвость значит очень много,
а живое слово—ничего.



По вечерам они целуются,
когда волшебнo фонари
на незнакомой лунной улице
подобны бликам от зари.

По вечерам на ветхой лавочке
они листают впопыхах
влечения небесный справочник,
любовью изданный в томах.

По вечерам в сени красавицы—
слегка задумчивой ольхи—
они друг к другу прикасаются,
читая по глазам стихи.

Крадут они у ночи-стражницы
печальных звёзд пролитый свет.
По вечерам им снова кажется,
что Бог, конечно же, поэт.

Звонарь

Я ещё до конца не изучен,
не испытан на прочность пока,
но как колокол бьётся в падучей—
я набатом сдираю бока

и плыву в этих отзвуках долгих,
наблюдая, как с гулом сердец
проступает над веною Волги
побелевший часовни рубец.

И в малиновом хрусте костяшек,
на ветру у свияжских лагун,
прозреваю я голос свой тяжкий,
но понять до конца не могу.

Бечеву до небес изнаждачив,
истрепав до полбуквы словарь,
захожусь в оглушительном плаче—
одиноко зовущий звонарь.

Окно

Окно—милосердное эхо
погасших квадратных небес,
для беглой свободы прореха
во мрачной квартире словес,

колючая прорубь в иное,
что острою рябью стекла
моё любопытство льняное
вспороть до затылка могла.

Окно—путеводная нитка,
ведущая в пропасть ушка,—
как первая к смерти попытка
последнего в жизни прыжка,

и млечная оторопь света,
и ночь задушевной брехни,
в губительный мир без ответа
раскрытые настезь стихи.



Галине Булатовой

Птичий контур, чертёж без деталей,
в небо шаг, или взмах, или два,
от осенне-осиновых далей,
пункт за пунктом, пунктиром, едва,

прочертив облака, предназначав
оставаться на окнах ночей
и пером по бумаге зачем-то
лунной горлицей стынуть ничьей,

занемочь, где в сиреновой тряске
клювы клином вбиваются в юг,
и синицы, сипя на татарском,
минаретные гнёздышки вьют,

задышать глубоко в понедельник,
отыскав голубиную клеть,
и застуженный крестик нательный
на груди у меня отогреть.



В день бездумный и промозглый
от глубин весенних чащ
до костей и вглубь, до мозга,
воздух длинен и кричащ.

Ветер в хлопотах довольных
дни и ночи напролёт
звон от струн высоковольтных
в шапку ельника кладёт.

И, похрустывая веткой,
к жгучей радости крапив,
шаг зари в обувке ветхой
по земле нетороплив.



А что поэт? Сидит себе на жёрдочке,
клеветает клювом, зарится пером...
Легонечко весна коснётся форточки
и озарит лазурью птичий дом.

По зёрнышку, по лучику, по ядрышку
накрошит в плоску солнечных деньков
и радужно их сядет щёлкать рядышком
за прутьями плывущих облаков.

У клетки золотой названий тысяча.
Щеколдой нёба небо щекоча,
и ты сейчас сидишь себе напыщенный —
соловушка в облике грача.



Когда бессмертную монаду
Господь от мира муз отъемлет —
прошу, друзья мои, не надо
закапывать поэта в землю.

Пушай застонет дверца топки
и звякнет крестик мой нательный —
по небу разлетаясь робко,
я превращусь в дымок котельной.

Я сам себе бессмертный свиток,
который загорится жарко,
и в пытках от пустых попыток
не будет рукописи жалко.

Николай Вдовин

Проповедник сомнения

Проповедник сомнения

Голоса неизвестных солдат из братской могилы
не слышны. Связь между воронками и воронками
если и помнят, то немногие, причём очень смутно,
зато медь и свинец сегодня снова в цене.
Заклёпки на панцире цивилизации рвутся,
ноют зубы под пластиковыми коронками,
чешуя мирных рыб блестит легированной сталью—
видимо, мы соскучились по серьёзной войне.

Видимо, со дня окончания последней
сочинили слишком много стихотворений.
Тонкая плёнка пузырится и лопается
в самых, казалось бы, неподходящих местах.
А по дорогам, которые не значатся в списках,
навстречу нам идёт проповедник сомнения,
наблюдая, как вручную переключаются передачи,
как меняются слоганы на деревянных шестах,
как кровеносные ветви берёз вечерами
погружаются в тёплую марганцовку заката,
как цифры вытесняют собой целлюлозу,
а сфера сознания теперь лишь модель
для сборки, и вредоносные вирусы,
возможно, в последнюю очередь виноваты
в том, что виснут встроенные в нас компьютеры,
но пули охотников всё чаще бьют в цель.

Он идёт оттуда, откуда в легендарное время
к нам приходили проповедники веры.
Они пугали, заманивали, давали надежду,
торговались, любили, приносили дары.
Мы присвоили их себе, сделали персонажами
спектаклей, иных поселили в пещеры,
но с тех пор если горы куда-то двигались,
то лишь в результате разломов коры

континентов. И наши молитвы здесь были
ни при чём—просто без перерыва и предоплаты
всё, что отражается сегодня в жидких кристаллах,
было нервными строчками написано на роду.
И при таких-то грехах и погрешностях
мы ещё умудряемся утверждать постулаты
и, убеждённые в том, что ведём поиски истины,
ищем свою правоту.

Господи, во что мы только не верили!..

Какое духовное пиво только в нас не бродило,
под какими крашеными тряпками мы не строились,
каким только извергам не присягали навек...
Так что если нам, как пролежням или коросте,
суждено сойти с карты легко и красиво —
первым, кто утопит роковую кнопку,
безусловно, будет верующий человек.

Что же может сказать нам проповедник сомненья?..

Тем более — для того, чтобы кого-то услышать,
надо сначала замолчать как минимум,
у нас же мысли толкаются, точно камни во рту,
и слова умирают ещё до рожденья,
не успев обрасти содержанием, как мышцами,
отчего кислород постепенно превращается
в концентрированную кислоту.

А он идёт из молчанья. Ему совершенно незачем
усиливать фоновый шум, поскольку отечество
для него — тишина, и значит, бесполезно пробовать
носить плащи из брезента или строить мосты,
реализуя себя в этом мстительном космосе,
разделённом на небо и твердь опрометчиво.
Однако кто-то должен стать голосовыми связками
творящей пустоты.

Кто-то должен спросить тебя: отчего ты думаешь,
что у всех остальных — миражи и химеры?
Чем питаются корни твоих праведных помыслов?
Действительно ли солнечны твои города?
Ведь вполне может быть, что все священные вещи
есть не более чем птолемеевы сферы.
А в этот раз грозятся подешеветь миллиарды,
и жирнее нефти станет питьевая вода...

Поэтому он тоже говорит, только его проповедь
не имеет в себе ни крючка, ни грузила:
остановись, не спеши, посмотри внимательно,
как молочные пчёлы приносят призрачный лёд,
как краснеют спирали над крышами, и всё-таки
усомнись в своей самой любимой иллюзии,
ибо отныне только твоё сомнение
освободит тебя и спасёт

от мучительных выборов внутри лабиринта,
из которого ни по струне, ни по канату не выйти.
...А на чёрном бархате проснётся зелёная замша,
затем откроется бумажная белизна, а вслед
за ней беспроводная система Вселенной
подведёт к тебе ток из-за горизонта событий,
и вот тогда станет ясно, действительно — ясно,
что, кроме этого, у тебя ничего и нет.

Деревенские куплеты

В нашей деревне играют на свадьбе те же, что на «жмуре»,
под Рождество на колёсах лысеет резина,
завтрашний день копошится в толстом настенном календаре,
и преет над лесом хлипкая мешковина.

Мне довелось караулить комбайны, жечь на полу самогон,
быть то серьёзным, как дуб, то пластичным, как липа.
Однажды меня за оврагом, к счастью, не встретил дед Варион,
а если бы встретил, заметил бы что-то типа:

«Экий, милоч, торопыга ты... Всё б тебе действовать сгоряча,
всё б на последних страницах мусолить задачник.
Только запомни: шибко не потешайся над лысиной Лукича,
когда по ней тупо пройдёт асфальтоукладчик».

Услышал бы я его? Вряд ли... Кто тут прислушивался к старикам,
кроме тех бедолаг, что клянчат у магазина?
А Лукич, раскурив козью ножку, шёл в сельсовет, как будто во храм,
где забивал шелухой кипячёной корзины.

Он ещё та окаянщина—мажет печной золой потолка,
прячется в свежих зародах, когда на рассвете
ветки крыжовника девки вплетают в праздничные венки
и дарят ему, пока парни тайком ставят сети.

В клубе художник лик чудотворца писал, вырезал, лепил,
а выходит обратно Лукич в разных ракурсах! Впрочем,
мой сосед, разминувшись с любовью,—сто пудов—бы его подстрелил,
если бы он сфокусировался в одной точке.

Что до меня, так и я куролесил, хоть вызывай врача,
путаясь в ворохе дров, горбыльков и прожилин,
а у господской калитки белела лысина Лукича,
только вот плечи под ней были чьи-то чужие.

...Быть может, поэтому в нашей деревне как-то неладно идут дела,
редьку ли, хрен виртуально берёшь на съеденье.
Тыквы сажил я с чистой молитвой—ни одна так и не взошла,
и дровосек, взяв аванс, прогулял мои деньги.

Всё понимаю. Готов проповедовать: жалоба—смертный грех,
а начнёшь вспоминать, так ведь вспомнишь как пить дать про это...
Кистью черёмухи падаешь в воду—слышишь русалок нездешний смех,
но ни в нём, ни в классических формулах нет ответа:

быль или небыль витает над нами? Отчего залихватский гопак
пляшет на грядках град, словно жемчуг крупный?
Где та развилка, сойдя с которой, что-то пошло не так?
Или как раз так и надо всем нам?... А вот друг мой

столяр с инициалами маршала, будучи той ещё лисой,
мне до пожара поведал секрет успеха:

«Если полировать лысину Лукича сырокопчёной колбасой—
всё проканает». Правда, тут уже не до смеха.

Тут уж выходит, что лучше в подполье пересидеть злодейку-пургу
и, коль повезёт, дотянуть до скончанья марта,
а там—с богородским ножом за поясом—вырваться в тайгу,
пока Интернет выдаёт прошлогоднюю карту.

Владимир Яранцев

На почве гармонии и любви

Лики поэзии Юрия Ключникова

О патриотизме, культурологии, Рерихе, «Ликах русской культуры» мы ещё скажем. Это знает каждый, кто что-то слышал о Ю. Ключникове. Но вот что обнаруживаешь, читая стихи поэта в его новой книге избранного «*Душа моя, поднимем паруса!*» (Стихи и переводы 1970–2015. Избранное. М., Беловодье, 2015). Это желание выразить, описать, рассказать что-то и о чём-то по законам своей души, согласно каким-то скрытым от непосвящённых правилам, которые часто похожи на исключения. Слово «правила», для поэта как будто не очень подходящее, здесь не случайно. Ибо Ю. Ключников в этой книге решил систематизировать свои стихи, буквально разложить их по полочкам. Во-первых, разделив их на четыре части, во-вторых, на двадцать шесть разделов, и в-третьих, пронумеровав каждое стихотворение (всего 678), как это делается в «Библиотеке поэта». И тут же опровергает эту цифирь чуть ли не каждым своим стихотворением, где чувствуется нешуточный потенциал мысли и чувства. За ровным, иногда традиционным течением стиха вдруг является неожиданный образ, нюанс, суждение: «шёпоты корней» сквозь «шёпот листьев»; «Нужда в лихолетьях (для России.— В. Я.) заложена в генах, / Так жаждет давленья растущий алмаз»; душа—«печалю собственным улыбка, / чужой беде надежда и маяк»; «малахитовый мускул напругает река»; «заката последние спички»; «да здравствует октябрь полураздетый»; «стволы, как ботфорты гиганта» и т. д. Стихи Ю. Ключникова немногословны, но чувствуется в этой благородной сдержанности и собственная узда—самоограничение, взятое у классиков. В первую очередь—у А. Пушкина, поэта для Ю. Ключникова не хрестоматийного, «дежурного», а душевного, родственного по всем статьям и параметрам.

Тем не менее Ю. Ключников отделяет, по крайней мере, формально, «Стихи о России» (1-я часть) от «Музы и любви» (2-я часть), «Дороги исканий» (3-я часть) и «Поэм и переводов» (4-я часть). На самом деле у Ю. Ключникова всё о России, о чём бы он ни писал, где бы он ни был. «В своих раздумьях о стране / Спускаюсь я к реке Инге»,—пишет он в 1-й части в разделе «Сибирская земля», а во «Французской тетради» (2-я часть) восклицанию:

«Vive la France!»—предшествует: «Да здравствует Россия!» А в «Заклинании», заключающем часть 3-ю, объявляет, что смысл его жизни—в России и её возрождении: «Живу ожиданием нового взлёта / Усталого лебедя—нашей Руси».

Своего патриотизма Ю. Ключников и не скрывает, открытой публицистичности своих стихов не боится, хотя принято считать, что поэзии она противопоказана. Но у стихов поэта особый склад, особая логика: столь же страстно и глубоко они могут говорить и о людях-«ликах», жизни иных стран и культур, верах и религиях, чуждых православию. И это тоже необычно, ибо сложилось мнение, что «патриот» у нас всегда менее образован и эрудирован, чем «либерал», что «патриотизм» и «культурология» плохо стыкуются. В последние годы наиболее продвинутые из «патриотов» этот тезис настойчиво опровергают. Это и В. Кожин с «Тютчевым», и А. Проханов с «готическо-патриотическими» романами, и В. Бондаренко с жзловскими «Лермонтовым» и «Бродским». Кстати, у того же В. Бондаренко книга «Пламенные реакционеры» имеет подзаголовок «Лики русского патриотизма», что перекликается с книгой Ю. Ключникова «Лики русской культуры», да и предисловие к его избранному написал тот же В. Бондаренко. Тем не менее только Ю. Ключников мог в слове «Россия» («Ра-сея») увидеть имя египетского бога Ра, следовательно, россияне—«солнечный народ», развив это в целый цикл стихов. И только Ю. Ключников мог написать о «боге русской истории» в подражании старофранцузской балладе с обращением к «принцу Путину» «унять» уколы политической «мошкар».

Здесь—мостик к французской теме в творчестве Ю. Ключникова, о значимости которой говорит другая его книга, равновеликая по объёму «Избранному»,—«*Вольные переводы французских поэтов XII–XX вв.*» («Откуда ты приходишь, красота?» М., Беловодье, 2015), вышедшая одновременно с «русской» книгой. В ней, правда, эта тема представлена тоже—небольшим разделом «Французская тетрадь», но автор здесь показал способность проникновения в душу французскую не меньше, чем в русскую. Ю. Ключников может предстать Франсуа Вийоном, бегущим,

«как мышь», от парижского суда, Жанной д'Арк на последнем перед казнью допросе, подслушать мысли Блеза Паскаля и слова Наполеона, подражать Малларме и Клоделю, словно прожил их жизни и судьбы. И наконец, в 4-й части есть немалый для этой раздробленной на рубрики книги раздел всё тех же «Вольных переводов» французской поэзии от Бертрана де Борна до Робера Десноса. Заметим, что «Французская тетрадь» входит во 2-ю часть, посвящённую поэзии и женщинам («Муза и любовь»). Страсть и огонь здесь те же, что в «патриотических» стихах, но адресуются они уже к сути и смыслу поэзии и любви. И смысл этот — религиозно-философский, а не политизированный. «Читатель-прихожанин» должен отнестись к его стихам «как к молитве», «обожиться» благодаря им, прикоснуться к Иисусу, разбудить в себе творца. А любовь к женщине — одно из проявлений «большой» любви Бога к миру и мира к Богу как условия жизни вообще. Такая любовь не ограничивается чем-то только материальным, плотским: «На свете всё живое ищет ласки, / Тела оставив, будем дальше плыть / По океану бесконечной сказки, / Где радостным концом обязан быть», — пишет Ю. Ключников, обращаясь к живой и самой близкой женщине, своей жене Лиле.

Такова поэзия Ю. Ключникова, при всей своей непримиримой патриотичности имеющая много ипостасей, ракурсов, незаметных на первый взгляд глубин. Поэзия примирения белого с чёрным — любви с ненавистью, ГУЛАГа и Сталинграда, советского прошлого и русского будущего, Сталина и Путина. Но это и поэзия парадокса, когда поэт настолько же патриот, насколько и космополит-культуролог, он настолько же любит народ, насколько и знает ему цену: «В России слишком много страсти, чтоб подчинить её уму»; «но и немало Смердяковых»; «Зовём мы сами волкодавов, / Нагнав волков себе во двор»; «Мы странный сплав кнута, горба и бунта, / Свободы и Емели на печи». Он настолько же публицист в стихе, насколько и поэт-природолюб и метафизик. Может быть, и потому, чтобы разобраться в себе, своём поэтическом даре, Ю. Ключников и разделил свои стихи на разделы, представив, классифицировав разные грани своего творчества. А может, и для того, чтобы особо яростные и патриотические стихи отделить от «обычных», от лирики. По крайней мере, попытаться это сделать.

Продуктом такой стратификации явился, например, раздел «Да святится советское прошлое!», где поэт готов каяться «за всех коммунистов», грустит об уходе «из жизни героя», называет, словно очнувшись, «советский ад» раем. А в соседнем разделе о Победе 1945 года «славит» Сталина и «сталинскую жуть», молитвенно призывая не спешить её осуждать: «Зло, конечно, всё решает быстро, / Но всегда задумчиво добро». В такой

попытке по-булгаковски увидеть неразрывность Зла и Добра, Бога и сатаны, роковую, но в чём-то и благотворную, видна и драма раздвоения самого поэта, под стать тому «двуглавному орлу» из стихотворения Ю. Ключникова, который мучится вопросом: «Рвануться за даосом / Или засунуть головы в Давос». Внешне Ю. Ключников как будто принял Сталина и советскую эпоху, примирив их с русской победой в будущем. Но внутренне, несомненно, синтез этот для него вряд ли так уж неоспорим. Ибо он знает, предметом каких мучительных дум великих людей-гениев прошлого являлся.

И тут читателю этой книги будет весьма недоставать другой, чуть ранее изданной книги *«Лики русской культуры»* (М., Беловодье, 2013). Один подбор представленных там имён уже любопытен: рядом с Ломоносовым тут стоят Пушкин и Циолковский, а между Пастернаком и Шукшиным — Н. Островский, Г. Жуков, Д. Андреев, Шолохов и Солженицын. Но всё-таки «главнее» всех, важнее других здесь Пушкин. Как та непостижимо великая фигура, феномен, которому удалось совместить в своей жизни и творчестве, казалось бы, несовместимое: ясность и простоту с мистикой, изменчивость с постоянством, «великий морализм» (А. Ахматова) с «донжуанством», диссидентство с патриотизмом, язычество и атеизм с христианством, либерализм с консерватизмом, свободу с несвободой (в отношении к власти и народу).

В чём же загадка этой мудрости, способности найти для всего меру, гармоническое равновесие на грани алхимического сплава? На помощь Ю. Ключникову здесь приходит Восток, у которого лишь сравнительно недавно стал учиться Запад, признав наконец его древнюю мудрость. Для академического литературоведения подобные внелитературные аргументы, тем более «мистические» («Мистический Пушкин» — название этой главы в книге), не проходят либо стоят на периферии как маргинальные. Но Ю. Ключников без всяких оговорок прямо пишет о том, что Пушкин является итогом «гирлянды воплощений» «духовной монады» в течение тысячелетий, которая, при правильной эволюции, «становится всё объёмнее, богаче, светоноснее». Ю. Ключников даже попытался найти во мгле веков череду предпушкинских воплощений: «отменный хлебопашец где-нибудь в Древнем Египте», «воин Александра Македонского», «мудрый управитель княжества где-нибудь в Индии», «монах среди учеников Сергия Радонежского». «Всё это, — пишет автор, — как будто пройдено в прошлых жизнях», — поэтому Пушкин и не был аскетом и подвижником. За ним уже «в середине жизни» (после стихотворения «Пророк») стоит «видение Архангела», его путь освящён Богом. Точнее, «Божественным Лучом как чистойшей энергией», — это уже из арсенала

философии Н. и Е. Рерихов и «Агни-Йоги», с которой Ю. Ключников, если можно так сказать, буквально породнился.

И тут самое время обратиться к биографии Ю. Ключникова, которой поэт посвятил 3-ю часть своей книги и в которую на полных правах отдельного раздела входит раздел «XVIII. Восточные узоры». В приложении «Биография Юрия Ключникова», написанном его сыном Сергеем, автором пространного «послесловия издателя и сына», можно узнать, что поэт, рождённый в 1930 году, провёл трудное и трудовое «военное» детство, закончил филфак Томского университета, работал корреспондентом, сельским учителем, директором школы. В шестидесятые годы учился в ВПШ на факультете журналистики, изучая французский язык «во время работы в „Интуристе“», познакомился с книгами по философии и религии «благодаря доступу к фондам спецхрана Ленинской библиотеки».

Уже в Новосибирске, работая в издательстве «Наука» в области восточных литератур, в семидесятые годы «увлёкся богоискательством, восточной философией, учением Н. Рериха». И совершил главный, может быть, в своей жизни поступок: «написал вместе со своими единомышленниками предложения о ревизии марксизма и его одухотворении». Несмотря на острую партийную критику, разбирательства («более 70 собраний!») и увольнение, Ю. Ключников не отказался от своих убеждений, предпочтя восьмилетнюю работу грузчиком и такелажником на заводах покаянию. Видимо, уже в девяностые годы он совершил поездку в Индию, о которой писал в «Мистическом Пушкине», и глубокой мудрости этого древнего народа он обязан тому, что простил своих гонителей и власть в целом: «Не запятнай себя и каплей злобы, / Сумей понять её (Родины. — В. Я.) высокий лад / И не спеши судить её изломы».

Но вряд ли всё дело только в ней, в индийской философии. Она, очевидно, только помогла понять и оценить, а затем утвердиться в своей любви к Родине, «малой» и «большой», соединить местный сибирский патриотизм с «большим» российским, русским, примкнуть к его апологетам — В. Кожинуву и А. Проханову, чьи «лики» обрисовал в книге, а также к С. Куняеву, В. Бондаренко и другим. И своеобразно объединить острую публицистику в стиле газет «Советская Россия» и «Завтра» с рерихианской мудростью, увлечением французской поэзией, культурологически оснатив таким образом свой мировоззрение и поэзию. Не зря здесь, в этом, казалось бы, сугубо «биографическом» разделе Ю. Ключников пишет и о своих философско-психологических состояниях («Но в тихий мир к цветам и травам / Всё безысходнее пути. / Ты в чём-то грозном, жёстком, странном / Зовёшь гармонию найти»), и о ненависти к рыночной экономике (мотив алчного «доллара» пронизывает

все части и разделы книги), и о любви к мудрости («боюсь себя я пустословьем сглазить»), и о необходимости любить («я должен стать любовью»), и о близости русских и восточных народов («В этом на индусов мы похожи: / Родина и Бог для нас одно»), и их мировоззрений («... в тебе и воин, и поэт, / И сам Аллах, и Магомет, / В тебе на глубине сердечной / Живёт Христос, родной и вечный»). И даже стихотворение «Памяти Ф. С. Горячева», главы новосибирских коммунистов в «застойные» годы, полно всепрощения, не только религиозного, но и человеческого, тёплого: «За годы остракизма чёрные, / За выгон на подножный корм, / За вознесенье стихотворное... / Нет, не пошло ему укор», — пишет Ю. Ключников. Ибо «...небеса одни рассудят, / Какой нам жребий новый дать». И, наконец, выводит краткую и ёмкую формулу своего мировоззрения в стихотворении «Две иконы»: «У меня их две — Христос и Пушкин. / Бог и долг, свобода и закон».

Не случайно и строка стихотворения Ю. Ключникова, давшая название всей книге, — «Душа моя, поднимем паруса!» — обращена не к природе, политике или какой-то конкретике жизни, своей или окружающей, а к метафизике, отражающей его кредо. Ибо это стихотворение о душе («Нам правило старинное знакомо...») заканчивается «восточной» мыслью о реинкарнации: «Смерть — запятая в Книге жизни вечной. / Душа моя, поднимем паруса!»

Итогом размышлений об этой книге Ю. Ключникова мог бы стать тезис о многообразии творчества Ю. Ключникова, его способности объять стихотворным словом самый широкий спектр тем, самую широкую географию природных и культурных ландшафтов. Или, говоря словами С. Ключникова, «тематическая широта не позволяет свести творчество Ключникова к какому-то одному направлению: лирика любовного или пейзажного толка, духовно-философская поэзия, гражданско-публицистические стихи, — у него присутствуют все перечисленные виды». А о книге поэтических переводов с французского языка ограничиться словами, что Ю. Ключников принадлежит к школе «вольного перевода» (В. Жуковский, Б. Пастернак, С. Маршак, В. Левик), в отличие от «буквалистского» (В. Брюсов, Г. Шенгели, М. Лозинский и многие другие), как пишет в предисловии С. Джимбинов, а С. Ключников подчёркивает, что таким образом, то есть переводя «французские стихи ясным, современным, тяготеющим к слогу русской классической поэзии» языком, Ю. Ключников показывает неисчерпанность «потенциала классической поэзии». И поставить точку.

Но всё-таки подобный вывод был бы, на наш взгляд, слишком прост и скучен для такого непростого поэта и человека, как Юрий Ключников. Его талант должен оцениваться, сверяться с тем, чем,

а вернее, кем он мерит свою умудрённую поэзию — А. Пушкиным. Это касается и его «мистичности», то есть стремления примирить противоположные полюса, «инь» и «янь», дать «гармонию плюса и минуса» на основе богоподобной философии Света, Добра, Всепрощения (вспомним «две иконы» поэта: Пушкин и Христос). Это видно и в поэтике автора книги: принцип лаконичности, сжатости строки и строфы, ямбическо-хореический их склад, придающий стихотворению светлую, оптимистическую окраску («Умирая, рождаясь и веруя, / Улыбайся, живи и пиши!»). Что кажется порой несколько однообразным и ощущается как давление формы (пушкинского слога) на содержание (часто элегическое по сути, требующее более сложных поэтических размеров: трёхсложных, дольников, верлибров и тому подобное). С другой стороны, ямб, его боевитый ритм прекрасно сочетается с публицистическим настроением его антилиберальных стихов. Это прекрасно совпадает со всем пафосом книги «вольных переводов» французской поэзии, их русско-классическим подтекстом (прозрачность, рифмованность переводов, в том числе символистов и сюрреалистов, включая верлибры и ритмическую прозу) — импульс её тоже пушкинский. «Лично для меня Пушкин с его любовью к Франции был одним из мощных импульсов, побудивших взяться за переводы французской поэзии», — пишет Ю. Ключников в эссе «Пушкин и поэтическая Франция».

Но и это, как представляется, не расставляет всех акцентов в поэзии Ю. Ключникова. При всей широте его эрудиции, усугублённой знанием восточной философии, он остаётся сибиряком, новосибирцем, сформировавшимся как мыслитель и поэт вблизи, в присутствии Алтая и его священных гор. Природа Сибири, алтайская особенно, — не менее мощный энергетический фактор, чем русская и мировая литература с феноменом Пушкина. И это особо остро чувствуется в его сибирско-алтайских стихах. Это поэзия непосредственного соприкосновения с землёй, её стихиями и ландшафтами, конкретики, реалий, вплоть до дачной (цикл «Дачные стихи»), насыщающих тело и душу поэта, дающих вдохновение для поэтических, философских, религиозных прозрений и откровений. «Мне нужно в горах побывать хоть неделю, / Чтоб год продержаться потом на плаву», — пишет Ю. Ключников в стихотворении «Алтайская тоска».

«Тихая» лирика Ю. Ключникова — это не просто «природные», общепонятные стихи, а процесс и плод его восхождения к «неслыханной простоте» в своей поэзии. И тут поэту, несомненно, помогает Б. Пастернак, его опыт того, как «...из взбал(о) мученных глубин / Он к простоте неслыханной добрался», но при этом избегая «...шумих всех эпох, / Всех направлений, партий и позиций», — пишет

Ю. Ключников в стихотворении «Борис Пастернак», чего о себе, однако, он сказать бы не мог. Но, как и Пушкина, Пастернака хранил вождь (царь) и Бог за «радостное ощущение жизни, за „горчичное зерно Иисуса“ — царствие Божие внутри нас», которое автор «Доктора Живаго» пронёс через всю свою жизнь как «редкую удачу донкихотства». Пастернак подобен герою своего романа доктору Живаго, врачуемому «не хирургическими методами, а терапевтическими», — пишет Ю. Ключников в «Лицах русской культуры». То есть собственным здоровьем, здоровым, природным мироощущением, что и окрестил «неслыханной простотой».

Характерно, что Ю. Ключников полюбил Пастернака ещё подростком, во времена своего сибирского детства. Поэтому — вернёмся в начало нашей статьи — «неслыханная простота» Ю. Ключникова заключается в поэтическом воспевании сибирской природы по законам своей сохранившейся детство души. Которая сначала, в детстве, интуитивно почувствовала всю мощь и светлую энергетику сибирско-алтайской земли, а затем сознательно, благодаря Пушкину, Пастернаку и Христу, утвердила её в мыслях и слове. Природа у Ю. Ключникова всегда обожжена через очеловечение, через личное её восприятие, уравновешенное с объективным, реалистическим. И потому в одном таком сибирско-алтайском стихотворении обязательно присутствуют и конкретика, и метафизика, описание реалистическое и образное, а зачастую и высокий пафос постижения Истины. «Здесь всё кругом, как было, с пылу, с жару, / Явилось в мир из Божеской печи: / Цветы и лес, закатные пожары... / Здесь Истина, другую не ищи», — пишет Ю. Ключников в «Алтайской рапсодии». Или: «Пусть это озеро смоем печали мои, / Пусть эти горы меня возвратят к первозданности, / К светлым истокам забытой Господней любви» («Телецкое озеро»). В цикле «Сибирская земля» стихотворение «Иня» также развивается как триединство описания реалистического («берег Ини», «звёздные огни», «рыбаков костёр вечерний»), образного («...осторожное свечение / Почти невидимой реки») и метафизического, надмирного смысла открывшейся поэту картины («...природа шепчет: „Стань / Живым союзом „Инь” и „Янь”“, — здесь также обыгрываются название реки и термины восточной философии»).

Таков Юрий Ключников и во всей своей поэзии: многослойный, синтетический (в живом значении этого слова), многоуровневый, уравнивающий страты и подтексты своих стихов пушкинско-пастернаковской гармонией, здоровьем и оптимизмом «неслыханной простоты». Диссонируют ли с этим равновесием «политические» стихи, строки и эмоции (принятие советской эпохи, Сталина и его деятельности и неприятие либералов и рынка, русофильство и публицистический патриотизм)?

Если не знать безусловной веры Ю. Ключникова в уже названных выше авторитетов и вождей нынешней патриотической партии, то можно ответить положительно. Но если знать, что и они причислены поэтом к «ликам русской культуры», возвышены до Ломоносова и Пушкина, Булгакова и Пастернака, Шолохова и Шукшина, то диссонанс

этот снимается. И поэзия Юрия Ключникова предстаёт многоликой в своём единстве, которое дали поэту-новосибирцу сибирская земля и Алтай. Это и есть то самое «почвенничество», в котором политический смысл уравновешен с природным и космическим и которое дует в «паруса» души поэта и его поэзии.

ДиН стихи

Наталья Никулина

Найти флейту



ранним вьетнамским утром
живые золотые рыбки
в прозрачных пакетах
на продажу—
прекрасный
но страшный сон А. С. Пушкина...

сейчас он проснётся
возьмёт ночную вазу
станет намного легче
и вместе с тем пусто
и снова темно.

у этой сказки нет конца
подумает Александр Сергеевич
и снова уляжется. спать.



голем Гоголь
голой правдой.

да не выйти
никак из неё
из шинели
лишь нос торчит.

а вокруг
летаргический сон страны
да не в руку
а в духовную аллергию...



Пятикнижие Достоевского
на Четьи-Минеи
меняю. старею.



инстинкты мешают жить по-божески
дурные привычки—по-человечески
рефлексы/импульсы/страстные желания
и вовсе житья не дают...

думал Антон Павлович думал
куда деться маленькому человеку
и уехал на Сахалин.



уверена
будь Толстой Анной Карениной
он бы не бросился под поезд
а сел бы в него
и уехал
в совершенно противоположную сторону
от станции Астапово.
счастья искать...



найти флейту
с дырочками тёмного света
войти и слушать и смотреть
как играет реквием Моцарта
на чёрных клавишах
чёрный человек Есенина.
смотреть
как летит по касательной
касаясь тверди
мелодия тёмной материи
высекая радуугу чёрного света
сосредоточенно.

Владимир Шанин

«В мою судьбу вошла беда»

Стихотворением «Родина» открывается поэтический сборник Любови Рубцовой «С песней в сердце», вышедший в 1963 году в Красноярске пятитысячным тиражом, самым большим по тому времени. Я приобрёл сборничек, открыл его и наугад прочитал:

...Но так стряслось, что, скомкав детство,
в мою судьбу вошла беда.
Вошла весной, да не с весной,
с её хмельным блаженным сном...
И твердь земная подо мною
Вдруг заходила ходуном.

Школьница, воспитанная родителями-коммунистами на примере положительных литературных героев, она ещё не знала, что наряду с героическим живут на земле и измена, злодейство, предательство...

Я шла на ощупь, как слепая,
в ожогах от чужих костров,
ценой жестокой покупая
и трудный хлеб, и горький кров.

...За нею пришли ночью. Двое сотрудников НКВД бесцеремонно протопали в комнаты, всё кругом осмотрели и, швырнув испуганной Любе платье, коротко приказали: «Одевайтесь! Поедете с нами». — «Отвернулись бы хоть, — сухо произнесла мать и спросила: — Когда отпустите-то?»

Она знала, что дочь увезут в тюрьму, но была уверена: «промоют мозги» и отпустят, как заверил большой районный начальник, провожая Дарью Дмитриевну до двери. И никакого худа в своём поступке она, честная коммунистка, не видела — она всего лишь хотела остановить неразумную дочку, оторвать от дурной компании, спасти от вражеского влияния: обнаружив под матрацем дочкиной кровати пачку рукописных листов, содержание которых ей показалось антисоветским, своими руками она собрала их, завернула в газету и отнесла в милицию...

Исследователи жизни и творчества поэта Любови Рубцовой писали об этом по-разному. П. М. Моствовской, учитель из города Иланска, впоследствии детский писатель, отмечал в своих воспоминаниях: существует несколько версий о причинах ареста, и одна из них — «донесение на Л. Г. Рубцову

её матери». Версия вполне допустима... Возможно, Дарья Дмитриевна, истинная коммунистка, для которой мировая революция была целью всей её жизни, испугалась, но не за себя — за дочь, по-партийному расценив: чистосердечное признание и несовершеннолетие дочери смягчат ей наказание, освободят под поручительство матери. Но этот арест навсегда отнял у неё дочь.

Неприятно, когда о матери так думают: донесла... Вот и Вл. Сиротинин в газетной заметке о встрече с читателями вынес в заголовок убийственную фразу: «Арестована по доносу матери» («Красноярский рабочий», 29 октября 1994 года). А с другой стороны, хорошо написал о Любе журналист Конст. Карпукhin («Труд-Енисей», 31 октября 2002 года). В заголовок он вынес поэтическую строку: «А гореть бесполезным огнём я устала», — о трагической судьбе талантливой поэтессы.

Так что же произошло в тот злопамятный год, который историки считают началом политических репрессий?

Только что осуждены и расстреляны «правые» троцкисты во главе с любимцем Ленина Н. И. Бухариным. В народе недоумение, слухи и пересуды, жестоко пресекаемые властями; неизвестно куда пропадают люди. И не только в обеих столицах — Москве и Ленинграде, но и в глухой провинции — даже в Канске, мало кому известном сибирском городишке.

В Канской средней школе № 4 однажды не вышел на работу молодой преподаватель. Стало известно: арестован. Вся школа гудела: за что? почему?... Ученицы седьмого класса Аня Зинина и Люба Рубцова, секретарь школьной комсомольской организации, «решили (по одной версии) заступиться за любимого учителя и смело отправились в милицию, где их самих в тот же день арестовали». По другой версии, никто девочек не арестовывал, их просто выставили за дверь, «чтобы не мешали работать», чем сильно огорчили заступниц.

Попытка найти справедливость в таком грозном карательном органе, как ГПУ, лишь подзадорила юных правдолюбивцев. Повозмущались, погорячились и разошлись во мнении. Коля Уфаев, прикнущивший к возмущённой группе школьников, заявил, что он «против конкретных дел». Аня и Люба стояли на своём: «Это дело так оставлять

нельзя!» Надо протестовать, говорили они. «Кто мы теперь? Протестанты!» Слово, имевшее жёсткую, убедительную окраску, очень понравилось всем, но немногие стали протестантами.

Любе Рубцовой нравились стихи Аполлона Майкова, особенно его раннее — «Раздумье», и она с пафосом процитировала:

Я втайне бы страдал и жаждал бы порой
И бури, и тревог, и воли дорогой,
Чтоб дух мой крепнуть мог в борении мятежном...

Противница «размеренного течения жизни», Люба тоже жаждала «борения мятежного». В подражание любимому поэту она сочинила своё «Раздумье»:

В семнадцать лет нам стонов не понять
И в краткость жизни тоже не поверить...

<...>

Но если бы и заново начать
Могла я жизнь — с нетраченной силой,
Я начала бы так же сторяча
И поспокойней доли не просила б.

В шестнадцать лет Люба Рубцова прочитала роман «Овод» Лилиан Войнич и хотела походить на таких же чистых, верных долгу и совести, как героические литературные герои подобных книг. Открыто говорила то, о чём думает. К ней тянулись одноклассники, чьи родители были арестованы. Они собирались после уроков в пустующем классе, читали стихи, делились своими печальями, нет-нет да и высказывали неодобрение политики партии и правительства. Эти посиделки стали в дальнейшем именоваться «фашиствующей организацией», а возбуждённая толковня — контрреволюционными разговорами...

Любовь Рубцова (1922–1966) родилась в деревне Дрокино Емельяновского района Красноярского края, в семье несгибаемых большевиков Григория и Дарьи, организовавших здесь первый колхоз.

В 1931 году Рубцовы перебираются в Красноярск. В первый класс родители записали дочь вполне подготовленной к школе: девочка читала по складам, быстро вела счёт до ста и обратно, любила стихи и сама пыталась их сочинять. Руководитель школьного литературного кружка Пётр Гаврилович Кронин, отмечая незаурядные способности Любы, уделял ей больше внимания, чем остальным кружковцам, и прочил ей большое будущее. Сама Люба мечтала стать актрисой — как Любовь Орлова, как Марина Ладынина... И активно занималась ещё и в школьном драмкружке, играя роли сильных духом революционных девушек.

Четыре года спустя, в 1935 году, отец Любы получает новое назначение — заведующим сельхозснабжением в городе Канске, и семья собралась в дорогу.

В Канске, более похожем на село, чем на город, большим и деревянным, надо было всё начинать

сызнова. Однако Люба, выросшая в деревне, легко освоилась на новом месте. Общительная, она и здесь хорошо учится, близко сходится с Аней Зининой, такой же бойкой, занозистой девочкой, которой можно довериться, и они подружились. И здесь, в Канске, городская газета впервые напечатала Любины стихи:

Метель запуталась в снежках,
притихла школьницей прилежной...
В моей руке твоя рука,
такая сильная и нежная.
И в сердце плещутся слова —
слова, которые бы пела я!
Но с жарких губ их не сорвать —
растают, как снежинки белые.
Иду, в молчанье затаив
эпитеты и рифмы звонкие...
А говорили, будто я
расту болтливую девчонкою!..

Однако всё, чем Люба жила, вдруг в один миг рушится...

Той же ночью арестовывают Аню Зинину и Колю Уфаева.

Следствие по делу «о контрреволюционной организации» школьников шло целый год. Из материалов «дела» видно, как следователи иронизировали, с издёвкой потешались над юной «контрреволюционеркой»: начиталась, мол, книжек и сама «решила стать героиней и выделить себя из общей массы людей», но поскольку «стать положительным героем ей не представится возможным», то решила «сделаться отрицательным героем».

Суд состоялся 20 мая 1939 года; Любу Рубцову он признал виновной в том, что она, «будучи враждебно настроенной по отношению к советской власти, поставила перед собой задачу создать контрреволюционную фашистскую организацию учащейся молодёжи». Для этой цели она привлекла подругу Аню Зинину, «совместно с которой стала проводить работу». Они написали «контрреволюционные листовки» с тем, чтобы «привлечь в свою организацию молодёжь». Кроме того, направляла в редакцию канской газеты «письмо контрреволюционного содержания», распространяла в школе портреты «врагов народа», «издевалась над портретами руководителей партии и Советского правительства».

По приговору суда Рубцова Любовь получила десять лет лагерей, Зинина Анна — семь лет, обе с поражением в правах на пять лет. Верховный суд РСФСР своим определением от 20 августа 1939 года эту «дополнительную меру наказания» отменил.

Осуждённых отправили на лесозаготовки в Долгомостовский (Абанский) район Красноярского края. Поселили в бараке с двухъярусными деревянными нарами и железной печкой-буржуйкой

в углу, которую зимой надо непрерывно топить; летом же в бараке стояла такая духота, что открытые настежь двери не освежали помещения; да к тому же ещё донимал гнус.

Подъём в пять утра. После завтрака под конвоем с собаками, по колено утопая в снегу, вереницей тянутся заключённые на лесосеку за три километра. К дереву подходили по двое, обтапывали его, подрубали спереди, причём по мёрзлой древесине топор срывался, так что щепки брызгали в лицо. Пилили двуручной пилой, не всегда острой, которую то и дело заносило; девушки нервничали, ссорились, хотя и понимали: ссора — не лучший выход. В обед — ломоть хлеба, который заедали снегом.

Дневная норма выработки на двоих — шесть кубометров; замеры вёл десятник; за десятиком повсюду следовал стрелок в полушубке, с винтовкой. Не выполнивших норму наказывали: прямо из леса уводили не в барак, а в карцер — холодный сарай. Выпускали в пять утра на развод — и сразу на лесосеку. Сидящим в карцере давали триста граммов хлеба и кружку воды в сутки. С некоторыми «сидельцами» бывали голодные обмороки.

Люба трудно осваивалась в этой обстановке, тяжело переживая разлуку с родными.

Но — страшнее цвести среди цветов
без улыбки в душе, без тепла,
скрыть под маской из пламенных слов
душу, выгоревшую дотла.

Эти строки, навеянные тоской по родному дому, по матери, отцу, братьям, вырвались из души как пламень, болью опалив сердце. В подобные минуты невозможно себя сдержать. И Люба срывалась.

В сентябре 1939 года она совершила побег. Всего двое суток она была дома с матерью и братьями (отец был в отъезде). И тогда же в голове у неё вызрели строки: «Как же мы ничтожны, если плачем, горя не тая от матерей!» Люба записала эти строки на бумаге. На бумаге! Впервые со дня ареста...

Любу снова арестовали, отконвоировали в лагерь. Суд, «скорый и правый», добавил к основному сроку заключения ещё полтора года.

Заключённые в лагере, все без исключения, простуженно кашляли, жаловались на боли в горле, в груди; однако в больничку переводились лишь те, кто с температурой. Счастливицы радовались: уж теперь-то отдохнут. Попасть туда считалось большим везением. Любе Рубцовой, можно сказать, повезло. «Мне весной опять нездоровится...» — строка из стихотворения, сочинённого ею там, на больничной койке.

Так рождались её стихи, которые она не могла даже записать — заучивала наизусть.

Я нахлебалась вдосталь горькой соли,
но, нрав свой жёсткой волею взнуздав
и первый раз стихию переспорив,
вдруг поняла романтику труда,
романтику борьбы и созиданья!

Больничка — тот же лагерный барак, только чище и опрятней: белые стены и потолок, вместо нар — железные кровати с белыми простынями и подушкой, с одеялом в пододеяльнике. Женское отделение запиралось на железный засов, в двери — «волчок» (глазок), кнопка электрического звонка — связь с помещением охраны. Отсюда не выйти и сюда не войти постороннему. Конвой приводил из лагерной зоны службу: врачей, фельдшеров, сестёр, санитаров, — которая молча переодевалась и быстро расходилась по местам.

Какое блаженство так вот лежать, болея, делая вид, что тебе худо, тяжело дышать, пока доктор тебя осматривает, а у самой сердце трепетно выстукивает: «Довольно мыкаться по свету! Вернись, вернись, вернись домой...»

Стихи-сполохи, строка за строкой, вспыхивали в голове, будто кто-то их нашёптывал ей.

Нагрянет боль, что громовой раскат,
Оглушит, и бессилье руки скрутит,
И сердце пётлей захлестнёт тоска
По каждой даром прожитой минуте.

При выписке из больнички врач сказал ей: «Эх, девонька, тебе бы к хорошему доктору: открылся туберкулёз...» Да она и сама догадывалась об этом, обнаружив кровавые нити в мокротах. Ей бы сейчас усиленное питание — и к солнцу, подальше от проклятой лесосеки, где одни только «болота, снег да пятна мхов белёсых...». И от безысходности своего положения в этой тайге накатывает жгучая тоска.

Я сучья жгла, катала брёвна
и всю — чуть-чуть не всю! — тебя
пешком прошла, твой сумрак ровный
и гул мятежный твой любя.
Но троп, петляющих в болотах,
где скрещивались жизнь и смерть,
блюдя закон клыков и глоток, —
я не любила...

То ли лагерный врач посодействовал, или Любина мать все пороги оббила — а может, так было заведено в том аду, что за усердие в работе давали заключённому послабление, — Любу перевели в Красноярск, на строящийся аффинажный завод НКВД. Это уже лучше, чем ежедневно топтать мокрый снег, месить дырявыми сапогами грязь, валить столетние сосны и «катать баланы».

И здесь, на стройке, та же система: побудка на работу, оправка, затем строем — в столовую, строем — на работу. И охранники, кажется, те же:

сытые и такие же злые, как их собаки. Одна отрада — тёплый барак, улучшенное питание.

В бригаде, занятой чёрными работами, Любовь Рубцова считалась ударницей. Старательную девушку вместе с тремя такими же ударницами начальство направило на двухмесячные курсы каменщиков, причём без отрыва от производства. Норма выработки для курсантов — пониженная: первые двадцать дней — пятьдесят процентов, вторые двадцать дней — семьдесят пять процентов, третьи двадцать дней — девяносто процентов. Заместитель начальника уИТ строго следил за исполнением своего приказа.

По окончании курсов Любу Рубцову назначают бригадиром каменщиков. Её бригада в предоктябрьском соревновании по итогам третьего квартала 1945 года вышла победительницей. В приказе по заводу говорилось: есть бригады, состоящие «в большинстве своём из отличников», в том числе названа и бригада Рубцовой.

В тот день Люба заучила новое стихотворение:

Ты умела неплохо грузить и рубить,
ты лопату умела как надо держать!
Двух вещей не умела ты — слабого бить
и врагам — даже ласковым! — руки их жать.

Приспособиться к этой уродливой жизни — значит, выжить. Люба эту истину усвоила хорошо. Старые зэчки говорили: кто на воле пел, декламировал, участвовал в любительски спектаклях, играл на гитаре или бил чечётку, тот имеет шанс попасть в культбригаду, а это — свободный день при подготовке концерта, улучшенное питание, повышенное внимание администрации к артистам. Так Люба становится активной участницей художественной самодеятельности. Она старалась, отдавая сцене всё, на что была способна, и получила не одну благодарности от начальства. А однажды всех артистов премировали — выдали килограмм табаку... Люба в те годы уже всю курила, хотя знала: для её легких это опасно.

Весной 1950 года, когда ей опять нездоровилось, её отправили на поселение в Богучанский район, в глухое, отдалённое сельцо Заимка, где морозы доходили до пятидесяти градусов. Обеспокоенная Дарья Дмитриевна направила кассационную жалобу в Министерство внутренних дел с просьбой отпустить дочь под надзор семьи и получила отказ.

Через два месяца, в июне, Люба написала заявление на имя начальника управления МГБ по Красноярскому краю: «Я больна туберкулёзом и пороком сердца и нуждаюсь... в соответствующем лечении и соответствующих климатических условиях, а с другой стороны — я сильно нуждаюсь в материальной помощи моей матери, так как не могу (по состоянию здоровья) для тех работ, которые могут быть мне предоставлены в Богучанском районе... Ввиду вышеизложенного

прошу перевести меня на жительство в с. Абан Абанского района, которое находится вблизи моей семьи (г. Канск). Со своей стороны, я могу заверить Вас, что близость к родной семье и благоприятные климатические и материальные условия помогут мне твёрдо встать на ноги и почувствовать себя полноценным человеком, могущим идти в ногу с Родиной и отдать все свои силы Родине, которая мне протягивает руку...»

Резолюция: «Отказать. 5.VII.50».

Как бы воочию увидела Люба и эту сцену, и своё заявление, и то, как начальник с усмешкой подписывает «резолюцию».

Оно алено сгустком крови
пред ним на письменном столе,
а он — он не повёл и бровью,
он рассмотреть его велел.
И закружились метели
отписок, справок — злей и злей...
Огнём холодным заблестели
очки бумажных королей.
Что в нём открыло, что узрело
то равнодушное стекло?
А чьё-то сердце догорело,
горящей кровью потекло...

И всё-таки она добилась своего. Оказавшись на поселении в селе Абан, раз в месяц отмечалась в милиции. Выезжать за пределы села категорически запрещалось, но зато к ней часто наведывались то мать, то братья, то отец, инвалид второй группы, участник Великой Отечественной войны.

Два года Люба прожила в Абане. Наконец, по настоячивому ходатайству матери, была переведена в Устьянск, поближе к дому, работала на маслозаводе, а в 1955 году освобождена из заключения. После XX съезда КПСС с неё сняли судимость, полностью реабилитировали «за недоказанностью предъявленного обвинения».

Осенью Любовь Рубцова вернулась домой, больная и постаревшая. Чтобы не сидеть на шее домочадцев, занялась вышиванием по глади и крестиком — какой-никакой, а заработок. Конечно же, продолжала писать стихи. О чём? Да всё о том же, что никак не уйдёт из памяти:

У чужого огня не любила я греться,
хоть и брал до костей острый ветер порой...

Самая светлая пора юности прошла за колючей проволокой. Друзей и подруг она растеряла. Даже тот единственный, с которым любила мечтать «в голубых тальниках у пруда», перестал замечать её. «Ну и пусть, переживу и это!» — записала она.

Друг, известий о ком я, как ласточка, жду,
Друг, с которым, гордясь, я у края тоски
Шла, не пряча насмешливых глаз, сквозь вражду,
Старый друг мой мне в горе... не подал руки.

Теперь Люба, не таясь, могла записывать свои стихи. Они ровненько, строка за строкой, записывались в тетрадку ещё тем, не забытым, ровным почерком; рука, соскучившаяся по письму, старательно выводила каждую букву. Люба радовалась, как ребёнок: не забыла рука, столько лет державшая пилу, топор, лопатку...

В редакции канской городской газеты «Власть Советов», куда она насмелилась принести свою тетрадку со стихами, встретили её насторожённо: бывшая зэчка, контрреволюционерка... Стихи обещали напечатать, но... под псевдонимом. Люба не возражала: пусть будет псевдоним — Б. Чухонец или Р. Оракес.

Позже ей предложили стать внештатным корреспондентом газеты. Однако общая насторожённость к ней какое-то время ещё оставалась.

«Лагерный опыт — целиком отрицательный, до единой минуты, — писал Варлам Шаламов («Левый берег», М., Современник, 1989). — Человек становится только хуже... В лагере есть много такого, чего не должен видеть человек. Но видеть дно жизни — не самое страшное. Самое страшное — это когда это самое дно человек начинает... чувствовать в своей собственной жизни, когда его моральные мерки заимствуются из лагерного опыта, когда мораль блатарей применяется в вольной жизни...»

«Лагерный опыт» коснулся Любы, но не испортил, не проникло пресловутое «дно» в её жизнь. Сохранить светлое, человеческое помогли стихи, которые она сочиняла, заучивая, которым поверяла свои чувства, мысли, мечтания...

Открыл яркий талант Рубцовой учитель из города Иланска П. М. Мостовской, автор сборника рассказов «Пионерская помощь», изданного в 1954 году в Красноярске. Прочитав стихи незнакомого автора в канской газете, он восхитился ими, а узнав, кто скрывается под псевдонимом, послал известному сибирскому поэту Казимиру Лисовскому. Лисовский напечатал стихи в «Литературной газете» с коротким предисловием: «Искренность, предельная искренность — вот основные черты творчества Л. Рубцовой... Главное — есть поэт большого сердца, честный и умный». Он и напутствовал молодую поэтессу в большое литературное плавание. С его подачи творчество Л. Рубцовой обсуждалось на большом поэтическом семинаре в Новосибирске и получило положительную оценку. Семинар рекомендовал Красноярскому книжному издательству подготовить и издать сборник стихов талантливой канской поэтессы. К тому времени её имя уже было на слуху у любителей поэзии; стихи её печатались в альманахе «Енисей», журналах «Сибирские огни», «Работница», «Дом поэта», газете «Красная звезда»; под псевдонимами Коля Белуха и М. Г. Белуха они появились даже в Киеве.

В 1958 году Красноярское издательство выпустило сборник её стихов. Небольшая скромная книжечка: голубая с белым клином обложка, внизу — разметённая ветром, пробитая молнией берёзка, чёрным по голубому полю название «Стихи». Художник сумел уловить и передать в рисунке несломленный дух автора сборника.

Труд, раздумье, вера, любовь — основные мотивы стихотворений. Всё в них пронизано солнечным светом, в любви и нежности раскрывается богатство духовного мира молодого человека, прошедшего через трудности и невзгоды:

Меня швыряло в юности, как щепку
швыряет бесноватая волна...

Среди добрых, трудолюбивых людей герою её стихов живётся легко, спокойно и радостно, и этой радостью непременно хочется с кем-то поделиться:

Рассвет. Пастушонок, склоняясь к водопою,
умылся, присел отдохнуть на песке,
а рядом — солнце, спросонок слепое,
пытается тоже умыться в реке.

Критики часто писали о её стихах. Некоторые отмечали: «От этого цикла стихов веет поэзией Исаковского, но это влияние кажется полезным. Что и говорить, школа Исаковского — хорошая, добрая школа!»

Пока шла подготовка книги, Люба жила в Красноярске, в кабинете издательства, да так и задержалась тут — квартировать было негде. По отзывам товарищей, человеком она была непритворным: «Ей бы только кусок хлеба с водой да пачку „Беломора“ на день...»

Привычное её место — продавленный дерматиновый диванчик, на котором она и спит, укрывшись лёгоньким, коричневого цвета плащом, или сидит и курит: глубоко затягивается и по-мужски выдыхает струю дыма.

Книжное издательство на улице Урицкого, 98, в каменном купеческом особняке (не сохранился), было тогда центром притяжения для пишущей молодёжи. Собирались в большой комнате, занимаемой редакцией художественной литературы; шумели, спорили, читали стихи, но когда начинали мешать работе редакторов, те их вежливо выдворяли за дверь. Люба внимательно вслушивалась в разговоры, часто моргая прищуренными глазами, иногда закрывая свой морщинистый лоб ладонью — пытаясь, как видно, уловить «тончайший всплеск мысли при несомкнутом говоре». Так, наверное, и рождались её стихи.

Воспитанная, порядочная, не потерявшая в лагерном аду своего лица, Люба не могла показаться усталой или заспанной; когда к девяти утра редакторы приходили на работу, то заставляли её бодрствующей, опрятно одетой, с папиросой

в руке. Она никому не мешала, не докучала, но держалась независимо и свободно. «Белокурая, с прямыми волосами, припиленными гребешком по моде тридцатых годов. Болезненное лицо её отливает синюшными крапинками на лбу и сеткой венозных капилляров на щеках. Картавенькая, с астматическим удушьем, но в постоянном оживлении, отчего дыхание её становится натруженнее...» — такой рисуют портрет Любы её друзья. «Нет, не исчерпать всех её портретных чёрточек, как не исчерпать того, что довелось ей пережить, — утверждает бывший фронтовик, музыкант, писатель, девяностолетний Иван Владимирович Уразов. — И это по-детски честнейшая и справедливейшая душа и самый чувствительный барометр людского горя. И вынесла она столько, что под силу вынести только самому волевому мужчине».

В 1960 году в Красноярске выходит её новый поэтический сборник, названный просто: «Литерические стихи». Известный поэт Игнатий Рождественский в газете «Красноярский рабочий» (18 декабря 1960 года) писал: «От строфы к строфе крепнет своеобразное дарование... поэтессы суровой судьбы... Читаешь её словно вынутые из раскалённого сердца строки... Всё здесь выстрадано, пережито, и как далеко всё это от бездумного чириканья иных начинающих авторов... Хочется позвать с благодарностью руку Л. Рубцовой за такие по-настоящему хорошие стихи. <...> Это её вторая книга, — подчёркивает Игнатий Рождественский в своём литературном обзоре, — однако это уверенный шаг вперёд; её дарование крепнет и оттачивается. Сквозь строки, как сквозь прозрачную воду родника, просвечивает душа поэтессы, неуступчивая, чуткая к чужому горю и радости, легкоранимая и глубоко порядочная... И радостно, что над нашим Енисеем взошла ещё одна поэтическая звёздочка, чистая, трепетная, горящая внутренним светом своим».

Третий поэтический сборник Л. Рубцовой «С песней в сердце», вышедший в свет в 1962 году, красноярцы буквально смели с прилавков книжных магазинов. Книжка сразу стала библиографической редкостью. Павел Мостовской не смог отыскать её даже в краевой библиотеке: видно, кто-то взял почитать и не вернул.

В новой книжке поэтесса вновь обращается к излюбленным темам: каждое стихотворение — поэтические размышления автора о духовной чистоте, красоте нашего современника, формировании в нём человека будущего:

Вот так большой и сильный человек
через большую боль свою шагает,
и лишь порой, по лёгкой дрожи век,
поймёшь, какой огонь его сжигает!

В 1963 году поэтесса окончательно перебралась в Красноярск. Одинокая, без семьи, она легко сняла комнату в посёлке Зелёная Роща, но чаще всего ночевала в издательстве. Человек, привыкший к любым неудобствам, она говорила, извинительно улыбаясь: «А я где голову приклоню, там и засыпаю...»

Любовь Григорьевна Рубцова прожила всего сорок четыре года. Из них шестнадцать с половиной лет приходится на детство и юность, и только десять с небольшим лет — творческая работа. Годы между этими двумя датами она не любила вспоминать, зато они сохранились в её стихах. Умерла она 11 июля 1966 года (по другим сведениям — 1965 года): туберкулёз доконал её. Похоронена она на Троицком кладбище. Лишь спустя много лет друзья с трудом отыскивали её могилу...

Всё наследство Любви Рубцовой состояло из того, что было на ней, да смена белья, да предметы личной гигиены, и — стихи, которые она готовила для очередного сборника. Среди них — одно, звучащее как эпитафия:

Но добро, коли душу
живую пронёс
сквозь Голгофу
распятых надежд и дорог!
пятен с сердца
(как с солнца!)
рукой не сотрёшь,
но хоть рядом с людьми —
человеком помрёшь.

В письме к издателям «Красноярского рабочего» Павел Мостовской писал: «Посылаю вам 25 ранее не публиковавшихся стихотворений Любви Рубцовой... Это был большой, настоящий человек и настоящий поэт. Стихи Рубцовой по праву называют стихами, зовущими к весне и солнцу...»

Александр Карпенко «Я выбираю ost»

Евгений Степанов. Аэропорт. Серия «Библиотека поэта XX века». — М.: Вест-Консалтинг, 2014.

Евгений Степанов пишет для широкого круга читателей и делится с ними своими тревогами, болью, размышлениями о насущном. Любая книга избранного — и «Аэропорт» в этом смысле не исключение — производит среди свода авторских сочинений свой естественный отбор. В печать попадает только самое лучшее из того, что создано. Это уплотнение смысла и качества стихов играет на руку поэту. Собранные «в один кулак», стихи Евгения Степанова поражают неожиданной мощью и фактурой. В конечном итоге писатель, каким мы его воспринимаем, — это результат «выжимки» того, что у него отобрано временем и отправлено в будущее. Даже если автору кажется, что такой отбор (для избранного) он производит самостоятельно. Это очень важно — чтобы отбирала жизнь. Чтобы отбирало время. При тенденциозном подходе к составлению «лучшего» результат непредсказуем. Можно и Пушкина представить пошляком, и Высоцкого — босяцким шансоном. Я видел примеры подобных компиляций.

Стихи Евгения Степанова, как и его проза, носят откровенно дневниковый характер. Конечно, Аэропорт, так же как и станция Партизанская — не просто географические названия. Степанову важно, где он живёт и работает. Коммунистический тупик или Электролитный проезд — явно не для него! Поэту приятно жить на улице с творческим именем. Может быть, для того, чтобы, подобно маленькому принцу Сент-Экзюпери, улететь в будущее из своего Аэропорта, даже если современные самолёты в будущее пока не летают. Концентрация творческого внимания у поэтов происходит самопроизвольно, ей даже усталость — не помеха. Евгений Степанов пишет о том, что поражает его в данный момент, здесь и сейчас. Уже потом, собирая книгу, он сведёт воедино, например, стихи об Отечественной войне со стихами о «малых» войнах. И поразится собственному пророчеству об украинских событиях:

и снова брат идёт на брата
горят степные ковыли
душа персоною нон-грата
летит с обугленной земли

Евгений Степанов говорит о призрачности любой войны, недолговечности её трофеев. Причём он это делает не с пацифистской точки зрения. Гибнут люди, превращаясь в пушечное мясо, расходный материал, а цели у современных войн настолько туманны (геополитика!), что их нельзя оправдать никакими средствами. Об этом свидетельствует, например, стихотворение Евгения Степанова «Бумеранг». Бумеранг не просто возвращается к тому, кто его послал. Он ещё и рассыпается по пути на части, рикошетом задевая ни в чём не повинных людей. Очень глубокая мысль!

не умирает бумеранг
и размножается в полёте
и танк идёт как танк ва-банк
дорогу проложив пехоте

Евгению Степанову порой близки даже толстовские мысли о непротivлении злу насилием. Надо вначале убедиться досконально, что это действительно — добро. А если и с одной стороны зло, и с другой, только под маской добра, стоит ли овчинка выделки? «И зло тягается со злом», — пишет Степанов. Толстой ведь не просто философствовал. Он ещё и воевал. И выстрадал свои мысли, увидел мир в объёмном свете. Степанов сумел отразить в своих стихах всеобщее ощущение текущего времени — усталость от ложного героизма, от сомнительных ценностей, от вынужденного молчания (чтобы никого не задеть ненароком). Людям сейчас как никогда хочется чего-то абсолютного. Последних истин, на разрыв аорты. Или — хотя бы достоверно полезного и прекрасного. И поэты, как всегда, на передовой размышлений о жизни и смерти, даже когда в войнах лично они не участвуют. И непротivление Толстого, и непротivление Степанова (нисколько не сравниваю их по масштабу таланта) поражают — как отказ сильных от применения собственной силы. Хотя всё равно меня не покидает ощущение, что непротivление это, как раньше говорили, «с кулаками».

Украинские события на целый год фактически заслонили собой остальную русскую лирику. Украинская тема доминирует, например, и в недавно вышедшей книге Ольги Ильницкой «Идёт по улице война». И тоже, подобно «Аэропорту» Степанова,

«собралась воедино» в часы ожидания последних известий с фронта. Название «Аэропорт» прочитывается нашими современниками и как битва за донецкий терминал, свирепая в своей крайней жестокости, хотя автор напрямую об этом не говорит. Но и такой смысл, как мне кажется, он тоже закладывает в название своей книги. Книги Ильницкой и Степанова, что бы там ни говорили, яркий пример поэтической честности. Если на улице война, некрасиво писать про «шёпот, робкое дыханье, трели соловья». Конечно, писать об этом не возбраняется, но ухо, чуткое ко времени, властно требует принципиально другой лирики. В книге Евгения Степанова войне посвящена только первая, сравнительно небольшая глава. Затем идут любовная лирика, посвящения поэтам и другие стихотворения.

Евгений много использует в своих стихах разговорную речь. Не чужда поэту и самоирония: например, он говорит, что у него — тоже, как и у многих, «далеко не апостольский взгляд». И в этом смысле речь его героя — глубоко народна. Возможно, по стихам Степанова когда-нибудь будут изучать русский фольклор начала двадцать первого века. По своему общественному звучанию социальная лирика Евгения Степанова воскрешает в русской поэзии музу Некрасова. Посмотрите, каким трагизмом дышат строки поэта о родине:

здесь можно смотреть только на небеса
здесь некуда больше смотреть

Евгений Степанов — тонкий лирик. Ему свойственно порой преуменьшать своё лирическое дарование. Это выглядит странновато, но симпатично. Умный, глубоко чувствующий, ироничный писатель, Евгений Степанов — человек широких интересов и ранимой души. Всё это вместе и делает его стихи интересными. Он — больше чем писатель, он — человек. Степанов делится с нами всем, что его волнует, не отделяя лирику от других сфер жизнедеятельности. В сущности, основной каркас его стихотворений — это всё тот же «дневник писателя», который он, вслед за Достоевским, ведёт как постоянную журнальную рубрику. Евгений пишет много, истово, честно и лирично. Безусловно, было бы преувеличением говорить о том, что каждое стихотворение Евгения Степанова — шедевр. Конечно, это не так. Но поэт умеет удивлять даже своих искушённых коллег. Составитель русского сегмента антологии «21 поэт 21-го века» Сергей

Сутулов-Катеринич как-то заговорщицки сказал мне: «А знаешь, Саша, кто из поэтов, вошедших в антологию, сумел по-настоящему меня удивить? Евгений Степанов!» Что это значит? Это означает то, что стихи Евгения выделялись даже среди отборной лирики очень хороших поэтов. Вот и меня Евгений часто поражает, в хорошем смысле, своими стихами.

глушь — без тебя — окрест
борщ — без тебя — пост
но ты выбираешь west
а я выбираю ost

мне — без тебя — крест
заживо — на погост
но ты выбираешь west
а я выбираю ost

всё же — но как? — Бог весть
вечный построен мост
соединяющий west
соединяющий ost

ты у меня в груди
я у тебя в груди
всё у нас позади
всё у нас впереди

Неслыханная, «еретическая», по Пастернаку, простота, от которой — мурашки по коже. Тут и Киплинг аukaется со своим Востоком и Западом, и Цветаева, которая «перекидывает мост рукою смелою». Но главное лирическое открытие Евгения Степанова — то самое, от которого бегут мурашки по спине у читателя, — то, что он каким-то шестым чувством, наитием дал женскому и мужскому началу свои векторы. В самом деле, инь и ян прежде никак не были соотнесены с частями света. «Судьба, не иначе, подсказала поэту», — скажут сведущие люди. Так-то оно так. Но для меня, например, совсем не очевидно, что Берлин, где живёт героиня стихотворения, — это Запад, а Москва — это Восток. Прекрасные стихи! Эмоциональность — зашкаливает. И прямоком передаётся нам. «Расходящееся — сходится, и из различного образуется прекраснейшая гармония», — говорил Гераклит.

Читайте «Аэропорт» Степанова. Если вы узнаете об этой книге только в моём пересказе — это будет не совсем чистый источник. Поэзия идёт родником из первоисточника — и посредников, если по-настоящему, не требует.

Сергей Хомутов

Рождение гармонии

Размышления над двухтомником Сергея Сутулова-Катеринича «Ангел-подранок»

Одну из своих заметок о литературе А. С. Пушкин озаглавил «О причинах, замедливших ход нашей словесности». Хотя речь в ней шла об употреблении французского языка и пренебрежении к русскому, классик всё-таки подметил леность современника в поиске свежих оборотов слов и языковых форм. В «Литературной газете» я прочёл подборку стихов незнакомого автора со странной фамилией Сутулов-Катеринич. Усложнённая лексика сначала оттолкнула, но образы и детали, выхваченные из жизни, были свежими, «горячими», в каком-то трёхмерном воплощении: зрение, слух, осязание. А если добавить к этому ассоциативные моменты, то получалось — четырёхмерном: «Растрянжирил полжизни на хроники школьных потерь...», «Прощайся с невестой в речистой ореховой роще...», «Вспоминаю некстати, не в такт, невпопад, / Наугад, ненароком, навскидку, навзрыд, / Прожигает сугробы оранжевый сад — / Абрикосовый сад над позёмкой горит... / Словари проживут битый век без моих / Прокажённых наречий, невнятных имён... / Ах, Рассея, страна нерождённых слоних, / И казнённых икон, и распятых времён...». Вдобавок ко всему, стихи наполняла такая звукопись, как будто их сопровождала музыка.

В предисловии к этой подборке известный поэт Юрий Беликов пишет: «Однажды под горячую руку я нарёк Сутулова-Катеринича „испанским быком русской поэзии“». На мой тореадорский взгляд, живущий в Ставрополе Сергей Сутулов-Катеринич — непроходимая (и необходимая) фигура современного поэтического ландшафта. Он пишет так, будто из тела его торчат, покачиваясь, как перья „Незнакомки“ в воспалённом мозгу Блока, яростные бандерильи. Всё время раненый. И — готовый к новой схватке». Впоследствии, прочитав несколько книг этого поэта, я понял, что сказанное Юрием Беликовым не случайно. Двухтомник «Ангел-подранок» — нечто вроде промежуточного итогового издания, о котором и стоит поговорить подробнее. Кто же такой Сергей Сутулов-Катеринич? На первый взгляд, он встаёт в ряд новаторов-авангардистов. Но, пожалуй, лишь на первый взгляд. «Трудно подобрать слова, чтобы выразить ощущения от чтения этих

стихотворений вслух. Такое удивительное чувство слова — дар Божий...» — сказал о стихах товарища другой замечательный поэт, Михаил Анищенко. Сутулов-Катеринич не насилует слово, не ищет мучительно созвучия; по крайней мере, это не бросается в глаза. Отмечаешь в стихах и выдержанность размера, ритма, строгое классическое построение строфы. В чём же тогда новаторство? Да его, по сути, и нет в том понимании, которое придают ему. Сергей Сутулов-Катеринич просто до предела усилил выразительную сторону слова.

Осип Мандельштам в статье «О природе слова» пишет: «Русский язык — язык эллинистический... Эллинизм — это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечивание окружающего мира». Стихи Сутулова-Катеринича детализованы на разном уровне, от бытового до философского:

Вы вспомните его — по скомканной улыбке,
По синему кашне и спорной ноте «до»...
Потешный старикан чирикает на скрипке,
Кивая пятакам тинейджеров и вдов.
(«Ирония богов, или Предчувствие сонета»)

На кухне, где всегда
Разит валокордином,
Где между «Нет!» и «Да!» —
Смертельный поединок,
Где ржавая вода —
Альтернатива водке,
Где фарс, печаль, беда,
Возник пришелец кроткий.
(«Коммунальный космополит»)

В той же статье Мандельштам говорит, что фонетика — форма, остальное — содержание: «Значимость слова можно рассматривать как свечу, горящую изнутри в бумажном фонаре, и обратно, звуковое представление, так называемая фонема, может быть помещена внутри значимости, как та самая свеча в том же самом фонаре». Хочется привести и важные выводы из другой его статьи «Заметки о поэзии»: «Слово размножается не гласными, а согласными. Согласные — семя и залог потомства языка. Пониженное языковое

сознание—отмирание чувства согласной. Русский язык насыщен согласными и цокает, и щёлкает, и свистит ими». Нет, Мандельштам, конечно, не отрицает значения гласных, но всему своё место.

И здесь самое время для цитаты из двухтомника «Ангел-подранок»:

Блаженный, как жасмин, послушный, словно лён,
Лелею лунный сплин прадедовских времён.

Оранжевый бокал наполнен до краёв...
Авральный мой вокал пугает соловьёв.
(«Восьмая нота»)

В первом двустии—преобладание гласных и плавных успокаивающих *л, н*. Но уже во вторую строку врываются резкие, диссонирующие *р, а* в двух последующих уже главенствуют, вызывая определённое раздражение, *р, ж, г...* И так на протяжении всего стихотворения: *ж, ч, ц, р...* Но вот конец стихотворения—снова обилие гласных:

Изнеженную грусть оставляю соловью
И суженой приснюсь мажорной нотой «лю».

И *ж* звучит иначе под воздействием *лю*, подражывающего любви.

А вот «Баллада о седьмой строфе»:

Грех первого стиха. Страх чистого листа.
Ночей печальных чёт. Свечей венчальных нечет.
Крах позднего греха. Прах честного Креста.
Чистилище печёт. Над чашей плачет кречет.

Сколько звуковых находок: внутренние рифмы, аллитерации, ассонансы.

Любой поэт вольно или невольно берёт что-то у предшественников. Но важно выработать свой стиль. И стоит сказать о другом классике, Иннокентии Анненском, потому что в один ряд поставил бы и звукопись его стихов, и ассоциативность. Аллитерации и ассонансы дают глубину чувствования, а ассоциации—широту отображения. Через ассоциации перебрасывается мостик от древности к недавнему прошлому, а затем—к современности, и наоборот. В стихах Сутулова-Катеринича невероятное количество ассоциаций: литературных, исторических, профессиональных... Немало переключек с другими поэтами, например, в стихотворении «Нашенский, хорошенький!»: «О, сколько дивных производных / Таится в имени твоём...» (кто не помнит пушкинское: «О сколько нам открытий чудных...?»), «Капут стране, ломавшей шведа...» (опять Пушкин), «Прощай, распятая Расея!» (здесь уже лермонтовское), «Под аркой триумфальные подарки...» (отсыл к Триумфальной арке). Поэт вносит в стихи и свою биографию, судьбу. А что составляет его жизненный, переходящий в поэтический, арсенал? Физико-математическая школа

при мгу, филфак Ставропольского пединститута, журналистика, долгое непризнание. Здесь бы подстроиться, делать как все. Но он поступает на сценарное отделение легендарного вгика и успешно оканчивает его. Другой вид искусства даёт приток новых выразительных средств.

Никакой художник-пейзажист не может приблизиться к оригиналу, созданному природой. Картина не передаёт запахи, движения воздуха, она выполнена в одном ракурсе. Но если с пейзажной живописью всё более-менее понятно, то со словом не совсем. Вот существовала такая женщина, А.П. Струйская. Написал её портрет художник восемнадцатого века Фёдор Рокотов. Но, глядя на полотно, человек из другого времени сказал:

Её глаза—как два тумана,
Поулыбка, полуплач,
Её глаза—как два обмана,
Покрытых мглою неудач.

Соединенье двух загадок,
Полувосторг, полуиспуг,
Безумной нежности припадок,
Предвосхищенье смертных мук.

Портрет едва ли способен так раскрыть характер, душевные качества Струйской, перед красотой которой преклонялись многие. Николай Заболоцкий находит словесные краски, которые дополняют полотно живописца, и это становится явлением не меньшим.

А вот Сергей Есенин:

Выткался на озере алый свет зари.
На бору со звонами плачут глухари.

Плачет где-то иволга, схоронясь в дупло.
Только мне не плачется—на душе светло.

У Есенина—поэтическая картина природы, но это стихотворение могло быть дополнением к пейзажу художника. И он уже для читателя ближе: свет—выткался, глухари не молчат, а плачут, иволга—тоже плачет.

Я не собираюсь разъяснять известные истины, а хочу поговорить о главном: о пределах, данных поэту в отображении того или иного предмета, события, переживания. Они ограничены только выразительными средствами, которыми автор владеет. Если каждого поэта представить в виде инструмента и один будет фортепиано, другой—скрипкой, третий—флейтой, четвёртый—гармошкой, то Сутулов-Катеринич предстанет оркестром. Примеры я уже приводил. Вот ещё строфы стихотворения памяти Игоря Царёва:

...апрельская заря:
держава без Царя.
от Ольги до Оки—
рождение ольхи.

беспомощность врачей.
бессмысленность речей.
астральные грехи?
авральные стихи.

честнее пьяных слёз
молчание берёз.
над чётками голов—
печаль колоколов.

Надрыв передают короткие, как выстрелы, строки. И вновь—смешение аллитераций и ассонансов.

А нужно ли играть на всех инструментах? Пожалуй, не обязательно. Можно стать виртуозом-скрипачом или пианистом и достигать успеха. Пример—упомянутый уже Михаил Анищенко, который вывернул себя до предела и душу сделал тем инструментом, который издавал щемящие звуки. Красноярский поэт Сергей Кузнечихин, оценивая и красоту, и мерзость окружающей реальности, выдаёт глубочайшие обобщения. Для этих поэтов не нужно то, что берёт на себя Сутулов-Катеринич. Сами по себе и метафоры, и звукопись не значат ничего, если не работают на общий образ. А вот точная деталь всегда усиливает стихи. Известно, что достигнуть гениальной простоты в поэзии всего труднее. И здесь можно припомнить пушкинские строки: «Буря мглою небо кроет, / Вихри снежные крутя; / То, как зверь, она завоет, / То заплачет, как дитя, / То по кровле обветшалой / Вдруг соломой зашумит, / То, как путник запоздалый, / К нам в окошко застучит». Так наглядно и объёмно может нарисовать картину зимнего вечера только истинный творец. К тому же и здесь всё-таки очевидна работа над стихом в плане звучания. Неслучайны шестикратное *з* и даже четырёхкратное *за*—это несёт ощущение тревоги.

То, что до Сутулова-Катеринича, пожалуй, немногие делали с таким упорством,—работа существительными. Для энергии, которой требует стих, ему не хватает глаголов. Они слишком часто уже затёрты, использованы многократно. И действие начинают выражать существительные. А когда не могут означать задуманное, поэт превращает их в глаголы—сущность предмета и действие соединяются в одно целое. Уже работают не существительное + глагол, а существительное-глагол. Возникают и другие словосочетания: числительное + существительное = определение («сорокаградусный народ»). Чем заменить *это* равноценно? Пожалуй, нечем: «пьяный», «хмельной»—невзрачительно и лишено свежести.

Когда внимательно читаешь Сутулова-Катеринича, то приходишь к пониманию, что он не элитарный в основе своей, не книжный. В его стихах много разговорной лексики и ритмики: «покурим, милая, на камушках, / Нева ворчит—шалят

мосты»; «Мерещатся нелепые обиды— / И смех, и грех»; «Мороз крещенский пропотел / И скрылся в башенках скворещен». А вот—прямо по-пушкински:

Чертыхнулся на бумаге,
Опасаясь четверга...
И очнулся в колыхае
Закадычного врага.

Но не подражание же. Порой поэт и вовсе переходит на частушку. А почему бы и нет, если она так осовременена и индивидуализирована?

Эротичная покупка—заграничная фата...
Полуночная попутка—бесконечная верста.
.....

От заветного райцентра—сто ухабов наизусть.
Непомерная наценка—зафрахтованная грусть.

В большинстве стихов Сергея Сутулова-Катеринича присутствуют тонкий юмор, ирония. Юмор в лирической поэзии—вообще штука редкая, это—не поэтический приём, а свойство характера. Во множестве названий стихов присутствует живая смешинка: «Ода „вечному“ перу, или Путешествие на черепаше в чистый четверг», «Ты моя женщина—вечноколючая», «Коллонтай из села Фатово», «Кофе с муравьями», «Камертон: проверка слуха №10051952», «Летающая актриса», «Лысая гора. До востребования. Чёрту», «Январёнок, Тать и ключик Ять»...

Если же процитировать строчку из «морозного» стихотворения, то можно сказать, что здесь, кроме юмора и соединения числительного и существительного в прилагательное, проявляется и упомянутая уже черта стихов поэта—переключки с классиком:

сорокаградусный народ...
(С. Сутулов-Катеринич)

узреет истину в стакане...
(А. Блок)

Ещё в одном стихотворении вновь прослеживается пушкинский подход к тексту или даже сказочная ритмика:

Вероятность узнавания
Через век невелика.
«Ты какого роду-звания?!»—
Окликают дурака.
«Ты какого роду-племени,
Растопырка-борода?!»...
Но лохматое видение
Исчезает без следа.
(«Нулевой вариант,
или Фигура умолчания»)

А кто-то, может быть, увидит здесь и нечто некрасовское. Но, скорее всего, это идёт от русского фольклора.

Гордая птаха горлянка
 Каждому в день рождения
 Дарит — на радость, горе ли?! —
 Странные откровения...

— Ты проживёшь долее,
 А повезёт — баловнем...
 Вольному — море! Добела
 Выскреби рёбра палубы.
 (*Притча о море, небе и поэтах*)

Такое свободное обращение с языком мы видим практически в каждом стихотворении. В одном случае восприятие усиливается за счёт повтора глаголов, как, например, в стихотворении «Баллада о невзорванных вагонах»: «Заскрипели, закрихтели, загудели... / Замерцали, задрожали, засверкали...» — или же определений: «...красный, тревожный, авральный... / серый, унылый, паскудный» («Стихи, не написанные тобой»). В других случаях эффект дают сравнения, как в стихотворении «Мелодия печали и добра»: «Метафоры, как вдовы, одолели», — или, здесь же: «Из чистого, как детство, серебра», — или: «Голая пол-литра злее, чем гюрза» («Правила неотложного выхода из неосторожного „штопора“»).

Что-то из подмеченного мной в поэзии Сутулова-Катеринича отмечали уже другие — например, её кинематографичность. На то, что стихи наших выдающихся поэтов просятся в киноряд, он указал и сам — в «Опыте автобиографии».

Не представить творчество Сергея Сутулова-Катеринича и без личностных моментов, о чём я упоминал. Молодые поэты часто не хотят делать биографию или не желают открыть её читателю. Но что же тогда остаётся? Пустые слова, искусственные обороты речи, которые быстро иссякают. В них нет тех высоток и ложбинок, за которые можно зацепиться. Конечно, «лирические переживания» могут быть и по поводу порванных колготок или укуса комара — и это неприятно. Но испытавший настоящее горе человек едва ли такие страдания признает серьёзным поводом для стихов. И здесь задумываешься о существенном не только для Сутулова-Катеринича. Многие считают, что надо научиться писать, то есть складывать слова в рифмованные строки. Но, как мне кажется, умение — вторично. Поэт, созданный миром, начинает создавать свою вселенную и оттуда черпает материал для стихов. И Сергей Сутулов-Катеринич создал мир, который стал источником его вдохновения. Чем богаче мир, тем совершеннее творения.

Известное определение поэзии, данное Николаем Заболоцким, «мысль-образ-музыка», не говорит о том, что мысль должна стоять на первом месте. Скорее, это предполагает наличие в стихотворении мысли, выраженной образно и оформленной музыкально. Последнее, естественно, должно

присутствовать в любом случае, энергия стиха зависит именно от звучания. Комбинации «мысль-образ» и «образ-мысль» всё-таки отличаются. У Сергея Сутулова-Катеринича чаще главенствует «образ». Но все три составляющие присутствуют в полной мере. Конечно, его ранние стихи отличаются от тех, которые родились в 2000-х годах, где ощутима особая лёгкость. И появление «поэллада» тоже связано с этими годами. Хотелось бы также отметить, что поэт просто хронически болен выдумкой даже в содержании книг: «Фарс-перелёт Москва — Париж — Лиссабон», «Фотография под облаками», «ALTER ЕГО: попытка реставрации», «Тост за скобкой», «Завтрак на траве в кругу друзей, дам и теней», «Стоны южного мамонта», «Контрольный поцелуй у храма Святого Семейства»... Вроде бы зачем столько сил тратить на придумывание названий стихов? Но Сутулов-Катеринич такой во всём.

Ещё вопрос: насколько поэзия должна быть привязана ко времени? Об этом размышляла Марина Цветаева в статье «Поэт и время». «...Крупный художник неизбежно современен», — пишет Марина Ивановна. И продолжает: «Современность не есть всё моё время. Современное есть показательное для времени, то, по чему его будут судить: не заказ времени, а показ... воздействие лучших на лучших, то есть обратное злободневности: воздействию худших на худших». Сергей Сутулов-Катеринич тоже выискивает в настоящем новое, значимое, сопоставляя с прошлым и заглядывая в будущее. И другое наблюдение Цветаевой: «Есть нечто в стихах, что важнее их смысла, — их звучание». Именно музыку наших лет можно извлечь из строк Сутулова-Катеринича, в которых смешались и дореволюционное, и довоенное, и военное, и постперестроечное, и нынешнее — с душком авторитаризма — времена.

Поэт даёт читателю двухтомника «Ангел-подранок» заглянуть и в начало своего творческого пути. Раздел стихов конца 1960–1970-х годов обозначен весьма загадочно: «Бином Морфея». Стихи достойны того, чтобы их прочитать — и понять, что всё, заложенное уже в те годы, Сергей Сутулов-Катеринич сохранил и приумножил. Приведу пример:

Холода изначальные измочалили.
 А любовь изначальная, измельчав, опечалила.
 Уходила ты от отчаянья.
 От молчания. Без венчания.
 (1970)

А вот строки из другого раннего стихотворения поэта:

Забудем о встречах и вспомним о почте:
 Письмо — это легче,
 письмо — это прощенье.

Забудем о Боге, забудем о смерти...
Случайные строки
в случайном конверте.
(начало 70-х)

Я не случайно сравнивал возможности живописца и поэта. Да, превзойти природу в живописи невозможно. А вот со словом всё иначе: можно в пределах словесного творчества заниматься поисками, а можно как бы выйти за его пределы. Поэзия способна стать синтезом нескольких искусств и даже научных познаний. Расширяется лексический диапазон, появляются свежие метафоры, сравнения. Анна Ахматова в своих дневниковых записях вспоминает, что у Мандельштама была даже «теория „знакомства слов“». То есть он говорил о важности столкновения в строке тех слов, которые раньше рядом не стояли. Попытки отделить язык современной поэзии от языка предшествующих периодов, пожалуй, непродуктивны. Появляются новые слова, но так было всегда, и в девятнадцатом, и в двадцатом веке. Одних поэтов новизна привлекает больше, другие не слишком охотно допускают её в своих текстах. Сергей Сутулов-Катеринич относится к первым. Он — традиционалист и экспериментатор в одном лице.

При таком владении разговорным языком, диалогом Сутулов-Катеринич мог бы писать достойную прозу (да, впрочем, и пишет), но по своей природе он всё-таки поэт. А талант прозаика, умение выстроить сюжет проявляется в его поэмах и поэмладах. Поэма «Сорок роз» — это, по сути, роман о первой любви. Подзаголовок «Сентиментальная поэма» грустновато-ироничен, но поэма на самом деле драматична и даже трагична. Это в прологе — романтическая любовь, юношеские мечты.

Мальчику — шестнадцать лет,
Девочке — пятнадцать лет.

Всё разбивается о суровую реальность. Сорок роз, сорванных в санатории Севои Светляковым, за что влюблённый юноша наказан, проходят по всему сюжету, превращаясь впоследствии в знаковое число «сорок»:

Сорок роз. Вопрос — ответ.
Проще некуда сюжет...

Сорок роз. Допрос — в рассвет...
— Начинаящий поэт?

А дальше:

Год — условно, без медали.
Минус комсомол и дале...

Девочка Мотылькова Яна-Ева растаяла в розовом тумане юности, оставшись в памяти как самое светлое, но невозвратное:

...Сорок лет прошло с тех пор.

Сорок роз... *Курсив грехов...*
Поседевший Светляков
Вылетает за границу —
В первый раз: мечтать? молиться?

Городок под Сан-Франциско.
Кладбище без обелисков.

Водка «Сорок сороков»?!

Сорок лет и семь шагов...
Русский шрифт... рефрен богов...
Медь латиницы, и даже
Полуфразы из сонетов
Намекают о пропаже...
Рябь в глазах, рой силуэтов...
Знал, зачем летел, — читай же:
Е-ва-Я-на Фи-о-ле-тофф...

И фиолетовый цвет символичен, в него перешёл розовый, словно плеснули в эту розовость боли и тоски. Завершение поэмы — тоже неожиданное сравнение-параллелизм, возвращающее нас к началу произведения:

Проще некуда сюжет:
Сорок роз — как сорок бед...

В прозе для развития этой истории потребовалось бы написать действительно роман, в поэме всё уместилось на шести страницах.

О поэзии сам Сергей Сутулов-Катеринич сказал просто и очень точно:

Собираю стихи построчно —
Им по десять-пятнадцать лет...
У поэзии паспорт бессрочный:
Либо есть она, либо — нет!

Качество его произведений определяет и то, что каждая строка в большинстве стихотворений самоценна, как, например, в «Балладе об учённых дураках и уцелевшем друге»:

Я врагов сосчитал поимённо —
хватает на целую роту...
На могилах друзей
неизбежен паскудный запой...
Подлеца назову подлецом —
потеряю работу:
Восклицательный знак
обернётся пустой запятой.

Но, естественно, в итоге получается единый поэтический образ. Крупнейший литературовед Юрий Лотман в статье «О „плохой“ и „хорошей“ поэзии» пишет, что к плохой поэзии можно причислить ту, которая не несёт информации или несёт её в малой степени. То есть — если поэт не открывает читателю ничего нового. В стихах Сутулова-Катеринича эта составляющая выражена в полной мере.

Читая предисловия и послесловия к книгам Сутулова-Катеринича, открываешь и то, что не досказали другие. Поэт Юрий Перфильев в предисловии к книге «Ореховка. До востребования» отмечает как удачную строку «Капельки крови — „божьи короф-фки“». Мне же при прочтении этой строки сразу бросилось в глаза и графическое двойное «ф-ф», напоминающее этих маленьких насекомых, услышалось шуршание их крыльев. Замени на обычное — «божьи коровки», и эффект исчезнет. А вот высказывание наблюдательного поэта и прозаика Бориса Юдина: «Была в моём детстве замечательная вещь: переводные картинки. Это когда квадратик бумаги нужно было намочить в блюде с тёплой водой, а потом наклеить на чистый лист, на книгу... на куда угодно. После этого оставалось осторожно снять влажный и пахнущий клеем защитный слой бумаги, чтобы возникло блистающее лаком изображение. И это было равнозначно чуду. Такое же ощущение чуда возникает, когда раскрываешь книгу Сутулова-Катеринича, поскольку Сергей наделён уникальным даром перевода банального в необычное. Поэт, обладающий абсолютным слухом и слышащий симфонизм Вселенной, предлагает читателю аллитеративные ряды, возникающие из этой полифонии».

Выразительно говорит о своём собрате Георгий Яропольский: «Сталкивая слова схожего звучания, поэт высекает из них новые, совершенно неожиданные смыслы, причём множась, перетекающие друг в друга... его стихи представляют собой попытку систематизировать первоизданный хаос, который он видит и чувствует в окружающей действительности». Чтобы не создалось впечатление, что я слишком увлёкся достоинствами стихов Сутулова-Катеринича, хочу подчеркнуть, что цель моя — не рецензирование двухтомника «Ангел-подранок», а размышление о выразительных средствах поэзии на примере творца, воплотившего в лучших стихах многое. Своего читателя Сергей Сутулов-Катеринич будет искать, конечно, сам. А поэзия уже нашла его и отметила каким-то знаком, только ей одной известным. Недаром мой тёзка выдохнул, решив отказаться от вопросительного знака в конце последней строки:

что остаётся в остатке (самом сухом) на планете,
мокрой от слёз Атлантиды, если поэты в ответе
только за Слово — не больше, но и не меньше,
заметьте...

ДиН пародия

Евгений Минин Стихосебери

Интервью

*А вы помните, Антон Павлович,
как отравились в Гонг-Конг после Сахалина?*
Вера Зубарева

А вы помните, милый Антон Павлович, Веру, ту, что творчество ваше любит — и не в меру, что к вашим ответам придумывала вопросы? Меня так волнует философия вашей прозы. Как относитесь вы к женщинам? Смотрите как я красива! Интервью небольшое? Ну нет у меня архива. Шлю письмо на деревню Чехову. Буду ответу рада. Надеюсь, что в деревне с интернетом всё как надо.

Дебредушное

*У каждого свой лес. Особенно дойдя
до середины сумрака.*
Сергей Соловьёв

До середины сумрака дойдя,
я написал, двух зайцев пристрелив,
немного Дант, немного Мандельштам,
как говорится — с миру по строке.
Но Дант был прав: у каждого свой лес,
а у кого-то роща или бор,
но умер вновь, когда б увидел Дант,
какие дебри у меня в стихах.

Павел Полуян

Коммунистическая трагедия

Всё ближе столетний юбилей Русской революции. Красная дата сдвигается в центр общественного внимания: нам нужна широкая дискуссия о смысле и уроках революции. Требуется подведение итогов — чтобы уверенно идти дальше, перешагнув вековой рубеж.

Коварный берег Утопии

Недавно я встретил в Интернете примечательный текст. Бывший наш соотечественник, ныне живущий в Германии, рассказывает, как в школе, где обучается его дочь, детям предложили прочитать книгу английского писателя шестнадцатого века Томаса Мора с описанием «наилучшего устройства государства на новом острове Утопия». Там представлено фантастическое общество без частной собственности, но с обязательным коллективным трудом и нормированным потреблением, где жизнь людей строго регламентируется и находится под контролем чиновников. Коммуна, одним словом. Как ни странно, в результате изучения этой небольшой книжки немецкие школьники выразили желание жить при таком общественном строе. И только дочь автора высказала сомнение, поскольку путь к утопическому социуму пролегает через кровавую революцию. Этот вариант изрядно смутил учительницу, которая, очевидно, придерживалась левых взглядов, — ей пришлось свернуть обсуждение темы (<http://muennich.livejournal.com/70089.html>).

А между тем здесь есть о чём поговорить. Более того, обстоятельный разговор о глубинном смысле коммунистической идеи особенно важен для нас — он позволяет найти верный ракурс для точной обрисовки российской истории двадцатого века. К сожалению, иные публицисты склонны представлять отечественную революцию как некое зубодробительное недоразумение, порой даже патриотические писатели изображают революционное народное движение (вызванное условиями войны и спровоцированное внешними влияниями) в карикатурном виде бессмысленного и беспощадного бунта.

Я думаю, эти оценки в целом неверны, а ситуационно — вредны. Успешное развитие нашей Родины предполагает уважение к её истории, требует не разборки, а понимания и прощения. Во

всех странах, у любых народов всегда гражданские войны — суть трагедии, кровь и слёзы. Причины междоусобиц сложны: тут сходятся и социальные, и религиозные, и геополитические факторы. Но, безусловно, у Русской революции, вопреки всему, прослеживается ясный этический посыл, который, несмотря на все кровавые эксцессы, позволяет нам положительно оценить исходные мотивы революционеров. А всё дело в том, что идея, вдохновлявшая социалистический проект, была благородна и чиста, веками выстрадана. Она возникла как ответ на основной вопрос общественной жизни: может ли человечество избавиться от лжи, несправедливости, зависти, стяжательства, угнетения и прочих социальных зол?

За десять лет до революции русский философ-экзистенциалист Николай Бердяев, вслед за религиозным философом Владимиром Соловьёвым, писал о правде социализма. Он утверждал: «В социализме есть и великая правда, так как велика ложь капиталистической и буржуазной общности; я думаю даже, что в известном смысле нельзя не быть социалистом, это элементарная истина...» («Новое религиозное сознание и общественность», <http://predanie.ru/lib/book/91038/>). Действительно, каждый человек, вероятно, в те или иные моменты своей жизни мечтал о некоем совершенном обществе, где нет обид и унижений, где все люди добры и отзывчивы, где отсутствует ложь и всё по справедливости. Но одновременно с надеждой неизбежно возникало вопрошание: почему люди не могут так жить прямо сейчас? Отчего они вместо дружбы и братства — мучают друг друга, радуются чужим несчастьям, стремятся возвыситься за счёт других?

Мечта о воцарении правды и справедливости была основой массовых религиозных движений и побуждала к реформаторским усилиям власть имущих человеколюбцев. Но религиозные движения приводили к нескончаемым конфликтам, а реформаторов-управленцев, как правило, оперативно устраняли более консервативные «братья по классу». Довольно быстро источник зла, мешающий прогрессивным переменам, был опознан как «золотой телец»: корысть, жажда господства и богатства, — как отношения частной собственности, ведущие к эксплуатации человека человеком.

Тот же Томас Мор (к слову сказать, он был богатым царедворцем) заявлял в своей «Утопии»: «При внимательном созерцании всех процветающих ныне государств я могу клятвенно утверждать, что они представляются не чем иным, как неким заговором богачей, ратующих под именем и вывеской государства о своих личных выгодах... Истинная же причина такого положения — это частная собственность и деньги... По-моему, где только есть частная собственность, где всё мерят на деньги, там вряд ли когда-либо возможно правильное и успешное течение государственных дел... Если частная собственность останется, то и у наилучшей части населения навсегда останется горькое и неизбежное бремя скорбей».

Идеология на крови

Идея о том, что человек по смыслу своего существования предназначен к добру, и только частная собственность его портит, — многим казалась бесспорной, а к моменту появления марксизма она обрела вездесущую популярность. Собственно, вся суть марксизма в том, чтобы правдоподобными аргументами обосновать неизбежность устранения частной собственности из комплекса социальных отношений. Маркс и его последователи утверждали: дескать, естественное развитие человеческого общества пришло к переломному пункту, когда частная собственность стала тормозом, а значит — закономерно подлежит ликвидации. Как только частная собственность на средства производства будет упразднена в ходе революционного реформирования, сразу же откроются условия для создания нового общества, где проклятое стяжательство и корыстолюбие постепенно исчезнут.

Всё русское революционное движение было повязано сей идеологией, просто народники и эсеры казуистику Маркса не приветствовали, а для социал-демократов «научное обоснование» считалось важным, поскольку служило оправданием насильственного разрушения старого во имя прогрессивного нового. Соответственно, вся наша революция была проникнута идеей борьбы с мещанским богатством и «частнособственническими инстинктами» — вспомните книги и стихи того времени (Андрей Платонов, Аркадий Гайдар, Владимир Маяковский и другие). Романтики революции даже деньги хотели отменить и мечтали о будущем, где чистые и честные люди придут на смену испорченным поколениям, отягощённым злом и стяжательством.

Однако из прекраснодушной революционной мечты следовал один не очень красивый логический вывод: если людей эпохи частной собственности уже не переделать (разве что «перековать» в трудовом лагере), то, значит, нечего и жалеть старое общество, культурные ценности которого

инфицированы скрытым злом. Будем разрушать ветхий мир до основания и возводить храм светлого будущего, чая появления новых людей, — вот тогда и наступит настоящий коммунизм. Ради ожидаемой гармонии было предложено перетерпеть некоторое усиление сегодняшнего зла: ведь мы используем средства старого мира — насилие и угнетение, ложь и обман, убийство и устрашение — для борьбы с ним же самим. Такова диалектика истории, революцию не сделать в белых перчатках...

Как мы теперь знаем, социальный эксперимент революционеров не увенчался успехом. Победитель дракона сам превратился в змей-горыныча. Возможно, эксперимент начался несвоевременно, и потому его энергия иссякла. Может быть, виной всему предательство вождей и перерождение советского народа, заражённого тлетворным влиянием капитализма. Но, так или иначе, в итоге случилось то, что следовало бы назвать коммунистической трагедией.

В России ценой больших жертв коммунистами было создано общество, где устранены коренные причины социального зла — отношения частной собственности и возможность накопления богатств, ведущие к социальному неравенству. А неравенство, которое порождалось государственной иерархией, аппаратно нивелировалось повышенной мерой ответственности, когда руководители за ошибки и нерадение подвергались жестоким наказаниям. Для советских людей ощущение того, что новое коммунистическое общество — с его высокой моралью и чистыми отношениями — вот-вот заявит о себе, было не отвлечённым мечтанием, а рациональным убеждением. В начале шестидесятых годов не только руководство Коммунистической партии Советского Союза, но и огромному множеству простых людей казалось, что двадцати лет как раз хватит для окончательного утверждения коммунизма.

Коммунизма нет — значит, всё позволено

Сейчас часто с иронией вспоминают о романтиках шестидесятниках, которые воспевали «комиссаров в пыльных шлемах». Но ведь молодые люди тогдашнего СССР были убеждены, что социальные отношения советского общества радикально отличаются от частнособственнического капитализма — отличаются в лучшую сторону. Новые социальные нормы не только открывают небывалые перспективы для бодрого научно-технического прогресса, но и препятствуют извечному социальному злу, которое на Западе откровенно проявляет себя в моральном разложении, грабительской преступности, захватнических войнах и эксплуатации бедных богатыми. И в самом деле: достаточно было посмотреть образцы буржуазного искусства, где воспевались романтические убийцы, грабители

банков, мошенники-авантюристы и прочие обитатели «Города грехов». Тем не менее коммунизм не наступал, а развитой социализм всё больше напоминал западное общество.

Позднее, когда стало ясно, что ожидания Программы КПСС не оправдываются, новоявленные советские инакомыслящие увидели ошибку вождей не в том, что запрещена частная собственность, а в том, что забыты идеалы революции — вместо творческого труда сверху насаждается удовлетворение материальных потребностей. Недовольство этим легко обнаружить не только в подмётных писаниях диссидентов левого толка, но и в книгах, стихах, песнях того времени. Я сам, когда в начале восьмидесятых вступал в КПСС, хитроумно начертал в заявлении: «Идеалы коммунизма являются моими жизненными идеалами, и я хочу за них бороться в рядах партии». Подразумевалось, что именно в партийных рядах я намерен затеять борьбу за эти идеалы. (И через несколько лет, в эпоху перестройки, этим я и занялся — войдя в «Комитет содействия перестройке», состоящий из красноярских партийцев, недовольных политикой крайкома КПСС.)

Поначалу объявленная Горбачёвым перестройка воспринималась широкими массами именно как очищение коммунистических идеалов — с ликвидацией номенклатурных перерожденцев, жуликов-воров и хлопковых миллионеров. Но с определённого момента вдруг обнаружилось, что сами собой восстанавливаются отношения частной собственности, открывшийся мир полон соблазнов, а сила денег проламывает любые границы. Оказалось, советское общество принципиально ничем не лучше западных социумов, а чем-то даже значительно хуже, поскольку скрывает свободу личности и предприимчивость. Более того, обнаружилось, что вся советская история пронизана большими и малыми обманами, когда всё нелицеприятное замалчивалось, а праведные цели осуществлялись неправыми средствами. Значит, всё было зря?

Суть коммунистической трагедии в том, что вроде как обнаруженный путь к идеальному обществу закончился тупиком с пауками. Оказалось, что на деле все люди по природной сути своей, от роду — «заточены» на неравенство и взаимоотношение. Социалистические идеалы не воплотились, новые отношения не развились, братство обернулось притворным спектаклем — люди упорно возвращались к стратегии «человек человеку волк» (особенно если эти люди — разных национальностей). А раз коммунизм невозможен, то всё позволено. Зачем строить из себя «человека коммунистического будущего», соблюдающего моральный кодекс бескорыстного труженика? Наоборот: надо жить весело и свободно, без оглядки на добродетельные идеалы — себе на пользу, другим на зависть.

Это ощущение недостижимости идеала и тщетности стремления к нему, вероятно, сыграло роль катализатора в цепной реакции разгула стяжательства и преступности, которые наблюдались в девяностые годы в Российской Федерации. Сейчас «праздник жизни» вроде бы утихомирился, но обнаруженная этическая проблема заострилась ещё больше: неужели всё-таки нельзя устроить человеческое общество без зла? Неужели все наши стремления к социальному идеалу суть беспочвенные мечтанья и вымышленная сказка-утопия? Согласитесь, не очень-то уютно себя чувствуешь, когда представляешь, что «прекрасное далёко» неизбежно будет жестоким, а грядущие поколения наших потомков обречены жить среди пороков и разврата в мире зависти и корысти, подвергаясь гнёту репрессивных аппаратов государства и агрессиям со стороны активных искателей счастья...

Уроки будущего

Вот такой невесёлый итог может получиться у разговора о справедливом устройстве общества. Но учить этот урок надо, ведь коммунистическая трагедия — падение мечты о справедливом бесклассовом обществе — это не праздная басня с моралью, а серьёзный геополитический фактор. Достаточно сказать, что одной из мотиваций русофобии в постсоветских странах служит подспудное желание снять с себя ответственность за принятие этих идеалов. Это, мол, русские нас обманули и коварно соблазнили. А мы, все такие рациональные, всегда хотели жить цивилизованно.

Впрочем, есть и другие оценки происшедшего. У меня как-то любопытное совпадение случилось: я только-только вернулся из Китая с выставкой презентации новейших научных разработок и технологий стран Центральной Азии, а когда дорвался до Интернета (в Синьцзяне было не до того) — обнаружил актуальный сюжет: все обсуждали появившийся в Сети китайский мультфильм «Вперёд, товарищи!» Эта дипломная работа выпускницы Пекинского кинематографического института Йилин Ванг — взгляд из Китая на развал СССР глазами маленькой девочки. Небольшой восьмиминутный сюжет раскрывает всю глубину трагедии низвержения коммунистических идеалов как обиду ребёнка, преданного матерью (http://www.youtube.com/watch?v=sV_dyvzCeIA). Кто не видел этот фильм, советую посмотреть. И, надо отметить, конец фильма сделан открытым, если рассматривать его как пророчество: «коммунистическая трагедия» имеет продолжение. Прекрасная девочка из мультфильма спрашивает: «Теперь американцы будут бомбить наши дома?» Предательство идеалов оказывается исторически наказуемым. Мне вспомнилась мистическая история о русском мальчике-пророке Льве Федотове, который в своём дневнике предрёк начало войны

в июне 1941-го и расписал по пунктам все её этапы — вплоть до запоздалого открытия второго фронта и взятия Берлина Красной Армией. Он погиб под Тулой в 1943 году, но интересна записка, сделанная им в самом начале войны: «...Может быть, после победы над фашизмом нам случится ещё встретиться с последним врагом — капитализмом Америки и Англии, после чего восторжествует абсолютный коммунизм на всей земле. Но уж когда будет разбит последний реакционный притон, тогда воображаю, как заживёт человечество!» (<http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1883200>)

Кстати, надо добавить пару слов и про фашистскую утопию, захватившую воображение немецких бюргеров. Такая утопия тоже существовала, и была она как раз чётко противоположна коммунистической идее. Основа нацизма — аксиоматически принятая испорченность, неравноценность людей и установленная как норма воля к господству высших над низшими. Соответственно, планировалось создание общества с кастой арийских господ и остальными недочеловеками (унтерменшами), по природе обречёнными к подчинению и рабству. Сейчас эта расистская идеология возрождается вновь — появляются предложения реально создать с помощью генных модификаций и биотехнологий расу покорных рабов, которые туповаты, но исполнительны и покорны. Этого, например, требует в своём блоге один известный либерал-атеист (он ещё предлагает — дабы рабы не вызывали сочувствия — придать им уродливый вид гоблинов и гномообразный низкий рост).

И, завершая разговор, надо упомянуть про советских писателей — коммунистов-утопистов позднего времени — Ивана Ефремова и братьев Стругацких. Они, конечно, понимали исходную этическую проблему и пришли к выводу, что только целенаправленное воспитание и психотренинги могут сформировать коммунистического человека, свободного от зла стяжательства и властолюбия. Собственно, и упомянутый выше русский философ Николай Бердяев в книге «Новое религиозное сознание» в 1907 году писал: «Перестать властвовать над другими, перестать быть капиталистом и буржуа, сделаться человеком есть великая радость, открытая всем... Реализация правды социализма зависит от силы человеческого сознания и человеческих чувств и желаний, от соединения правды с её источником — Силой». Бердяев особо подчёркивал, что переход к этому идеалистическому духовному движению будет возможен лишь на почве глубокого разочарования в существе политической революции.

А раз так, у России есть неплохие шансы превратить нынешнее разочарование в революционных преобразованиях в целевой общественный порыв, проникнутый стремлением к истинно справедливому обществу, в котором социальное

зло будет искореняться усилиями гражданского общества и деятельностью общественных организаций (воспитательной, духовной, психологической). Для того чтобы это стало возможным, я предлагаю сосредоточить на этом направлении усилия прогрессивных политических партий и сформулировать надлежащие изменения в Конституции РФ.

Конкретизирую свою мысль. Последнее время много говорится о необходимости изменений в действующей Конституции РФ, особенно в статье 13, где подчёркивается многообразие идеологий и декларируется отсутствие государственной идеологии. Но правомерно и опасение, что идеология, утверждённая в качестве государственной, может привести к спорам и раздорам. Думаю, всё же есть приемлемый вариант: государственная идея должна быть выражением этического идеала — стремления государства построить общественный организм, где не будет социальных зол — лжи и несправедливости, угнетения и эксплуатации, стяжательства и обогащения одних за счёт других.

Эта «идея-правительница» (термин писателя-евразийцев) будет выражением общих, всем очевидных чаяний и надежд, то есть не вызовет споров. Она привнесёт в общественное существование нечто новое — осмысленность государственной жизни. Формулировка такой идеи как государственной миссии, записанной в Конституции, поистине одухотворит весь корпус законов Российской Федерации, которые из «законодательных норм», соблюдаемых в силу принуждений и наказаний, превратятся в средство достижения в будущем гармоничного и справедливого общества. Думаю, что конкретные формулировки конституционного текста, воплощающего данную идею, легко найдутся в ходе обсуждений на общем форуме политических партий, который можно было бы собрать в Кремле в преддверии новых выборов в Государственную Думу. Это было бы правильно.

Вы можете расценить моё предложение как утопический прожект, оторванный от действительности. В качестве контрдоводов приведу два примера. В конце девяностых годов я работал по заказам одного регионального коммерческого банка — вёл определённого рода информационную работу, составлял разные материалы и всякую аналитику. Банком руководил доктор экономических наук, бывший преподаватель политэкономии. Так вот, я помню, как ему активно не нравилось стандартное положение устава коммерческих организаций — «извлечение прибыли»: он во всех официальных бумагах требовал прописывать, что смысл деятельности их банка — удовлетворение общественной потребности. И в самом деле, какими юридическими аксиомами мотивировано уставное требование об «извлечении прибыли»? Не вправе ли учредители сами решать, в чём смысл

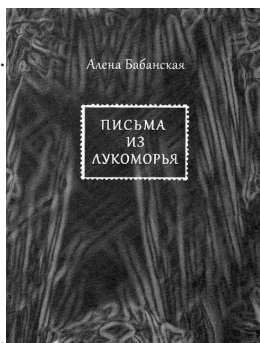
деятельности создаваемой организации? С учётом нововведений в Конституцию РФ, о которых я сказал выше, подобное изменение стандартного разделения коммерческих и некоммерческих организаций становится допустимым. Ведь наш общественный идеал — нестяжательство!

Другой пример. Известно, что государственная собственность в нашей стране через несправедливую (а где-то и незаконную) приватизацию перешла в частную собственность отдельных лиц. Пересматривать итоги приватизации было бы опять же несправедливой акцией, поскольку за прошедшие два десятилетия эта собственность разрушилась. Однако нарушение идеала справедливости по-прежнему ощущается — даже сами новые владельцы его чувствуют. Интересную идею предложили руководители компании «Лукойл»; они прямо говорят и подчёркивают (даже в рекламе), что это не частная фирма (хотя юридически так), а национальная компания (но никаких юридических оснований у данного термина нет). Тем самым акцентируется опять-таки общественная миссия

компании-недропользователя и уникальность её возникновения, когда государственная собственность оказалась в управлении частных лиц. А с учётом нововведений в Конституции нам останется лишь разработать юридические новации, которые закрепят такой статус крупных частных компаний, что выразится в предписании им работать на благо страны и народа (это, в частности, предотвратит возможность перехода контроля над их капиталом в иностранную юрисдикцию). И в самой Конституции РФ декларация общественного идеала неизбежно вызовет подвижки: например, богатства недр следует, безусловно, отнести к народному достоянию, что предполагает непреложность государственного контроля за их коммерциализацией.

Таким образом, описанное здесь конституционное предложение вполне рационально. Русская революция прошла не зря — мы стали умнее. Так давайте будем крепки этим своим умом: «золотой миллиард» может и дальше править свой бал, а мы пойдём отсюда — в светлое будущее!

ДиН РЕВЮ



Алёна Бабанская

Письма из Лукоморья

Москва: «Водолей», 2014.—208 с.



Ну и лето нынче выдалось!
Тридцать восемь шпарит градусник.
Надо мной летает парусник,
Только он, конечно, выдуман.

Да и как его не выдумать:
Два крыла с лимонным отблеском,
Два крыла с чеканным оттиском —
Талисман души невиданной.



Неужели ветер стих?
Нет, по-прежнему бушует.
На бумагу ляжет стих,
Только будет он бесшумен.

Только будет он из слов,
Самых тихих в этом мире,
Усмирителю ветров
Чтобы душу усмирили.

Летний день

Золотой пломбир мешать
И звенеть по блюдцу ложкой.
Перестань гадать, душа,
Что здесь истинно — что ложно.

Раскалённый диск ленив.
На припёке дремлют кошки.
Над прудом летают мошки
В унисон дрожащую ив.

Говорить о пустяках.
Примерять льняные вещи.
Белой бабочкой трепещет
Лето красное в руках.

Ах, как ложечка звенит!
Как мелькают светотени!
В закипающий зенит
Благовония дымит
Сладострастный куст сирени.

Карен Арутюнянц

Орешек

У папы выходной!

— Ну,— сказал папа,— показывай свою задачку. Чего у тебя там не получается?

— Да вот,— Орешек протянул папе учебник,— из пункта А в пункт Б вышел...

— Так...— папа заглянул в учебник.— Значит, вышел турист. Из пункта А в пункт Б...

— Да. Из пункта А в пункт Б.

— А ты в ответ смотрел?

— Нет, ещё не успел.

— Что же ты так?... Какой номер-то?

— Сто восемьдесят шестой...

— Сто восемьдесят... Ага! Сто груш!

— Каких груш, пап?

— А! Ну да!.. Не то смотрел, ха-ха! Вот! Тридцать три километра... А что там надо было узнать?

— Сколько осталось пройти туристу...

— Да... хорошая задачка... Вот, помню, пошли мы в турпоход. Прошли километров двадцать, осталось всего ничего, а тут полило как из ведра! Мы— в лесок, а там из-под ёлки знаешь кто?

— Знаю, медведь. Ты рассказывал...

— А!.. Ну да... А когда рассказывал?

— Вчера. Когда я стих учил.

— Ну ты стих-то выучил?

— Наполовину...

— А, ну это ничего... Давай вторую половину учи!

— Ладно, только задачку решу...

— Вот и молодец,— сказал папа.— А потом я у тебя географию проверю...

Папа поудобней улёгся на диване и принялся читать газету. И уснул.

Устал, наверное.

Селёдкина

К Орешку подошла Лика Селёдкина и спросила тихим голосом: «Ты бы не мог сегодня вечером, в шесть тридцать, прийти на мой день рождения по адресу: Шишкин переулок, один, четвёртый этаж, квартира десять, налево от лифта? Будут салат оливье, корейка, нарезанная тоненькими прозрачными ломтиками, рыба заливная, пирожки с капустой, пирог с черничным джемом, взбитые сливки, мороженое, пепси, спрайт, музыка— классическая и современная, можно без подарка...»

«А почему бы и нет?»— ответил Орешек, а в шесть часов ровно принарядился, надписал

красивую открытку словами: «Лике от Орешка»,— и отправился к Селёдкиной.

Лика Селёдкина очень обрадовалась Орешку. Словно и не ждала, что он придёт. И бабушка её обрадовалась. И папа, и мама. А дедушка хитро подмигнул. Как-то очень хитро. Орешку почему-то от этого дедушкиного подмигивания стало не по себе.

Лика Селёдкина посадила Орешка за стол и принялась его угощать. И бабушка вокруг хлопотала, а папа с мамой, кажется, даже чего-то спели. И дедушка сбавил на аккордеоне.

Орешек наелся, напился, осоловел.

Его положили на диванчик, выключили свет. И Орешек уснул.

А Лика Селёдкина сидела рядом, держала Орешка за руку и убаюкивала его своим чудным тихим голосом: «Баю-баю-бай! Баю-баю-бай!»

...Такое вот видение привиделось Орешку на перемене.

Но тут к нему подошла Лика Селёдкина и тихо спросила:

— Слушай, ты не дашь мне списать домашнее задание по алгебре?

— Да!— ответил Орешек и уставился на неё.— Я обязательно приду!

— Куда?— удивилась Селёдкина.

А Орешек улыбнулся как-то странно и повторил:

— Обязательно!

— Ты что, влюбился?— спросила Лика Селёдкина.

— Почему бы и нет?— ответил Орешек.— Почему бы и нет?... Я же не щенок глупоголовый...

Гениально!

Дядя Федя развалился на стуле и почти пропел: — Лютики-цветочки! Ромашечки-пенёчки!.. Гениально! У вас тут, в гнезде, всё гениально! И со вкусом всё! Со вкусом!.. Молодцы у тебя папка с мамкой!

Орешек дорезал копчёную колбасу и переложил её на тарелку.

Дядя Федя схватил бутылку шоколадно-вишнёвого ликёра, который Орешек нашёл в буфете, плеснул себе в фужер и спросил, громко расхохотавшись:

— Будешь?

— Да нет, я водички,— ответил Орешек очень серьёзно.

— Ну смотри,— дядя Федя широко улыбнулся и наполнил фужер до краёв,— питьё гениальное!

Орешек тихо улыбнулся.

— Нет, ну я просто не могу, как у вас хорошо!— дядя Федя опорожнил фужер и судорожно выдохнул.— Душа поёт! А где папка с мамкой-то, говоришь? Я чего-то не понял!..

— На участке. Картошку сажают. В домике заночуют... Вернутся завтра...

— А ты чего?— подмигнул дядя Федя.— Филонишь?

— К годовой контрольной готовлюсь. По биологии...

Орешек посмотрел на луну за окном. И вдруг ему показалось, будто бы она ухмыльнулась как-то криво, что ли.

— Слушай!— заорал дядя Федя и придвинул к себе тарелку с колбасой.— А я проголодался! Ты чего не закусываешь? Жуй-жуй! Не стесняйся!

Орешку стало тоскливо. Он взглянул на довольного дядю Федю и потянулся к бутылке с остатками шоколадно-вишнёвого ликёра.

— Э! Э-э-э!— протянул дядя Федя.— Не балуй!

— Бе-е-э!— вдруг сказал Орешек.

— Что?— удивился дядя Федя.

— Бе-е-э!— повторил Орешек громче.

— Как?— переспросил дядя Федя.

— Да так,— подумал вслух Орешек.— Бе! И всё тут!

— Гениально...

...Через несколько минут, когда луна стала идеально круглой, а дяди Феде и след простыл, Орешек довольно произнёс:

— Все растения, цветковые и нецветковые, имеющие корни и побеги, называют высшими растениями. Высшие растения, как правило, обитают на суше, но среди них есть и такие, которые живут в водоёмах, например, элодея... Но есть растения, у которых нет не только цветков и плодов, но и корней, и стеблей, и листьев... Это низшие растения... Их называют водорослями...

И жизнь ему не казалась уже такой серой.

А завтра вернулись папа и мама.

Как монархия одолела демократию

Бабушка Орешка обожала всяких маленьких зверюшек-пичужек.

По бабушкиной комнате (Орешек прозвал её Демократическим Зоопарком) ползали разные перламутровые черепашки, прыгали розовые кролики, порхали взъерошенные чижи и Бог знает кто ещё.

У каждого из бабушкиных питомцев была своя история, но рассказ про щенка таксы даёт всем остальным рассказам о зверюшках-пичужках развешёлой бабушки тысячу очков вперёд.

Словом, как-то раз вернулась она со своей ежедневной прогулки (Орешек в ту неделю болел ангиной, воевал с подушкой и изнемогал от скуки), заглянула к внуку в каморку и заговорщицки подмигнула.

Орешек знал эти бабушкины подмигивания! Жди чего-то необычного.

— Ну,— с трудом прошептал Орешек своими охрипшими голосовыми связками,— показывай!

Надо заметить, что черепашки, кролик, морская свинка, кошка, чижи и даже бабушкины жуки живут в полной гармонии и согласии— как друг с другом, так и с самой бабушкой. Орешка это всегда удивляло: как бабушке удавалось находить с ними общий язык?! Настоящая демократия!..

— Алле-оп!— сказала бабушка.— Начинаем парад-алле!

Тут на середину комнаты из-под ног бабушки выкатилось что-то маленькое, длинное и ушастое и первым делом оставило на паркете оригинальный автограф— довольно-таки большую лужицу. — Кхто это?— умилился Орешек, протягивая к таксике руки.

— Это Гансик Семнадцатый!

— А почему Схемнадцатый?

— Да потому, что это уже семнадцатая лужа с того самого момента, как я увидела его в зоомагазине «Короли Природы».

— А ты уже познакомила его с остальными?

— Когда?! Ты первый!..

Бабушка сходила за тряпкой и бросила её на лужицу. Гансик Семнадцатый понюхал тряпку, а затем, размышляя, судя по всему о чём-то своём, королевском, оросил и её.

— Мохжет, он болен?— беспокоился Орешек.

— Нет-нет,— успокоила его бабушка.— Просто перед уходом из магазина он выдул целую бутылку молока. Ладно, вы тут знакомьтесь понемногу, а я подготовлю ребят.

Всё-таки дело нешуточное, когда в доме появляется король! Без «дипломатических ухищрений» не обойтись. И бабушка отправилась к себе. Её «дипломатические ухищрения» всегда приносили свои плоды: кролики-черепашки встречали новичков как родных братьев.

«Ухищрений» этих у бабушки было семь.

Во-первых, зверюшки-пичужки должны быть всегда сыты! Во-вторых, напоены! В-третьих, умыты-причёсаны! В-четвёртых, слух должна ублажать спокойная классическая музыка! В-пятых, никаких сквозняков! В-шестых, полная свобода передвижения! В-седьмых, режим!

Бабушка была чудесным Директором Своего Демократического Зоопарка.

Первым делом Гансик Семнадцатый оккупировал кровать Орешка и усмирил подушку.

Орешку только и оставалось попросить:

— Смотри у меня! Пожжалуйста, без лужиц...

Гансик Семнадцатый пригнулся и, посапывая, уснул. Да и Орешек задремал, прижавшись к тёплому щенку...

Спустя какое-то время появилась бабушка, и Орешек с Его Величеством проснулись.

Как ни странно, Орешек чувствовал себя значительно лучше.

Гансик Семнадцатый энергично встряхнул ушами, потребовал, чтобы его спустили с кровати на пол, и побежал изучать дом. Конечно же, таксика заинтересовали звуки, доносившиеся из бабушкиной комнаты. Орешек побежал за щенком.

Его Величество без тени страха переступило через порог дверей, ведущих в Демократический Зоопарк, и подбежало к одному из кроликов.

Кролик дружелюбно потянулся своим влажным подрагивающим носом к Гансику Семнадцатому, но щенок бесцеремонно схватил бедного кролика за ухо и потащил на середину комнаты.

Затем Гансик Семнадцатый поймал второго кролика и проделал с ним то же самое. Поразительно, но кролики не пытались сопротивляться и оставляли сидеть там, куда их, так сказать, транспортировал щенок.

За кроликами последовала очередь морской свинки, трёх черепах, чижа, жука и, наконец, кошки, которая так же, как и все обитатели Демократического Зоопарка, безропотно приняла удар судьбы.

Демократии пришёл конец. Победу одержала монархия.

Гансик Семнадцатый устало зевнул. Он умаялся.

Король обвёл своих подданных осоловелым взглядом, добрёл на заплетающихся лапках до кошачьей корзинки, влез в неё и довольно захрапел.

Орешек с бабушкой переглянулись и, прыскавая от смеха, на цыпочках вышли из вновь образованной монархии, по которой кто куда печально разбредались подданные Его Королевского Величества Гансика Семнадцатого.

А что им ещё оставалось делать? Не бунтовать же? Да и не были они приучены к революциям—эти сытые бабушкины демократы: кролики, морская свинка, черепахи, чиж, жук и тем более толстая кошка.

Забуть про Кролика

Глупые, конечно, шутки у некоторых.

Например, у Кролика.

Орешек даже не знал, как его зовут. Кролик и Кролик, который всё время морщил нос и имел длинные, заострённые сверху уши.

Так вот, как-то раз Орешек сидел на лавочке у дома, а Кролик крутился вокруг столба и колотил по нему палкой. Столб звенел: до-он, до-он, до-он. Согласитесь, должно красиво получаться, а у Кролика почему-то выходило так противно, что хотелось этой самой палкой стукнуть его по башке.

Но Орешек молчал, болтал ногами и делал вид, что ему всё равно.

Тут какая-то бабка завопила с балкона:

—Щас в милицию позвоню! Фулиган! Не фулигань!..

Кролик перестал звенеть столбом, отошёл, но палку не выкинул. Подумал и принялся ею колосматить по асфальту.

Может, он дурак? А может, ему, как и Орешку, нечего было делать? Но Орешек сидел себе на лавочке и никого не доводил до белого каления.

А тут появились не запылились Круглый с Абдулой и каким-то неизвестным худым парнем. Такие только ночью тихие. Когда спят. Да и то не всегда. Они окружили Кролика и стали его подталкивать, поддразнивать, гоготать.

Орешек молчал. Сидел на лавочке.

Худой отнял у Кролика палку и кинул её в открытую дверь мусоросборника—комнатки, в которую из мусоропровода сбрасывается весь мусор.

Кролик, дурачок, кинулся за палкой, а эти герои тут же навалились на дверь. И притихли, ждут, как там Кролик отреагирует. А Кролик молчит. Тоже, наверное, ждёт. А чего ждёт? Чего можно в мусоросборнике ждать?!

Тут Орешек встал с лавочки и подошёл к богатырям.

—О!—протянул Круглый.—Какие люди!!!

—Да,—сказал Орешек.—У меня сегодня день рождения! Я вас всех приглашаю. Прямо сейчас!

—О!!!—завопили они.—Ну ты даёшь!!!

И забыли про Кролика.

Дверь приоткрылась. И Кролик вышел из мусоросборника со своей палкой. Как ни в чём не бывало. Орешек успел заметить это в тот самый момент, когда они всей компанией шумно входили в подъезд.

Вообще-то день рождения у Орешка был только через два месяца. Но ничего другого он придумать не смог.

Ну и ладно.

Такой славный!

«Здравствуй, дорогая бабуля!

Я давно тебе не писала, но ты сейчас поймёшь почему! Последнее время я жила в такой тревоге!

Но вообще со мной приключилась весьма умо- рительная история.

А теперь слушай и крепко держись за стул!

Напротив нашего девятиэтажного дома стоит точно такой же девятиэтажный дом, в котором на последнем этаже, под самой крышей, жил и живёт самый настоящий колдун!

Я так думала очень долго!

Я наблюдала за ним уже целых три недели и видела несколько раз, как он поднимает руки над головой, словно вызывает к небесам.

Колдун совершал какие-то странные движения телом, и вокруг него начинали сверкать молнии: то по спирали, то слева, то справа, то сразу со всех сторон.

Чаще всего я не видела его лица, а только силуэт, но иногда мне удавалось поймать его сверкающий взгляд, полный огня и тайных помыслов.

Я знала, я чувствовала: этот колдун—необыкновенный! Он чего-то ждал. Может, встречи с инопланетянами?! Или с другими колдунами?!

От таких мыслей мне становилось неуютно, потому что больше всего на свете я боюсь нашествия инопланетян и колдунов.

Бабуль, я была уверена и уверена до сих пор, что когда-нибудь, может быть, в скором будущем, инопланетяне или, на худой конец, колдуны обязательно приземлятся в нашем городе и сделают что-то невероятно ужасное. Например, утащат к себе, в иные таинственные миры, всех мальчиков одиннадцати лет! Или белых кошек!

Но пока у нас в городе всё было тихо и спокойно, инопланетяне что-то не появлялись, лишь колдун искрился молниями, но и к этому можно было привыкнуть, к тому же в последнее время колдун куда-то исчез.

„Интересно, куда пропал колдун? Он вернётся? А вдруг вместо него в той квартире поселится кто-то ну совершенно ужасный?.. К примеру, гигантский Чёрный Ворон?!.. Какие глупости лезут в голову! Ой, бедная моя головушка!..“—мучалась я по ночам.

С такими мыслями я брела сегодня по аллее скверика, и неожиданно наткнулась на Орешка из параллельного класса.

— Ай!—вздрыгнула я.

— Привет,—улыбнулся Орешек.—Ты чего?

— Да так,—пожаловалась я,—совсем извелась... Не знаю, что делать!

— А что такое? Может, помочь?

— Да чем ты поможешь?—пожала я плечами.—Ты же не Гарри Поттер!

— Нет, не Гарри Поттер,—снова улыбнулся Орешек.—Но я умею летать при помощи зонта.

— Да-а?—не поверила я.—Как это? Ты серьёзно, что ли?

— Могу научить,—ещё шире улыбаясь, произнёс Орешек.

— Слушай,—замялась я.—Это ладно! Ты потом меня обязательно научи летать при помощи зонта, но... Я хочу тебе вот что рассказать... Обещай, что это останется между нами!

— Обещаю,—ответил Орешек.

— Знаешь,—начала я,—я видела... одного колдуна! И не один раз!

— Да ну?! Где?

— Ты знаешь, где я живу?—спросила я, почему-то хватая Орешка за пуговицу на рубашке.

— Ну да. Конечно. Прямо напротив нашего дома. То есть точно перед нашими окнами.

— Как это?—поразилась я.—Ты что, живёшь на девятом этаже?!!

— Да, на девятом этаже.

— Так это же у вас в окне я наблюдаю колдуна, который целыми днями сверкает молниями!!!—хрипло прошептала я.—Правда, уже три дня как он исчез... Может быть, навсегда...

И тут Орешек начал хохотать, а успокоившись, сказал:

— Ой, как смешно! Это же мой папа крутит обруч, потому что хочет похудеть и избавиться от живота. Обруч у него металлический, вот он и блестит на солнце. А исчез колдун, то есть мой папа, потому что... ха-ха!.. он на неделю уехал в командировку! Ой!.. Не могу! Папа, ха-ха,—колдун!.. А вообще странно, что ты не знала, где я живу.

— Ой!—рассердилась я.—Почему я обязана это знать?!

— Не знаю,—пожал плечами Орешек,—наверное, не обязана. Ну ладно, я пошёл...

— Ладно,—ответила я.

И сама себе удивилась, мне почему-то стало очень неловко перед Орешком.

И какая я глупая, да, бабуля? Навоображала себе всякую ерунду. Да ещё и не знала, что, оказывается, прямо перед самым моим носом живёт Орешек.

Он такой хороший. Такой славный!..»

Сочинение умного таксика на свободную тему

Орешек не просто хороший! Он чудесный друг!

Всегда меня приголубит, угостит солёными ржаными сухариками, погуляет со мной—хоть целый день!

Мы с Орешком обожаем шататься по нашему городку и его окрестностям: по полям, по Песчанке, то есть по песчаной горе, которая зимой покрывается снегом и превращается в ледяную горку—рай для лыжников-экстремалов, а летом с неё здорово прыгивать вниз, увязая в песке и выкрикивая что-нибудь весёлое, беззаботное и глупое, например:

— Облака!

Или:

— Жареная картошка!

Или:

— Привет бабушке!

А когда вместе с нами друзья Орешка—Андрюха, Валька и Макс, и даже Толян, от которого пахивает сигаретами, то жизнь моя—самая прекрасная жизнь на всей планете, потому что нет веселее компании, чем Орешек, Андрюха, Валька и Макс!

Во всяком случае, я других таких ребят не знаю!

Эх, чего мы только не делаем!

Так и есть, легче перечислить именно это — чего мы ещё не делали: вот с парашютом мы не прыгали, на самолёте не летали...

Хотя вчера, когда мы наблюдали с Песчанки за спортивным самолётиком, который выполнял над нами в голубом безоблачном небе разные сложные трюки, Орешек, прищурившись, сказал Андрюхе: — Интересно, откуда он взлетает?

— Да, — кивнул Андрюха, — вот бы полетать!

«Возьмут с собой, — подумал я. — Не бросят же одного? Куда они без меня?..»

Так мы стояли, обдуваемые свежим ветерком, стояли, задрав головы, и любовались полётом самолётика, пока неожиданно небо не заволокла серая бугристая туча, и сначала дождь легонечко заморосил, а потом грянул гром, засверкали молнии, и на нас обрушился ливень, словно перевернулось море и решило затопить всю Песчанку, поля и наш городок.

Мы бежали, мы хохотали, а я к тому же и лаял, словно щенок, повизгивая от счастья и чуточку от страха. Всё-таки гроза — это гроза! Стихия!

Гремит гроза. Ах, страшно мне!

Несётся кто-то на коне

По небу грозному с копьём!

Но мы, ребята, впятером!

И всё нам, братцы, нипочём!

Ведь от погони мы уйдём,

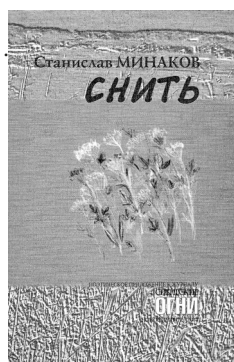
Как уходили тыщу раз

В такой же непогожий час!

А потом, уже дома, я греюсь в своих тёплых одеялах, а Орешек наигрывает на фортепиано джаз.

Джаз — это такая музыка. Спокойная, похожая на задумчивую беседу отца и сына, или сына и матери, или всех вместе тихим летним вечером, когда в небе кричат стрижи и пахнет тёплыми булочками с изюмом и ароматным кофе со сливками.

ДиН РЕВЮ



Станислав Минаков

СНИТЬ

Новосибирск: Поэтическая библиотека
журнала «Сибирские огни», 2014. — 192 с.



Этот страх беспримерный в башке суеверной,
твоей умной, дурной, переменчивой, верной, —
жадный опыт боязни, тоски, отторженья,
я лечил бы одним — чудом изнеможенья.

Потому что за ним — проступает дорога,
на которой уста произносят два слога,
два почти невесомых, протяжных, похожих,
остающихся, лнущих, ничуть не прохожих.

О, я помню: боящийся — несовершенен
в смелом деле прицельной стрельбы по мишеням.
О, я знаю, что дверь отворяет отвага,
и летает бескрылая белка-летяга.

Плоть поможет? Положим, и плоть нам поможет:
ужас прежний — на ноль, побеждая, помножит,
чтоб отринуть навек злой навет сопромата.
Сочлененье и тренье — завет, не расплата.

Плоть — сквозь плен осязанья и слуха —
прозревая, восходит к подножию духа,
тех прославив, кто в боязливой жизни прощальной
лбды расплавил телесною лампой паяльной.



Старое норовит потереться о молодое.
О, молодое, касайся старого осторожно!
Жадною козлиной оно трясёт бородою,
кровью пьянящей кормится непреложно.

Ты, молодое, ищи своё, молодое,
быстрою ножкой бей и крутись юлою.
И на поляне громкой толкись ордою,
сук под собою — злою пили пилою.

Старое, ты сопи в уголке тихо,
молча глазей на скачки, сиди, не ёрзай.
Не поминай, не мани, пробуждая, лихо,
гомон хмельной вмещай головой тверёзой.

Станешь и ты, молодое, таким когда-то.
Вишь, молодое, как старое сухо дышит.
Челюсть лежит в стакане, а в ухе — вата.
Выцветшими цветами платочек вышит.

...Любо глядеть — младым молодое пышет.
Любо не знать, что завтра оплаты дата.

Синяя тетрадь

КРАСНОЯРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ ШКОЛЬНЫХ СМИ «СУПЕРПЕРО»

Номинация «Мы едем, едем, едем!»

Лев Александров

лицей № 7, 3 класс

Как я ездил в пещеру Караульная

Как-то раз мы всем классом решили поехать в пещеру Караульная. К этой поездке я хорошо подготовился. Рюкзак попросил у брата, фонарик взял у папы. Там темно, а мне не хотелось натолкнуться на летучую мышь. Сделал два бутерброда с яйцом. Взять термос мама не разрешила. Тяжело! Я хотел, чтобы вода не переохладилась. Взял бутылку с водой.

Возле школы нас уже ждал автобус. Старенький. Трясло всю дорогу! Особенно на гравийке! Я избил всю голову! То о стекло, то о спинку сиденья! Ехали в гору. Потом пошли в гору.

Неужели пещера Караульная так высоко?

Я еле затащился на одну гору, а впереди ещё круче! Началась грязь. Именно поэтому нам было весело, а не трудно. Скользили, падали и смеялись. Впереди был опасный спуск. Нам пришлось держаться за верёвки, потому что тропинка шла вдоль обрыва. Я решил прокатиться по верёвке. Катился я до первого дерева. Не удержался и врезался в дерево!

Наконец добрались до беседки. Отдохнули, оставили рюкзаки и с фонариками в руках пошли к пещере. Она выглядела совсем не так, как я ожидал. Входа в пещеру не было! Была дверь! Вошли. Я сразу включил фонарик. Увидел узкие ступеньки. Мы спустились. Я огляделся. Вверху увидел трещину и внизу. Нам объяснили, что это разломы, образовались они при таянии ледника.

Проход дальше вниз был очень узким, мы держались за поручни. Очутились в большом гроте. Я первый раз не на картинке увидел сталагмит. Сталагмит—это огромный ледяной столб. Он сверкал. Его называли Шапка Мономаха. Образовался он оттого, что через трещины вода капала

со свода пещеры многие годы. В другом гроте свод пещеры был игольчатым, капли свешивались в виде бахромы. И застыли. Это сталактиты.

А ещё мы побывали в Глиняном гроте, видели вылепленную из глины голову человека. Рядом лежали монеты. Как оказалось, это была голова хранителя пещеры, и люди складывали ему монетки. Глиняным он называется потому, что в него стекает глина со всей пещеры. И посетители сами лепят здесь фигурки.

Выходили из пещеры другим путём. По мосту из брёвен. Дружно бежали к беседке, все проголодались. Я достал свои бутерброды и обнаружил, что раздавил их, когда ехал, но всё равно с удовольствием их съел. Поделится шоколадкой с другом Петей. Вокруг было много шишек. Они валялись под ногами, и мы устроили настоящий бой. Мальчики против девочек. Победили мальчики. Но весело было всем. Когда спускались вниз, у меня опять отказали тормоза, и к автобусу я скатился кувырком.

Дома, под впечатлением от поездки, я решил прочитать об этой пещере и узнал ещё много интересного. Пещера Караульная была открыта недавно—в шестидесятых годах прошлого века. Её глубина составляет сорок один метр от входа, а длина всех ходов—пятьсот сорок метров. После открытия некоторые посетители стали портить стены надписями, разрушать её, пугать летучих мышей, поэтому она была взята под охрану, и вход в неё стал доступен только с разрешения.

Диана Макарова

лицей № 7, 5 класс

Турецкий кот

Этим летом я и моя семья отдыхали в Турции.

Жители этой страны очень хорошо относятся к кошкам. В скверах и парках стоят кормушки для пушистых братьев наших меньших. Каждое утро туда приносят свежий корм и чистую водичку. Но турецким кошкам и этого мало! Они приспособились кормиться ещё и в ресторанах отелей, где отдыхает много туристов.

Кошки приходят в ресторан к началу завтрака. Важно ходят между столами, всем своим видом показывая, кто тут настоящий хозяин. И, конечно же, туристы начинают их кормить. Утренний завтрак турецких котов — колбаса, сыр, яичница и огурцы. Причём с пола эти гордые животные ничего не едят!!! Они выбирают и едят только то, что им нравится.

Конечно же, у меня был свой любимый котёнок, которого я кормила в течение двух недель. Он всегда встречал меня в ресторане и важно сопровождал до нашего столика, где терпеливо ждал, когда наша семья рассядется по своим местам. После этого он аккуратно запрыгивал мне на колени и взглядом спрашивал: «Ну что? Где мой завтрак?» Наевшись до отвала, мой турецкий друг сворачивался калачиком на моих коленях и, урча, засыпал. Я так привязалась к нему, что последние дни отдыха думала только о том, как бедненькому котёнку будет плохо без меня, рисовала в воображении страшные картины голодного будущего моего пушистика. Пока... в одно прекрасное утро, сев за свой столик в ресторане, я вдруг обнаружила, что мой кот благополучно сидит на коленях совершенно незнакомой девочки и благосклонно принимает из её рук очередную порцию вкусного завтрака! Предатель! Он даже не взглянул в мою сторону! А я?!

Позавтракав, семья ушла, а мой котёнок запрыгнул на стол и устроил себе банкет! Потом разлёгся посреди пустых тарелок и уснул!

Последнее, что я видела: кота за шкурку выносили из ресторана! Он спокойно щурился на проплывающие мимо лица туристов и, видимо, выбирал себе очередного «кормильца». Теперь за его будущее я была спокойна.

Ольга Строй

школа № 94, 11 класс

На Алтай за звёздами

Солнечный августовский вечер. В здании красноярского ж.-д. вокзала людно и шумно. Особенно выделяется большая группа молодёжи с огромными сумками и подозрительно длинными чехлами, ими руководит активная громкоголая женщина.

Это — красноярские фехтовальщики, я — одна из них. Впервые еду на сборы на далёкий и пока неизвестный Алтай, нервничаю, переживаю. Стараясь справиться с волнением, обнимаю вновь прибывающих «братьев и сестёр по оружию», помогаю тренеру раздать билеты, пристраиваю чью-то шпату в чей-то чехол... Вот объявляют прибытие

поезда, на котором мы должны добраться до Новосибирска — и все волнения отходят на второй план, потому что моим заботам поручают сразу нескольких девчонок помладше, нужно помочь им влезть в вагон, найти место, разместиться... Некогда беспокоиться о себе!

Говорят, что командный спорт воспитывает взаимовыручку и взаимопомощь... Кто сказал, что только командный?

В семь утра, полусонные после ночи в поезде, мы вылезли под мелко морозящий новосибирский дождь. Последующие десять часов в автобусе до лагеря практически не помню, провела их в полудрёме, заткнув уши наушниками, очнувшись только под конец.

Асфальтированная дорога сменилась гравийной — тогда я ещё не знала, что по такой мы будем бегать ежедневно по несколько километров в течение ближайших трёх недель. Однообразные пейзажи сменились живописными холмами, и я прильнула к грязному оконному стеклу. Светило яркое солнце, и меня переполнил неожиданный, почти детский восторг. Как тут красиво! Как же всё здорово!

Вверх-вниз, вверх-вниз — поднималась и опускалась, петляя, дорога, шумели уставшие за долгий путь ребята, но я не видела ничего, кроме этих холмов, этих полей — всей этой потрясающей красоты.

Добрались, выгрузились, расселились по домикам, сразу сдвинули четыре кровати в одну, поужинали — надо отзвониться родителям. Сперва удалось поймать какую-никакую связь на высокой горе, которая весьма удобно располагалась в десятке метров от нашего домика. В последующие дни я вставала в восемь утра, чтобы успеть умыться до завтрака и сходить на сломанный мост примерно в километре от лагеря, связаться с родными.

Алтай, ко всему прочему, отличается ещё и резкими перепадами температур: днём я тренировалась в купальнике, а после ужина и с утра тряслась от холода и мечтала о пуховике. Особенно хорошо здешние «заморозки» ощущались в первую ночь, когда соседки по комнате и ещё несколько наших повели меня на сломанный мост смотреть на звёзды.

Естественно, гулять по ночам запрещено (надеясь, в руки моего тренера никогда не попадёт этот рассказ...), но так хочется! Полуночная вылазка становится ещё интереснее, когда к простому любопытству примешивается опасность быть пойманными и наказанными ночным часовым кроссом вокруг домика. Надев шерстяные носки, кофты и завернувшись в одеяла, мы стайкой привидений прокрались к заднему выходу с лагерной поляны. Ребята шёпотом переругивались, кому нести фонарик, а кто должен быть потише, иначе его до утра запрут в душевой; я молча включила

свой фонарик, напугав всех, и побрела вперёд. Быстро добравшись до моста, мы расстелили одеяла на доски и легли, вынужденные тесно прижаться друг к другу. Тогда я наконец смогла посмотреть на небо.

Это... мне до сих пор трудно подобрать слова. Грандиозно? Да. Потрясающе? Да. Весь Млечный Путь, словно на ладони, лежал на бархатно-чёрном безлунном небе. Замолчали даже болтливые девушки, а я забывала дышать, заворожённо наблюдая за россыпью звёзд. Некоторые из них то и дело срывались и падали...

Возвращались в лагерь в полном молчании, тихо легли, не раздеваясь. Уже засыпая, я вспомнила, что, засмотревшись, так и не загадала желание на падающую звезду. Подумав, что надо будет обязательно сходить ещё раз и загадать, я крепко заснула.

Второй раз сходить не получилось, и, мне кажется, это правильно. Во второй раз уже не было бы того восхищения, и та ночь не запомнилась бы как по-настоящему особенная.

Случалось и забавное. Отдельная тема — баня, которую отчего-то очень любит моя тренер. Она отправляла нас туда каждый вечер с завидной настойчивостью, и вскоре мне начало даже нравиться. Но так как до сборов я никогда не бывала в бане, в первый день произошёл казус.

В парилке была эдакая двухъярусная лавочка. Неопытная в банном деле, я забыла снять крестик на серебряной цепочке. Сняла в парилке, положила рядом (сидела на втором ярусе), крестик провалился в щёлочку и упал на пол.

Я в панике. С лавки поднимается Саша — один из подопечных другого тренера, с которым знакомы, но в одном зале не занимаемся:

— Цепочка дорогая?

— Серебряная, она у меня единственная, — хлюпаю носом.

— Балда ты, — бурчит он и лезет под лавки с фонариком.

Все, затаив дыхание, следят за его передвижениями. Вылез.

— Она упала в щель пола, не дотянусь. Принесёшь проволоку — достану.

Саша залезает снова на лавку, я начинаю хлюпать носом сильнее, выхожу из парилки. Пока душ, пока оделась, пока отыскала кого-то из персонала лагеря, пока выпросила моток проволоки — приблизилось время паужина. А паужин — это тот благодатный приём пищи перед сном, когда дают вкусные булочки с молоком, и его любят и не пропускают все без исключения. Но Саша и его лучший друг мужественно сидят в парилке и ждут меня с проволокой. Наконец я прихожу, осторожно заглядываю:

— Ребят, может, пойдёте уже?... Потом достанем... А то паужин... Пятнадцать минут осталось...

— Тихо, женщина, — прерывает меня Саша. — Я сказал, что достану, — значит, достану! Давай сюда!

Друг его поддерживает и вызывается держать фонарик. Саша забирает проволоку, и дверь в парилку закрывается. Я сижу в предбаннике и с замиранием сердца слушаю доносящиеся из парилки голоса парней. Походит что-то около десяти минут. Внезапно голоса стихают.

«Всё, пропал крестик», — успеваю обречённо подумать, прежде чем дверь парилки распахивается. Оттуда вылетают мокрые и лохматые Саша с другом, в одной руке Саша держит моток проволоки, в другой — злосчастный крестик на цепочке, Сашин торс (весьма неплохой, к слову) весь в грязи. Друг через плечо Саши светит мне в лицо фонариком, и оба хором кричат:

— Мы его достали! Мы достали твой крестик, слышишь!

Я могу рассказывать об этой поездке бесконечно долго — и при этом не рассказать и половины. Мы таскали в гору булыжники в качестве тренировки выносливости; пробежали семь кроссов по пятнадцати километров каждый, не считая рядовых ежедневных пробежек; сплывались по речке на надувных лодках, а моя даже не перевернулась и плыла быстрее всех, зато утоп фотоаппарат моего тренера; играли просто в волейбол и в волейбол в бассейне; смотрели фильмы вдесятером с одного ноутбука; жарили шашлыки, пели под гитару и не спали в последнюю ночь; несколько человек увезли с собой на память сплетённые мной фенечки.

Мы выматывались до предела, а потом, после тренировки, после душа, где поливаешь себя трясущими руками, ложились на полотенца в траву, под солнышко, и единственной мыслью было: «Господи, как же хорошо!» Это чувство я сохранила в глубине сердца, и сейчас, когда сборы далеко позади и от них остались лишь воспоминания, когда проблемы, усталость и тревога за грядущие экзамены переполняют меня, я воскрешаю его в себе, и тогда становится легче. Ради одного этого стоило съездить на Алтай.

Полина Емелина

школа № 6

.....

Шанхай: небоскрёбы тоже умеют жить

В России зима. А я гуляю по тёплому стеклянному Шанхаю. Знаете, это было потрясающе!

Заранее разузнав о достопримечательностях необъятного города, мы из аэропорта сразу же отправились в центр на скоростном поезде. Картинки за окном менялись непредсказуемо: пустыри, огороды, теплицы, заводы... И всё?! Где же

высотки, стеклянные здания? Завернув за угол и пробравшись сквозь тёмные малопроезжие улочки, находим китайскую забегаловку, где можно прилично пообедать. Эх, хорошо бы знать китайский, сразу бы в нужное место приехали.

Несколько остановок метро — и перед нашими восхищёнными глазами возникает необъятная картина будущего из фантастического фильма — новый мир, иная реальность.

Нам открывается вид на удивительные небоскрёбы, отражающие в себе всю китайскую городскую суету. Примерно час дня, обычный рабочий день, людей как в муравейнике — сотни, тысячи, миллиарды. Давка невообразимая, примерно как в нашей школьной раздевалке после пятого-шестого урока. Все с навороченными мобильниками-«лопатами», снимают видео, пишут sms-ки, разговаривают по телефону, фотографируются в «Instagram». Постоянно сталкиваясь с прохожими, то и дело слышишь вежливое: «Sorry». Но на дорогах ни одной пробки! Да и машин немного. Китайцы, даже когда они одеты в деловые костюмы, передвигаются по городу на велосипедах.

В Шанхае есть место, где расположены самые высокие здания — каждое более трёхсот этажей. Здесь же находится всеми посещаемая и самая известная телебашня «Восточная жемчужина», её высота составляет четыреста шестьдесят восемь метров. Туда мы и отправляемся. Очередь к башне чуть меньше, чем сама башня. Складывается такое впечатление, что китайцам нечего делать, и они каждый день ходят по музеям и на разные экскурсионные прогулки.

Купив билет, мы поднимаемся на самый высокий этаж, где располагается смотровая площадка с прозрачным полом. Поднимаясь в лифте, я представляла, как я смело хожу и прыгаю по этому стеклянному полу. Но не тут-то было! Когда я вышла в зону смотровой площадки, меня охватили холод и боязнь высоты. Это было нереально! Просто дух захватывает, когда стоишь рядом с таким «аттракционом»!

Весь Шанхай — как на ладони. Тысячи... нет, миллионы домиков, всё настолько маленькое... Знаете, когда мы видим высотки на картинках или фотографиях, чаще мы не верим, что это так и есть: «Да нет, такого быть не может! Пф, да это компьютерная графика!»

Но поверьте, всё это есть на самом деле — фантастические сооружения, достигающие облаков!

Чувство восхищения перекрыло чувство страха, и я не заметила, как оказалась на прозрачной платформе. Привыкая к отсутствию вида земли под ногами, и начинается время фотографирования. Невероятные кадры!

Время поджимало, нам нужно было возвращаться в аэропорт. Пробыв в Шанхае не больше суток, я поняла, что всё же небоскрёбы тоже умеют

жить. Многие думают, что небоскрёбы зомбируют и уничтожают личность человека, словно надевают на каждого единую униформу. Но я увидела другое: обилие зелени, чистейший воздух, радостные, улыбающиеся люди на улицах и взмывающие к облакам гигантские небоскрёбы, подставившие солнцу свои светоотражающие стеклянные тела.

Алёна Барсукова

Литературный лицей, 10 класс

.....

Есть такая страна — Монголия

Этим летом у меня было удивительное путешествие в необычную страну Монголию. Это страна пасущихся овец, верблюдов, лошадей, яков, страна жаркого дня и ледяной ночи, страна великолепного звёздного неба, ярких красок пустыни и непонятно почему счастливых людей.

Всё началось в один тёплый летний день, когда я села в машину, чтобы отправиться в двухдневное путешествие в другую страну. Теперь было уже поздно что-либо менять, вернуться назад, забрать забытую на полке кепку, взять почитать другую книгу. Теперь всё это осталось позади. Повседневная суета, ежедневные заботы уже не обременяли меня, я только смотрела в недалёкое будущее, пытаюсь представить его очертания и разгадать характер.

В дороге мы были три дня. Первую ночь мы спали в Кызыле, на скрипучих скамейках. Когда я встала утром, то со стопроцентной уверенностью могла сказать, что это была самая ужасная ночь в моей жизни. Я до сих пор помню боли в спине, затёкшую шею, не отдохнувшее тело и плохое настроение. И это только начало поездки, а впереди целый день езды по неровным дорогам Монголии.

Постоянная тряска укачивала, но спать было неудобно, из-за этого днём мы тоже не могли нормально отдохнуть, и в результате этого у нас были большие надежды на следующий ночлег. Решая, где остановиться ночевать: в степи, в палатках или в деревне в гостинице, — я, конечно же, всем сердцем была за гостиницу. Тогда я ещё даже не представляла, что в монгольском понимании означает гостиница.

Первое, что помню, когда вошла, — это резкий запах баранины. Этот запах был настолько сильным, что он даже победил желание согреться и выпроводил меня наружу. Я старалась до последнего не заходить вовнутрь, но на улице становилось всё холоднее. В Монголии очень резкие перепады температуры. Днём там ужасная жара, но как только приходит ночь, она несёт с собой ледяной холод и удивительное звёздное небо.

Такого неба я нигде не видела! Это не просто много ярких звёзд. Это космос, Млечный Путь, необъятные просторы Вселенной, и чтобы увидеть и почувствовать это, нужно только поднять голову. И вот ты стоишь, смотришь, шея затекает, но ты не можешь остановиться, небо затягивает тебя, и ты уже не можешь оторваться. Тогда ты просто закрываешь глаза и пытаешься представить себе Того, Кто сотворил это.

Но пора было спускаться с небес на землю. И я, сделав глубокий вдох, открыла дверь. С запахом пришлось смириться, и теперь все, в том числе я, с нетерпением ждали ужина. И что же я почувствовала, когда мне подали суп, который пах так же, как и всё вокруг, то есть бараниной? Отхлебнув две ложки, я поняла, что не смогу это есть, но при этом многие наши друзья из команды ели и были вполне счастливы и довольны. Ну хорошо, поесть не удалось, теперь я надеялась только на хороший сон. И что вы думаете—что меня отвели в собственную комнату, выдали чистое бельё и показали, где находится душ? Нет! Нам даже комнаты для девочек не выделили. Оказывается, две большие платформы, на которых мы сидели, и есть наши кровати. Одна—для мальчиков, другая—для девочек. Но, несмотря на это, события вчерашней бессонной ночи дали о себе знать, и я очень быстро отключилась.

Этой ночью меня не волновали копошение людей, хождение монголов, шум на улице, толкание соседских локтей. Всё это только усиливало во мне чувство покоя, счастья и теплоты ко всем этим людям. И, засыпая, я пела про себя слова сочинённого нашей командой монгольского гимна: «Я навеки даю обязательство, что вернусь сюда вскоре в будущем, ведь есть приятное обстоятельство: я люблю тебя, о Монголия». От этих слов мне хотелось реветь. Я смотрела на засыпающие лица, многие уже по два, три, пять раз приезжают сюда. Что влечёт их? Что заставляет приезжать их в эту страну вновь и вновь каждый год? Я не могла дать себе ответ. И я решила во что бы то ни стало выяснить это. Так началось новое для меня путешествие. Это путешествие в страну не физическую, а духовную, в страну тайн, загадок, это удивительные приключения по бескрайним просторам размышлений и ответов, которые можно найти, если хорошенько покопаться.

Теперь я была настороже, внимательно наблюдала за всем, и в особенности за участниками поездки. В нашей команде тридцать человек. И каждый представляет собой отдельный мир, каждый несёт в себе новую загадку и новые сокровища. У каждого в этом лагере своя роль, своё место. Кто-то директор, наставник, спортивный инструктор, кто-то будет вести творческие мастер-классы, а кто-то просто заваривать чай. Но каждый важен

и ценен. Сейчас, анализируя свои наблюдения, я могу сделать первый вывод.

Вот первая тайна, которую я открыла. Она в том, чтобы не судить о людях по первому впечатлению. Банально? Да. Но я для себя это хорошо уяснила. Трудности сближают? У нас их было предостаточно, и я полюбила как каждого человека по отдельности, полюбила его внутренний мир, его особенности, странности, так и всех вместе. То целое, что мы представляем, есть нечто большее, чем скопление людей. Учась вмещать, принимать и прощать друг друга, мы стали семьёй.

Цель нашей поездки—это проведение детского лагеря для монгольских детей. Многие из этих детей очень бедные, и им нечем заплатить за лагерь, да что там заплатить—у многих из одежды один спортивный костюм, который они носят каждый день днём и ночью; когда костюм совсем станет негодным, его выбросят, купят новый, но только один, и так далее. Ну что, вы ещё расстраиваетесь о том, что мама не купила вам новую рубашку? Учитывая материальное состояние монгольского общества, русская команда уже на протяжении семи лет проводит бесплатные лагеря для детей на территории трёх городов.

Второе, что я познала в этой поездке, это настоящих детей. Я познакомилась с теми детьми, которые знают, что такое жизнь во всех её тяготах и невзгодах, но при этом они радуются жизни, они благодарны ей. Они познают счастье каждый день. Нет, они ещё не познали его полностью, но они каждый день сталкиваются с ним и умеют видеть его, принимать и благодарить за него. И нет, это не ерунда, которую я придумала, чтобы вас запутать. Это правда, которой я хочу с вами поделиться. Разве вы каждый день радуетесь хлебу, молоку или чаю? А вы цените каждое мгновение, проведённое с друзьями? Умеете ли вы смеяться над самими собой? Получаете ли вы бесконечно удовольствие и восторг от простых спортивных игр? А вы когда-нибудь хватались за живот от смеха, когда слышали, что кто-то не может правильно произнести ваше имя? Мне хватило пяти дней, чтобы удостовериться, что многие монгольские дети счастливее, чем дети из России, чем мои сёстры и братья, чем мои друзья, и даже счастливее, чем я. И я не стала пытаться бороться с собой, я стала учиться у них. Да, оказывается, веселиться тоже приходится учиться. Вот цитата из моего дневника, написанная во время лагеря: «Я так смеялась и радовалась с ними, как никогда! Они такие позитивные. Когда я им говорю, мне смешно, потому что они не понимают меня, а я их. Сегодня ужасно вспотела! Весь день на солнце и на ногах. Никогда я не пила такой вкусный чай».

Я многому научилась у них: например, я научилась улыбаться, у меня пропали многие комплексы, меня стал меньше волновать мой внешний вид

и что обо мне подумают люди. Я училась заводить иностранных друзей. Оказывается, это немного сложнее, чем я думала. Я училась завоевывать их доверие и любовь. Но когда я нашла с ними общий язык, не в смысле «я научилась говорить по-монгольски», просто они поняли, что я хочу стать их другом, то я поняла, что они отчаянно нуждаются в объятиях, внимании и защите. Им просто хотелось, чтобы кто-то эти пять дней был не просто кем-то, а по-настоящему близким человеком, которому можно было бы всё сказать просто взглядом. Эти дети не идеальны, они менее образованны, воспитанны, чем я, но училась у них я. Ведь даёт тот, кому в действительности есть что давать, и берёт тот, кто в действительности хочет получить.

Итак, я узнала, почему люди возвращаются сюда вновь. И я планирую вернуться туда ещё. Потому что видела и чувствовала то, что не чувствовала нигде,—благодарность за каждую мелочь. Эти необыкновенные дети подкупают всех своей простотой и искренностью. Там ты не стесняешься быть самим собой. Среди этого народа ты понимаешь, что для счастья нужно не так уж и много. Просто нужно поменять своё отношение к окружающему. Учиться жить для других, а не для себя. И вы увидите, что ваша жизнь наполнена смыслом. Поверьте, я испытала это на себе.

Поэтому, если вам надоели пассивное лежание на диване и просмотр бесконечных сериалов, если вам вдруг захотелось пережить настоящее приключение с непредсказуемыми поворотами, неповторимыми ощущениями, взлётами и падениями, иногда даже опасностями, если вы так же хотите узнать что-то необычное и новое для себя, а может, найти ответы на давно интересующие вас вопросы, то предлагаю вам пуститься в следующем году со мной в это незабываемое путешествие в страну Монголию, в эту страну красоты, необъятных просторов и свободы!

ЛИТЕРАТУРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ
ЕЛЕНА ТИМЧЕНКО

Марина Петрова

7 класс

Ласурики

Одной предновогодней ночью я мирно спала, когда моя кошка начала бить лапой по оконному стеклу и мяукать так, как будто начался конец света. Я быстро встала, включила свет и увидела за окном милейших зверушек (всего их было четверо). Они напоминали ласок и сурикатов одновременно. Ни

минуты не сомневаясь, я назвала их ласуриками. Их маленькие лапки, такие замёрзшие, стучали, а сверкающие глазки на мордочках умоляли впустить.

И я открыла им окно. Ну как я могла поступить иначе?!

Ласурики вошли в мой дом и стали частью моей жизни. Эти крохотные, необычайно весёлые создания умели находить общий язык со всеми. На удивление, даже моя кошка, интроверт в чистом виде, подружилась с ними.

Иногда, когда мне было очень грустно, ласурики могли подойти, протянуть мне свои тоненькие лапки, улыбнуться, и на душе мне становилось так светло и тепло, словно нет в мире никакой печали. Зверьки настолько забавные и задорные, что даже когда они хулиганили, их совсем не хотелось за это ругать. Ласурики постоянно ходили пританцовывая и напевая весёлые песни. Они были и друзьями, и психологами, и наставниками—универсальные существа.

Поначалу меня мучил вопрос: откуда они взялись? Но в их компании я быстро о нём забыла. Зато утром первого января меня стал ещё больше мучить другой вопрос: куда они делись? «Ушли туда, откуда появились,—в неизвестную даль... и больше никогда не вернутся»,—ответил мой внутренний голос.

Мой дом опустел, мы с кошкой поникли духом. Каждый день смотрела я в окно и вспоминала те счастливые дни, когда со мной были эти верные друзья...

Но они вернулись! На мой день рождения. Оказывается, всё это время они выбирали подарок.—Полгода? Так долго?

—Да.

Но он того стоил: теперь они будут со мной всегда.

Лиза Биниман

6 класс

Почтальон

(по мотивам «Девочки
со спичками» Г. Х. Андерсена)

Меня зовут Филипп, я почтальон. Под Новый год я часто нахожу детские конверты с письмами Деду Морозу. Они создают новогоднее настроение, и я всегда кладу их в карман. Некоторые дети просят у Деда Мороза обычные игрушки, кто-то—нечто волшебное, например, единорога или кусочек Луны; дети постарше просят денег.

Вот и сейчас после работы я взял почитать письмо. Это было помятое письмо с кучей ошибок и надписью «Деду Морозу на Север» из детского дома № 5.

«Ну, здравствуй, Дедушка Мороз. Не поверишь, но мне уже 14 лет, зовут—Лилия.

Начнём с того, что живу я не в обычном доме, а в детском доме №5. Как я там оказалась?

Я была нежеланным ребёнком в семье. Кажется, у меня было четыре сестры или три... В общем, ещё один ребёнок им был не нужен. И они отдали меня в детдом.

Где бы я ни была, я чувствую себя брошенной и одинокой. Я вечно сонная и задумчивая, плохо учусь и думаю о побеге. Этот дом—клетка, я умираю в нём, и никто не хочет меня спасти. Каждый день приходят люди, смотрят, выбирают, но только не меня. Чем я хуже других? Если меня не заберут, я сама уйду.

Почему я тебе написала? Потому что я хочу, чтобы ты сказал моей маме, что я её люблю, люблю, несмотря ни на что, скажи ей спасибо и поздравь с Новым годом.

Почему я тебе написала? Потому что ты моя последняя надежда. На этот Новый год я прошу родителей, я хочу простого человеческого счастья, хочу вернуть своё детство, которого не было».

Когда я прочитал это письмо, меня пробил дрожь. На следующий день я купил конфет и отправился разыскивать это детский дом №5.

Наконец я открыл скрипучую дверь старого обветшалого здания, в котором располагался приют.

В фойе за столом сидела дежурная.

— Извините, мне нужна девочка по имени Лилия,—сказал я.

— Лилия?—удивлённо переспросила старушка.

— Да, можно её увидеть?

— К сожалению, нет. Вчера она сбежала...

Наташа Семёнова

11 класс

.....

Роковая любовь

Однажды я наткнулась на страничку своей давней знакомой в «ВК». Увидела в её статусе: «Я буду вечно любить тебя, милый. Но никогда не забуду той боли, которую ты причинил мне». Минуточку! Ей ведь только двенадцать лет, а она уже испытала «бездну страданий» (это я уже прочла на её стене).

Недавно довелось мне стать свидетелем одной сцены.

Я сидела за столиком в кафе, вошли две девочки. Одной на вид можно было дать лет тринадцать,

а второй—около шестнадцати. Они сели почти напротив. Как я поняла, ту девочку, которая выглядела старше, звали Лиза, а другую Соня. Так вот Лиза рассказала своей собеседнице о том, что два года встречалась с парнем. Они даже собирались пожениться, как только ей исполнилось бы восемнадцать.

— Я его так любила, так любила! Всем сердцем, я отдала ему свою душу. А он предал меня, разбил моё сердце на миллионы осколков!—на последних словах она тяжело замахала руками, слишком эмоционально жестикулируя.

Её речь звучала немного пафосно и наигранно. Во взгляде Сони явно читалось: «Ты ничего не знаешь о настоящей любви. В твоём возрасте вообще грех бросаться такими громкими словами!» У неё было такое осуждающее выражение лица, что мне стало интересно: почему же она промолчала?

Однако вслух Соня спросила:

— Что он сделал-то?

— Мне тяжело об этом говорить, душевные раны пока не затянулись,—Лиза печально вздохнула.

Мне, глядя на это нелепое юное создание с «богатым» жизненным опытом, еле-еле удалось сдержать улыбку. Я ещё подумала про себя: «А я в твоём возрасте в куклы играла!» И машинально закатила глаза.

Девочки не обращали на меня никакого внимания.

— А всё-таки?—не унималась Соня—видимо, ей слишком занимательной показалась эта «Санта-Барбара».

— Сказал, что хочет видеть рядом с собой настоящую женщину, а не ребёнка. Однако я уже не ребёнок, а взрослая!

— А сколько ему лет?—поинтересовалась Лизина собеседница.

— Ему одиннадцать!—она буквально фыркнула.

Наступила мёртвая тишина, а потом раздался истерический смех Сони. Как сторонний наблюдатель, я даже не подозревала, что подобные ситуации случаются в реальности. Помню, как в пятом классе мы с одноклассниками всей компанией уходили в какой-нибудь двор и играли в прятки и в «пали-пали». Выражение «серьёзные отношения» среди нас вряд ли кто-то знал. Видимо, современные подростки потому и называются современными, ведь у них всё происходит иначе. Стихийно, бурно и рано.

Я тихо удалилась из кафе. По пути домой размышляла: «Сколько же таких глупых девочек среди современных подростков?»

стр.
156

Айтукаев Иса Билалович
Красноярск, 1961 г.р.

Родился в Дагестане. В 1984 году, после окончания Ачинского сельскохозяйственного техникума, поступил на отделение «Журналистика» филологического факультета КГУ. Публиковался в журналах и альманахах на Кавказе, Дальнем Востоке и в Сибири. Автор нескольких книг стихов и прозы. Работает начальником отдела ФГУП «Охрана» МВД РФ.

стр.
5

Алейников Владимир Дмитриевич
Москва, 1946 г.р.

Родился в Перми, вырос в городе Кривой Рог на Украине, куда семья переехала в апреле 1946 года. Стихи и прозу начал писать в школьные годы. Занимался музыкой, живописью и графикой. В 1962–1964 годах входил в группу молодых криворожских поэтов. Первые публикации стихов в украинских газетах — с 1962 года. В 1963 году, в период хрущёвских гонений на формализм, подвергался обличению в украинской прессе. В 1964 году поступил на отделение истории и теории искусства исторического факультета МГУ. Знакомства и дружба с основными представителями отечественного андеграунда. В январе 1965 года он вместе с Леонидом Губановым основал легендарное литературное содружество СМОГ и стал его лидером. Февраль–март 1965-го — знаменитые выступления СМОГА в Москве. С 1965-го — публикации стихов на Западе. Весной 1965 года Алейников был исключён из университета. В 1966 году восстановлен в МГУ, окончил образование в 1973 году. При советской власти на родине не издавался. Более четверти века стихи его широко распространялись в самиздате. С 1971 по 1978 год бездомничал, скитался по стране. Работал в археологических экспедициях, грузчиком, дворником, в школе, в многотиражной газете, редактором в издательстве. В начале 80-х писал стихи для детей. Несколько лет писал внутренние рецензии в московских издательствах. В 80-х был известен как переводчик поэзии народов СССР. Публикации стихов и прозы на родине начались в период перестройки. Первые книги стихов вышли в 1987 году. В начале 90-х издано несколько больших книг стихов. Ныне автор многих книг стихов и прозы — воспоминаний об ушедшей эпохе

и своих современников. Стихи переведены на различные языки. Член редколлегии журналов «Стрелец», «Крещатик». Член Союза писателей Москвы, Союза писателей XXI века и Высшего творческого совета этого Союза. Член ПЕН-клуба. С 1991 года живёт в Москве и Коктебеле.

стр.
220

Арутюнянц Карен Давидович
Черноголовка, 1961 г.р.

Родился в Тбилиси. Жил в Ереване. В 1986 переехал в Москву, с 1990-го — в Черноголовку Московской области. В 1983 получил высшее образование на факультете технической кибернетики Ереванского политехнического института. Работал инженером на студии «Арменфильм», ассистентом режиссёра на студиях «Ереван», «Центрнаучфильм». В 1993 году окончил Всероссийский государственный институт кинематографии (сценарный факультет). По основной своей профессии — литературный работник кино и телевидения, кинодраматург. С 1993 по 2008 год вместе с женой Мариной Алфимовой издавал газеты и журналы для детей: «Снип-снап-снурре», «Детская газета», «Абракадабра», «Детская весёлая газета», «Детская зоологическая газета», «Детский журнал головоломок», «Детство и литература» и др., которые распространялись по подписке по всей России. Публиковался в периодике, в частности в журналах «Костёр» и «Юный натуралист». В 2007–2008 годах — автор и режиссёр передачи «Фестиваль российской науки» на образовательном телеканале СГУ-ТВ, тридцать три выпуска которой посвящены деятельности институтов Российской академии наук. С октября 2011 года по настоящее время — специалист по работе с молодёжью в подростково-молодёжном центре города Черноголовка. Автор научно-популярного издания «550 занимательных вопросов и неожиданных ответов» (изд-во «Аквилегия-М», М., 2007; 2009). Лауреат конкурса литературного агентства «Сова». Повесть «Я плюс все» в 2010 году была включена литературным клубом «Экспертный совет» Гайдаровки в список лучших книг о подростках. Участник первого Всероссийского фестиваля детской книги (2014). Один из 27 авторов первого выпуска сборника «Живые лица. Навигатор по современной отечественной детской литературе» (2014).

стр. 13
Беликов Юрий Александрович
Пермь, 1958 г. р.

Родился в городе Чусовом Пермской области. Поэт, эссеист, публицист. Окончил филологический факультет Пермского государственного университета. Автор четырёх поэтических книг: «Пульс птицы», «Прости, Леонардо!», «Не такой», «Я скоро из облака выйду». Обладатель Гран-при и звания «Махатма российских поэтов» (всероссийский фестиваль поэтических искусств «Цветущий посох», Алтай, 1989), лауреат международного фестиваля театрално-поэтического авангарда «Другие» (2006) и ряда литературных премий — имени Павла Бажова (2008), Алексея Решетова (2013) и общенациональной премии имени Антона Дельвига «За верность Слову и Отечеству» (2014). В начале 90-х входил в редколлегию журнала «Юность». Основатель трёх поэтических групп: «Времири» (конец 70-х), «Политбюро» (конец 80-х), «Монарх» (конец 90-х). Лидер движения «дикороссов» и составитель книги «Приют неизвестных поэтов» (Москва, 2002). Работал собкором «Комсомольской правды», «Трибуны», спецкором газеты «Труд». Стихи публиковались в журналах «Юность», «Знамя», «День и ночь», «Арион», «Дети Ра», «Флорида» (сша), «Зарубежные записки» (Германия), «Киевская Русь» (Украина), «Иерусалимский журнал» (Израиль), в антологиях «Самиздат века», «Современная литература народов России», «Антология русского лиризма. XX век», «Молитвы русских поэтов». Награждён орденом-знаком Велимира «Крест поэта», орденом Достоевского I степени.

стр. 169
Биазарт Дзерасса Кромвельевна
Владикавказ, 1981 г. р.

Родилась во Владикавказе. Окончила Владикавказское училище искусств имени В. А. Гергиева, факультет журналистики Северо-Осетинского государственного университета. С момента поступления в университет сотрудничала с республиканскими и общероссийскими сми. Работала внештатным корреспондентом «Радио Свобода», газеты «Южный репортёр». Колумнист на сайте гражданской журналистики «Gradus.pro», специалист по связям с общественностью Художественного музея имени М. С. Туганова.

стр. 58
Броднева Аделя Владимировна
Красноярск

Родилась в Иркутске. Выпускница Кызыльского педагогического института. В Красноярске живёт с 1970 года. Почти год отработала в библиотеке. 10 лет увлечённо вела уроки литературы и русского языка в вечерней школе, и только по состоянию здоровья вынуждена была уйти в музей, где наконец осуществила мечту детства — стала историком. В 1991 году, ещё задолго до открытия

Литературного музея, была назначена его заведующей и с радостью вернулась на круги своя — к любимой литературе. Начинать надо было с нуля, трудностей было море, но помогала вера в значимость этого проекта, который поддержали многие писатели, в том числе и В. П. Астафьев. Знаменательно, что день рождения Литературного музея в Красноярске был отпразднован в день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина — 6 июня 1997 года. В 2000 году уникальный музей открыл свои экспозиции в полном объёме, с тех пор он стал неотъемлемой частью культурного пространства города и полюбился горожанам и гостям города. С 2002 года музей носит имя В. П. Астафьева. В 2005 году А. В. Бродневой присвоено звание «Заслуженный работник культуры РФ».

стр. 67
Беркович Евгений Михайлович
Ганновер, Германия, 1945 г. р.

Математик, публицист, историк, издатель и редактор. Родился в Иркутске. С 1946 по 1995 год жил, учился и работал в Москве. Окончил физический факультет мгу имени Ломоносова в 1968 году. Кандидат физико-математических наук (1973), старший научный сотрудник. С 1995 года живёт и работает в Германии. Создатель сетевого портала «Заметки по еврейской истории», в рамках которого выходят в свет одноимённый порталу журнал и альманах «Еврейская старина». Создатель и главный редактор журнала «Семь искусств» — «журнала для интеллигентного читателя» (наука, искусство, словесность). Автор книг «Заметки по еврейской истории» и «Банальность добра. Герои, праведники и другие люди в истории холокоста. Заметки по еврейской истории двадцатого века», «Одиссея Петера Прингсхайма» (2013), «Антиподы: Альберт Эйнштейн и Филипп Ленард в контексте физики и истории» (2014). Автор сценария документального фильма «Вопросы к Богу».

стр. 158
Валеев Марат Хасанович
Красноярск, 1951 г. р.

Родился в городе Красногвардейске Свердловской области. Рос и учился в селе Пятёрыжск на Иртыше, в целинном Казахстане. Окончил школу, успел поработать бетонщиком на заводе жби, призвался в с.а. Служил в стройбате в 1969–1971 годах, строил военные объекты. После армии работал сварщиком в тракторной бригаде. Окончил факультет журналистики Казгу имени Аль-Фараби (Алма-Ата). Работал в газетах Павлодарской области «Ленинское знамя» (Железинка), «Вперёд» (Экибастуз), «Звезда Прииртышья» (Павлодар). В 1989 году был приглашён в газету «Советская Эвенкия» (с 1993 года — «Эвенкийская жизнь») на севере Красноярского края, в которой прошёл путь от рядового корреспондента до главного редактора. Написал и опубликовал

несколько сотен иронических, юмористических рассказов и миниатюр, фельетонов. Автор и соавтор нескольких сборников юмористических рассказов и фельетонов, прозы и публицистики, изданных в Красноярске, Павлодаре, Кишинёве, Москве. Публикации в журналах «Журналист», «Кукумбер», «Мир Севера», «Колесо смеха», «Вокруг смеха», «Сельская новь», «Семья и школа», «День и ночь», газетах «Литературная газета», «Московская среда», «Советская Россия» и др. Лауреат и дипломант ряда литературных конкурсов, в том числе «Золотое перо Руси» (номинация «Юмор», 2008), Общества любителей русского слова (номинация «Проза», 2011), «Рождественская звезда», (номинация «Проза», 2011). Член Союза российских писателей.

стр.
193

Вдовин Николай Геннадьевич
Качулька Красноярского края, 1971 г. р.

Поэт, драматург. Родился в городе Темиртау (Казахстан). Несколько лет жил в Петербурге, где учился в кораблестроительном институте. С 1994 года живёт на юге Красноярского края, в селе Качулька Каратузского района. Автор одного поэтического сборника. Публиковался в небольших газетах, журнале «Номо legends» (Москва). Лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева по итогам 2012 года.

стр.
140

Вершинский Анатолий Николаевич
Раменское, 1953 г. р.

Родился в селе Семёновка Уярского района Красноярского края, в семье учителя. Окончил с отличием два института: Красноярский политехнический и Литературный имени А. М. Горького. Работал в научно-исследовательской лаборатории, в газете, служил в Советской Армии. Более 30 лет занимается журналистской и издательской деятельностью. Награждён дипломом Знака отличия «Золотой фонд прессы». Автор шести поэтических сборников, драмы в стихах «Восточный вопрос», книги исторических очерков «Русская Александрия. Средневековая Русь и Александр Невский». Дипломант конкурса «Лучшая книга 2008–2010». Член Союза писателей с 1985 года.

обл.

Горбачёва Наталья Вениаминовна
Дивногорск, 1966 г. р.

Родилась в Новосибирске. Окончила Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова в 1985 году. В 1996 году получила высшее образование в Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина на отделении искусствоведения. Выставляется с 1998 года. С 2006 года — член Союза художников России. Участница краевых, региональных и зарубежных выставок. Работы Натальи Горбачёвой находятся в собраниях Министрства культуры России, а также в частных коллекциях России и за рубежом. В настоящее

время художница преподаёт в Детской художественной школе им. Е. А. Шепелевича.

стр.
150

Ерёмин Николай Николаевич
Красноярск, 1943 г. р.

Родился в городе Свободном Амурской области. Окончил Красноярский медицинский институт и Литературный институт имени А. М. Горького. Автор ряда поэтических сборников и книг прозы: «Мифы про Абаканск», «Компромат», «Харакири», «Наука выживания», «Комната счастья» и др. Лауреат премии «Хинган». Победитель конкурса «День поэзии Литературного института» в номинации «Классическая лира» (2011). Дипломант конкурса «Песенное слово» имени Н. А. Некрасова. Публиковался в журналах «День и ночь», «Новый Енисейский литератор», «Истоки», «Бийский вестник», «Вертикаль» (Нижний Новгород), «Огни Кузбасса», «Провинциальный интеллигент», «Интеллигент» (Санкт-Петербург), «Русский берег» (Благовещенск), «Флорида» (Майами), «Лексикон» (Чикаго) и др. Член Союза писателей СССР, Союза российских писателей.

стр.
33

Иващенко Дмитрий Анатольевич
Ангарск, 1967 г. р.

Родился в Железногорске-Илимском. После окончания десятилетки поступил в Иркутский политехнический институт, но был призван в ряды СА. Службу проходил в Чехословакии, в пехотном полку. Учился в Иркутском госуниверситете на отделении журналистики, Литературном институте имени А. М. Горького. Автор книг «На ветру» (2006), «Встречи и разлуки» (2010). Член Союза писателей России.

стр.
148

Карабинская Инга
Ухта, 1980 г. р.

Стихи пишет с 14 лет. В 1997 году по итогам городского литературного конкурса стала членом детско-юношеской литературной студии «Огонёк» при ухтинском городском литературном объединении. С 1998 года — член городского лито. В разные годы публиковалась в ряде изданий и сборников: журнал «Наш современник», альманах Пушкинского молодёжного фестиваля «С веком наравне», «Современники», альманах Союза писателей Республики Коми «Белый бор», альманах эжвинского литературного объединения «Камелёк», сборник «Простые вопросы», журналы «Планета Университет», «Консерт», «Арт» («Лад»), городская ухтинская периодика. Дважды принимала участие в семинаре молодых авторов Союза писателей РК. Дипломант Пушкинского молодёжного фестиваля «С веком наравне» (2009). Лауреат первого Ухтинского фестиваля авторской песни в авторской номинации (2002). Главный редактор научно-гуманитарного, художественно-публицистического

журнала «Concept» Ухтинского государственного технического университета.

стр.
207

Карпенко Александр Николаевич
Москва, 1961 г.р.

Поэт, прозаик, литературовед, композитор, ветеран-афганец. Член Союза писателей России и Союза писателей XXI века. Родился в г. Черкассы, УССР. Окончил спецшколу с преподаванием ряда предметов на английском языке, музыкальную школу по классу фортепиано. В 1980 году поступил на годичные курсы в Военный институт иностранных языков, изучал язык дари. По окончании курсов получил распределение в Афганистан военным переводчиком. За службу награждён орденом Красной Звезды, афганским орденом Звезды III степени, медалями, почётными знаками. В Афганистане был тяжело ранен. 3 года провёл в военных госпиталях. После демобилизации поступил в московский Литературный институт имени А. М. Горького, тогда же начал публиковаться в толстых журналах. Институт окончил в 1989-м, в этом же году вышел первый поэтический сборник «Разговоры со смертью». Впоследствии издано ещё пять книг. В 1991 году фирмой «Мелодия» был выпущен диск-гигант стихов Александра Карпенко, также им были записаны три магнитоальбома песен: «Ждать и жить», «Саламандры не горят в огне» и «Две Правды». Первым его соавтором был известный композитор Владимир Мигуля. Александр Карпенко снялся в нескольких художественных и документальных фильмах, неоднократно появлялся на телевидении. Постоянный участник фестивалей солдатской песни, гастролировал с концертами по России и Америке. Работает в самых разных литературных и песенных жанрах, сотрудничает с исполнителями песен на свои стихи, в частности с певицей Ириной Шведовой.

стр.
13

Костич Зоран
Сербия, 1948 г.р.

Сербский поэт. Родился в Черногории, в городе Цетине. Учился в Белграде, изучал мировую литературу и этнографию. Генеральный секретарь Общества сербско-русской дружбы, член правления Международного фонда славянской письменности, член Международной славянской академии. Избран почётным членом Союза писателей России.

стр.
105

Косяков Дмитрий Николаевич
Красноярск, 1983 г.р.

Выпускник филологического факультета КГУ, «Школы культурной журналистики» Фонда Михаила Прохорова. Арт-критик и искусствовед, журналист, поэт-мелодекламатор, основатель дайв-театра, автор и ведущий дискуссионных

клубов, преподаватель, сценарист кино и театра. Публикации в журналах «День и ночь», «Дети Ра».

стр.
3

Кранц Генрих
Санкт-Петербург

Родился на Западной Украине. Окончил школу милиции и военное училище. Служил в армии, был сотрудником уголовного розыска, работал в нефтеразведочной экспедиции на тюменском Севере, был «челноком», риэлтором, журналистом, в настоящее время работает заместителем главного редактора одного из исторических журналов. Автор нескольких детективно-приключенческих романов, выходивших в издательствах «Эксмо» и «АСТ-Пресс». Пишет прозу, стихи и сценарии телевизионных фильмов, которые в разное время выходили на российских телеканалах.

стр.
10

Леонтьев Андрей Васильевич
Красноярск, 1961 г.р.

Родился в городе Александровске Пермской области. Школьные годы провёл в Поволжье, в Саратовской области. В 1984 году окончил радиотехнический факультет Куйбышевского авиационного института. В Красноярске — с 1986 года. Автор книг стихов «Между явью и сном», «Голос жизни». Публиковался в журналах и альманахах «День и ночь», «Енисей», «Новый Енисейский литератор» (Красноярск), «Приокские зори» (Тула), «Стрежень» (Тольятти), «Гостиный Двор» (Оренбург), «Южная звезда» (Ставрополь), «Истоки» (Н.-Ингаши), «Симбирск» (Ульяновск), «Новая Немига литературная» (Минск, Беларусь), «Соотечественник» (Берген, Норвегия), международных интернет-изданиях «Подлинник», «Лексикон», «Литературная Губерния», многочисленных антологиях и коллективных сборниках. Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России.

стр.
177

Литинская Елена
Нью-Йорк, США

Родилась в Москве. Окончила славянское отделение филологического факультета МГУ. Занималась поэтическим переводом с чешского. В 1979 году эмигрировала в США. В Нью-Йорке получила степень магистра по информатике и библиотечному делу. Проработала 30 лет в Бруклинской публичной библиотеке. Вернулась к поэзии в конце 80-х. Издала 5 книг стихов и прозы: «Монолог последнего снега» (1992), «В поисках себя» (2002), «На канале» (2008), «Сквозь временную отдалённость» (2011), «От Спиридоновки до Шипсхед-Бей» (2013). Стихи, рассказы, очерки и статьи публиковались в периодических изданиях, сборниках и альманахах США, Европы, России и Канады. Член редколлегии сетевого литературного журнала «Гостиная», президент Бруклинского клуба русских поэтов,

а также вице-президент объединения русских литераторов.

стр.
96

Матвейчев Александр Васильевич

Красноярск, 1933 г. р.

Родился в Татарстане, в деревне Букени Мамадышского района. Окончил суворовское и пехотное училища. Лейтенантом командовал пулемётным и стрелковым взводами в Китае и в Прибалтике. После демобилизации учился в Казанском авиационном и Красноярском политехническом институтах (1956–1962). Получил диплом инженера-электромеханика. Работал токарем-револьверщиком, разнорабочим, электриком, инженером-конструктором, главным инженером НПО, директором предприятия. Депутат райсовета трёх созывов. С 1993 года работал журналистом в редакциях газет, переводчиком с английского и испанского языков. Преподавал английский детям и взрослым. Президент Английского клуба при Красноярской научной библиотеке и Почётный председатель «Кадетского собрания Красноярья». Первые рассказы опубликовал в 1959 году. С тех пор стихи и рассказы публиковались в журналах, газетах, альманахах, антологиях и коллективных сборниках. Автор нескольких книг, поэтических сборников и публицистических статей. Член Союза российских писателей.

стр.
189

Мелодьев Мартин

Маунтин-Вью, США, 1953 г. р.

Родился в Новосибирске. Окончил экономический факультет Новосибирского университета. С 1990 года живёт в Америке. Член калифорнийского клуба авторской песни «Полуостров», клуба русских писателей в Нью-Йорке и клуба поэтов НГУ. Автор нескольких книг стихотворений. Публикации в газетах и ежегодниках США и России, в том числе в журнале «День и ночь».

стр.
137, 155, 168, 214

Минин Евгений Аронович

Иерусалим, Израиль, 1949 г. р.

Известный поэт, пародист, организатор литературного процесса. Стихи, пародии и проза печатаются в израильских, американских, европейских, российских журналах и газетах, а также вошли в альманахи и журналы «Знамя», «Дети Ра», «Иерусалимский журнал», «Семья и школа», «Зарубежные записки», «Слово\Word», «День и ночь», «Дон», «День поэзии-2009», «Кольцо А», «Побережье», «Галилея», «Литературная учёба», «Литературный Иерусалим», «Флорида», «22», «Литературная газета», издаваемые в США, России, Израиле и Европе. Ведущий пародийных рубрик в журналах «Литературная учёба» (Россия) и «Флорида» (США), а также в газетах «Литературная газета» и «Литературная Россия» (Россия) и «Секрет» (Израиль). Издатель альманаха

«Иерусалимские голоса», приложений к альманаху «Литературный Иерусалим», издатель и редактор множества поэтических сборников. Автор текстов песен для шести музыкальных альбомов, выпущенных российскими студиями грамзаписи. Председатель Иерусалимского отделения СП Израиля, член Союзов писателей Израиля и Москвы, директор Международного союза литераторов и журналистов (АРИА) по Израилю, литературный представитель за рубежом газеты «Информпротранство» (Москва). Лауреат Третьего поэтического фестиваля памяти Поэта (Израиль), премии «Поэт года-2007» Международного союза литераторов и журналистов (АРИА). Член судебного корпуса Международной литературной премии «Серебряный стрелец» (2008, 2009, 2010).

стр.
20

Николаева Олеся Александровна

Москва, 1955 г. р.

Родилась в Москве, в семье поэта А. М. Николаева. Окончила Литературный институт (семинар Е. М. Винокурова, 1979), в котором с 1989 года ведёт семинар поэзии. Доцент. Выступала со стихами и лекциями в Нью-Йорке, Женеве и Париже, преподавала древнегреческий язык монахам-иконописцам Псково-Печерского монастыря, работала шофёром игуменьи Серафимы (Чёрной) в Новодевичьем монастыре. В 1998 году была приглашена в Богословский университет святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова читать курс «Православие и творчество» и заведовать кафедрой журналистики. Печатается как поэт с 1972 года. Публиковалась в журналах «Знамя», «Юность», «Новый мир», «Литературное обозрение», «Арион», «Дружба народов», «Вопросы литературы», в альманахе «Апрель» и др. Председатель жюри премии «Поэт» (2007), входила в жюри премии «Русский Букер» (2007). Отмечена стипендией фонда А. Тэффи (1998), медалью города Гренобль (Франция, 1990), премиями имени Б. Пастернака (2002), журнала «Знамя» (2003), «Anthologia» (2004), «Поэт» (2006), дипломом премии «Московский счёт» (2004). Член СП СССР, Русского пен-центра.

стр.
200

Никулина Наталья

Обнинск, 1955 г. р.

Родилась в Ашхабаде (Туркмения). Работает в газете «Обнинск». Журналист. Публиковалась в журналах «Дети Ра», «Новая Юность», «Футурум АРТ», «Крещатик», «День и ночь», в альманахе «Обнинск литературный», в антологии любви С. Кузнечихина «Свойства страсти», на сайтах поэтического альманаха «45-я параллель» и православного журнала «Фома». Постоянная участница фестивалей верлибра. Опубликована в двух итоговых сборниках фестиваля верлибра («Самое выгодное занятие», «То самое электричество») и предварительного («Верлибр нового

тысячелетия»). Соавтор книги свободных стихов «Рождение пространства» и аудиокниги «Узнаю я их по голосам» (проект Валерия Прокошина). Автор четырёх поэтических книг: «Присутствие» (2002), «Среди ясного неба» (2005), «Известка с Эдемских садов» (2009), «Нести свет да нести» (2010). Лауреат поэтического конкурса «Перекрёсток» (2010). Член Союза писателей XXI века.

стр.
56

Осмоловский Александр Викторович
1937–2013

Писатель, режиссёр, актёр. Сценарист и исполнитель сольных спектаклей-монологов по произведениям мировой поэзии. Окончил Новочеркасское суворовское училище и Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии. В 1960–2010-е годы — руководитель Ленинградского театра поэзии, студии «Дерзость» ДК ЗИЛ, московского театра «Поэзия», Театра поэтической драмы МГУ, театра «Анаграмма». Автор книг стихов и прозы «Это — планета детей», «Я открываю сердце настуж», «Время — творить», «Век безмолвия», «По холмам до стрельбища», «Завещание Эхнатона» и др. Произведения публикуются по книге избранных сочинений «Иное» (2015).

стр.
70

Палин Рон
Бельгия

Прозаик. Родился и окончил школу в Белоруссии. Двадцать последних лет живёт в Бельгии. Публикации в журнале «День и ночь».

стр.
215

Полуян Павел Вадимович
Красноярск, 1958 г. р.

Окончил физический факультет Красноярского государственного университета, преподавал, долгое время работал в информационных структурах. Автор многочисленных статей, опубликованных в научной и популярной прессе. Кандидат философских наук. Сейчас работает в ОАО «Енисей-геофизика», ведущий инженер.

стр.
9

Саввиных Марина Олеговна
Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике — с 1973 года: журналы «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки), «Побережье» (Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), еженедельник «Обзор» (Чикаго), коллективные сборники и антологии. Автор шести книг стихов, прозы, художественной публицистики. Первый лауреат премии Фонда имени В. П. Астафьева (1994). Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Главный редактор литературного журнала

«День и ночь». Член Союза российских писателей, Международного пен-клуба. Член президиума Международного Союза писателей XXI века.

стр.
144

Синельников Михаил Исаакович
Москва, 1946 г. р.

Известный русский поэт. Автор 21 оригинального поэтического сборника, в том числе одногомника (2004), двухтомника (2006) и книги «Сто стихотворений» (2011). Его стихи постоянно печатаются в основных литературных журналах, в «Литературной газете», вошли в существующие антологии русской поэзии XX века, переведены на английский, немецкий, испанский, польский, болгарский, сербско-хорватский, словенский, румынский, турецкий, азербайджанский, фарси, хинди, узбекский, киргизский, грузинский, армянский, осетинский, монгольский, вьетнамский, корейский языки, отдельными книгами вышли в Черногории и Румынии. Поэзия М. Синельникова в разные времена вызывала интерес отечественной и зарубежной критики. Его деятельность поэта, переводчика, эссеиста, филолога отмечена многими российскими и иностранными премиями, в том числе премиями Министерства высшего образования СССР (за юношескую работу об античном театре), Ивана Бунина, Арсения и Андрея Тарковских, «Глобус», «Золотое перо», «Исламский прорыв», грузинской премией Георгия Леонидзе, киргизской премией Алыкула Осмонова, таджикской премией «Боргои Сухан», румынской премией Фонда «Пауль Полидор», премиями литературных журналов. Среди наград — грузинский орден Святой Нины, серебряная медаль Ивана Бунина (от Российской академии естественных наук), медаль Валерия Брюсова, армянская золотая медаль «За литературные заслуги», таджикская медаль «Знак Слова», Почётная грамота Президента Кыргызстана. Заслуженный работник культуры Ингушетии, член Исполкома «Общества культурного и делового сотрудничества с Индией». Является также действительным членом Российской академии естественных наук и Петровской академии, академиком турецкой Академии культуры и поэзии (Чанаккале). В московском Институте стран Азии и Африки преподаёт разработанный им курс «Азия и Африка в русской поэзии». Является членом редакционной коллегии выходящего в Бухаресте интернационального журнала «Диалог морей». Член Союза писателей СССР (1976) и Союза писателей Москвы.

обл.

Степанов Борис Сергеевич
Дивногорск, 1960 г. р.

Родился в Красноярске. В 1979 году окончил Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова. Участник краевых, зональных, республиканских, всесоюзных и зарубежных выставок

с 1985 года. В 1984–1986 годах был участником творческой группы экспериментальной студии «Сенеж» (Москва). Член Союза художников России с 1988 года. С 1961 года живёт в Дивногорске. Работы находятся в частных коллекциях, часть работ находится в фондах Дивногорского художественного музея.

стр.
146

Степанов Евгений Викторович
Москва, 1964 г. р.

Родился в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института (1986) по специальности «Французский и немецкий языки», Университет христианского образования в Женеве (1992), экономический факультет Чувашского государственного университета (2004) по специальности «Финансы и кредит», аспирантуру факультета журналистики МГУ (2004). Кандидат филологических наук. Докторант РГГУ. Поэт, прозаик, литературный критик, издатель, культуролог, экономист. Читал лекции в университетах России, США, Швейцарии, Финляндии, Румынии и многих других стран. Генеральный директор холдинга «Вест-Консалтинг». Издатель — главный редактор журналов «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер» (Санкт-Петербург), газет «Литературные известия» и «Поэтоград», интернет-издания «Персона плюс». Соиздатель и заместитель главного редактора журнала «Крещатик». Почётный гражданин штата Кентукки (США). Лауреат Отметины имени Отца русского футуризма Д. Д. Бурлюка и международного фестиваля «FEED VASK» (Румыния). Работал в газетах «Семья», «Совершенно секретно», «Ступени», «Век», «Крестьянская Россия», журналах «Огонёк», «Мы», «Столица», «Трезвость и культура» и др. Как поэт, прозаик, критик, мемуарист, интервьюер печатался в журналах, альманахах и газетах «Дети Ра», «Крещатик», «Знамя», «Дружба народов», «День поэзии», «Поэзия», «День и ночь» (Красноярск), «Вопросы литературы», «Литературная учёба», «Юность», «Сельская молодёжь», «Дружба», «Студенческий меридиан», «Слово», «Новый берег», «Журнал поэтов», «Членский журнал» (Нью-Йорк), «Столица», «Российский колокол», «АКТ» (Санкт-Петербург), «Черновик» (Нью-Йорк), «Литературная газета», «Литературные известия», «Литературная Россия», «Поэтоград», «Ex libris нг», «Новое русское слово» (Нью-Йорк), «Собеседник», «Совершенно секретно», «Семья», «Вечерняя Москва», «Московская правда», «Московский комсомолец» и др. Автор нескольких книг стихов и прозы, вышедших в России и за рубежом, а также культурологических монографий «Плакаты Госстраха как социокультурное явление» (М., 2003), «Карманные календари Госстраха» (М., 2004), «Социальная реклама в России: генезис, жанры, эволюция» (М., 2006). Переведён на английский, французский, немецкий, румынский,

болгарский, венгерский языки. Президент Союза писателей XXI века, член президиума МГО СП России, Союза писателей Москвы, ПЕН-клуба, правления Союза литераторов России.

стр.
138

Третьяков Анатолий Иванович
Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Минусинске. Окончил Красноярское речное училище. Служил в армии, работал судовым механиком, помощником машиниста тепловоза, литературным сотрудником в газетах. Учился на сценарном факультете в Литературном институте имени А. М. Горького. Печатался во многих коллективных сборниках Москвы, Красноярска и других городов России. Автор книг стихов «Цветы брусники», «Марьины корни», «Птицы над водой», «День сквозь деревья», «Пора моих дождей», «Ковчег», «Галерея». «По дороге к тебе», «На ладонях моей земли». Автор слов торжественной песни — гимна Красноярска и многих других песен. Лауреат Пушкинской (губернаторской) премии Красноярского края. Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России.

стр.
191

Учаров Эдуард Раимович
Казань, 1978 г. р.

Родился в городе Тольятти. Окончил Академию труда и социальных отношений (юридический факультет). Стихи неоднократно публиковались в региональных и московских журналах. Своими поэтическими подборками представлен и в интернет-изданиях России, Финляндии, США. По итогам этих публикаций удостоен грамоты в литературно-поэтическом конкурсе «Малая родина», дипломов в рамках проекта конкурса «Политическая поэзия современности» и литературного конкурса «Дебют года». Публикации в «Журнальном зале»: «Дружба народов», «Новая Юность», «День и ночь», «Дети Ра».

стр.
66

Феньков Станислав Сергеевич
Красноярск, 1973 г. р.

Окончил Сибирскую аэрокосмическую академию (ныне СибГАУ). Служил в армии. Работал токарем, фрезеровщиком, слесарем МСР, столяром, охранником, верстальщиком-дизайнером, технологом полиграфического производства. Стихи, песни и прозу пишет с шести лет. В разное время возглавлял две рок-группы. Тогда же много путешествовал автостопом, участвовал в нескольких международных, краевых и городских музыкальных фестивалях. Автор пяти сборников стихотворений и текстов песен: «Одинокий волк» (1996), «Обнажив оскал» (1998), «Волчья молитва» (2003), «Двойная сплошная» (2010), «Ключ растворённый» (2013). Постоянный автор альманаха «Новый Енисейский литератор». Рецензент нескольких книг местных авторов. С 2002 года — предприниматель,

владелец типографии «Семицвет» и одноимённого издательства.

стр.
34

Хлебников Олег Никитич

Москва, 1956 г. р.

Русский поэт и журналист. Родился в семье инженеров. Дебютировал стихами, будучи школьником, в 1973 году в «Комсомольской правде». Во время учёбы на математическом факультете Ижевского механического института публикуется в коллективных сборниках удмуртского издательства «Апрель» (1975) и «Родники» (1976). Участник VII Всесоюзного совещания молодых писателей и Первого совещания молодых литераторов социалистических стран. В 1978 году окончил институт. С 1980 года — член СП СССР. В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию по кибернетике. В 1985 году окончил Высшие литературные курсы. В 1991–1995 годах был секретарём СП Москвы. Издавался в переводах во Франции и Дании.

стр.
209

Хомутов Сергей Николаевич

Рыбинск, 1950 г. р.

Родился в Рыбинске. Здесь начал писать стихи, печататься в газетах и коллективных сборниках. Во время учёбы в полиграфтехникуме и после его окончания работал в типографиях Сибири и Забайкалья, а после возвращения в родной город — на предприятиях и в газетах. Первая книжка вышла в 1979 году. Окончил Литературный институт имени А. М. Горького. В разные годы в Москве, Ярославле, Рыбинске издано более 20 книг. Широко публиковался в периодике: журналах «Новый мир», «Октябрь», «Наш современник», «Огонёк», «День и ночь», «Молодая гвардия», «Юность», «Волга», «Север» и многих других, в антологиях и альманахах. Почти 20 лет возглавляет провинциальное издательство «Рыбинское подворье». Одновременно с 1994 по 2001 год был и главным редактором регионального литературно-исторического журнала «Русь». Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры РФ.

стр.
152

Цейтлин Евсей

Чикаго, США, 1948 г. р.

Прозаик, культуролог, литературовед, критик. Родился в Омске. Окончил факультет журналистики Уральского университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте имени А. М. Горького. Кандидат филологических наук, доцент. Преподавал в вузах историю литературы и культуры. Автор литературно-критических статей и эссе, монографий, рассказов и повестей о людях искусства. Начиная с 1968 года, публиковался во многих литературно-художественных журналах и сборниках. Автор многих книг, которые издавались в России, США, Литве, Германии: «Беседы в дороге» (1977), «Всегда и сегодня...» (1980), «Так что же

завтра?...» (1982), «Всеволод Иванов» (1983), «Жить и верить...» (1983), «Свет не гаснет» (1984), «Долгое эхо» (1985; 1989), «О том, что остаётся» (1985), «На пути к человеку» (1986), «Голос и эхо» (1989; 2011), «Писатель в провинции» (1990), «Долгие беседы в ожидании счастливой смерти» (1996; 1997; 2000; 2001; 2009; 2010; 2012), «Откуда и куда» (2010), «Несколько минут после. Книга встреч» (2011; 2012), «Послевкусие сна» (2012), «Снег в субботу» (2012) и др. Составил четыре сборника прозы русских и зарубежных писателей. Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс). С 1996 года живёт в США, редактирует чикагский ежемесячник «Шалом». Член Союзов писателей Москвы, Литвы, Союза российских писателей, Международного пен-клуба.

стр.
201

Шанин Владимир Яковлевич

Красноярск, 1937 г. р.

Родился в селе Бирилюссы Красноярского края, в крестьянской семье. Окончил историко-филологический факультет Иркутского госуниверситета и аспирантуру Высшей школы профсоюзного движения при ВЦСПС в Москве. Трудиться начал с 14 лет. Работал в колхозе, леспромхозе, на заводе «Сибтяжмаш», в районных, многотиражных газетах, в альманахе «Енисей», в профсоюзных организациях, служил в армии. Участник краевого семинара молодых писателей Красноярья в 1974 году, и в том же году — зонального совещания молодых писателей Сибири и Дальнего Востока в Иркутске, на котором рукопись рассказов была рекомендована к изданию. Печатался в краевых и областных газетах, в журналах «Молодая гвардия», «Дальний Восток», «Сибирские огни», в коллективных сборниках. Автор книг прозы «Памятник для матери», «Бел-горюч камень», «От зари до зари», «Горька ягода калинушка», «Куплю дом в деревне...», «Имя собственное» (литературные портреты писателей), изданных в Красноярске и Москве. А своей «главной» книгой считает роман-исследование о В. И. Сурикове «Суриков, или Трилогия страданий». В 2011 году вышел первый том «Енисейской летописи» — это хронологический перечень важнейших дат и событий из истории Приенисейского края. Готовится к изданию второй том «Енисейская летопись» на сегодняшний день является единственным в своём роде изданием, хронологически описывающим исторические события нашего края. Член Союза писателей России. Член правления КРО СП России.

стр.
196

Яранцев Владимир Николаевич

Новосибирск, 1958 г. р.

Родился в Калинин (Тверь). Окончил гуманитарный факультет Новосибирского государственного университета. Преподавал там же. Кандидат филологических наук. Литературную деятельность

начал в 1966 году. Публиковался в журналах «Сибирские огни», «День и ночь», «Гуманитарные науки Сибири», в еженедельниках «Литературная газета» и «Литературная Россия». Автор книги статей и эссе «Ещё предстоит открыть» (Новосибирск, 2008). Один из ведущих современных сибирских критиков. В многочисленных статьях, обзорах, рецензиях поднимает острые проблемы текущего литературного процесса. Обращается и к истории сибирской литературы, о чём, в частности, свидетельствует его большое исследование о В. Зазубрине. Член Союза писателей России.

стр.
55

Ярошевский Рафаэль
Москва, 1984 г. р.

Родился в Потсдаме, гДР, где родители служили в составе Группы советских войск в Германии. Затем в 1988 году переехал на Украину, а в 1991-м — в Россию, в Самару. Там окончил школу и юридический институт. В 2005 году поступил в Литературный институт им. А. М. Горького. В Самаре работал в газете ветеранов войн «Ветераны Поволжья». В 2011 году переехал в Москву — работает в газете «Известия». Публикуется впервые.

главный редактор

Марина Саввиных

заместители

главного редактора

по прозе

Александр Астраханцев

Евгений Мамонтов

по поэзии

Сергей Кузнечихин

дизайнер-верстальщик

Олег Наумов

корректор

Андрей Леонтьев

секретариат

Юлия Вятчина

Артём Яковлев

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации пп № ФС 77-42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

редакционная коллегия

Николай Алешков

Набережные Челны

Сергей Арутюнов

Москва

Юрий Беликов

Пермь

Вера Зубарева

Филадельфия

Анатолий Кирилин

Барнаул

Владимир Костылев

Арсеньев

Валентин Курбатов

Псков

Андрей Лазарчук

Санкт-Петербург

Евгений Минин

Иерусалим

Виталий Молчанов

Оренбург

Дмитрий Мурзин

Кемерово

Миясат Муслимова

Махачкала

Александр Петрушкин

Кыштым

Лев Роднов

Ижевск

Евгений Степанов

Москва

Михаил Тарковский

Бахта

Вероника Шелленберг

Омск

В оформлении обложки использованы картины Натальи Горбачевой и Бориса Степанова.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

издатель

ООО «День и ночь».

ИНН 246 304 2749

Расчётный счёт

4070 2810 8006 0000 0186

в Новосибирском филиале

ОАО «Банк Москвы»

в г. Новосибирске

БИК 045 004 762

Корреспондентский счёт

3010 1810 9000 00-00 0762

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru

Адрес редакции:

г. Красноярск, пр. Мира, д. 3.

т. +7 923 571 4936

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 10.02.2016

Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ип Азарова Н. Н. в типографии «Литера-принт»

г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10; т. 294 15 77 эл. почта: 2007tex@mail.ru



Борис Степанов | Утро | 2010



Борис Степанов | Бабушкин самовар | 2003

На обложке: Наталья Горбачёва | Зимние сумерки (фрагмент) | 2015